

СТАНИСЛАВ

ЛЕМ



S T A N I S Ł A W
LE M

DZIEŁA ZEBRANE

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ



СОЛЯРИС *роман*
ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД *роман*

84.4 П

Л44

**Издание подготовлено совместно
с редакционно-издательской фирмой «РИФ»**

Художники Лариса Денисенко, Валерий Черниевский

Ответственный редактор Александр Мирер

Л 4703010100-033 подп.

92

ISBN 5-87106-055-2

© Ст. Лем, 1961

© «Текст», 1992

СОЛЯРИС

роман



ПОСЛАНЕЦ

В девятнадцать ноль-ноль по бортовому времени я прошел мимо собравшихся вокруг шлюзовой камеры и спустился по металлическому трапу в капсулу. Места в ней хватало только на то, чтобы расставить локти. Я присоединил наконечник шланга к патрубку воздухопровода, выступавшему из стены капсулы, скафандр надулся, и теперь я уже не мог пошевелиться. Я стоял, вернее, висел в воздушном ложе, слившись в одно целое с металлической скорлупой. Подняв глаза, я увидел сквозь выпуклое стекло стенки колодца, а выше — склоненное над ним лицо Моддарда. Лицо вдруг исчезло, и стало темно — сверху опустили тяжелый конический обтекатель. Восемь раз взвыли электромоторы, затягивающие болты. Потом раздалось шипение нагнетаемого в амортизаторы воздуха. Глаза привыкали к темноте. Я различал уже светло-зеленые контуры единственного табло.

— Ты готов, Кельвин? — раздалось в наушниках.

— Готов, Моддард, — ответил я.

— Ни о чем не беспокойся. Станция тебя примет, — сказал он. — Счастливого пути!

Прежде чем я успел ответить, вверху что-то заскрежестало и капсула дрогнула. Я невольно напрягся, но ничего не почувствовал.

— Когда старт? — спросил я и услышал шорох, словно на мембрану сыпался мелкий песок.

— Кельвин, ты летишь. Всего хорошего! — где-то совсем рядом прозвучал голос Моддарда.

Я не поверил, но прямо перед моим лицом открылась смотровая щель, в ней появились звезды. Напрасно я старался найти альфу Водолея, к которой направлялся «Прометей». Небо этих частей Галактики ничего мне не говорило, я не знал ни одного созвездия; в узком просвете клубилась искрящаяся пыль. Я ждал, когда звезды начнут мерцать. Но не заметил. Они просто померкли и стали исчезать, расплываясь в рыжеющем небе. Я понял, что нахожусь уже в верхних слоях атмосферы. Неподвижный, втиснутый в пневматические подушки, я мог смотреть только перед собой. Горизонта пока еще не было видно. Я все летел и летел, совершенно не чувствуя полета, только мое тело медленно и коварно охватывала жара. Снаружи возник противный визг — как будто ножом проводили по тарелке. Если бы не цифры, мелькающие на табло, я не имел бы понятия об огромной скорости падения. Звезд уже не было. Смотровую щель заливал рыжий свет. Я слышал гулкие удары собственного пульса, лицо горело, сзади тянуло холодком из кондиционера; мне было жалко, что не удалось разглядеть «Прометея» — он уже вышел за пределы видимости, когда автоматическое устройство открыло смотровую щель.

Капсула задрожала раз, другой, началась невыносимая вибрация; несмотря на изоляцию, она пронизала меня — светло-зеленый контур табло расплылся. Но я не испугался, не мог же я, прилетев из такой дали, погибнуть у цели.

— Станция Солярис, Станция Солярис, Станция Солярис! Я посланец. Сделайте что-нибудь! Кажется, аппарат теряет стабилизацию. Станция Солярис! Прием.

И снова я пропустил важный момент — появление планеты. Она простиралась огромная, плоская; по величине полос на ее поверхности я понимал, что нахожусь еще далеко, точнее, высоко, так как я уже миновал ту неуловимую границу, на которой расстояние от небесного тела становится высотой. Я падал. Все еще падал. Теперь, даже закрыв глаза, я чувствовал это. Я тут же открыл их, мне хотелось как можно больше увидеть. Спустя несколько секунд я повторил вызов, но и на этот раз ответа не получил. В наушниках трещали залпы атмосферных разрядов. Они звучали на фоне шума, такого глубокого и низкого, словно это был голос самой планеты. Оранжевое небо в

смотровой щели затянулось бельмом. Стекло потемнело; я отпрянул, насколько мне позволил скафандр, и тут же понял, что это тучи. Они лавиной пронеслись вверх и исчезли. Я все падал то на свету, то в тени; капсула летела, вращаясь вокруг вертикальной оси, и огромный, распухший солнечный диск размеренно проплывал перед моим лицом, появляясь слева и заходя справа. Вдруг сквозь шум и треск прямо в ухо затараторил далекий голос:

— Посланец, я — Станция Солярис! Посланец, я — Станция Солярис! Все в порядке. Вы под контролем Станции. Посланец, я — Станция Солярис. Приготовиться к посадке в момент ноль, повторяю, приготовиться к посадке в момент ноль, внимание, начинаю. Двести пятьдесят, двести сорок девять, двести сорок восемь...

Между словами раздавалось отрывистое попискивание — говорил робот. Это было по меньшей мере странно. Обычно, когда прибывает новый, да еще прямо с Земли, все бегут на посадочную площадку. Но думать об этом было некогда. Гигантский круг, описываемый солнцем, и равнина, куда я летел, встали на дыбы; за первым креном последовал второй, в противоположную сторону. Я раскачивался, как диск огромного маятника. Стараясь пересилить дурноту, я заметил на иссеченном грязно-лиловыми и черноватыми полосами фоне планеты маленький квадрат, на котором в шахматном порядке выступали белые и зеленые точки — ориентир Станции. Тут же от верха капсулы что-то с треском оторвалось — длинное ожерелье тормозных парашютов резко захлопало на ветру; в звуках этих было нечто непередаваемо земное — впервые за столько месяцев я услышал шум настоящего ветра.

Дальнейшее произошло очень быстро. До сих пор я просто знал, что падаю. Теперь я это увидел. Бело-зеленая шахматная доска стремительно росла; уже можно было различить, что она нарисована на продолговатом, похожем на кита, серебристом корпусе с выступающими по бокам иглами радарных установок, с рядами темных иллюминаторов. «Кит» не покоился на поверхности планеты, а висел над ней, отбрасывая на чернильно-черный фон тень — более темное пятно в форме эллипса. Одновременно я разглядел фиолетовые борозды Океана, они еле заметно шевелились. Внезапно тучи, по краям ослепительно пурпурные, поднялись высоко вверх; небо между ними, далекое и плоское, было буро-оранжевым. Потом все расплы-

лось: я вошел в штопор. Не успел я подать сигнал, как короткий удар вернул капсулу в вертикальное положение; в смотровой щели вспыхнули ртутным светом волны Океана, простиравшегося до самого горизонта, затянутого дымкой; гудящие стропы и купола парашютов внезапно отделились и полетели над волнами, уносимые ветром, а капсула мягко закачалась, по-особому, медленно, как всегда бывает в искусственном гравитационном поле, и скользнула вниз. Последнее, что я успел заметить, были решетчатые взлетные установки и два огромных, высотой в несколько этажей, зеркала ажурных радиотелескопов. Что-то с пронзительным стальным лязгом остановило капсулу, что-то открылось подо мной, и с протяжным сопением металлическая скорлупа, в которой я находился, закончила путешествие длиной в сто восемьдесят километров.

— Я — Станция Солярис. Ноль-ноль. Посадка закончена. Конец,— услышал я безжизненный голос робота.

На грудь давило, в животе чувствовалась неприятная тяжесть. Обими руками я потянул на себя рукоятки, которые находились на уровне плеч, и разомкнул контакты. Засветилась зеленая надпись ЗЕМЛЯ; стена капсулы раскрылась, пневматическое ложе слегка подтолкнуло меня в спину. Чтобы не упасть, я сделал несколько шагов вперед. С тихим шипением, похожим на печальный вздох, воздух вышел из скафандра. Я был свободен.

Я стоял под высокой, как своды храма, серебристой воронкой. По стенам тянулись, исчезая в круглых люках, пучки разноцветных труб. Я обернулся. Вентиляторы гудели, отсасывая остатки ядовитых газов, проникших сюда при посадке. Пустая, как лопнувший кокон, сигарообразная капсула стояла в круглой впадине стального возвышения. Наружная обшивка капсулы обгорела и стала грязно-коричневой. Я сошел по небольшому скату. Дальше на металл был наварен слой шероховатого пластика. В местах, где обычно катились тележки подъемников ракет, пластик протерся до самой стали.

Вдруг компрессоры замолкли, и стало тихо. Я беспомощно огляделся, ожидая кого-нибудь, но никто не появлялся. Только неоновая стрелка светилась, указывая на бесшумно скользящий эскалатор. Я встал на него. По мере спуска красивые параболические своды зала постепенно переходили в цилиндрический туннель. В нишах грудями валялись баллоны со сжатым газом, контейнеры, кольце-

вые парашюты, ящики. Это меня тоже удивило. Эскалатор заканчивался у круглой площадки. Здесь царил еще больший беспорядок. Под кучей жестяных банок растеклась маслянистая лужа. В воздухе стоял неприятный резкий запах. В разные стороны тянулись следы, четко отпечатавшиеся в липкой жидкости. Между жестяными банками валялись рулоны белых телеграфных лент — вероятно, их вывели из кабин, — клочки бумаги, мусор. И снова засветился зеленый указатель, направляя меня к средней двери. За ней тянулся такой узкий коридор, что в нем трудно было бы разойтись двоим. Свет проникал сквозь нацеленные в небо двояковыпуклые стекла верхних иллюминаторов. Еще одна дверь, разрисованная бело-зелеными шахматными клетками, была приоткрыта. Я вошел в полукруглую кабину. В единственном обзорном иллюминаторе горело затянутое туманом небо. Внизу, бесшумно перекачиваясь, чернели гребни волн. В стенах множество открытых шкафчиков с инструментами, книгами, невымытыми стаканами, пыльными термосами. На грязном полу стояло пять или шесть шагающих столиков, между ними несколько надувных кресел, потерявших всякую форму — воздух из них был частично выпущен.

В единственном исправном кресле с откидной спинкой сидел маленький худенький человек с обожженным солнцем лицом. Нос и скулы у него шелушились. Я знал, что это Снаут, заместитель Гибаряна, кибернетик. Когда-то он поместил в «Соляристическом альманахе» несколько весьма оригинальных статей. Раньше я никогда не видел Снаута.

На Снауте была сетчатая майка, сквозь которую виднелась впалая грудь с седыми волосами, и полотняные брюки с множеством карманов, как у монтажника, когда-то белые, с пятнами на коленях, прожженные реактивами. В руках он держал пластиковую грушу, из какой обычно пьют на кораблях без искусственной гравитации. Снаут смотрел на меня, сощурившись, будто от яркого света. Груша выпала у него из рук и запрыгала по полу, как мячик. Из нее вылилось немного прозрачной жидкости. В лице у Снаута не было ни кровинки. Я был слишком растерян и не мог произнести ни слова. Молчаливая сцена продолжалась до тех пор, пока его страх каким-то странным образом не передался и мне. Я шагнул. Он съехался в кресле.

— Снаут, — шепнул я.

Он вздрогнул, как от удара, и неожиданно с отвращением прохрипел:

— Я тебя не знаю, не знаю. Чего ты хочешь?..

Пролитая жидкость быстро испарялась. Запахло спиртным. Снаут пил? Он пьян? Чего он так боится? Я по-прежнему стоял посредине кабины. Колени у меня дрожали, уши заложило. Пол уходил из-под ног. За выпуклым стеклом иллюминатора размеренно шевелился Океан. Снаут не спускал с меня налитых кровью глаз; он постепенно успокаивался, но по-прежнему глядел на меня с невыразимым отвращением.

— Что с тобой?..— вполголоса спросил я.— Ты болен?

— Ты заботишься...— глухо сказал он.— Ага. Ты станешь заботиться, да? Но почему обо мне? Я тебя не знаю.

— Где Гибарян?

Снаут поперхнулся, глаза у него остекленели, в них что-то вспыхнуло и погасло.

— Ги... Гиба...— выдавил он.— Нет! Нет!!!

Снаут затрясся, беззвучно, бессмысленно хихикая, и вдруг замолк.

— Ты пришел к Гибаряну?..— произнес он почти спокойно.— К Гибаряну? Что ты собираешься с ним сделать?

Он смотрел на меня, словно я сразу перестал представлять для него опасность; в его словах, вернее, в оскорбительном тоне звучала ненависть.

— Что ты говоришь?..— выдавил я, оглушенный.— Где он?

— Ты не знаешь?..— удивленно пробормотал Снаут.

Он пьян, подумал я. Пьян до потери сознания. Я разозлился. Конечно, следовало уйти, но мое терпение лопнуло.

— Опомнись! — рявкнул я.— Откуда я могу знать, где он, если я только что прилетел! Что с тобой, Снаут?!!

У него отвисла челюсть, и он снова поперхнулся. Но неожиданно глаза его заблестели, он выглядел теперь совсем иначе. Трясущимися руками Снаут схватился за поручни кресла и встал с таким трудом, что у него хрустнули суставы.

— Как? — сказал он, почти протрезвев.— Прилетел? Откуда ты прилетел?

— С Земли,— ответил я с яростью.— Может, ты слышал о ней? По-моему, нет!

— С Зе... о Боже... Так ты Кельвин?

— Да. Чего ты так смотришь? Что тут удивительного?

— Ничего,— произнес он моргая,— ничего.

Снаут потер лоб.

— Кельвин, извини, это ничего. Знаешь, так внезапно... Я не ожидал.

— Как не ожидал? Ведь вы получили сообщение несколько месяцев назад, а сегодня Моддард телеграфировал с борта «Прометея».

— Да, да... конечно, только, видишь ли, тут такая неразбериха.

— Пожалуй,— сухо ответил я,— оно и заметно.

Снаут обошел вокруг меня, словно проверяя, как выглядит мой скафандр, самый обычный, со шлангами и проводами на груди. Откашлялся. Потрогал свой острый нос.

— Хочешь искупаться?.. Это тебя взбодрит. Голубая дверь с противоположной стороны.

— Спасибо. Я знаю расположение Станции.

— Может быть, есть хочешь...

— Нет. Где Гибарян?

Снаут подошел к иллюминатору, будто не слыша моего вопроса, и встал ко мне спиной. Сейчас он выглядел значительно старше. Коротко подстриженные седые волосы, глубокие морщины на шее, сожженной солнцем. За стеклом блестели огромные гребни волн, поднимавшихся и опускавшихся так медленно, словно Океан застывал. Казалось, что Станция постепенно соскальзывает с невидимой опоры. Потом возвращается в исходное положение и так же лениво наклоняется в другую сторону. Но вероятно, это был оптический обман. Хлопья слизистой кроваво-красной пены скапливались между волнами. Меня затоснило. Я вспомнил строгий порядок на борту «Прометея» как что-то дорогое, безвозвратно потерянное.

— Послушай,— произнес Снаут неожиданно,— пока только я...— Он обернулся, нервно потер руки.— Тебе придется довольствоваться только моим обществом. Пока. Называй меня Мышонок. Ты знаешь меня только по фотографии, но это неважно, меня все так называют. Я привык. Впрочем, Снаут* — родители слишком увлекались космосом — звучит не лучше. Мышонок — по крайней мере что-то земное...

— Где Гибарян? — настойчиво повторил я.

Снаут заморгал.

* Снаут (spout) — сопло (англ.). Здесь и далее примечания переводчиков.

— Мне неприятно, что я так тебя принял. Здесь... не только моя вина. Я совершенно забыл, тут такое делалось, знаешь...

— А, неважно,— прервал я.— Не надо об этом. Что с Гибаряном? Его нет на Станции? Он куда-нибудь полетел?

— Нет.— Снаут смотрел в угол, заставленный катушками кабеля.— Никуда он не полетел. И не полетит. Именно потому... в частности...

— Что? — спросил я. Уши по-прежнему были заложены, и мне показалось, я не расслышал.— Что это значит? Где он?

— Ведь ты все понимаешь,— произнес Снаут совсем другим тоном.

Он так холодно посмотрел мне в глаза, что у меня по спине пробежали мурашки. Может, он и был пьян, но знал, что говорит.

— Что-нибудь случилось?

— Случилось.

— Несчастье?

Снаут кивнул. Он, видимо, ожидал именно такого вопроса.

— Когда?

— Сегодня на рассвете.

Странно, но я не был потрясен этим сообщением. Скорее, оно успокоило меня и объяснило поведение Снаута.

— Как это случилось?

— Переоденься, разбери свои вещи и возвращайся сюда, ну скажем... через час.

— Хорошо,— согласился я после минутного колебания.

— Подожди,— окликнул он, когда я направился к двери.

В его взгляде было что-то необычное. Я видел: он не в силах выговорить то, что вертится у него на языке.

— Нас было трое, и теперь, вместе с тобой, снова стало трое. Ты знаешь Сарториуса?

— Как и тебя, по фотографии.

— Он наверху, в лаборатории, не думаю, что до ночи он выйдет оттуда, но... во всяком случае, ты его узнаешь. Если ты увидишь кого-нибудь еще, понимаешь, не меня и не Сарториуса, тогда...

— Что тогда?

Не сон ли все это? За окном кроваво-черные волны блеснули в лучах заходящего солнца. Снаут опять сел в кресло, понурив голову и глядя в сторону, на катушки кабеля.

— Тогда... не делай ничего.

— Кого я могу увидеть? Привидение? — разозлился я.

— Понимаю. Ты думаешь, что я сошел с ума. Нет. Не сошел. Я не могу тебе объяснить этого... пока. Впрочем, может быть... ничего не случится. Но ты все-таки помни. Я тебя предупредил.

— О чем? Что ты говоришь?

— Держи себя в руках, — настойчиво твердил свое Снаут. — Веди себя так, словно... Будь готов ко всему. Это невозможно, я знаю, но ты попытайся. Больше я ничего не могу посоветовать.

— Да ЧТО я увижу?! — Я почти кричал, мне страшно хотелось схватить его за плечи и встряхнуть как следует. Я не в силах был видеть, как он сидит, уставившись в угол, смотреть на его измученное, обожженное солнцем лицо, слышать, как он с трудом выдавливает из себя слово за словом.

— Я не знаю. В каком-то смысле это зависит от тебя.

— Галлюцинации?

— Нет. Это реально. Не... нападай. Помни.

— Что ты говоришь?! — произнес я не своим голосом.

— Мы не на Земле.

— Политерии? Но они вообще не похожи на людей! — воскликнул я.

Я понятия не имел, как привести Снаута в себя: перед его остановившимся взглядом стояло что-то бессмысленное и ужасное.

— Именно потому это так страшно, — тихо сказал Снаут. — Помни! Будь осторожен!

— Что случилось с Гибаряном?

Снаут не ответил.

— Что делает Сарториус?

— Приходи через час.

Я повернулся и вышел. Открывая дверь, я посмотрел на него еще раз. Он сидел съежившись, закрыв лицо руками, маленький, с пятнами от реактивов на брюках. Я только сейчас заметил, что у него на пальцах запеклась кровь.

В тоннеле никого не было. Я постоял перед закрытой дверью, прислушиваясь. Стены, вероятно, были тонкие, снаружи доносилось завывание ветра. На двери виднелся небрежно прикрепленный прямоугольный кусочек пластины с надписью карандашом: «Человек». Я смотрел на неразборчивые каракули, и мне вдруг захотелось вернуться к Снауту, но я понял, что это невозможно.

Безумное предупреждение еще звучало у меня в ушах. Скафандр почему-то стал невыносимо тяжелым. Крадучись, словно прячась от невидимого наблюдателя, я вернулся в круглое помещение с пятью дверьми. На них были таблички: «Д-р Гибарян», «Д-р Снаут», «Д-р Сарториус». Четвертая дверь — без таблички. Поколебавшись, я легонько нажал на дверную ручку и медленно открыл дверь. Когда она отодвигалась, мне показалось — я был почти уверен, — что там кто-то есть. Я вошел.

Никого. Такой же, только чуть поменьше, выпуклый иллюминатор, нацеленный на Океан; на солнце Океан отливал жирным блеском, словно по волнам растеклось красноватое оливковое масло. Пурпурный отсвет заполнял всю комнату, похожую на судовую каюту. С одной стороны — полки с книгами, между ними, вертикально у стены, закреплена откидная койка, смонтированная на карданах, с другой — множество шкафчиков, тут же на никелированных рамах — снимки планеты из космоса; в металлических штативах — колбы и пробирки, заткнутые ватой; под иллюминатором — два ряда белых эмалированных ящичков, загораживающих проход. Крышки у некоторых откинута, в ящичках — инструменты и пластиковые шланги; в обоих углах — краны, вытяжной шкаф, морозильные установки, на полу — микроскоп (для него не хватило места на большом столе у иллюминатора).

Обернувшись, я заметил у самого входа шкаф до потолка. Он был приоткрыт. В нем висели комбинезоны, рабочие и защитные халаты, на полках лежало белье, между голенищами антирадиационных сапог поблескивали алюминиевые баллоны для портативных кислородных аппаратов. Два аппарата вместе с масками висели на спинках койки. Следы небрежной, торопливой уборки не могли скрыть царившего здесь беспорядка. Я принюхался. Пахло химическими реактивами, чем-то едким — не хлором ли? Я невольно поискал глазами под потолком зарешеченные

угловые отдушины вентиляции. Приклеенные к их рамам полоски бумаги чуть шевелились, показывая, что компрессоры поддерживают нормальную циркуляцию воздуха. Я снял с двух стульев книги, аппаратуру и инструменты, рассовал их, как сумел, по углам, чтобы освободить хоть немного места возле койки, между шкафом и полками. Пододвинув вешалку для скафандра, я хотел расстегнуть молнию, но тут же остановился. Я никак не мог решиться сбросить скафандр. Мне казалось, без него я стану беззащитен. Еще раз я обвел взглядом всю комнату, проверил, плотно ли закрыта дверь. Она не запиралась, и я, после минутного колебания, придвинул к ней два самых тяжелых ящика. Соорудив такую баррикаду, я в три приема высвободился из своей тяжелой скрипящей оболочки.

В узком зеркале на внутренней стенке шкафа была видна часть комнаты. Там что-то двигалось, я рванул с места, но тут же понял — это мое собственное отражение. Сняв трикотажный костюм, пропотевший под скафандром, я отодвинул шкаф: в нише за ним заблестели стены крошечной душевой. На полу лежала большая плоская коробка. Я с трудом внес ее в комнату. Когда я клал коробку на пол, крышка отскочила, открылись отделения, заполненные странными предметами: множество искаженных изображений или грубых подобию инструментов из темного металла, часть которых напоминала те, что лежали в шкафчиках. Все они никуда не годились — деформированные, искривленные, оплавленные, словно после пожара. Самое удивительное, что повреждены были и керамитовые, то есть практически неплавкие, рукоятки. Ни в одной лабораторной печи нельзя получить температуру их плавления — разве только в атомном реакторе. Из своего скафандра я достал карманный индикатор излучения, поднес к этим странным инструментам — его черная головка молчала.

Сняв плавки и майку, я швырнул их на пол и встал под душ. Сразу стало легче. Я вертелся под упругими, горячими струями, массировал тело, фыркал — старательно, даже слишком старательно, словно пытаюсь смыть с себя какую-то непонятную, отравленную подозрениями неуверенность, заполнявшую Станцию.

Я отыскал в шкафу легкий тренировочный костюм, который годился и под скафандр, переложил в карманы свое скудное имущество; между страницами записной книжки я нащупал что-то твердое — это был неизвестно

как попавший туда ключ от моей квартиры на Земле; я повертел его в руках, не зная, что с ним делать. В конце концов я положил его на стол; потом подумал, что мне может понадобиться какое-нибудь оружие. Универсальный складной нож, конечно, не оружие, но ничего другого у меня не было, а я еще не дошел до такого состояния, чтобы искать лучемер или что-то в этом роде.

Я уселся на металлическом стуле подальше от вещей. Мне хотелось побыть одному. Я с удовлетворением отметил, что у меня есть еще более получаса: ничего не делаешь, я от природы педантичен и пунктуален во всем, даже в мелочах. Стрелки на двадцатичетырехчасовом циферблате показывали семь. Солнце заходило. Семь часов по местному времени, значит, двадцать по бортовому времени «Прометей». На экранах Моддарда планета Солярис, вероятно, уже стала крошечной искоркой и ничем не отличается от звезд. Но какое отношение имел теперь ко мне «Прометей»? Я закрыл глаза. Было абсолютно тихо, если не считать равномерно повторявшегося мяуканья труб. В душевой тихонько постукивала о фаянс вода.

Гибаряна нет в живых. Если я правильно понял Снаута, с момента смерти Гибаряна прошло всего несколько часов. Что с телом? Они его похоронили? Но ведь на такой планете похоронить нельзя. Я довольно долго размышлял об этом, словно не было проблемы важнее. Потом, поняв, что мои раздумья ни к чему не приведут, встал и принялся ходить из угла в угол. Я все время задевал разбросанные книги, какой-то маленький планшет; наклонившись, я поднимал его. В планшете что-то лежало. Это была бутылка из темного стекла, легкая, как бумага. Я посмотрел сквозь бутылку на мрачно красневший, затянутый грязной мглой закат. Что со мной? Почему я обращаю внимание на всякую чепуху, на любую мелочь, попавшуюся под руку?

Я вздрогнул: зажегся свет. В сумерках сработал фотоэлемент. Я все ждал чего-то; напряжение росло, я уже не мог выносить пустоты за спиной. Надо было побороть это чувство. Пододвинув стул к полкам, я взял хорошо знакомый мне второй том старой монографии Хьюза и Эйгеля «История планеты Солярис» и стал листать его, положив толстую книгу на колено.

Планета Солярис была открыта лет за сто до моего рождения. Она вращается вокруг двух солнц — красного и голубого. В течение сорока с лишним лет к ней не приближался ни один космический корабль. В те времена теория

Гамова — Шепли о невозможности возникновения жизни на планетах двойных звезд считалась аксиомой. Орбиты таких планет непрерывно изменяются в результате гравитационных возмущений, происходящих при вращении обоих солнц относительно друг друга.

Возникающие пертурбации попеременно сокращают и растягивают орбиту планеты, и зачатки жизни, если они и возникают, уничтожает то жар излучения, то ледяной холод. Эти изменения происходят в течение миллионов лет, то есть с астрономической или биологической точек зрения (ибо эволюция требует сотен миллионов, если не миллиардов, лет) в очень короткое время.

Солярис, по первоначальным подсчетам, должна была в течение пятисот тысяч лет приблизиться на расстояние, равное половине парсека, к своему красному солнцу, а еще через миллион лет упасть в его раскаленную бездну.

Но уже через десять с небольшим лет ученые убедились, что траектория планеты вовсе не обнаруживает ожидаемых изменений и является столь же постоянной, как траектории планет нашей Солнечной системы.

Были повторены, на этот раз с максимальной точностью, наблюдения и расчеты, подтвердившие только то, что уже было известно: орбита Солярис постоянна.

До тех пор Солярис была одной из сотен ежегодно открываемых планет. В больших статистических таблицах такие планеты отмечены несколькими строками, содержащими основные характеристики их движения. Но теперь Солярис перешла в ранг небесных тел, заслуживающих особого внимания.

Через четыре года планету облетела экспедиция Оттеншельда, исследовавшего Солярис с борта «Лаокоона», сопровождаемого двумя вспомогательными космическими кораблями. Экспедиция носила характер первоначальной рекогносцировки. Она не могла совершить посадку и только вывела на экваториальные и полярные орбиты значительное количество автоматических спутников-наблюдателей, в задачи которых в основном входили замеры гравитационных потенциалов. Кроме того, была исследована поверхность планеты. Она почти полностью покрыта Океаном, лишь немногие плоскогорья возвышаются над его уровнем. Их общая площадь не достигает территории Европы, хотя диаметр Соляриса на двадцать процентов больше земного. Эти беспорядочно рассеянные островки скалистой и пустынной суши сосредоточены в основном в

южном полушарии. Был изучен также состав атмосферы, не содержащей кислорода, и чрезвычайно тщательно измерена плотность планеты, а также ее освещенность и другие астрономические характеристики. Как и предполагалось, никаких признаков жизни найти не удалось — ни на суше, ни в Океане.

В течение следующих десяти лет Солярис, теперь уже находившаяся в центре внимания всех обсерваторий этой части Вселенной, обнаруживала поразительную тенденцию к сохранению своей, вне всякого сомнения, гравитационно нестационарной орбиты. Некоторое время дело пахло скандалом, так как вину за такой результат наблюдений пробовали взвалить (ради блага науки) то на отдельных людей, то на счетные машины, которыми эти люди пользовались.

Из-за отсутствия средств научная соляристическая экспедиция задержалась еще на три года, пока Шенаган, собрав экипаж, не получил от Института три корабля тоннажа С, космодромного класса. За полтора года до прибытия экспедиции, стартовавшей в районе альфы Водолея, второй исследовательский флот вывел, по поручению Института, на околосолярийскую орбиту автоматический Сателлоид — Луну 247. Этот Сателлоид после трех очередных реконструкций, отделенных друг от друга десятилетиями, работает и поныне. Собранные им данные окончательно подтвердили наблюдения экспедиции Оттеншельда относительно активного характера движения Океана.

Один корабль Шенагана остался на высокой орбите, а два других после предварительной подготовки совершили посадку на скалистом участке суши площадью около 600 квадратных миль, у Южного полюса планеты Солярис. Работа экспедиции длилась восемнадцать месяцев и в основном прошла успешно, если не считать одного несчастного случая из-за неисправности в аппаратуре.

Но ученые, входившие в состав экспедиции, разделились на два противоборствующих лагеря. Предметом спора стал Океан. На основании анализов его сочли органическим образованием (назвать его живым тогда еще никто не осмеливался). Биологи видели в нем примитивное образование, некое гигантское соклетие, то есть одну чудовищно разросшуюся жидкую клетку (они называли это образование «добиологической формацией»), которая окружила всю планету студенистым покровом, достигающим кое-где не-

скольких миль глубины. Астрономы и физики утверждали, что это должна быть чрезвычайно высоко организованная структура, возможно превосходящая по сложности строения земные организмы, раз она может активно влиять на формирование планетной орбиты. Ибо никакой другой причины, объясняющей поведение Солярис, открыть не удалось, а кроме того, планетологи обнаружили связь между некоторыми процессами в плазматическом Океане и местным гравитационным потенциалом, который менялся в зависимости от океанического «обмена веществ».

Так физики, а не биологи предложили парадоксальное определение — «плазматическая машина», понимая под этим образование, в нашем значении, возможно, и не живое, но способное к целенаправленным действиям, добавим сразу — в астрономическом масштабе.

В этом споре, который, подобно водовороту, захватил в течение нескольких недель все самые выдающиеся авторитеты, впервые за 80 лет пошатнулась доктрина Гамова — Шепли.

Кое-кто еще пытался защитить ее, утверждая, что Океан не имеет ничего общего с живой материей, что он представляет собой даже не «вне- или добиологическое» образование, а только геологическую формацию, конечно, не обычную, но способную всего лишь стабилизировать орбиту Солярис, изменяя силы тяготения; защитники ссылались на принцип Ле-Шателье.

Наперекор этому консервативному мнению появились гипотезы, провозглашавшие (как одна из наиболее разработанных — гипотеза Чивита — Витта), что Океан — результат диалектического развития; от своей первоначальной формы, от Праокеана, раствора вяло реагирующих химических веществ, он сумел под влиянием неблагоприятных условий (то есть угрожающих его существованию изменений орбиты) перейти, минуя земные ступени развития — возникновение одноклеточных и многоклеточных организмов, растительную и животную эволюцию, образование нервной системы и мозга, — прямо в стадию «гомеостатического океана». Иными словами, в отличие от земных организмов, сотни миллионов лет приспособлявавшихся к окружающей среде и только в конце такого длительного периода давших начало разумным существам, Океан сразу стал господствовать над окружающими условиями.

Все это было весьма оригинально, но никто по-прежнему не знал, каким образом студенистый сироп может

стабилизировать орбиту небесного тела. Почти целый век были известны устройства, создающие искусственные силовые гравитационные поля, — гравитаторы, но никто понятия не имел, как аморфная жижа может давать эффект, представлявший собой — в гравитаторах — результат сложных ядерных реакций и высоких температур. В газетах, в то время развлекавших читателей и приводивших в ужас ученых самыми низкопробными выдумками на тему «тайна планеты Солярис», встречались даже утверждения, что Океан — дальний родственник... земных электрических угрей.

Когда удавалось хоть в какой-то степени разрешить одну проблему, оказывалось — так потом не раз бывало с планетой Солярис, — что вместо одной загадки возникала другая, еще более невероятная.

Исследования показали, что Океан вовсе не действует по принципу наших гравитаторов (что, кстати, невозможно), а обладает способностью непосредственно моделировать метрику времени-пространства, что ведет, в частности, к отклонениям в измерении времени на одном и том же меридиане Солярис. Таким образом, Океан не только в известном смысле знает следствия теории Эйнштейна — Беви, но и может их использовать (чего нельзя сказать о нас).

В научном мире такие выводы произвели настоящий переворот — один из самых грандиозных в нашем столетии. Всеми признанные, непреложные теории рухнули, в научной литературе появились самые еретические статьи, всех взбудоражила альтернатива: «гениальный Океан или гравитационный студень».

Это происходило лет за двадцать до моего рождения. Когда я учился в школе, Солярис благодаря установленным к тому времени фактам была уже признана планетой населенной — но всего одним обитателем...

Второй том Хьюза и Эйгеля, который я продолжал листать почти машинально, начинался с систематики, столь же оригинальной, сколь забавной. В классификационной таблице фигурировали по очереди: тип — политерии (Politeria), порядок — соклетные (Synscytialia), класс — метаморфные (Metamorphia).

Словно нам было известно бог знает сколько представителей данного вида, в то время как представитель был только один — правда, весом 17 миллиардов тонн.

Я быстро перелистывал пестрые диаграммы, разноцветные графики, данные спектральных анализов, демонстрирующие тип и темп основного обмена, его химические реакции. Чем дальше углублялся я в объемистый том, тем больше математики было на мелованных страницах; казалось, мы абсолютно все знаем об этом представителе класса метаморфных, который лежал во тьме четырехчасовой ночи в нескольких сотнях метров от стального днища Станции.

В действительности не все еще пришли к единому мнению, «существо» ли это, а тем более — можно ли Океан назвать разумным. Я затолкнул огромный том на полку и вытащил следующий. Он состоял из двух частей. В первой кратко излагались эксперименты, сделанные во время бесчисленных попыток установить контакт с Океаном. Я прекрасно помнил, что в мои студенческие годы эти попытки вызвали нескончаемые анекдоты, шутки и насмешки. По сравнению с теми дебрями, в которые завел ученых вопрос контакта, даже средневековая схоластика казалась ясным, доступным, не вызывающим трудности академическим курсом. Вторую часть тома, насчитывающую почти тысячу триста страниц, составляла только библиография предмета. Сама же литература по этому вопросу наверняка не поместилась бы в комнате, где я сидел.

Сначала контакт пытались установить при помощи специальных электронных аппаратов, трансформирующих импульсы, посылаемые в обоих направлениях. Сам Океан принимал активное участие в разработке этих аппаратов. Работа шла вслепую. Что означали слова «принимал участие в разработке»? Океан модифицировал некоторые узлы погружаемых в него приборов, в результате чего менялись записываемые ритмы разрядов; регистрирующая аппаратура отмечала мириады сигналов, напоминающих обрывки сложнейших математических операций, но что это было? Может, это были данные о временном возбуждении Океана? А может, импульсы, где-то далеко, за тысячи миль от исследователей, порождающие его огромные образования? Или переведенные на никому не доступный электронный язык отражения извечных истин этого Океана? Или его произведения искусства? Кто же мог дать ответ, если невозможно было дважды получить одну и ту же реакцию на раздражитель? Если Океан откликался то взрывом импульсов, чуть не разносившим на куски аппа-

ратуру, то глухим молчанием? Если ни один опыт нельзя было повторить? Все время казалось, что мы вот-вот расшифруем непрестанно растущую лавину записей; для переработки этой информации создавались электронные машины такой мощности, какой не требовало до сих пор решение ни одной проблемы. Действительно, некоторые результаты удалось получить. Океан — источник электрических, магнитных, гравитационных импульсов — говорил как будто бы на математическом языке. Некоторые всплески его разрядов можно было классифицировать, используя наиболее отвлеченные области математики, теорию множеств; там появлялись гомологи структур, известных в той области физики, которая рассматривает вопрос взаимоотношения энергии и материи, конечных и бесконечных величин, частиц и полей. Все это склоняло ученых к убеждению, что перед ними — мыслящее чудовище, скажем, нечто вроде исполински разросшегося, опоясавшего всю планету, протоплазматического моря-мозга, который проводит время в невиданных по своей широте теоретических рассуждениях о сущности мироздания, а наши аппараты улавливают лишь незначительные, случайно подслушанные обрывки этого извечного, глубинного, превосходящего всякую возможность нашего понимания гигантского монолога.

Таково было мнение математиков. Их гипотезы одни рассматривали как пренебрежение к человеческим возможностям, как преклонение перед чем-то, чего мы еще не понимаем, как попытку воскресить древнюю доктрину «*Ignoramus et ignorabimus*»*; другие же считали, что все это вредные и бесплодные разглагольствования, что в гипотезах математиков отражается мифология наших дней, усматривающая в гигантском мозге, безразлично, электронном или плазматическом, высшую цель существования, сумму бытия.

А некоторые... Впрочем, исследователей и точек зрения было бесконечное множество. А ведь, кроме поисков контакта, существовали и другие области соляристики, где специализация стала такой узкой, особенно за последнюю четверть века, что солярист-кибернетик и солярист-симметриадолог с трудом понимали друг друга. «Как же вы договоритесь с Океаном, если друг с другом договориться не можете?» — в шутку спросил как-то Вейбеке, который в

* «Мы не знаем и не узнаем» (лат.).

мои студенческие годы был директором Института. В его шутке было немало правды.

Океан не случайно был отнесен к классу метаморфных. Его движущаяся поверхность могла давать начало самым различным формам, совершенно не похожим на земные, причем целенаправленность — адаптационная, познавательная или какая-либо другая — этих нередко бурных извержений плазматического «творчества» оставалась абсолютной загадкой.

Ставя обратно на полку том, такой тяжелый, что мне пришлось поддерживать его обеими руками, я подумал, что наши сведения о планете Солярис, заполняющие библиотеки, — бесполезный балласт. Мы увязли в фактах, но знаем не больше, чем семьдесят лет назад, когда начинали их собирать. Впрочем, мы в худшей ситуации — ведь весь труд этих лет оказался напрасным.

Наши точные сведения состояли из одних только отрицательных суждений. Океан не пользовался машинами и не строил их, хотя в определенных условиях казался способным к этому — он иногда копировал части погруженной в него аппаратуры; делал он это лишь на первом и втором году исследовательских работ; потом он игнорировал все повторяемые с бесконечным терпением опыты, словно потерял всякий интерес к нашим приборам и изделиям, а может, и к нам самим... Океан не обладал — я продолжаю перечислять наши «отрицательные» сведения — ни нервной системой, ни клетками, ни структурой, напоминающей белковую; он не всегда реагировал на раздражители, даже на самые сильные (так, он полностью «проигнорировал» катастрофу вспомогательного ракетного корабля второй экспедиции Гизе, упавшего с высоты трехсот километров на поверхность планеты и уничтожившего ядерным взрывом своих атомных реакторов плазму в радиусе полутора миль).

Постепенно в научных кругах «дело Солярис» стало звучать как «безнадежное дело», а среди ученых, руководивших Институтом, в последние годы раздавались голоса, требовавшие урезать дотации на дальнейшие исследования. Заговорить о ликвидации Станции пока никто не осмеливался; это было бы явным признанием поражения. Впрочем, кое-кто в частных беседах замечал, что самое главное — по возможности «почетно» закончить «аферу Солярис».

Однако для многих, особенно для молодежи, «афера» постепенно становилась чем-то вроде пробного камня. «В сущности,— говорили они,— дело не в разгадке солярийской цивилизации, а в нас самих, в границах человеческого познания».

Одно время была популярна точка зрения (усердно распространяемая газетами), что мыслящий Океан, омывающий всю планету Солярис,— гигантский мозг, опередивший в своем развитии нашу цивилизацию на миллионы лет, что это какой-то «космический йог», мудрец, воплощенное всеведение, что он уже давно постиг тщетность всякого действия и поэтому встречает нас полным безмолвием. Но это был ложный взгляд. Живой Океан действует, да еще как! Правда, он действует иначе, чем представляют себе люди: он не строит ни городов, ни мостов, ни летательных аппаратов, не пытается ни победить, ни преодолеть пространство (те, кто старался любой ценой доказать превосходство человека, усматривали в этом наше неопределимое преимущество). Он занят тысячекратными превращениями,— «онтологическим аутометаморфозом» (ученых терминов на страницах соляристических трудов было предостаточно!).

Тому, кто станет тщательно изучать всевозможные данные о планете Солярис, трудно избавиться от впечатления, что перед ним обломки интеллектуальных построений, быть может и гениальных, перемешанные как попало с плодами полнейшей, граничащей с безумием глупости. Поэтому в противоположность концепции «Океана-йога» родилась теория «Океана-дебила».

Эти гипотезы вновь воскресили одну из древнейших философских проблем: проблему взаимоотношения материи и духа, сознания. Тому, кто первым, как Дю-Гаарт, наделил Океан сознанием, требовалось немало мужества. Проблема, которую сразу же признали метафизической, незримо присутствовала почти во всех дискуссиях и спорах. Возможно ли мышление вне сознания? Можно ли процессы, происходящие в Океане, назвать мышлением? Справедливо ли утверждение, что гора не что иное, как очень большой камень, а планета не что иное, как очень большая гора? Можно пользоваться этими терминами, однако новое соотношение величин раскрывает иные закономерности и иные явления.

Проблема эта стала современной квадратурой круга. Каждый самостоятельно мыслящий ученый старался

внести в сокровищницу соляристики свой вклад; появлялось множество теорий. Одни из них утверждали, что перед нами продукт вырождения, регресса, наступившего после фазы «интеллектуального расцвета» Океана. Другие объявляли Океан глеевым новообразованием, которое, зародившись в телах прежних жителей планеты, разъело и поглотило их, сплавив останки в вечно существующую, самоомолаживающуюся, внеклеточную стихию.

Лампы излучали белый, похожий на земной, свет. Я снял со стола приборы и книги, разложил на пластиковой доске карту Солярис и, опираясь руками о металлические края стола, начал рассматривать ее. У живого Океана были свои отмели и глубины, а налет выветривающихся минералов, покрывающий его острова, свидетельствовал, что когда-то эти острова были дном Океана. Регулировал ли он также перемещение на поверхность и в глубину скрывавшихся в нем твердых пород, было совершенно неясно. Я снова, как в детстве, когда впервые услышал в школе о существовании Солярис, был потрясен видом огромных полушарий, раскрашенных в разные тона фиолетового и голубого цветов.

Не знаю почему, но все: и неотступно ждущая разгадки тайна смерти Гибаряна, и даже мое неизвестное будущее — показалось мне вдруг таким незначительным. Я ни о чем не думал, погруженный в созерцание карты, никого не оставлявшей равнодушным.

Отдельные участки «живообразования» были названы именами исследователей, посвятивших себя их изучению. Рассматривая омывающий экваториальные архипелаги глеемассив Тексалла, я вдруг почувствовал чей-то взгляд.

Я все еще стоял над картой, но уже не видел ее, оцепенев от страха. Дверь напротив меня была забаррикадирована ящиками и придвинутым к ним шкафчиком. Наверное, робот, подумал я, хотя до этого в комнате не было ни одного робота, а войти незаметно он не мог. Кожу на шее и спине начало жечь, ощущение тяжелого неподвижного взгляда становилось невыносимым. Я бессознательно втягивал голову в плечи и все сильнее опирался о стол. Вдруг стол медленно заскользил по полу. Я пришел в себя и резко обернулся.

Комната была пуста. Передо мной зияла чернота большого полукруглого иллюминатора. Странное чувство не исчезало. На меня смотрела темнота — необъятная, безликая, безглазая, безграничная. За стеклами, во мраке, не

светилась ни одна звезда. Я задернул светонепроницаемые шторы. Не пробыв на Станции и часа, я уже начинал понимать, почему здесь у некоторых возникает мания преследования. Невольно вспомнилась смерть Гибаряна. Я хорошо знал его и до сих пор был уверен, что он ни при каких обстоятельствах не потерял бы ясности ума. Теперь эта уверенность исчезла.

Я стоял посреди комнаты возле стола. Дыхание стало спокойнее, пот на лбу высыхал. О чем же я только что думал? А, о роботах. Я не видел их ни в коридоре, ни в комнатах. Странно. Куда они все подевались? Единственный, с которым я имел дело — и то на расстоянии, — обслуживал космодром. А где остальные?

Я посмотрел на часы. Пора было идти к Снауту.

Я вышел. Коридор довольно слабо освещали люминесцентные лампы под потолком. Миновав две двери, я дошел до третьей, с табличкой «Д-р Гибарян». Я долго стоял перед ней. На Станции было тихо. Я взялся за дверную ручку. По правде говоря, мне совсем не хотелось туда входить. Ручка повернулась, дверь на дюйм отодвинулась, образовалась щель, сначала черная, потом в комнате зажегся свет. Теперь меня мог увидеть каждый, кто шел по коридору. Я быстро перешагнул порог, бесшумно и плотно задвинул за собой дверь. Потом повернулся.

Я стоял, почти касаясь спиной двери. Комната была больше моей, с таким же обзорным иллюминатором, на три четверти задернутым занавеской с розовыми и голубыми цветочками, несомненно привезенной с Земли. Вдоль стен — книжные полки и шкафчики, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, отливавший серебром. Их содержимое свалено прямо на пол, между табуретками и креслами. Передо мной — два шагающих столика, перевернутых и частично погребенных под кипами журналов в разорванных папках. Раскрытые веером страницы книг залиты жидкостями из разбитых колб и флаконов с притертыми пробками. Колбы и флаконы были из такого толстого стекла, что, просто упав на пол, даже с большой высоты, ни за что не разбились бы. Под окном — перевернутый письменный стол с разбитой настольной лампой на раздвижном кронштейне, ножки табурета всунуты в выдвинутые ящики стола. Весь пол усыпан карточками, исписанными листками, какими-то бумагами. Я узнал почерк Гибаряна. Поднимая разрозненные листки, я заметил, что моя рука отбрасывает не одну, а две тени.

Я обернулся. Розовая занавеска пылала, словно подожженная сверху. Резкая линия ослепительно голубого огня разгоралась с каждой секундой. Я отдернул занавеску — в глаза ударил невиданный пожар. Он охватывал треть горизонта. Длинные, чудовищно вытянутые переплетенные тени бежали между волнами к Станции. Это был восход. В той зоне, где находилась Станция, после ночи, длившейся всего один час, на небо поднималось второе, голубое солнце.

Автоматический выключатель погасил светильники. Я вернулся к разбросанным бумагам. Среди них я нашел краткое описание опыта, намеченного три недели назад: Гибарян намеревался воздействовать на плазму сверхжестким излучением. По содержанию я понял, что держу в руках копию инструкции для Сарториуса, который должен был провести эксперимент. Белые листы бумаги слепили глаза. Наступивший день отличался от предыдущего. Под оранжевым небом остывавшего солнца Океан — чернильный с кровавыми отблесками — почти всегда покрывала грязно-розовая мгла, в ней сливались небосвод, тучи и волны. Теперь все исчезло. Даже сквозь розовую ткань свет напоминал лучи мощной кварцевой лампы. Загар на моих руках выглядел почти серым. Комната изменилась: предметы красного цвета стали блекло-коричневыми, как сырая печенка, а белый, зеленый и желтый цвета — такими резкими, будто излучали собственное сияние. Прищурившись, я посмотрел в иллюминатор: сверху пылало белое море огня, внизу колыбался и дрожал жидкий металл. Я зажмурился: в глазах поплыли красные круги. На умывальнике (край его был разбит) я заметил черные очки и надел их — они закрыли почти пол-лица. Занавеска светилась теперь, как пламя натрия. Я стал читать дальше, подбирая листы и складывая их на единственном неперевернутом столике. Части текста не хватало.

Дальше шли протоколы уже проведенных опытов. Из них я узнал, что в течение четырех дней в точке, отстоявшей на тысячу четыреста миль к северо-востоку от теперешнего положения Станции, на Океан воздействовали облучением. Для меня это было полной неожиданностью — ведь из-за губительного действия сверхжестких лучей их применение запрещено конвенцией ООН. Я был абсолютно уверен, что никто не запрашивал у Земли разрешения на такие эксперименты. Подняв голову, я заметил в зеркале приоткрытой дверцы шкафа свое отражение: мертвенно-

бледное лицо и черные очки. Комната, пылавшая белым и голубым, выглядела совершенно невероятно. Через несколько минут послышался протяжный скрежет, и снаружи иллюминатор закрыла светонепроницаемая заслонка; потемнело, зажегся искусственный свет, казавшийся теперь странно тусклым; становилось все жарче, ритмичные звуки кондиционера стали похожи на отчаянное поскуливание — холодильные установки Станции работали на полную мощность. И все же мертвящий зной нарастал.

Послышались шаги. Кто-то шел по коридору. Стараясь не шуметь, я в два прыжка очутился у двери. Шаги стали медленнее и смолкли. Тот, кто шел, остановился. Дверная ручка чуть повернулась. Я инстинктивно схватил ее и придержал. Тот, с другой стороны двери, по-прежнему нажимал на ручку, молча, словно захваченный врасплох. Так мы простояли довольно долго. Вдруг ручка подпрыгнула в моей ладони — ее отпустили. Раздался слабый шорох — тот уходил. Я подождал, прислушиваясь, — ни звука.

ГОСТИ

Я торопливо сложил вчетверо и спрятал в карман записки Гибаряна, медленно подошел к шкафу и заглянул в него: комбинезоны и одежда были смяты и сдвинуты в один угол, словно там кто-то прятался. Из-под бумаг на полу выглядывал уголок конверта. Я поднял его: на нем стояло мое имя. Спазма перехватила мне горло. Я распечатал конверт и, пересилив себя, развернул небольшой листок бумаги, вложенный в него.

Своим необыкновенно мелким четким почерком Гибарян записал: «Соляристический ежегодник, т. I, прилож., а также особ. мн. Мессенджера о ф.; «Малый Апокриф» Равинцера». И все. Больше ни слова. Вероятно, писавший торопился. Может, это что-нибудь важное? Когда он писал? Нужно как можно скорее пойти в библиотеку. О приложении к первому тому «Соляристического ежегодника» я знал, то есть слышал, что оно существует, но никогда не держал его в руках, поскольку оно представляло собой только историческую ценность. Однако я понятия не имел ни о Равинцере, ни о «Малом Апокрифе».

Что делать?

Я уже опаздывал на четверть часа. От двери я еще раз оглядел всю комнату. Только теперь я заметил закреплен-

ную вертикально у стены складную койку — ее заслоняла развернутая карта Солярис. За картой что-то висело. Это был карманный магнитофон в футляре. Я вынул аппарат, футляр повесил на прежнее место, а магнитофон сунул в карман. Судя по счетчику, почти вся кассета была использована.

Зажмурившись, я секунду постоял у двери, напряженно вслушиваясь. Тишина. Я открыл дверь, коридор показался мне черной пропастью; я снял очки и увидел слабый свет ламп. Закрыв за собой дверь, я пошел влево, к радиостанции.

Я приблизился к круглой камере, от которой наподобие колесных спиц расходились коридоры. Минувя какой-то тесный боковой проход, кажется к душевым, я увидел крупную, неясно очерченную, почти сливающуюся с полумраком фигуру.

Я остановился как вкопанный. Из глубины коридора неторопливой, переваливающейся походкой шла огромная негритянка. Я увидел блеск ее белков и почти одновременно услышал мягкое шлепанье босых ступней. На ней была только набедренная повязка, желтоватая, блестящая, словно сплетенная из соломы; огромные груди отвисли, а черные руки были толщиной с ляжку обычного человека; она прошла в метре от меня, даже не взглянув в мою сторону, и удалилась, покачивая слоновьим задом, похожая на те древние каменные изображения, которые встречаются иногда в антропологических музеях. Там, где коридор сворачивал, она повернулась и исчезла в кабине Гибаряна. Открывая дверь, она на миг попала в полосу света, падавшего из комнаты. Дверь тихо закрылась, и я остался один. Правой рукой я схватил кисть левой и стиснул изо всех сил, так, что захрустели кости. Потом растерянно огляделся. Что происходит? Что это? Вспомнив предостережение Снаута, я вздрогнул, как от удара. Что оно означало? Кто эта чудовищная Афродита? Откуда она? Я сделал один, только один шаг к кабине Гибаряна и застыл. Я прекрасно понимал, что не войду туда. Я глубоко втянул воздух, что-то было не так... Ах, да! Ведь я подсознательно ждал неприятного, резкого запаха пота, но, даже когда она проходила мимо меня, ничего не почувствовал.

Не знаю, сколько я простоял, опершись о холодный металл стены. На Станции не раздавалось ни звука, кроме далекого монотонного писка кондиционеров.

Я похлопал себя по щекам, чтобы опомниться, и медленно направился к радиостанции. Когда я поворачивал ручку, раздался резкий голос:

— Кто там?

— Это я, Кельвин.

Снаут сидел за столиком между грудой алюминиевых коробок и пультом передатчика и ел прямо из банки мясные консервы. Не знаю, почему он поселился на радиостанции. Ошеломленный, я стоял в дверях, глядя на его нервно жующие челюсти, и вдруг почувствовал, что голоден. Я подошел к полкам, из стопки тарелок выбрал не очень пыльную и сел напротив Снаута. Сначала мы ели молча; потом Снаут встал, вынул из стенного шкафа термос и налил по стакану горячего бульона. Ставя термос на пол (на столике уже не было места), он спросил:

— Ты видел Сарториуса?

— Нет. Где он?

— Наверху.

Наверху помещалась лаборатория. Мы снова замолчали. Банку мы выскоблили дочи́ста. На радиостанции была ночь. Иллюминатор был плотно закрыт снаружи, на потолке горело четыре круглых светильника. Их отражения дрожали в пластиковом корпусе передатчика.

На обтянутых кожей скулах Снаута проступали красные жилки. Он был теперь в черном просторном обтрепанном свитере.

— Что с тобой? — спросил Снаут.

— Ничего. А что?

— Ты вспотел.

Я вытер рукой лоб. Действительно, я весь обливался потом. Это, вероятно, была реакция. Снаут ждал. Рассказать ему? Я хотел, чтобы Снаут сам проявил ко мне больше доверия. Кто тут вел игру? Против кого? И какую?

— Жарко. Я думал, что кондиционеры у вас лучше работают.

— Через часок температура будет нормальная. А ты только от жары вспотел?

Он уставился на меня. Я старательно жевал, притворяясь, будто не замечаю его взгляда.

— Что ты собираешься делать? — спросил Снаут, когда мы кончили есть.

Он бросил всю посуду и пустые банки в умывальник у стены и опять сел в кресло.

— Присоединюсь к вашей работе,— флегматично ответил я.— У вас ведь есть какой-то план исследований? Какой-то новый раздражитель, кажется рентген или что-то в этом роде, да?

— Рентген? — удивился Снаут.— От кого ты услышал?

— Не помню. Кто-то мне говорил. Может, на «Прометее». А что? Вы уже его применяете?

— Подробности мне не известны. Это была идея Гибаряна. Он начал вместе с Сарториусом. Но откуда ты об этом знаешь?

Я пожал плечами.

— Тебе не известны подробности? Ты должен присутствовать при опытах, ведь это входит в круг твоих обязанностей...— Я не закончил.

Снаут молчал. Писк кондиционеров затих, температура была сносной. В воздухе висел только непрерывный высокий звук, напоминающий жужжание мухи в паутине. Снаут встал, подошел к пульту управления и бессмысленно принялся щелкать переключателями — главный рубильник был выключен. Спустя некоторое время он, не поворачивая головы, заметил:

— Надо будет все оформить... знаешь...

— Да?

Он повернулся и посмотрел на меня чуть ли не с бешенством. Не могу сказать, что я умышленно старался вывести его из равновесия. Просто, ничего не понимая в игре, которая тут происходила, я предпочитал быть сдержанным. Под воротом черного свитера у него двигался острый кадык.

— Ты был у Гибаряна,— сказал Снаут неожиданно. Это не был вопрос. Я спокойно смотрел ему в лицо.

— Ты был в его комнате,— повторил он.

Я кивнул, как бы говоря: «Ну, предположим». Мне хотелось, чтобы он продолжал.

— Кто там был? — спросил Снаут.

Он знал о ней!!!

— Никого. А кто там мог быть? — спросил я.

— Тогда почему ты меня не впустил?

Я усмехнулся.

— Испугался. Ты же меня предупреждал. Когда ручка повернулась, я инстинктивно придержал ее. Почему ты не сказал, что это ты? Я бы тебя впустил.

— Я думал, что там Сарториус,— произнес он неуверенно.

— Ну и что?

— Как ты думаешь... Что там произошло? — ответил он вопросом на вопрос.

Я колебался.

— Ты должен знать лучше меня. Где он?

— В холодильнике, — тотчас объяснил Снаут. — Мы перенесли его сразу же утром... из-за жары.

— Где ты его нашел?

— В шкафу.

— В шкафу? Он уже был мертв?

— Сердце еще билось, но он уже не дышал. Это была агония.

— Ты пытался его спасти?

— Нет.

— Почему?

Снаут помедлил.

— Я не успел. Он умер прежде, чем я его положил.

— Он стоял в шкафу? Между комбинезонами?

— Да.

Снаут взял с небольшого письменного стола в углу листов бумаги и положил его передо мной.

— Я набросал предварительный акт, — проговорил он. — Хорошо, что ты осмотрел комнату. Причина смерти... смертельная доза перносталы. Там написано.

Я пробежал глазами краткий текст.

— Самоубийство... — повторил я тихо. — А причина?..

— Нервное расстройство... депрессия... или как это называется, в этом ты разбираешься лучше меня.

— Я разбираюсь только в том, что сам вижу, — возразил я и посмотрел ему в глаза.

— Что ты хочешь этим сказать? — спокойно спросил Снаут.

— Он ввел себе перностал и спрятался в шкаф? Если было именно так, то это не депрессия, не нервное расстройство, а острый психоз. Паранойя... Вероятно, ему казалось, будто он что-то видит... — продолжал я все медленней, глядя в упор на Снаута.

Он отошел к радиопульту и снова начал щелкать переключателями.

— Здесь твоя подпись, — заговорил я после минутного молчания. — А Сарториус?

— Он в лаборатории. Я уже сказал тебе. Он не показывается, я думаю...

— Что?

— Что он заперся.

— Заперся? Ах, заперся. Вот как. Может, забаррикадировался?

— Может быть.

— Снаут,— начал я,— на Станции кто-то есть.

— Ты видел?!

Он нагнулся ко мне.

— Ты предостерегал меня. От кого? Это галлюцинация?

— Что ты видел?

— Это человек, да?

Снаут не ответил. Он отвернулся к стене, вероятно желая спрятать от меня лицо. Он барабанил пальцами по металлической перегородке. Я заметил, что на них уже не было крови. И меня осенило.

— Этот человек реален,— проговорил я тихо, почти шепотом, словно нас могли подслушать.— Да? До него можно дотронуться? Его можно... ранить... последний раз ты видел его сегодня.

— Откуда ты знаешь? — Снаут стоял не поворачиваясь, касаясь грудью стены, пригвожденный к ней моими словами.

— Прямо перед моей посадкой. Незадолго до этого?

Снаут сжался, как от удара. Я увидел его обезумевшие глаза.

— Ты?!! — выдавил он из себя.— А ты-то сам кто?!

Казалось, он вот-вот бросится на меня. Этого я не ожидал. Все стало с ног на голову. Он не верит, что я тот, за кого себя выдаю? Что это значит?! Он смотрел на меня с непередаваемым ужасом. Сумасшествие? Отравление? Все возможно. Но я видел... Видел это чудовище, а значит, и я сам... тоже?..

— Кто это был? — спросил я.

Мои слова несколько успокоили Снаута, но взгляд его все еще оставался недоверчивым. Я уже понимал, что сделал ложный шаг и что он мне не ответит.

Снаут медленно опустился в кресло и обхватил голову руками.

— Что тут творится?... — тихо начал он.— Бред...

— Кто это был? — повторил я.

— Если ты не знаешь... — буркнул он.

— То что?

— Ничего.

— Снаут, — проговорил я, — мы не дома. Давай играть в открытую. Все и так запуталось.

— Что тебе нужно?

— Мне нужно, чтобы ты сказал, кого ты видел.

— А ты?.. — подозрительно произнес он.

— Снаут, ты ходишь по кругу. Я скажу тебе, и ты мне скажи. Можешь не волноваться, я не приму тебя за сумасшедшего, так как знаю...

— За сумасшедшего? Господи, Боже мой! — Он попытался рассмеяться. — Милый мой, да ты ничего... Совершенно ничего... Безумие было бы спасением. Если бы он хоть на минуту поверил, что сошел с ума, он не поступил бы так, он был бы жив...

— Значит, ты солгал, написав в акте о нервном расстройстве?

— Разумеется!

— Почему же не написать правду?

— Почему? — переспросил он.

Наступило молчание. Я снова зашел в тупик, я опять ничего не понимал, ведь мне показалось, что я смогу убедить его и мы сообща попробуем разгадать загадку. Почему, почему он не хочет говорить?

— Где работы?

— На складе. Мы заперли всех, кроме тех, кто на космодроме.

— Зачем?

Он не ответил.

— Ты не скажешь?

— Я не могу.

Что за чертовщина? Может, пойти наверх, к Сартриусу? Вдруг я вспомнил записку, она показалась мне самым важным.

— Как же мы будем работать в таких условиях?

Снаут презрительно пожал плечами.

— Какое это имеет значение?

— Ах, даже так? Что же ты намерен делать?

Снаут молчал. Где-то вдали зашлепали босые ноги. Среди никеля и пластика, высоких шкафов с электронной аппаратурой, стекла, точных приборов это ленивое шлепанье звучало как дурацкая шутка какого-то безумца. Шаги приближались. Я встал, напряженно следя за Снаутом. Он прислушивался сощурившись, но вовсе не выглядел испуганным. Значит, он боялся *не ее*?

— Откуда она взялась? — спросил я.

Ответа не последовало.

— Ты не хочешь говорить?

— Мне не известно.

— Ладно.

Шаги удалились и затихли.

— Не веришь? — проговорил Снаут. — Честное слово, я не знаю.

Я открыл шкаф и стал раздвигать тяжелые неуклюжие скафандры. Как я и предполагал, в глубине, на крюках, висели газовые пистолеты для полета в пространстве без гравитации. Конечно, они не оружие, но газовый пистолет лучше, чем ничего. Я проверил заряд и повесил пистолет в футляре на плечо. Снаут внимательно наблюдал за мной. Когда я подгонял длину ремешка, он язвительно усмехнулся, обнажив желтые зубы.

— Счастливой охоты!

— Спасибо тебе за все, — сказал я, направляясь к двери.

Он вскочил с кресла.

— Кельвин!

Я поглядел на него. Он уже не улыбался. Пожалуй, я никогда не видел такого измученного лица.

— Кельвин, это не... я... я действительно не могу, — бормотал Снаут.

Я ждал, скажет ли он что-нибудь еще, но он только беззвучно шевелил губами.

Я повернулся и вышел.

САРТОРИУС

Пустой коридор тянулся сначала прямо, а потом сворачивал вправо. Я никогда не был на Станции, но во время подготовки прожил шесть недель в ее точной копии, находящейся в Институте, на Земле. Я знал, куда ведет алюминиевый трап. Свет в библиотеке не горел. Я ошупью нашел выключатель. Когда я отыскал в картотеке приложение к первому тому «Соляристического ежегодника» и нажал клавишу, в ответ загорелся красный огонек. Я проверил в регистрационном устройстве — и эта книга, и «Малый Апокриф» были у Гибаряна. Погасив свет, я спустился обратно. Мне было страшно идти к Гибаряну, хотя я недавно слышал, как она ушла. Она ведь могла туда вер-

нуться. Я постоял возле двери, потом, стиснув зубы, заставил себя войти.

В освещенной кабине никого не было. Я стал перебирать книги, лежавшие на полу под иллюминатором; потом подошел к шкафу и закрыл его, чтобы не видеть пустое место между комбинезонами. Под иллюминатором приложения не было. Я методически перекладывал том за томом и наконец, дойдя до последней кипы книг, валявшейся между койкой и шкафом, нашел то, что искал.

Я надеялся обнаружить в книге какой-нибудь след — и действительно, в именном указателе лежала закладка, красным карандашом была отчеркнута фамилия, ничего мне не говорившая, — Андре Бертон. Эта фамилия встречалась на двух страницах. Взглянув на первую, я узнал, что Бертон был запасным пилотом на корабле Шенагана. Следующее упоминание о нем помещалось через сто с лишним страниц.

Сразу после высадки экспедиция соблюдала чрезвычайную осторожность, но, когда через шестнадцать дней выяснилось, что плазматический Океан не только не обнаруживает никаких признаков агрессивности, но даже отступает перед каждым приближающимся к его поверхности предметом и, как может, избегает непосредственного контакта с аппаратурой и людьми, Шенаган и его заместитель Тимолис отменили часть особых мер, продиктованных осторожностью, так как эти меры невероятно затрудняли и задерживали работы.

Затем экспедиция была разделена на небольшие группы из двух-трех человек, совершавшие над Океаном полеты иногда на расстояние нескольких сотен миль; лучеметы, ранее прикрывавшие и ограждавшие участок работ, были оставлены на Базе. Четыре дня после этих перемен прошли без каких-либо происшествий, если не считать того, что время от времени выходила из строя кислородная аппаратура скафандров, так как выводные клапаны оказались чувствительными к ядовитой атмосфере планеты. Поэтому чуть ли не ежедневно их приходилось заменять.

На пятый (или двадцать первый, считая с момента высадки) день двое ученых, Каруччи и Фехнер (первый был радиобиологом, а второй — физиком), отправились в исследовательский полет над Океаном на маленьком двухместном аэромобиле. Это была машина на воздушной подушке.

Когда через шесть часов они не вернулись, Тимолис, который руководил Базой в отсутствие Шенагана, объявил тревогу и выслал всех, кто был под рукой, на поиски.

По роковому стечению обстоятельств радиосвязь в тот день приблизительно через час после выхода поисковых групп прервалась; это было вызвано большим пятном на красном солнце, выбрасывавшим мощный поток частиц в верхние слои атмосферы. Действовали только ультракоротковолновые передатчики, позволявшие переговариваться на расстоянии каких-нибудь двадцати миль. К тому же перед заходом солнца стусился туман, и поиски пришлось прекратить.

Когда спасательные группы уже возвращались на Базу, одна из них всего в восьмидесяти милях от берега обнаружила аэромобиль. Мотор работал, машина, не поврежденная, скользила над волнами. В прозрачной кабине находился только один человек — Каруччи. Он был почти без сознания.

Аэромобиль доставили на Базу, а Каруччи отдали на попечение врачей. В тот же вечер он пришел в себя. О судьбе Фехнера он ничего не мог сказать. Каруччи помнил только одно: когда они уже собирались возвращаться, он почувствовал удушье. Выводной клапан его аппарата заедало, и в скафандр при каждом вдохе просачивались ядовитые газы.

Фехнеру, пытавшемуся исправить его аппарат, пришлось отстегнуть ремни и встать. Это было последнее, что помнил Каруччи. События, по заключению специалистов, вероятно, происходили так: исправляя аппарат Каруччи, Фехнер открыл кабину, скорее всего потому, что под низким куполом не мог свободно передвигаться. Это допускалось: кабины в таких машинах не герметичны, они просто защищают от осадков и ветра. Кислородный аппарат Фехнера, вероятно, испортился, ученый в полуобморочном состоянии вылез наверх через люк и упал в Океан.

Это была первая жертва Океана. Поиски тела — в скафандре оно не могло утонуть — не дали никаких результатов. Впрочем, может, оно и плавало где-нибудь: тщательно обследовать тысячи квадратных миль жидкой пустыни, почти все время закрытой клочьями тумана, экспедиция не имела возможности.

До сумерек — я возвращаюсь к событиям того дня — прибыли обратно все спасательные машины, за исключе-

нием большого грузового геликоптера, на котором полетел Бертон.

Бертон появился над Базой почти через час после наступления темноты, когда за него уже стали тревожиться. Он был в состоянии нервного шока; он сам выбрался из геликоптера, но тут же бросился бежать. Когда его пытались удержать, он кричал и плакал; для мужчины, за плечами у которого семнадцать лет космических полетов, иногда в самых тяжелых условиях, это было невероятно.

Врачи предполагали, что Бертон тоже отравился. Даже относительно успокоившись, он ни за что не соглашался выйти из внутренних отсеков главной ракеты экспедиции и не решался подойти к иллюминатору, из которого был виден Океан. Через два дня Бертон заявил, что хочет подать рапорт о своем полете. Он настаивал, утверждал, что это чрезвычайно важно. Совет экспедиции изучил рапорт Бертона и признал его плодом больного мозга, отравленного атмосферными газами. Поэтому рапорт был приобщен не к истории экспедиции, а к истории болезни Бертона. На этом все и кончилось.

Вот что было сказано в приложении. Видимо, в рапорте Бертона излагалась суть дела — что именно довело пилота дальней космической экспедиции до нервного срыва. Я опять принялся перебирать книги, но «Малый Апокриф» мне найти не удалось. Усталость чувствовалась все сильнее, поэтому я отложил дальнейшие поиски на завтра и вышел из кабины. Проходя мимо алюминиевого трапа, я заметил на ступеньках отблески падавшего сверху света. Значит, Сарториус все еще работает! Я решил, что должен его увидеть.

Наверху было немного теплее. В широком низком коридоре дул слабый ветерок. Полоски бумаги бились у вентиляционных отверстий. Дверь главной лаборатории представляла собой толстую плиту из неполированного стекла в металлической раме. Изнутри стекло было закрыто чем-то темным; свет проходил только сквозь узкие иллюминаторы под потолком. Я пытался открыть дверь, но она, как я и ожидал, не поддавалась. В лаборатории было тихо, время от времени что-то слабо посвистывало — наверное, газовая горелка. Я постучал — никакого ответа.

— Сарториус, — позвал я. — Доктор Сарториус! Это я, Кельвин! Мне надо с вами поговорить, откройте, пожалуйста!

Слабый шелест, словно кто-то ступал по скомканной бумаге, и опять тишина.

— Это я, Кельвин! Вы же обо мне слышали! Я прилетел с «Прометея» несколько часов назад! — кричал я в дверную щель. — Доктор Сарториус! Со мной никого нет, я один! Откройте!

Ни звука. Потом слабый шелест. Звяканье металлических инструментов о лоток. И вдруг... Я оторопел. Раздались мелкие шажки, частый, торопливый топот маленьких ножек, можно было подумать, что вприпрыжку бежал ребенок. Или... или кто-то чрезвычайно умело подражал ему, постукивая пальцами по пустой, хорошо резонирующей коробке.

— Доктор Сарториус! — вскипел я. — Откроете вы или нет?

Ответа не было. И опять — этот детский топот, и одновременно с ним — несколько быстрых, еле слышных широких шагов, словно человек шел на цыпочках. Но не мог же он одновременно подражать детскому топоту?! Какое мне до этого дело? — подумал я и, уже не сдерживая охватившего меня бешенства, рывкнул:

— Доктор Сарториус! Я летел сюда шестнадцать месяцев не затем, чтобы участвовать в вашей комедии! Считаю до десяти! Потом выломаю дверь!!!

Я сомневался, что мне это удастся.

Реактивная струя газового пистолета не очень сильна, но я твердо решил выполнить свою угрозу, даже если бы мне пришлось отправиться за взрывчаткой, которой на складе наверняка было предостаточно. Только не сдаваться, только не вести игру этими крапленными безумием картами, которые подсовывает мне под руку ситуация!

Раздался шум, за дверью боролись или что-то перетаскивали. Штора в середине раздвинулась на полметра; высокая, узкая тень появилась на фоне матовой, будто заиндевевшей двери, и хриловатый дискант произнес:

— Я открою, но обещайте, что вы не войдете.

— Тогда зачем открывать?! — заорал я.

— Я к вам выйду.

— Хорошо. Обещаю.

Тихо щелкнул ключ в замке; темный силуэт, заслонивший половину двери, старательно задернул штору; там продолжалась какая-то возня — я слышал треск, словно передвигали деревянный столик, наконец светлая плоскость приоткрылась, и Сарториус проскользнул в коридор.

Он стоял передо мной, загораживая собой дверь. Сарториус был чрезвычайно высок и худ — кожа да кости. На нем был кремовый трикотажный костюм, шея закутана черной косынкой; через плечо переброшен сложенный вдвое, прожженный химикатами защитный лабораторный фартук. Необыкновенно узкая голова наклонена вбок. Почти пол-лица закрывали защитные очки, и я не мог разглядеть его глаз. Нижняя челюсть выступала вперед, губы были синеватые, огромные уши, тоже синеватые, казались отмороженными. Он был небрит, на запястьях болтались антирадиационные перчатки из красной резины. Мы стояли так, глядя друг на друга с нескрываемой неприязнью. Его редкие волосы (видимо, он сам стриг их машинкой) были свинцового цвета, щетина — совсем седа. Лоб загорел, как у Снаута, но только до половины. Вероятно, на солнце Сарториус всегда ходил в каком-нибудь колпаке.

— Я к вашим услугам, — сказал Сарториус.

Мне казалось, что он не столько ждет, что я скажу, сколько, прижимаясь спиной к стеклу, напряженно все время прислушивается к тому, что происходит в лаборатории. Я не знал, с чего начать, боясь попасть впросак.

— Моя фамилия — Кельвин, — заговорил я. — Вы, вероятно, обо мне слышали. Я работаю... то есть... работал вместе с Гибаряном...

Его худое лицо, все в вертикальных морщинах (так, вероятно, выглядел Дон Кихот), ничего не выражало. Опущенное забрало защитных очков Сарториуса мешало мне говорить.

— Я узнал, что Гибаряна... нет в живых.

— Да. Продолжайте, — нетерпеливо проговорил он.

— Гибарян покончил с собой? Кто нашел тело — вы или Снаут?

— Почему вы у меня об этом спрашиваете? Разве доктор Снаут не сказал вам?..

— Я хотел бы услышать, что вы можете сказать об этом...

— Вы психолог, доктор Кельвин?

— Да. А в чем дело?

— Ученый?

— Да. Какое это имеет отношение...

— Я думал, что вы следователь или полицейский. Сейчас два часа сорок минут. А вы пытаетесь насильно ворваться ко мне в лабораторию. Это было бы в конце концов понятно, если бы вы хотели ознакомиться с работами,

ведущимися на Станции. А вы допрашиваете меня, будто я по меньшей мере нахожусь под подозрением.

Мне стоило такого труда сдержаться, что у меня на лбу выступил пот.

— Вы и находитесь под подозрением, Сарториус! — сказал я сдавленным голосом. Я хотел во что бы то ни стало задеть его самолюбие и поэтому добавил с ожесточением: — Вы сами прекрасно это знаете!

— Если вы не возьмете свои слова обратно и не извинитесь, я пожалуюсь на вас в очередной радиোগрамме, Кельвин!

— Извиниться? С какой стати? Вместо того чтобы принять меня и честно ознакомить с тем, что тут происходит, вы запираетесь и баррикадируетесь в лаборатории. Вы что, с ума сошли? Кто вы? Ученый или мелкий трус? Отвечайте!

Не помню, что я еще кричал, но он даже не шелохнулся. По его бледной, пористой коже катились крупные капли пота. Вдруг я понял: он вообще меня не слушает. За спиной он обеими руками изо всех сил старался удержать дверь, которая чуть заметно вздрагивала — на нее нажимали с другой стороны.

— Уходите... — простонал вдруг он странным, писклявым голосом. — Ради Бога... идите вниз, я приду, приду, я сделаю все, что вы хотите, только уходите, пожалуйста!

В голосе его звучала невыносимая мука; совершенно обескураженный, я невольно поднял руку, чтобы помочь ему удержать дверь, — ведь это сейчас было для него важнее всего. Но тут Сарториус испустил дикий вопль, будто я замахнулся на него ножом. Я попятился, а он все кричал фальцетом: «Уходи! Уходи!» — и потом: «Я сейчас вернусь! Сейчас вернусь! Сейчас вернусь! Не надо! Не надо!!!»

Он приоткрыл дверь и метнулся в лабораторию. Мне показалось, что на уровне его груди мелькнуло что-то золотистое, какой-то блестящий диск; из-за двери доносился глухой шум. Штора полетела в сторону, высокая тень промелькнула на стеклянном экране, штора снова задвинулась, больше ничего не было видно. Что там творится? Раздался топот, затем зазвенело разбитое стекло, сумасшедшая беготня прекратилась, и я услышал звонкий детский смех...

У меня подгибались ноги. Я огляделся по сторонам. Все смолкло. Я опустился на низкий пластиковый подоконник и просидел там минут пятнадцать. Не знаю, ждал ли я

чего-то или просто не мог встать. Голова раскалывалась. Где-то высоко раздался протяжный скрежет, вокруг по-светлело.

Я видел только часть коридора, кольцом опоясывавшего лабораторию. Она помещалась на самом верхнем ярусе Станции, прямо под обшивкой, поэтому стены коридора были вогнутыми и наклонными, иллюминаторы, отстоявшие на несколько метров друг от друга, напоминали амбразуры; наружные заслонки на них в это время поднимались. Голубой день подходил к концу. Сквозь толстые стекла хлынуло ослепительное сияние. Каждая никелированная рейка, каждая дверная ручка запылали, как маленькие солнца. Дверь в лабораторию — эта огромная плита из неполированного стекла — вспыхнула голубым пламенем. Я посмотрел на свои руки, сложенные на коленях, — в призрачном свете они казались серыми. В правой руке я держал газовый пистолет — когда и как я вытащил его из футляра, не имею ни малейшего понятия. Пистолет я вложил обратно. Было ясно, что мне не поможет даже атомный лучемер — да и зачем он? Разнести дверь? Ворваться в лабораторию?

Я встал. Солнечный диск, погружаясь в волны Океана, напоминал водородный взрыв. Горизонтальный пучок лучей, почти материальных, коснулся моей щеки (я уже спускался по ступенькам) и обжег как раскаленным металлом.

На полпути я передумал и вернулся вверх. Обошел лабораторию. Как уже было сказано, коридор огибал ее; пройдя шагов сто, я оказался на другой стороне, напротив точно такой же стеклянной двери. Открыть ее я даже не пытался, твердо зная, что она заперта.

Я искал окошечко или хоть какую-нибудь щель в пластиковой стене; я не считал непорядочным подсматривать за Сарториусом. Мне надоели догадки, я хотел узнать правду, хотя даже не представлял себе, сумею ли понять ее.

Мне пришло в голову, что свет в лабораторные помещения проникает сквозь иллюминаторы в потолок, то есть в верхней обшивке. Если я выберусь наружу, мне, возможно, удастся заглянуть вниз. Для этого нужно было спуститься за скафандром и кислородным аппаратом. Остановившись у трапа, я размышлял, стоит ли игра свеч. Вполне вероятно, что в верхних иллюминаторах стекло матовое. Но что еще придумать? Я спустился в средний

ярус. Мне надо было пройти мимо радиостанции. Дверь ее была широко открыта. Снаут сидел в кресле в той же самой позе, в какой я его оставил. Он спал. При звуке моих шагов Снаут вздрогнул и открыл глаза.

— Алло, Кельвин! — хрипло окликнул он меня.

Я промолчал.

— Ну? Ты узнал что-нибудь? — спросил Снаут.

— Пожалуй, — медленно ответил я. — Он не один.

Снаут состроил гримасу.

— Вот видишь. Это уже кое-что. Так у него кто-то в гостях?

— Не понимаю, почему вы не хотите объяснить, что это такое, — заметил я, притворяясь равнодушным. — Ведь, живя здесь, я рано или поздно все узнаю. Зачем же такая таинственность?

— Поймешь, когда к тебе самому придут гости, — сказал Снаут.

Мне показалось, что он чего-то ждет и ему не очень хочется разговаривать.

— Куда ты идешь? — бросил он, когда я повернулся.

Я не ответил.

Зал космодрома выглядел так же, как перед моим уходом. На возвышении стояла похожая на лопнувший кокон моя закопченная капсула. Я подошел к вешалкам со скафандрами, но мне вдруг расхотелось отправляться в путешествие. Я круто повернулся и спустился по винтовому трапу в складские помещения. Узкий коридор был забит баллонами и штабелями ящиков. Металлические стены синевато поблескивали. Через несколько десятков шагов под сводами появились белые от инея трубы холодильной установки. Я пошел вдоль них. Через муфту, заключенную в толстый пластиковый манжет, трубы входили в плотно закрытое помещение. Когда я открыл тяжелую, толщиной в две ладони дверь, обитую по краям резиной, на меня дохнуло пронизывающим холодом. Я поежился. С переплетения заиндевелых змеевиков свисали сосульки. И здесь стояли покрытые слоем снега ящики и контейнеры, полки вдоль стен были заставлены жестянками и желтоватыми глыбами какого-то жира в прозрачном пластике. В глубине сводчатый потолок снижался. Там висела плотная, искрящаяся от изморози штора. Я отогнул ее край. На решетчатом алюминиевом столе лежало что-то большое, продолговатое, покрытое серой тканью. Приподняв ее, я увидел застывшее лицо Гибаряна. Черные волосы с седой прядкой

на лбу были гладко причесаны, кадык торчал, словно шея была сломана. Запавшие глаза устремлены в потолок, в углу глазницы застыла мутная капля. Я так замерз, что с трудом сдерживал дрожь. Не выпуская из руки ткани, я другой рукой коснулся щеки Гибаряна. Ощущение было такое, как если бы я дотронулся до промерзшей древесины. Колючая черная щетина. В складках губ замерло выражение безграничного высокомерного терпения. Опуская край ткани, я заметил, что по другую сторону трупa из-под складок виднеется несколько черных, продолговатых бусин или фасолин, мелких и крупных. Я оцепенел.

Это были пальцы ног, выпуклые подушечки больших пальцев чуть расставлены. Под смятой тканью распласталась негритянка.

Она лежала ничком и казалась спящей. Постепенно, дюйм за дюймом, я стягивал грубую ткань. Голова, вся в иссиня-черных мелких завитках, покоилась в изгибе такой же черной, массивной руки. На лоснящейся спине проступали бугорки позвонков. Исполинское тело было абсолютно неподвижным. Я еще раз взглянул на ее подошвы, меня поразила странная деталь: они не были деформированы, не стерлись и даже не огрубели от ходьбы босиком — кожа выглядела так же, как на спине и руках.

Чтобы убедиться в этом, я дотронулся до негритянки. Мне было гораздо труднее прикоснуться к ней, чем к трупу. И тут произошло нечто невероятное: лежащее на двадцатиградусном морозе тело зашевелилось. Негритянка поджала ногу, как это делает спящая собака, если ее взять за лапу.

Она здесь замерзнет, подумал я. Впрочем, ее тело на ощупь было мягким и не очень холодным. Я попятился, опустил штору и вышел в коридор. Мне показалось, что в нем страшно жарко. Трап вывел меня в зал космодрома. Усевшись на свернутом в рулон кольцевом парашюте, я обхватил голову руками. Меня будто избили. Что со мной творится? Я был раздавлен, мысли лавиной катились к пропасти. Потерять сознание, впасть в небытие было бы теперь невероятной, непостижимой милостью.

Зачем идти к Снауту или Сарториусу? Кто сможет свести воедино все то, что я до сих пор пережил, увидел и ощутил? Безумие — вот единственное объяснение, бегство, избавление. Вероятно, я сошел с ума, причем сразу же после посадки. Океан подействовал на мой мозг; у меня появляется одна галлюцинация за другой, а следовательно,

не нужно тратить силы на бесплодные попытки разгадать несуществующие загадки, надо искать врачебную помощь, вызвать по радио «Прометей» или какой-нибудь другой корабль, подать сигнал бедствия.

Совершенно неожиданно мысль о сумасшествии успокоила меня. Теперь я прекрасно понимал слова Снаута — конечно, если вообще существовал какой-то Снаут и если я когда-либо с ним разговаривал; ведь галлюцинации могли начаться гораздо раньше. Как знать, может, я все еще на борту «Прометея» и у меня острый приступ душевной болезни? Неужели все пережитое порождено моим возбужденным мозгом? Но если я болен, то могу выздороветь, а это дает мне хотя бы надежду на избавление, которой я не в силах был отыскать в спутанных кошмарах моего краткого, насчитывавшего всего несколько часов солярийского опыта.

Итак, нужно было прежде всего провести какой-то продуманный, логичный эксперимент над самим собой, который показал бы мне, действительно ли я сошел с ума и стал жертвой собственного бреда или же мои переживания, несмотря на их абсурдность и невероятность, совершенно реальны.

Я размышлял об этом, рассматривая металлическую опору несущих конструкций космодрома. Это была выступавшая из стены, обшитая листовым металлом стальная мачта, покрашенная в бледно-зеленый цвет; в нескольких местах, на высоте приблизительно метра, краска облупилась, вероятно, поцарапанная ракетными тележками. Я коснулся стали, погрел ее ладонью, постучал по краю обшивки. Может ли бред быть таким реальным? Может, ответил я сам себе. В таких вещах я разбирался, недаром это была моя специальность. А можно ли придумать ключевое испытание? Сначала мне казалось, что нельзя — ведь мой больной мозг (если он действительно поражен болезнью) создаст любую иллюзию, какой я от него потребую. Ведь не только во время болезни, но и просто во сне мы, случается, разговариваем с людьми, которых нет, задаем им вопросы и слышим ответы; и, хотя эти люди на самом деле всего лишь плод нашего воображения, своего рода временно обособленные, псевдосамостоятельные части нашей психики, мы все-таки не знаем, какие слова они произнесут, пока они (во сне) не заговорят с нами. А ведь в действительности эти слова родились в той, изолированной части нашего собственного сознания, то есть

мы должны были бы знать их заранее, в тот момент, когда мы сами их придумали, чтобы вложить в уста приснившегося собеседника. Следовательно, что бы я ни запланировал, ни осуществил, я могу считать, что все произошло именно так, как происходит во сне. Ни Снаута, ни Сарториуса в действительности могло не быть, поэтому задавать им какие-либо вопросы бесполезно.

Мне пришло в голову, что можно принять какое-нибудь сильнодействующее средство, например пейотль или другой препарат, вызывающий обман чувств и яркие цветные видения. Пережитые мною ощущения доказали бы, что принятый препарат существует на самом деле, что он — материальная часть окружающей действительности. Но и это, продолжал я размышлять, не было бы достоверным испытанием, поскольку я знаю, как подействует средство (ведь мне самому придется его выбирать), а следовательно, вполне возможно, что и прием лекарства, и результаты будут попросту созданы моим воображением.

Казалось, мне уже не вырваться из заколдованного круга безумия — ведь можно мыслить только мозгом, нельзя очутиться вне самого себя, чтобы проверить, нормальны ли процессы, протекающие в организме, — и вдруг меня осенила мысль, простая и удачная.

Я вскочил и побежал на радиостанцию. Там никого не было. Мимоходом я взглянул на электрические стенные часы. Было около четырех часов ночи по условному времени Станции, за стенами занимался красный рассвет. Включив дальнюю радиосвязь и дожидаясь, пока она наладится, я еще раз продумал ход эксперимента.

Позывных автоматической станции околосолярийского Сателлоида я не помнил. Отыскав их на табличке над главным пультом, я послал вызов азбукой Морзе и через восемь секунд получил ответ. Сателлоид, точнее, его электронный мозг откликнулся ритмичным сигналом.

Я запросил данные о небесных меридианах, пересекаемых Сателлоидом каждые двадцать секунд при вращении вокруг Солярис, причем с точностью до пятого десятичного знака.

Потом я сел и стал ждать ответа. Он пришел через десять минут. Я оторвал бумажную ленту с результатом и спрятал ее в ящик стола. Затем я принес из библиотеки большие карты неба, логарифмические таблицы, журнал суточного вращения Сателлоида и несколько справочников и стал вычислять те же данные. Почти час я составлял

уравнения; не помню, когда мне в последний раз приходилось столько считать,— наверное, еще в студенческие годы на экзамене по практической астрономии.

Расчеты я сделал на большом вычислителе Станции. Я рассуждал следующим образом: по картам неба я должен получить цифры, лишь отчасти совпадающие с данными Сателлоида. Отчасти потому, что Сателлоид испытывает весьма сложные пертурбации под влиянием гравитационного поля Солярис, ее обоих солнц, вращающихся относительно друг друга, а также местных изменений притяжения, вызываемых Океаном. Когда у меня будет два ряда цифр, переданных Сателлоидом и рассчитанных теоретически по картам неба, я внесу в свои расчеты поправки; тогда обе группы результатов должны совпасть вплоть до четвертого десятичного знака, лишь в пятом десятичном знаке возможны расхождения, вызванные не поддающейся расчетам деятельностью Океана.

Если данные Сателлоида не существуют в действительности, а лишь порождены моим больным воображением, они не совпадут со вторым рядом чисел. Мой мозг может быть поражен болезнью, но он не в состоянии — ни при каких условиях — произвести расчеты, выполненные большим вычислителем Станции, потому что они потребовали бы многих месяцев. А из этого следует, что — если цифры совпадут — большой вычислитель Станции существует в действительности и я пользовался им наяву, а не в бреду.

У меня дрожали руки, когда я вынимал из ящика телеграфную ленту и раскладывал ее на столе рядом с такой же, только чуть пошире, лентой вычислителя. Оба ряда цифр совпадали, как я и предполагал, до четвертого знака включительно. Расхождения появлялись только в пятом.

Я убрал все бумаги в ящик. Значит, вычислитель существовал независимо от меня; следовательно, существовали и Станция, и все, что на ней происходило.

Собираясь задвинуть ящик, я заметил в нем целую стопку листов, исчерканных какими-то цифрами. Я вынул их; с первого же взгляда было видно, что кто-то уже проводил эксперимент, похожий на мой. Только вместо данных о звездной сфере у Сателлоида запросили замеры освещенности планеты Солярис с сорокасекундными интервалами.

Я не сошел с ума. Последняя надежда исчезла. Я выключил передатчик, допил бульон из термоса и пошел спать.

Я вычислял с какой-то молчаливой яростью, и только она держала меня на ногах. Остыв от усталости, я не смог даже откинуть койку в кабине: вместо того чтобы отцепить верхние зажимы, я тянул за край, пока вся постель не упала на меня. Наконец я опустил койку, сбросил с себя всю одежду и белье прямо на пол и почти без сознания свалился на подушку, даже не надув ее как следует. Заснул я при свете, когда — не помню. Открыв глаза, я решил, что спал всего несколько минут. Сумеречный красный свет заливал комнату. Было прохладно и приятно. Я лежал голый, ничем не укрывшись. Напротив койки, у наполовину закрытого иллюминатора, в лучах красного солнца кто-то сидел на стуле. Это была Хэри, в летнем платье, босая, нога на ногу, темные волосы зачесаны назад, тонкая ткань подчеркивала фигуру. Хэри опустила загоровшие до локтей руки и в упор глядела на меня из-под черных ресниц. Я долго совершенно спокойно рассматривал ее. Первой моей мыслью было: «Как хорошо, что это такой сон, когда знаешь, что все снится». И все-таки лучше бы она исчезла. Закрыв глаза, я изо всех сил стал желать себе этого, но, когда открыл их, Хэри сидела в той же позе. Она состроила свою обычную лукавую гримаску, как бы собираясь свистнуть, но в глазах не было и тени улыбки. Я припомнил все, что думал о сновидениях вечером, прежде чем уснуть. Она ничуть не изменилась: точно такая же, как в тот последний раз, когда я видел ее живой. Тогда ей было девятнадцать лет; теперь было бы двадцать девять. Да, она, конечно, не изменилась — умершие не стареют. У нее были те же удивленно смотрящие на мир глаза; по-прежнему она не сводила с меня взгляда. Брошу-ка я в нее чем-нибудь, подумал я. И все-таки, хотя мне это только снилось, я не мог решиться даже во сне швырять вещами в умершую.

— Бедняжка,— сказал я,— ты пришла навестить меня, да?

Я немного испугался — мой голос прозвучал реально, а комната и Хэри выглядели отчетливо, как наяву.

Какой живой сон! Я не только различаю цвета, но и вижу на полу много вещей, на которые вчера, ложась спать, даже не обратил внимания. Когда я проснусь, надо будет проверить, лежат ли они тут или просто снятся мне, как и Хэри.

— Ты долго собираешься так сидеть?..— спросил я и заметил, что говорю тихо, чтобы никто не услышал, будто можно подслушать сон!

Тем временем солнце немного поднялось. Это уже не так плохо. Когда я лег спать, был красный день, потом должен наступить голубой, а только после него — второй красный. Не мог же я проспять беспробудно пятнадцать часов, значит, мне все снится.

Успокоившись, я хорошенько пригляделся к Хэри. Она сидела спиной к свету; луч, проникавший сквозь занавеску, золотил бархатистый пушок на ее левой щеке, а ресницы отбрасывали на лицо длинную тень. Она была очаровательна. Какой же я дотошный даже во сне: слежу за движением солнца и за тем, чтобы ямочка у Хэри была на своем месте — ниже уголка губ (больше ни у кого я не видел такой ямочки). Но лучше бы все это кончилось; мне же надо браться за дело. Я зажмурился, стараясь проснуться, и вдруг услышал скрип. Я тут же открыл глаза. Хэри сидела рядом со мной и внимательно смотрела на меня. Я улыбнулся ей, и она улыбнулась, наклонилась ко мне; первый поцелуй был мимолетным, совсем детским. Я целовал ее долго. Разве можно так вести себя во сне? — думал я. Но ведь это даже не измена ее памяти, ведь это она мне снится, именно она. Такого со мной еще никогда не случалось... Мы по-прежнему молчали. Я лежал на спине; когда она поднимала лицо, я мог заглянуть в ее маленькие, пронизанные солнцем ноздри — постоянный барометр ее чувств; кончиками пальцев я обвел ее уши, порозовевшие от поцелуев. Не знаю, что меня так тревожило; это сон, все твердил я себе, но сердце у меня сжималось. Я решил во что бы то ни стало встать, но был готов к тому, что мне это не удастся — во сне очень часто тело не слушается нас, оно словно чужое или его вообще не чувствуешь. Я рассчитывал, что, пытаясь встать, проснусь, но вместо этого сел, спустив ноги на пол. Ничего не подделаешь, придется досмотреть сон до конца, подумал я, но настроение окончательно испортилось. Мне стало страшно.

— Что тебе нужно? — спросил я хрипло и откашлялся.

Машинально я поискал босыми ногами тапочки и, прежде чем вспомнил, что здесь их нет, так ушиб палец, что даже охнул от боли. Ну теперь-то проснусь, подумал я удовлетворенно.

Но ничего не изменилось. Хэри отодвинулась, когда я сел. Она прислонилась к спинке койки. Видно было, как у нее бьется сердце: платье чуть вздрагивало на груди. Она рассматривала меня со спокойным любопытством. Хорошо бы принять душ, но разве душ, который снится, может разбудить?

— Как ты сюда попала? — спросил я.

Она подняла мою руку и начала играть ею, знакомым движением подбрасывая и ловя мои пальцы.

— Не знаю, — сказала она. — А ты не рад?

Голос был такой же низкий, и говорила она так же рассеянно, как всегда, словно ее заботили не произнесенные слова, а что-то совсем другое; поэтому иногда казалось, что Хэри ни о чем не думает, а иногда — что она ничего не стыдится. Ко всему она присматривалась с еле заметным удивлением, которое светилось в ее глазах.

— Тебя... кто-нибудь видел?

— Не знаю, я просто пришла... какое это имеет значение, Крис?

Продолжая машинально играть моей рукой, она нахмурилась.

— Хэри?

— Что, милый?

— Откуда ты узнала, где я?

Хэри беспомощно развела руками, улыбнулась. У нее были такие темные губы, что, когда она ела вишни, на них не оставалось следов от ягод.

— Понятия не имею... Странно, правда? Ты спал, когда я вошла, но я тебя не разбудила. Я не хотела тебя будить, ты злюка. Злюка и зануда.

В такт своим словам она энергично подбрасывала мою ладонь.

— Ты была внизу?

— Ага. Я убежала оттуда. Там холодно.

Она выпустила мою руку. Ложась на бок, встряхнула головой, отбрасывая волосы, посмотрела на меня с той едва заметной усмешкой, которую я терпеть не мог, пока не полюбил Хэри.

— Но ведь... Хэри... — бормотал я.

Наклонившись над ней, я поднял короткий рукав ее платья. Над похожей на цветок отметиной от прививки оспы краснел маленький след укола. Правда, я этого и ожидал (я все невольно искал хоть какую-то логику), но мне стало нехорошо. Я тронул пальцем ранку от укола —

она мне снилась долгие годы. Как часто я со стоном просыпался на измятой постели, всегда в одном и том же положении, сжавшись в комок (так она лежала, когда я нашел ее уже застывшей), словно старался вымолить у ее памяти прощение или хоть быть рядом с ней в последние минуты, когда она, почувствовав действие укола, испугалась. Ведь она боялась даже простой царапины, не выносила ни боли, ни вида крови, а тут на такое решилась. И оставила мне пять слов на листочке. Записка лежала у меня в бумажнике, я всегда носил ее с собой, измятую, потертую на сгибах; у меня не хватало смелости расстаться с ней. Тысячу раз я возвращался к той минуте, когда Хэри писала ее, и пытался представить себе, что она тогда чувствовала. Я убеждал себя, что она хотела просто пошутить и напугать меня, а доза оказалась — случайно — слишком большой. Все твердили мне, что так и было или что она сделала это под влиянием минутной слабости, внезапной депрессии. Ведь никто не знал, что сказал я ей за пять дней до этого. Я даже забрал свои вещи, чтобы ей было еще больнее. А она, когда я укладывался, проговорила слишком спокойно: «Ты понимаешь, что это значит?..» — и я сделал вид, будто не понимаю, хотя прекрасно понимал. Но я считал ее трусихой и сказал ей об этом.

Сейчас она лежала поперек койки и внимательно смотрела на меня, словно не знала, что я убил ее.

— И это все? — спросила она.

Комната была красной от солнца. Волосы Хэри пламенели. Она посмотрела на свою руку, пытаясь понять, почему я так долго ее разглядываю, потом прижалась прохладной гладкой щекой к моей ладони.

— Хэри, — хрипло сказал я, — не может быть...

— Перестань!

Глаза у нее были закрыты, веки вздрагивали, черные ресницы касались щек.

— Где мы, Хэри?

— У нас.

— А где это?

Она приоткрыла один глаз и тут же закрыла, пощекотала ресницами мою ладонь.

— Крис!

— Что?

— Мне так хорошо.

Склонившись над ней, я сидел неподвижно. Подняв голову, я увидел в зеркале над умывальником часть койки, рассыпанные волосы Хэри и свои голые колени. Ступней я придвинул полуобгоревший инструмент, один из тех, что валялись на полу, поднял его, приложил острым концом к ноге, там, где розовел полукруглый симметричный шрам, и воткнул в тело. Я почувствовал резкую боль, крупные капли крови потекли по ноге, беззвучно падая на пол.

Все напрасно. Ужасные мысли, бродившие у меня в голове, становились все отчетливее, я больше не твердил «это сон», я давно перестал в него верить, теперь я думал «надо защищаться». Я поглядел на спину Хэри, на линию бедра, на босые ноги, свешивающиеся с койки. Протянув руку, я осторожно взял ее розовую пятку и провел пальцем по подошве. Она была нежной, как у новорожденного. Теперь я был совершенно убежден: это не Хэри. И почти уверен: она сама об этом не знает.

Ее ступня дернулась в моей ладони, темные губы Хэри дрожали от беззвучного смеха.

— Перестань... — прошептала она.

Я ласково освободил руку из-под ее щеки, встал и начал поспешно одеваться. Хэри сидела на койке и разглядывала меня.

— Где твои вещи? — спросил я и тут же пожалел об этом.

— Мои вещи?

— У тебя только одно платье?

Теперь уже я вел игру: стремился держаться буднично, свободно, будто мы расстались вчера, нет, будто мы вообще никогда не разлучались. Хэри встала и знакомым легким и сильным движением расправила юбку. Мои слова заинтриговали Хэри, но она промолчала. Только сейчас она внимательно все оглядела и, явно удивленная, повернулась ко мне.

— Не знаю, — проговорила она беспомощно, — может быть, в шкафу?.. — добавила она и открыла дверцу шкафа.

— Нет, там только комбинезоны.

Я нашел возле умывальника электробритву и стал бриться. Лицом к Хэри. Я не хотел становиться спиной к ней, кем бы она ни была. Хэри ходила по кабине, заглядывая во все углы, в иллюминатор, наконец подошла ко мне и проговорила:

— Крис, у меня такое чувство, будто что-то случилось...

Она замолчала. Выключив бритву, я ждал.

— Словно я что-то забыла... словно многое забыла... Знаю... помню только тебя и... и больше ничего.

Я слушал ее, стараясь ничем не выдать себя.

— Я была... больна?

— Ну... можно и так сказать. Да, какое-то время ты болела.

— А, вот в чем дело...

Хэри сразу успокоилась. Я не могу передать свое состояние: когда она молчала, ходила, садилась, улыбалась, уверенность, что передо мной Хэри, становилась сильнее, чем гнетущая тревога. Потом мне опять начинало казаться, что это не Хэри, а только ее упрощенный образ, сведенный к нескольким характерным словам, жестам, движениям. Она подошла ко мне почти вплотную, уперлась кулачками мне в грудь и спросила:

— Как у нас с тобой? Хорошо или плохо?

— Прекрасно,— ответил я.

Она чуть заметно усмехнулась.

— Раз ты так говоришь, значит, плохо.

— Да что ты, Хэри! Знаешь, дорогая, мне надо сейчас уйти,— быстро проговорил я.— Подожди меня, хорошо? А может... ты голодна? — добавил я и сам вдруг захотел есть.

— Голодна? Нет.— Она покачала головой, волосы ее рассыпались по плечам.— Мне ждать тебя? Долго?

— Часок...— начал я.

— Я пойду с тобой,— перебила Хэри.

— Тебе нельзя идти со мной, мне надо работать.

— Я пойду с тобой.

Это была совершенно другая Хэри: та в таких случаях никогда не настаивала. Никогда.

— Маленькая моя, это невозможно...

Она посмотрела на меня снизу, потом взяла за руку. Я провел ладонью по ее руке, плечо было упругое и теплое. Совсем не желая этого, я почти ласкал ее. Все мое существо тянулось к ней, желало ее, я жаждал ее вопреки рассудку, вопреки всем аргументам, вопреки страху.

Стараясь изо всех сил сохранить спокойствие, я повторил:

— Хэри, это невозможно, ты должна остаться.

— Нет!

Как это прозвучало!

— Почему?

— Н-не знаю.

Она огляделась вокруг и снова посмотрела на меня.

— Я не могу...— произнесла она совсем тихо.

— Почему?!

— Не знаю. Не могу. Мне кажется... Мне кажется...

Она с трудом искала ответа, а когда его нашла, он для нее самой прозвучал неожиданно:

— Мне кажется, что я должна всегда тебя... видеть.

Спокойная интонация скрывала не чувства, а что-то совсем иное. Я ощутил это. Внешне все оставалось по-прежнему: я обнимал ее, глядя в глаза, но начал заламывать ей руки назад; нерешительное движение стало уверенным. Я уже искал взглядом, чем можно было бы связать ее.

Ее локти ударились за спиной друг о друга и одновременно напряглись с такой силой, которая свела на нет все мои старания. Я боролся, может быть, секунду. Она стояла, прогнувшись назад, едва касаясь пола. В таком положении даже атлет не смог бы сопротивляться. А она, неуверенно улыбаясь, высвободилась из моих объятий, выпрямилась и опустила руки. Причем лицо ее даже не дрогнуло.

Глаза Хэри следили за мной так же спокойно, с любопытством, как и вначале, когда я проснулся. Она, вероятно, даже не заметила моего отчаянного усилия, вызванного приступом страха. Теперь она стояла равнодушная, сосредоточенная, немного удивленная, безучастно ожидая чего-то.

Руки у меня упали. Я оставил ее посередине комнаты и подошел к полке около умывальника. Чувствуя, что попал в немыслимую западню, я искал выхода, готовый на все. Если бы кто-нибудь спросил, что со мной случилось и что все это значит, я не смог бы выдавить из себя ни слова, но мне понемногу становилось ясно, что происходящее на Станции со всеми нами представляет собой одно неразрывное целое, столь же страшное, сколь и непонятное. Однако в тот миг меня занимало другое — я пытался найти хоть какой-то ход, какую-то лазейку для спасения. Я все время чувствовал на себе взгляд Хэри.

Над полкой в стене была маленькая аптечка. Я быстро осмотрел ее содержимое, нашел баночку со снотворным и бросил четыре таблетки — максимальную дозу — в стакан. Я даже не скрывал своих манипуляций от Хэри, трудно сказать почему, я не задумывался. Налив в стакан горячей

воды, я подождал, пока таблетки растворятся, и подошел к Хэри, все еще стоявшей посередине комнаты.

— Ты сердишься? — тихо спросила она.

— Нет, не сержусь. Выпей.

Не знаю, почему я считал, что Хэри послушается. Действительно, она молча взяла у меня стакан и выпила его залпом. Я поставил пустой стакан на столик и сел в углу между шкафом и книжной полкой. Хэри медленно подошла ко мне, уселась на полу возле кресла, как часто делала раньше, поджала ноги под себя и хорошо знакомым движением отбросила волосы назад. Хотя я уже больше не верил, что это Хэри, все-таки каждый раз, когда я узнавал ее привычки, что-то сжимало мне горло. Это было непонятно и страшно, страшнее всего было то, что я и сам вел себя коварно, делая вид, что принимаю ее за Хэри, но ведь она сама считала себя Хэри, и, по ее понятиям, здесь не было никакой хитрости. Не могу объяснить, как я сообразил, что все именно так, но я был уверен в этом, если вообще могла еще существовать хоть какая-то уверенность!

Я сидел, девушка прислонилась спиной к моим коленям, ее волосы щекотали мою руку. Мы сидели неподвижно. Несколько раз я незаметно посмотрел на часы. Прошло полчаса, снотворное уже должно подействовать. Хэри тихонько пробормотала что-то.

— Что ты сказала? — спросил я.

Она не ответила. Я подумал — она засыпает, хотя, ей-богу, в глубине души сомневался, подействует ли лекарство. Почему? Не знаю. Вероятней всего, потому что такой выход был бы слишком прост.

Ее голова медленно опустилась на мои колени, темные волосы упали на лицо; Хэри дышала размеренно, как спящий человек. Я наклонился, чтобы отнести ее на койку. Не открывая глаз, она слегка дернула меня за волосы и громко засмеялась. Я похолодел, а она заливалась смехом и, прищурившись, следила за мной. Выражение ее лица было наивным и хитрым. Я сидел неестественно прямо, оглушенный и беспомощный, а Хэри хихикнула еще разок, прижалась щекой к моей руке и замолчала.

— Почему ты смеешься? — глухо спросил я.

Ее лицо опять стало беспокойным, задумчивым. Я видел, что она хочет быть искренней. Хэри приложила палец к носу и сказала со вздохом:

— Сама не знаю. — В ее словах прозвучало неподдельное удивление. — Я веду себя по-идиотски, правда? — про-

должала она.— Как-то мне вдруг... но ты тоже хорош... сидишь надутый, как... как Пельвис...

— Как кто? — переспросил я. Мне показалось, что я ослышался.

— Как Пельвис, ты же знаешь, тот толстяк...

Вне всякого сомнения, Хэри не могла ни знать, ни слышать о нем от меня: он вернулся из своей экспедиции по крайней мере года через три после ее смерти. Я тоже не знал его прежде и понятия не имел, что он, председательствуя на собраниях Института, затягивает обычно заседания до бесконечности. Его звали Пелле Виллис, что в сокращении и образовало прозвище, до его возвращения тоже никому не известное.

Хэри облокотилась на мои колени и смотрела мне в лицо. Я провел ладонями по ее рукам, плечам, шее, ощутил пульсирующие жилки. Это можно было принять за ласку. Судя по ее взгляду, она все так и восприняла. А я просто хотел убедиться, что прикасаюсь к обычному теплему человеческому телу, что под кожей есть мускулы, кости и суставы. Глядя в ее спокойные глаза, я почувствовал непреодолимое желание изо всех сил сдавить ей горло.

Мои пальцы почти сомкнулись, но тут я вспомнил окровавленные руки Снаута и отпустил Хэри.

— Как ты странно смотришь,— спокойно произнесла она.

Сердце мое так колотилось, что я не мог говорить. Я закрыл на мгновение глаза.

Неожиданно у меня возник план. Весь, от начала до конца, со всеми подробностями. Не теряя ни секунды, я встал с кресла.

— Я должен идти, Хэри, но, если ты очень хочешь, можешь пойти со мной.

— Хорошо.

Она вскочила.

— Почему ты босиком? — спросил я, подходя к шкафу и выбирая среди разноцветных комбинезонов два — для себя и для нее.

— Не знаю... Вероятно, куда-то зашвырнула туфли...— сказала она неуверенно.

Я не обратил на это внимания.

— Сними платье, иначе ты не сможешь надеть комбинезон.

— Комбинезон?.. А зачем? — спросила она, начиная сразу раздеваться.

Но тут выяснилась странная вещь — платье нельзя было снять — оно оказалось без застежки. Красные пуговицы посередине — только украшение. Нет ни молнии, ни какой-либо другой застежки. Хэри смущенно улыбалась. Притворяясь, что это самое обыкновенное дело, я поднял с пола инструмент, похожий на скальпель, надрезал им платье, там, где на спине начинался вырез. Теперь она могла снять платье через голову. Комбинезон был ей немного велик.

— Мы полетим?.. Вместе? — допытывалась она, когда мы, уже одетые, выходили из комнаты.

Я кивнул. Я очень боялся, что мы встретим Снаута, но коридор, ведущий к взлетной площадке, был пуст, а двери радиостанции, мимо которых мы прошли, закрыты.

На Станции по-прежнему царил мертвая тишина. Хэри следила за тем, как я на небольшой электрической тележке вывозил из среднего бокса на свободный путь ракету. Я методично проверил состояние микро-реактора, телеуправление двигателя, после чего вместе со стартовой тележкой перекатил ракету на круглую роликовую плоскость пускового стола под центром воронкообразного купола, убрав сперва оттуда пустую капсулу.

Это была небольшая ракета для связи Станции с Сателлоидом; она служила для перевозки грузов, люди в ней летали в исключительных случаях — ракета не открывалась изнутри. Мне нужна была именно такая ракета. Конечно, я не собирался запускать ее, но делал все, как перед настоящим стартом. Хэри не раз сопровождала меня в полетах и немного разбиралась в подготовке к старту. Я проверил также состояние кондиционеров и кислородной аппаратуры, привел их в действие, а когда зажглись контрольные лампочки, я вылез из тесного отсека и обратился к Хэри, стоявшей у трапа:

— Входи.

— А ты?

— Я войду за тобой. Мне надо закрыть люк.

Я не боялся, что она разгадает мою хитрость. Когда она поднялась по трапу в отсек, я тут же просунул голову в люк и спросил, удобно ли ей; услышав глухо прозвучавшее в тесном отсеке «да», попятился и со всего размаха захлопнул крышку. Я до упора задвинул обе задвижки и заранее приготовленным ключом стал затягивать пять болтов, крепящих в пазах крышку люка.

Металлическая сигара стояла вертикально, готовая вот-вот взлететь. Я знал: той, которую я запер, ничто не грозит — в ракете достаточно кислорода, есть даже немного пищи; впрочем, я совсем не собирался держать ее там до бесконечности.

Я стремился любой ценой получить хотя бы несколько часов свободы, чтобы все обдумать, связаться со Снаутом и поговорить с ним теперь уже на равных. Затягивая предпоследний болт, я почувствовал, что металлические крепления, на которых держится ракета, установленная только на выступах с трех сторон, слегка дрожат, но решил, что я сам, неосторожно действуя большим ключом, случайно расшатал стальную глыбу. Отойдя на несколько шагов, я увидел то, чего не хотел бы видеть больше никогда в жизни.

Ракета раскачивалась от серии идущих изнутри ударов. Каких ударов! Будь там вместо черноволосой стройной девушки стальной робот, и он бы не смог так сотрясать восьмитонную ракету.

На полированной поверхности снаряда дрожали и переливались отблески огней космодрома. Я не слышал никаких звуков — внутри было тихо, только широко расставленные опоры пускового стола, на которых стояла ракета, потеряли четкость очертаний. Они вибрировали, как струны, — я даже испугался, как бы все не развалилось. Трясущимися руками я затянул последний болт, бросил ключ и соскочил с трапа. Медленно пятясь, я увидел, как амортизаторы, рассчитанные только на постоянное давление, подпрыгивают в своих гнездах. Мне показалось, что стальная обшивка меняет свой цвет. Как сумасшедший, подскочил я к пульту дистанционного управления, обеими руками рванул рубильник пуска реактора и включения связи; из репродуктора раздался не то визг, не то свист, совершенно не похожий на человеческий голос, и все же я разобрал: «Крис! Крис! Крис!!!»

Кровь лилась из разбитых пальцев — так суматошно и поспешно я старался привести в движение снаряд. Голубоватый отблеск упал на стены от пускового стола; через газоотражатель повалили клубы дыма, которые превратились в сноп ослепительных искр; все звуки перекрыл высокий, протяжный гул. Ракета поднялась на трех языках пламени, тут же слившихся в один огненный столб, и, оставляя за собой дрожащее марево, вылетела сквозь шлюзовое отверстие. Оно сразу же закрылось. Автоматические вен-

тиляторы стали подавать свежий воздух в зал, где ещё клубился едкий дым.

Я ни на что не обращал внимания. Руками я держался за пульт, лицо пылало от ожога, волосы обгорели от теплового излучения; я судорожно хватал воздух, пахнувший гарью и озоном. Хотя во время старта я инстинктивно закрыл глаза, реактивная струя ослепила меня. Довольно долго перед глазами стояли черные, красные и золотые круги. Постепенно они растаяли. Дым, пыль, туман исчезали в протяжно стонущих трубах вентилятора. Прежде всего я увидел зеленоватый экран радара. Я стал искать ракету радиолокатором. Когда я наконец поймал ее, она была уже за пределами атмосферы. Никогда в жизни я не запускал снаряд так поспешно, вслепую, не имея понятия, какое придать ему ускорение, куда вообще его направить. Я подумал, что проще всего вывести ракету на орбиту вокруг Солярис с радиусом примерно тысяча километров. Тогда я смог бы выключить двигатели. Если они будут работать, может произойти катастрофа, результаты которой трудно себе представить. Тысячекилометровая орбита — как я убедился по таблице — была стационарной. Но и она, честно говоря, ничего не гарантировала. Просто я не смог придумать ничего другого. У меня не хватило смелости включить радиосвязь, которую я выключил сразу после старта. Я сделал бы все, что угодно, лишь бы не слышать больше этого ужасного голоса, в котором уже не осталось ничего человеческого. Все маски были сорваны — в этом можно уже признаться, — и под личиной Хэри открылось подлинное лицо, такое, что безумие стало действительно казаться избавлением.

Был ровно час, когда я покинул космодром.

«МАЛЫЙ АПОКРИФ»

У меня были обожжены лицо и руки. Я вспомнил, что, когда искал снотворное для Хэри (если бы я мог, то посмеялся бы теперь над своей наивностью), заметил в аптечке баночку мази от ожогов, и пошел к себе. Открыв дверь, я увидел при багровом свете заката, что в кресле, перед которым недавно Хэри стояла на коленях, кто-то сидит. На какую-то долю секунды меня охватил страх, в панике я отскочил, готовый броситься бежать. Сидевший поднял голову. Это был Снаут. Положив ногу на ногу,

спиной ко мне (на нем были те же полотняные брюки с пятнами от реактивов), он просматривал какие-то бумаги. Они лежали рядом на столике. Увидев меня, он отложил бумаги и принялся мрачно разглядывать меня поверх спущенных на кончик носа очков.

Не говоря ни слова, я подошел к умывальнику, вынул из аптечки мазь и стал накладывать ее на лоб и щеки — там, где были самые сильные ожоги. К счастью, я успел зажмуриться, и глаза остались целы. Несколько больших волдырей на висках и щеках я проткнул стерильной иглой и шприцем вытянул из них жидкость. Потом я налепил на лицо две пропитанные мазью марлевые салфетки. Снаут продолжал наблюдать за мной. Мне было все равно. Лицо мое горело все сильнее. Я закончил свои процедуры, сел в другое кресло, сняв с него платье Хэри. Самое обыкновенное платье, только без застежки.

Снаут, сложив руки на костлявом колене, критически следил за моими движениями.

— Ну что, побеседуем? — произнес он, когда я сел.

Я не ответил, прижимая марлю, сползавшую со щеки.

— Принимали гостей, да?

— Да, — ответил я сухо.

У меня не было ни малейшего желания подстраиваться под его тон.

— И избавились от них? Ну, ну, горячо ты за это взялся.

Снаут потрогал шелушившуюся кожу на лбу, сквозь нее просвечивала молодая, розовая кожа. Меня осенило. Почему я решил, что это загар? Ведь на Солярис никто не загорает...

— Начал-то ты с малого? — продолжал Снаут, не замечая моего волнения. — Всевозможные наркотики, яды, американская борьба, не так ли?

— В чем дело? Поговорим серьезно. Не валяй дурака. Или уходи.

— Иногда волей-неволей приходится валять дурака, — сказал он, прищурившись. — Ты же не станешь уверять, что не воспользовался ни веревкой, ни молотком? А чернильницу ты случайно не швырял, как Лютер? Нет? О, — поморщился он, — да ты просто молодец! И умывальник цел, ты даже не пытался разможить голову, даже не пытался, и в комнате ничего не расколотил. Ты прямо — раз, два, и готово — посадил, запустил на орбиту, и конец?!

Снаут посмотрел на часы.

— Значит, часа два, а может, три у нас есть,— договорил он, неприятно усмехаясь. Потом снова начал: — Так, по-твоему, я свинья?

— Настоящая свинья,— сказал я твердо.

— Да? А ты поверил бы, Расскажи я тебе такое? Поверил бы хоть одному слову?

Я не ответил.

— Сначала это произошло с Гибаряном,— продолжал Снаут с той же неприятной усмешкой.— Он заперся в своей кабине и разговаривал с нами только через дверь. Ты знаешь, что мы решили?

Я знал, но предпочел промолчать.

— Ну конечно. Мы полагали, что он сошел с ума. Он рассказал нам кое-что через дверь, но не все. Ты, может, даже догадываешься, почему он скрывал, кто у него. Ну да. Ты уже знаешь: *suum quique**. Но Гибарян был настоящим исследователем. Он потребовал дать ему возможность...

— Какую?

— Он пытался, по-моему, как-то все классифицировать, разобраться, понять, работал ночами. Знаешь, что он делал? Конечно, знаешь!

— Расчеты. В ящике. На радиостанции. Это его?

— Да. Но тогда я еще ни о чем понятия не имел.

— Сколько это продолжалось?

— Визит? С неделю. Разговоры через дверь. Что там творилось! Мы думали, у него галлюцинации, психомоторное возбуждение. Я давал ему скополамин.

— Как... ему?!

— Да. Он брал, но не для себя. Экспериментировал. Так это и тянулось.

— А вы?..

— Мы? На третий день мы решили проникнуть к нему, выломать дверь, если не выйдет иначе. Думали, его нужно лечить.

— Так вот почему!..— вырвалось у меня.

— Да.

— И там... в том шкафу...

— Да, мой дорогой. Да. Он не знал, что тем временем и нас посетили гости. И мы уже не могли уделять ему внима-

* Каждому свое (лат.).

ние. Он не знал об этом. Теперь к таким историям мы... привыкли.

Снаут говорил так тихо, что я скорее угадал, чем расслышал последние слова.

— Подожди... Я не понимаю. Как же так, ведь вы должны были слышать. Ты сам говорил, что вы подслушивали. Вы должны были слышать два голоса, а следовательно...

— Нет. Слышали только его голос, а если раздавался какой-то странный шум, то, ты понимаешь, мы думали, что это он...

— Только его голос?.. Но... Почему?

— Не знаю. У меня, правда, есть на этот счет своя теория. Но я полагаю, не стоит торопиться. Она хотя кое-что разъясняет, но выхода не указывает. Да. Ты еще вчера, вероятно, что-то заметил, иначе принял бы нас обоих за сумасшедших.

— Я думал, что сам сошел с ума.

— Да? Ах, так? И ты никого не видел?

— Видел.

— Кого?!

Его лицо исказила гримаса. Он уже не усмехался. Я внимательно разглядывал его, потом ответил:

— Эту... чернокожую...

Снаут молчал. Но его напряженные, сутулые плечи немного расслабились.

— Ты мог меня хотя бы предостеречь,— продолжал я уже не так убежденно.

— Я тебя предостерег.

— Но как!

— Как мог. Пойми, я не знал, кто это будет! Никогда не известно, это нельзя предвидеть...

— Послушай, Снаут, у меня несколько вопросов. Ты сталкивался с такими вещами... Эта... это... что с ней будет?

— Ты хочешь спросить, вернется ли она?

— Да.

— Вернется и не вернется.

— То есть?..

— Вернется такой же, как была вначале... При первом посещении. Просто она ничего не будет знать, или, если быть точным, станет вести себя так, будто ты никогда не делал ничего, чтобы от нее избавиться. Она не будет агрессивной, если ты ее не поставишь в такое положение...

- Какое положение?
- Это зависит от обстоятельств.
- Снаут!
- Что?

— Мы не можем позволить себе роскошь что-либо скрывать друг от друга.

— Это не роскошь,— прервал он меня сухо.— Кельвин, мне кажется, что ты все еще не понимаешь... Подожди-ка! — У него заблестели глаза.— Ты можешь мне сказать, кто у тебя был?

Я проглотил слюну, опустил голову. Мне не хотелось смотреть на него. Я предпочел бы, чтобы это был кто угодно, только не он. Но выбора не оставалось. Кусочек марли отклеился и упал мне на руку. Я вздрогнул от скользкого прикосновения.

— Женщина, которую...— Я не договорил.— Она погибла. Сделала себе... укол...

Снаут ждал.

— Покончила с собой?...— уточнил он, видя, что я не договариваю.

— Да.

— И все?

Я замялся.

— Вероятно, не все...

Я вскинул голову. Снаут не смотрел на меня.

— Откуда ты знаешь?

Он не ответил.

— Ладно,— начал я, облизнув губы,— мы поссорились. Впрочем, нет. Это я ей сказал... сам знаешь, что говорят со злости. Собрал свои вещички и ушел. Она дала мне понять, прямо не сказала, но ведь, когда с человеком долго живешь, незачем и говорить... Я был уверен, что она просто так... что она побоится... так ей все и выложил. На следующий день я вспомнил, что оставил в ящике шкафа этот... препарат; она знала о нем — я принес его из лаборатории, он был мне нужен; я объяснил ей тогда, как он действует. Я испугался, хотел пойти за ним, но потом подумал, что это будет выглядеть, словно я принял ее слова всерьез, и... не пошел. На третий день я все-таки отправился... это не давало мне покоя... Она... когда я пришел, ее уже не было в живых.

— Ах ты, невинное дитя.

От его слов меня взорвало. Но, взглянув на Снаута, я понял, что он не шутит. Я словно впервые увидел его. На

сером лице в глубоких морщинах застыла непередаваемая усталость, он выглядел как тяжелобольной.

— Почему ты так говоришь? — спросил я в замешательстве.

— Потому, что история эта трагична. Нет, нет, — быстро добавил он, заметив, что я хочу его прервать, — ты по-прежнему ничего не понимаешь. Конечно, ты можешь мучиться, даже считать себя убийцей, но... это не самое страшное.

— Да что ты! — язвительно воскликнул я.

— Ей-богу, я рад, что ты мне не веришь. То, что произошло, может быть страшным, но страшнее всего то, что... не происходило... Никогда.

— Не понимаю... — неуверенно произнес я.

Действительно, я ничего не понимал. Снаут покачал головой.

— Нормальный человек... — продолжал он. — Что такое нормальный человек? Человек, который не совершил ничего ужасного? И даже не подумал ни о чем подобном? А что, если он не подумал, а у него только мелькнуло в подсознании десять или тридцать лет назад? Может, он забыл, не боялся, так как знал, что никогда не сделает ничего плохого. Теперь представь себе, что вдруг, средь бела дня, при других людях, встречаешь *это* во плоти, прикованное к тебе, неистребимое. Что это?

Я молчал.

— Станция, — произнес он тихо. — Станция Солярис.

— Но... что это, в конце концов? — спросил я нерешительно. — Ведь вы с Сарториусом не преступники...

— Ты же психолог, Кельвин! — нетерпеливо прервал он меня. — Кому хоть раз в жизни не снился такой сон, не являлось такое видение? Возьмем... фетишиста, который влюбился, скажем, в клочок грязного белья. Рискую жизнью, угрозами и просьбами, он ухитрится раздобыть свой драгоценный, отвратительный лоскут. Забавно, да? Он и брезгает предметом своей страсти, и сходит по нему с ума. И ради него готов пожертвовать своей жизнью, как Ромео ради Джульетты. Такое случается. Но ты, вероятно, понимаешь, что бывают и такие вещи... такие ситуации... которые никто не отважится представить себе наяву, о которых можно только подумать, и то в минуту опьянения, падения, безумия — называй, как хочешь. И слово становится плотью. Вот и все.

— Вот... и все,— бессмысленно повторил я. У меня шумело в голове.— А Станция? При чем здесь Станция?

— Что ты притворяешься,— огрызнулся Снаут, уставившись на меня.— Ведь я все время говорю о Солярис, только о Солярис, ни о чем другом. Я не виноват, что все так резко отличается от твоих ожиданий. Впрочем, ты достаточно пережил, чтобы по крайней мере выслушать меня до конца. Мы отправляемся в космос, готовые ко всему, то есть к одиночеству, к борьбе, к страданиям и смерти. Из скромности мы вслух не говорим, но порою думаем о своем величии. А на самом деле — на самом деле это не все, и наша готовность — только поза. Мы совсем не хотим завоевывать космос, мы просто хотим расширить Землю до его пределов. На одних планетах должны быть пустыни вроде Сахары, на других — льды, как на полюсе, или джунгли, как в бразильских тропиках. Мы гуманны и благородны, не стремимся завоевывать другие расы, мы стремимся только передать им наши достижения и получить взамен их наследие. Мы считаем себя рыцарями Святого Контакта. Это вторая ложь. Мы не ищем никого, кроме человека. Нам не нужны другие миры. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами. С нас довольно и одного, мы и так в нем задыхаемся. Мы хотим найти свой собственный, идеализированный образ: планеты с цивилизациями, более совершенными, чем наша, или миры нашего примитивного прошлого. Между тем по ту сторону есть нечто, чего мы не приемлем, перед чем защищаемся, а ведь с Земли привезли не только чистую добродетель, не только идеал героического Человека! Мы прилетели сюда такими, каковы мы есть на самом деле; а когда другая сторона показывает нам нашу реальную сущность, ту часть правды о нас, которую мы скрываем, мы никак не можем с этим смириться!

— Так что же это? — спросил я, терпеливо выслушав его.

— То, чего мы хотели,— Контакт с иной цивилизацией. Вот он, этот Контакт! Увеличенное, как под микроскопом, наше собственное чудовищное безобразие, наше фиглярство и позор!!!

Голос Снаута дрожал от ярости.

— Итак, ты полагаешь, что это... Океан? Что это он? Но зачем? Сейчас меньше всего меня волнует механизм действия, но, помилуй Бог, зачем? Ты что, серьезно думаешь, что он играет с нами?! Или карает нас?! Да это

прямо чернокнижие! Планета, покоренная каким-то дьяволом-великаном, который из сатанинского чувства юмора подбрасывает членам научной экспедиции адские твари! Законченный идиотизм! Ты, вероятно, сам в него не веришь?!

— Этот дьявол не так уж глуп,— процедил Снаут сквозь зубы.

Я удивленно посмотрел на него. В конце концов у него могли сдать нервы, подумал я, даже если происходящее на Станции нельзя объяснить безумием. Реактивный психоз?..— промелькнуло у меня в голове. Снаут беззвучно засмеялся.

— Опять ставишь диагноз? Не спеши. В сущности, ты столкнулся с этим в такой легкой форме, что все еще ничего не понимаешь!

— Ага! Дьявол смилостивился надо мной!

Разговор начал раздражать меня.

— Чего ты, собственно, хочешь? Чтобы я тебе сказал, что замышляют против нас икс миллиардов кубометров метаморфической плазмы? Возможно, ничего.

— Ничего? — с недоумением переспросил я.

Снаут по-прежнему усмехался.

— Ты же знаешь: наука занимается только тем, как происходит что-то, а не тем, почему происходит. Как? Все началось через восемь или девять дней после эксперимента с жестким облучением. Может, Океан ответил на наше облучение каким-то своим, может, прощупал лучами наш мозг и извлек из него определенные психические процессы, так сказать инкапсулированные.

— Инкапсулированные?

Это меня заинтересовало.

— Ну да, процессы, оторванные от всего остального, замкнутые в себе, подавленные, замурованные, какие-то воспалительные очаги памяти. Он принял их за проект... за рецепт... Ведь ты знаешь, как сходны между собой асимметричные кристаллы хромосом и тех нуклеиновых соединений цереброзидов, которые составляют основу процессов запоминания... Наследственная плазма — плазма «запоминающая». Итак, он извлек это из нас, зарегистрировал, а потом — сам знаешь, что было потом. Но почему он это сделал? Ха! Во всяком случае, не для того, чтобы нас уничтожить. Уничтожить нас можно гораздо проще. Вообще — при его возможностях — он мог сделать все что угодно, например заменить нас двойниками.

— А! — воскликнул я. — Вот почему ты так испугался меня в первый вечер.

— Да. Впрочем, — добавил Снаут, — может, он так и сделал. Откуда ты знаешь, что я действительно тот старый, славный Мышонок, который прилетел сюда два года назад...

Снаут хихикнул, словно наслаждаясь моей растерянностью, но тут же стал серьезным.

— Нет, нет, — проворчал он, — и так всего слишком много... Вероятно, различий гораздо больше, но я знаю одно: и меня, и тебя можно убить.

— А их нельзя?

— И не пытайся! Не советую! Страшная картина!

— Ничем?

— Не знаю. Во всяком случае, их нельзя ни отравить, ни прирезать, ни задушить...

— А если атомным лучеметом?

— Ты смог бы?

— Не знаю. Если считать, что они не люди...

— В каком-то смысле они люди. Субъективно они люди. Они не отдают себе отчета... в своем... происхождении. Ты, вероятно, заметил?

— Да. Так... как же это... выглядит?

— Они регенерируют в невероятном темпе. В немыслимом темпе, прямо на глазах, поверь мне, и снова начинают вести себя, как... как...

— Как?

— Как их образы, живущие в нашей памяти, на основе которой...

— Да. Это правда, — подтвердил я.

Мазь таяла на моих обожженных щеках и капала на руки. Я не обращал на это внимания.

— А Гибарян... знал? — неожиданно спросил я.

Снаут задумался.

— Знал ли он то же, что и мы?

— Да.

— Я почти уверен.

— С чего ты взял? Он говорил тебе?

— Нет. Но я нашел у него одну книгу...

— «Малый Апокриф»?! — закричал я, вскакивая с места.

— Да. А ты откуда знаешь? — спросил Снаут, неожиданно забеспокоившись, и уставился на меня.

Я покачал головой.

— Не волнуйся. Ты же видишь, что я обожен и совсем не регенерирую,— успокоил я его.— Знаешь, он оставил мне письмо.

— Правда? Письмо? Что там написано?

— Немного. Это скорее записка, а не письмо. Библиографическая справка к «Соляристическому приложению» и к этому «Апокрифу». Что это такое?

— Старая история. Может, она нам что-нибудь даст. Держи.

Снаут достал из кармана тоненькую книгу в кожаном переплете, потертом на углах, и протянул мне.

— А Сарториус?..— спросил я, пряча книгу.

— Что Сарториус? Каждый ведет себя в такой ситуации, как... умеет. Он старается держаться нормально, для него это значит — официально.

— Ну, знаешь ли!

— Тем не менее. Я однажды попал с ним в переплет, подробности не так уж важны, достаточно сказать, что у нас осталось на восемь человек пятьсот килограммов кислорода. Один за другим мы бросали обычные занятия, в конце концов мы все ходили небритые, только он брился, чистил ботинки. Такой уж он человек. Конечно, что бы Сарториус теперь ни сделал, все будет или притворством, или комедией, или преступлением.

— Преступлением?

— Ну, скажем, не преступлением. Можно придумать какое-нибудь новое слово. Например, «реактивный развод». Нравится?

— Ты весьма остроумен.

— А ты хотел бы, чтобы я плакал? Предложи сам что-нибудь.

— Ах, отстань!

— Ладно, я говорю серьезно. Ты теперь знаешь приблизительно столько же, сколько и я. У тебя есть какой-нибудь план?

— Какой там план! Я не представляю, что буду делать, когда... снова явится... Должна явиться?

— Скорее всего, должна.

— Как же они проникают на Станцию, ведь Станция закрыта герметично. Может, обшивка...

Снаут покачал головой.

— Дело не в обшивке. Не имею понятия. *Гость* чаще всего появляется, когда просыпаешься, а ведь надо же время от времени спать.

— А если запереться?

— Помогает ненадолго. Есть другие способы... сам знаешь какие.

Снаут встал, я тоже поднялся.

— Послушай-ка, Снаут... Ты хотел бы ликвидировать Станцию, но предпочитаешь, чтобы такое предложение исходило от меня?

Снаут задумался.

— Все гораздо сложнее. Конечно, мы всегда можем убежать, хотя бы на Сателлоид, и оттуда подать сигнал бедствия. Нас сочтут, само собой разумеется, безумцами — какой-нибудь санаторий на Земле, до тех пор пока мы все спокойно не откажемся от своих слов — ведь бывают случаи массового психоза на таких изолированных участках... Это было бы не самое худшее. Сад, тишина, белые комнаты, прогулки с санитарями...

Снаут говорил абсолютно серьезно, держа руки в карманах, уставившись невидящими глазами в угол. Красное солнце уже зашло за горизонт, и пенистые волны Океана переплавились в чернильную пустыню. Небо горело. Над этим двухцветным, невыразимо мрачным пейзажем плыли облака с лиловыми краями.

— Ты хочешь убежать? Хочешь? Или пока нет?

Снаут усмехнулся.

— Непреклонный завоеватель... ты еще не все отведал, иначе бы так не приставал. Дело не в том, чего я хочу, а в том, какая есть возможность.

— Какая возможность?

— Не знаю.

— Итак, остаемся здесь? Ты думаешь, мы найдем способ...

Снаут взглянул на меня, худощавый, с шелушащимся, морщинистым лицом.

— Кто знает. Может, все окупится, — сказал я наконец. — Пожалуй, об Океане мы не узнаем ничего, но может быть, о себе...

Снаут повернулся, взял свои бумаги и вышел. Мне хотелось его остановить, я открыл рот, но не произнес ни слова. Делать было нечего, оставалось только ждать. Я смотрел через иллюминатор на кроваво-черный Океан, почти не видя его. Мне пришла в голову мысль — не спрятаться ли в какой-нибудь ракете на космодроме — мысль несерьезная, более того, глупая: все равно рано или поздно мне пришлось бы выйти оттуда. Я сел возле иллюмина-

тора, достал книгу, которую дал мне Снаут. Было еще достаточно светло. Вся комната горела красным, страницы порозовели. Книга представляла собой составленный неким Отто Равинцером, магистром философии, сборник материалов, сказать по правде, весьма сомнительных. Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука — странное извращение науки в умах определенного толка: астрология — карикатура на астрономию, у химии была когда-то алхимия; понятно, конечно, что зарождение соляристики сопровождалось подлинным взрывом умствования чудаков. В книге Равинцера была именно такая псевдонаучная стряпня, от которой, следует справедливо заметить, сам составитель решительно отрекся в своем предисловии. Он просто считал, не без основания, что такой сборник может служить ценным документом эпохи как для историков, так и для психологов науки.

Рапорт Бертона занимал в книге немаловажное место. Он состоял из нескольких частей. Сначала шли весьма лаконичные записи в бортовом журнале.

С 14.00 до 16.40 по условному времени экспедиции записи были краткими и однообразными.

«Высота 1000 — или 1200 — или 800 метров — Океан пуст».

Запись повторялась несколько раз.

16.40. Поднимается красный туман. Видимость 700 метров. Океан пуст.

17.00. Туман сгущается, штиль, видимость 400 метров, есть просветы. Снижаюсь до 200.

17.20. Нахожусь в тумане. Высота 200. Видимость 20—40 метров. Штиль. Поднимаюсь до 400.

17.45. Высота 500. Сплошной туман до самого горизонта. В тумане воронки, сквозь которые смутно видна поверхность Океана. В них что-то происходит. Пытаюсь войти в одну из воронок.

17.52. Вижу подобие водоворота: он выбрасывает желтую пену. Водоворот окружен стеной тумана. Высота 100. Снижаюсь до 20.

На этом кончался бортовой журнал Бертона. Продолжение так называемого рапорта составляли выдержки из истории болезни, а точнее, текст показаний Бертона и вопросы членов комиссии.

«Бертон. Когда я снизился до 30 метров, держаться на такой высоте стало трудно, так как в круглом, свобод-

ном от тумана просвете дул порывистый ветер. Мне пришлось внимательно следить за управлением, поэтому я некоторое время — минут десять или пятнадцать — не выглядывал из гондолы. В результате я нечаянно вошел в туман, меня загнал в него сильный порыв ветра. Это был не обычный туман, а что-то вроде коллоидной взвеси: все стекла затянуло. Было очень трудно их очистить. Взвесь очень липкая. Тем временем из-за сопротивления того, что я называю туманом, обороты винта упали процентов на тридцать, и я стал терять высоту. Летя совсем низко и опасаясь капотировать на волну, я дал полный газ. Машина перестала снижаться, но высоты не набирала. У меня оставалось еще четыре патрона ракетных ускорителей. Я не воспользовался ими, полагая, что ситуация может усложниться и они мне еще понадобятся. На полных оборотах возникла очень сильная вибрация; видимо, странная взвесь облепила винт, однако стрелка высотомера по-прежнему стояла на нуле, и я ничего не мог сделать. Солнца я не видел с той минуты, как вошел в туман, но там, где оно должно было находиться, туман багрово светился. Я описывал круги, надеясь в конце концов выйти в просвет, свободный от тумана, и действительно, примерно через полчаса мне это удалось. Я очутился на чистом участке, имевшем форму почти правильного круга диаметром в несколько сот метров, очерченного туманом. Туман клубился, как при сильных воздушных течениях. Поэтому я старался по мере возможности держаться в центре «дыры»: там было тише. По моим наблюдениям, поверхность Океана изменилась. Волны почти исчезли, а верхний слой жидкости, из которой состоит Океан, стал полупрозрачным, с дымчатыми пятнами. Они постепенно исчезали. Вскоре верхний слой стал совсем прозрачным, и сквозь его толщу, достигавшую нескольких метров, я смог заглянуть в глубину. Там собиралось что-то вроде желтой грязи, тонкими, вертикальными струйками поднимавшейся вверх; всплывая на поверхность, эта субстанция начинала блестеть, бурлила, пенилась и застывала, напоминая густой, подгоревший сахарный сироп. Это вещество — не то грязь, не то слизь — образовывало утолщения, наросты на поверхности, похожие на цветную капусту, и постепенно принимало самые различные формы. Меня стало сносить в туман, я вынужден был заняться винтом и рулями, а когда, спустя несколько минут, выглянул, то увидел внизу нечто вроде сада. Да, вроде сада. Я видел карликовые деревья,

живую изгородь, дорожки — не настоящие, а из того же самого вещества, которое, совсем застыв, напоминало желтоватый гипс. Так это выглядело. Вся поверхность сверкала; я снизился, насколько мог, чтобы тщательно все осмотреть.

Комиссия. Были ли на деревьях и растениях, которые ты видел, листья?

Бертон. Нет. Это было что-то вроде макета. Да, да, все выглядело, как макет. Но, пожалуй, макет в натуральную величину. Потом все полопалось и разломалось, сквозь абсолютно черные трещины на поверхность полезла густая слизь, часть ее стекала, а часть оставалась и застывала, все забурило, покрылось пеной, я ничего больше не видел, кроме пены. Тут на меня со всех сторон стал наступать туман, я прибавил обороты и поднялся до 300 метров.

Комиссия. Ты твердо уверен, что виденное тобою напоминало именно сад?

Бертон. Да. Я заметил различные детали: например, в одном углу, помню, стояли в ряд квадратные коробочки. Позже мне пришло в голову: вероятно, это пасека.

Комиссия. Позже? А не в тот момент, когда ты увидел?

Бертон. Нет, ведь все было как из гипса. Я видел и другое.

Комиссия. Что именно?

Бертон. Не могу сказать, я не успел как следует рассмотреть. По-моему, под некоторыми кустами лежали какие-то предметы, продолговатые, с зубьями, они были похожи на гипсовые слепки с маленьких садовых машин. Но в этом я не уверен. А в том, что говорил раньше, не сомневаюсь.

Комиссия. Ты не подумал, что у тебя галлюцинации?

Бертон. Нет. Я думал, что это мираж. О галлюцинации не может быть и речи: во-первых, я чувствовал себя нормально, во-вторых, их у меня вообще никогда не было. Когда я поднялся на высоту 300 метров, туман подо мной, продырявленный воронками, выглядел как сыр. Одни из этих «дыр» были пусты, в них виднелись волны Океана, в других что-то клубилось. Я снизился в одну из воронок и с высоты сорока метров увидел, что под поверхностью Океана — совсем неглубоко — лежит как бы стена очень большого здания; она четко просматривалась сквозь волны, в ней были ряды правильной формы отверстий,

похожих на окна; в некоторых окнах, по-моему, что-то двигалось, но в этом я не совсем уверен. Стена стала понемногу подниматься и выступать из Океана, с нее водопадами стекала слизь и свешивались какие-то прожилки. Вдруг стена распалась на две части и стала быстро опускаться в глубину, а потом исчезла. Я опять набрал высоту и летел прямо над туманом — шасси почти касалось его. Следующий воронкообразный просвет был в несколько раз больше первого. Еще издали я увидел: там плавает что-то светлое, почти белое, очертания напоминали человеческую фигуру. Я подумал — не скафандр ли это Фехнера. Опасаясь потерять это место, я круто развернул машину. Фигура чуть приподнялась: казалось, она плывет или стоит по пояс в волнах. Второпях я слишком резко убрал высоту и почувствовал, как шасси задело за что-то мягкое — наверное, за гребень волны, довольно высокой в этом месте. Человек — да, да, человек — был без скафандра, и все же он шевелился.

Комиссия. Видел ли ты его лицо?

Бертон. Да.

Комиссия. Кто это был?

Бертон. Ребенок.

Комиссия. Какой ребенок? Ты видел его когда-нибудь раньше?

Бертон. Нет. Никогда. Во всяком случае, я этого не помню. Как только я приблизился — сначала меня отделяло от него метров сорок или немногим больше, — я сразу понял, что здесь что-то не так.

Комиссия. Что ты имеешь в виду?

Бертон. Сейчас объясню. Сперва я растерялся, а потом понял: ребенок был необычайно большого роста. Мало сказать, исполинского. Он был ростом метра в четыре. Точно помню: когда шасси ударилось о волну, лицо ребенка находилось немного выше моего, а я, хоть и сидел в кабине, был, вероятно, метрах в трех от поверхности Океана.

Комиссия. Если он был такой огромный, из чего ты заключил, что это ребенок?

Бертон. Из того, что он был совсем маленький.

Комиссия. Не кажется ли тебе, Бертон, что твой ответ нелогичен?

Бертон. Нет. Не кажется. Я ведь видел его лицо. Да и телосложение было детское. Он показался мне почти... почти грудным. Нет, не то. Ему могло быть два или три

года. У него были черные волосы и голубые глаза — громадные! И он был голый, совсем голый, словно только что родился. И мокрый, а точнее, покрытый слизью, кожа у него блестела.

Эта картина ужасно подействовала на меня. Больше я не верил ни в какие миражи. Ведь я рассмотрел ребенка слишком хорошо. Волны раскачивали его, и, кроме того, он сам двигался. Отвратительно!

Комиссия. Почему? Что он делал?

Бертон. Он был похож на музейный экспонат, на какую-то куклу, только живую. Открывал и закрывал глаза, производил различные движения — отвратительные движения! Вот именно, отвратительные. Ведь движения были не его.

Комиссия. Как это понять?

Бертон. Я был от него метрах в пятнадцати, ну, может, в двадцати. Я уже говорил, какой он огромный, поэтому мне было очень хорошо его видно. Глаза его блестящие, он казался живым, но вот движения... Словно кто-то испытывал... проводил испытания...

Комиссия. Что ты имеешь в виду? Постарайся объяснить точнее.

Бертон. Не знаю, удастся ли. Так мне казалось. Интуитивно. Я не старался разобраться в своих впечатлениях. Движения были неестественные.

Комиссия. Ты имеешь в виду, что руки, предположим, двигались так, словно в них совсем не было суставов?

Бертон. Нет. Не то. Просто... движения были бессмысленные... Всякое движение обычно целенаправленно...

Комиссия. Ты так думаешь? Движения грудного младенца не всегда целенаправленны.

Бертон. Знаю. Но движения младенца беспорядочны, у него нет координации. А эти... Да, эти движения были методичны. Они следовали друг за другом, повторялись. Будто кто-то пытался установить, что именно ребенок может сделать руками, а что — туловищем и ртом. Но страшнее всего выглядело лицо, вероятно потому, что лицо обычно очень выразительно, а тут оно было как... нет, не могу объяснить. Лицо было живое, но не человеческое, понимаете, черты лица, глаза, кожа — все, как у человека, а выражение, мимика — нет.

Комиссия. Может, ребенок гримасничал? Знаешь ли ты, как выглядит человеческое лицо во время приступа эпилепсии?

Бертон. Да. Я видел такой приступ. Понимаю вопрос. Нет, здесь было другое. При эпилепсии — судороги и конвульсии, а тут — абсолютно плавные и непрерывные движения, с переливами, если можно так сказать. И лицо... Не бывает так, чтобы одна половина лица была веселой, а другая — грустной, одна часть выражала угрозу или испуг, а другая — торжество или что-нибудь в этом роде, а тут было именно так. Кроме того, и движения, и мимика менялись с необыкновенной быстротой. Я пробыл там очень недолго, секунд десять. Не знаю даже, десять ли.

Комиссия. И ты заявляешь, что все рассмотрел за несколько секунд? Кстати, как ты определил, сколько прошло времени? Ты проверял по часам?

Бертон. Нет. На часы я не смотрел. Но я летаю уже шестнадцать лет. В моей профессии главное — уметь чувствовать время с точностью до секунды, я имею в виду быстроту реакции. Это необходимо при посадке. Пилот, который не может, независимо от обстоятельств, сориентироваться, сколько прошло секунд — пять или десять, никогда не станет мастером своего дела. Это относится и к наблюдениям. С годами привыкаешь схватывать все на лету.

Комиссия. Это все, что ты видел?

Бертон. Нет. Но остального я точно не помню. Вероятно, все так подействовало на меня, что мой мозг прямо-таки отключился. Туман стал надвигаться, и мне пришлось набирать высоту. Как и когда я ее набрал, не помню. Впервые в жизни я чуть не капотировал. Руки у меня тряслись, я не мог как следует держать рычаг рулевого управления. Кажется, я что-то кричал и вызывал Базу, хотя и знал, что нет связи.

Комиссия. Попытался ли ты тогда вернуться?

Бертон. Нет. Выбравшись наконец из тумана, я подумал, что Фехнер, может быть, в какой-нибудь воронке. Бессмыслица? Конечно. Но я так думал. Раз тут такое творится, решил я, то, может, и Фехнера мне удастся найти. Поэтому я наметил, что осмотрю столько просветов в тумане, сколько смогу. Но в третий раз я увидел такое, что, набрав высоту, понял: больше мне не выдержать. Не выдержать! Должен сказать... впрочем, это вам известно. Мне стало дурно, меня стошнило. До сих пор я никогда не испытывал ничего подобного, меня никогда не мучило.

Комиссия. Это был симптом отравления, Бертон.

Бертон. Возможно. Но то, что я увидел в третий раз, я не придумал. Это не был симптом отравления.

Комиссия. На каком основании ты так утверждаешь?

Бертон. Это была не галлюцинация. Ведь галлюцинацию создает мой собственный мозг, не правда ли?

Комиссия. Правда.

Бертон. Вот именно. А такого он не мог создать. Я никогда в это не поверю. Мой мозг на такое не способен.

Комиссия. Постарайся рассказать, что это было.

Бертон. Сначала я должен узнать, как отнесется комиссия к уже сказанному мною.

Комиссия. Разве это имеет значение?

Бертон. Для меня имеет. Принципиальное. Как я говорил, я видел нечто такое, чего никогда не забуду. Если комиссия признает все, сообщенное мною, правдоподобным хоть на один процент и решит, что надо начать соответствующие исследования Океана именно в таком направлении, то я все расскажу. Но если комиссия намерена счесть эти сведения моим бредом, я не скажу больше ничего.

Комиссия. Почему?

Бертон. Потому что мои галлюцинации, пусть самые ужасные, — мое частное дело. А опыт моего пребывания на планете Солярис не может считаться моим частным делом.

Комиссия. Должно ли это означать, что, пока компетентные органы экспедиции не примут решения, ты отказываешься отвечать? Ты понимаешь, конечно, что комиссия не уполномочена принимать решение?

Бертон. Так точно».

На этом заканчивался первый протокол. Был еще фрагмент второго, составленного спустя одиннадцать дней.

«Председатель. ...принимая во внимание все вышеизложенное, комиссия в составе трех врачей, трех биологов, одного физика, одного инженера-механика и заместителя начальника экспедиции пришла к заключению, что описанные Бертоном события представляют собою проявления галлюцинаторного синдрома, развившегося под влиянием отравления атмосферой планеты, с симптомами помрачения сознания, которым сопутствовало возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга, и

что в реальной действительности не было ничего или почти ничего, соответствовавшего этим событиям.

Бертон. Простите. Что значит «ничего или почти ничего»? Как это понять?

Председатель. Я еще не все сказал. В протокол занесено особое мнение физика, доктора Арчибальда Мессенджера, заявившего, что рассказанное Бертоном могло, как он полагает, произойти в действительности и заслуживает тщательного исследования. Теперь все.

Бертон. Я настаиваю на своем вопросе.

Председатель. Все очень просто — «почти ничего» означает, что некие реальные явления могли послужить исходным пунктом твоих галлюцинаций, Бертон. В ветреную ночь самый нормальный человек может принять колышущийся куст за фигуру. А тем более на чужой планете, когда на мозг наблюдателя действует яд. Это сказано не в упрек тебе, Бертон. Каково твое решение?

Бертон. Сначала я хотел бы узнать, будет ли иметь последствия особое мнение доктора Мессенджера.

Председатель. Практически не будет, то есть исследований в данном направлении никто вести не станет.

Бертон. Нашу беседу заносят в протокол?

Председатель. Да.

Бертон. В таком случае я хотел бы заявить, что комиссия проявила неуважение не ко мне — я здесь не в счет, — а к самому духу экспедиции. Я еще раз хочу подчеркнуть, что отказываюсь отвечать на дальнейшие вопросы.

Председатель. У тебя все?

Бертон. Да. Но я хотел бы встретиться с доктором Мессенджером. Возможно ли это?

Председатель. Разумеется.

Так заканчивался второй протокол. Внизу мелким шрифтом было напечатано примечание, в котором говорилось, что доктор Мессенджер на другой день почти три часа беседовал с Бертоном с глазу на глаз, после чего обратился в Совет экспедиции, добиваясь расследования показаний пилота. Мессенджер утверждал, что в пользу такого расследования говорят дополнительные данные, полученные от Бертона, которые будут оглашены только в том случае, если Совет примет положительное решение. Совет в лице Шенагана, Тимолиса и Трайе отнесся к заявлению Мессенджера отрицательно, и дело было прекращено.

В книге приводилась также фотокопия одной страницы письма, найденного после смерти Мессенджера в его бумагах. Вероятно, это был черновик. Равинцеру не удалось установить, к чему привело это письмо и было ли оно вообще отправлено.

«...их потрясающая тупость, — так начинался текст. — Заботясь о своем авторитете, члены Совета — а конкретно Шеннаган и Тимолис (голос Трайе не в счет) — отклонили мои требования. Теперь я обращаюсь непосредственно в Институт, но ты сам понимаешь, что это лишь бессильный протест. Связанный словом, я не могу, к сожалению, передать тебе, что рассказал мне Бертон. На решение Совета, разумеется, повлияло то, что с такими потрясающими сведениями пришел человек без ученой степени. А ведь многие исследователи могли бы позавидовать трезвости ума и наблюдательности этого пилота. Пожалуйста, сообщи мне с обратной почтой следующее:

- 1) биографию Фехнера, начиная с детства;
- 2) все, что тебе известно о его семье и семейных обстоятельствах; кажется, у него остался маленький ребенок;
- 3) топографический план населенного пункта, где Фехнер вырос.

Мне хотелось бы еще изложить тебе свое мнение обо всем этом. Ты знаешь, через какое-то время после того, как Фехнер и Каруччи отправились в полет, в центре красного солнца появилось пятно, корпускулярное излучение которого, по данным Сателлоида, прервало радиосвязь в районе южного полушария — там находилась наша База. Из всех исследовательских групп на самое большое расстояние от Базы удалились Фехнер и Каруччи.

Такого плотного и устойчивого тумана при абсолютном штиле мы не наблюдали ни разу за все время пребывания на планете, вплоть до дня катастрофы.

Я считаю, что все, виденное Бертоном, было частью «операции «Человек», выполненной этим клейким чудовищем. Подлинным источником всех образований, замеченных Бертоном, был Фехнер, его мозг, подвергнутый какому-то непонятному для нас «психическому вскрытию»; в порядке эксперимента воспроизводились, реконструировались некоторые (вероятно, наиболее устойчивые) отпечатки в его памяти.

Знаю, это звучит, как фантастика; знаю, я могу ошибаться. Поэтому я и прошу у тебя помощи. Сейчас я на Аларихе и жду твоего ответа.

Твой А.»

Стемнело, книжка в моей руке стала серой, я читал с трудом, буквы сливались. На середине страницы текст обрывался — я добрался до конца истории, после моих собственных переживаний показавшейся мне весьма правдоподобной. Я повернулся к иллюминатору. Он стал густо-фиолетовым, на горизонте еще тлели угольками облака. Океан, окутанный тьмой, был невидим. Я слышал слабый шелест бумажных полосок у отверстий вентиляторов. Нагретый воздух с чуть заметным запахом озона казался безжизненным. Кругом ни звука. Я подумал, что в нашем решении остаться нет ничего героического. Период беззаветной борьбы, отважных экспедиций, тяжелых потерь, подобных гибели Фехнера — первой жертвы Океана, давно уже прошел. Мне было почти безразлично, кто «в гостях» у Снаута или Сарториуса. Скоро, подумал я, мы перестанем стыдиться и прятаться друг от друга. Если мы не сможем избавиться от «гостей», то привыкнем к ним и будем жить с ними, а если их создатель изменит правила игры, мы приспособимся к новым, хотя сначала станем отбрыкиваться, метаться, может быть, кто-нибудь из нас покончит с собой, но в конце концов все придет в равновесие.

В комнате сгущалась темнота, напоминавшая земную. Ничего не было видно, кроме светлых контуров умывальника и зеркала. Я встал, ощупью нашел на полке вату, обтер влажным тампоном лицо и лег на койку. Шелест вентилятора надо мной то нарастал, то затихал, словно там билась ночная бабочка. Я не различал даже иллюминатора, все залила чернота, лишь тоненькая полоска неизвестно откуда доходившего слабого света маячила передо мной, не то на стене, не то где-то далеко, в глубине океанской пустыни. Я вспомнил, как напугал меня вчера вечером безжизненный взгляд солярийских просторов, и мне стало смешно. Теперь я его не боялся и вообще ничего не боялся. Я поднес руку к глазам. Фосфорически светился циферблат. Через час взойдет голубое солнце. Я наслаждался темнотой, глубоко дышал, ни о чем не думая.

Шевельнувшись, я почувствовал на бедре плоский магнитофон. Ах да, Гибарян. Его голос, записанный на пленку. Мне даже не пришлось в голову воскресить его, вы-

слушать. А ведь это было единственное, что я мог сделать для Гибаряна. Я достал магнитофон и хотел спрятать его под койку. Раздался шорох, слабо скрипнула дверь.

— Крис?.. — слышался тихий голос. — Ты здесь, Крис? Как темно!

— Ничего, — сказал я. — Не бойся. Иди ко мне.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Я лежал на спине, голова Хэри покоилась на моем плече, я был не в состоянии ни о чем думать. Темнота в комнате оживала: я слышал шаги; стены исчезли; надо мной что-то громоздилось, все выше и выше, до бесконечности; меня что-то пронизывало насквозь, обнимало, не прикасаясь; темнота, прозрачная, непереносимая, душила меня. Где-то очень далеко билось мое сердце. Я сосредоточил все свое внимание, собрал последние силы, ожидая агонии. Она не наступала. Я только все уменьшался, а невидимое небо, невидимый горизонт — все пространство, лишенное форм, туч, звезд, отступая и увеличиваясь, втягивало меня в свой центр. Я пытался зарыться в постель, но подо мной ничего не было. Мрак больше ни от чего не спасал. Стиснув руки, я закрыл ими лицо, но и лица у меня уже не было. Пальцы прошли насквозь, хотелось закричать, завывать...

Серо-голубая комната. Вещи, полки, углы — все матовое, все обозначено только контурами, лишено собственных красок. В иллюминаторе — ярчайшая, перламутровая белизна, безмолвие. Я обливался потом. Покосившись на Хэри, я увидел: она смотрит на меня.

— У тебя не затекло плечо?

— Что?

Хэри подняла голову. У нее были глаза такого же цвета, как и комната, — серые, лучезарные, под черными ресницами. Я почувствовал тепло ее шепота раньше, чем понял ее слова.

— Нет. Ах да, затекло.

Я положил руку на ее плечо и вздрогнул от прикосновения. Потом я привлек ее к себе.

— Тебе снилось что-то страшное?

— Снилось? Да, снилось. А ты не спала?

— Не знаю. Кажется, не спала. Мне не хочется спать. А ты спи. Почему ты так смотришь?

Закрыв глаза, я чувствовал, как равномерно, спокойно бьется ее сердце там, где гулко стучит мое. Бутафория, подумал я. Но меня больше ничто не удивляло, ничто, даже мое равнодушие. Страх и отчаяние миновали, я ушел от них далеко — так далеко, как никто на свете. Я прикоснулся губами к ее шее, потом ниже, к маленькой, гладкой, как стенки раковины, впадинке. И здесь тоже бился пульс.

Я приподнялся на локте. Мягкий рассвет сменился резким голубым заревом, весь горизонт пылал. Первый луч стрелой прошел через комнату, все заблестело, луч радугой преломился в зеркале, на ручках, на никелевых трубках; казалось, что на своем пути свет ударяет в каждую плоскость, желая освободиться, разнести тесное помещение. Смотреть было больно. Я отвернулся. Зрачки у Хэри сузились. Она подняла на меня глаза.

— Это день наступает? — глухо спросила Хэри.

Все было не то во сне, не то наяву.

— Здесь всегда так, дорогая.

— А мы?

— Ты о чем?

— Мы здесь долго пробудем?

Мне стало смешно. Но неясный звук, вырвавшийся из моей груди, был мало похож на смех.

— Я думаю, довольно долго. Тебе не хочется?

Она, не мигая, внимательно глядела на меня. Моргает ли она вообще? Я не знал. Хэри потянула одеяло, и на ее руке зарозовело маленькое треугольное пятнышко.

— Почему ты так смотришь?

— Ты красивая.

Хэри улыбнулась — из вежливости, в ответ на мой комплимент.

— Правда? А ты смотришь так, словно... словно...

— Что?

— Словно ищешь чего-то.

— Ну что ты говоришь!

— Нет, не ищешь, а думаешь, будто со мной что-то произошло или я тебе чего-то не сказала.

— Что ты, Хэри!

— Раз ты отпираешься, значит, так и есть. Как хочешь!

За пылавшими стеклами рождался мертвящий голубой зной. Заслоняя рукой глаза, я поискал очки. Они лежали на столе. Встав на колени, я надел очки и увидел в зеркале отражение Хэри. Она ждала. Когда я снова сел рядом, Хэри улыбнулась.

— А мне?

Я не сразу понял.

— Очки?

Встав, я начал шарить в ящиках, на столике у окна. Я нашел две пары очков, обе были слишком велики, подал их Хэри. Она надела одни, потом другие. Очки съезжали ей на нос.

С протяжным скрежетом поползли заслонки, закрывая иллюминаторы. Через минуту на Станции, которая, как черепаха, спряталась в свой панцирь, наступила ночь. На ощупь я снял с Хэри очки и вместе со своими положил под койку.

— Что мы будем делать? — спросила Хэри.

— То, что делают ночью, — спать.

— Крис!

— Что?

— Может, сделать тебе новый компресс?

— Нет, не надо. Не надо... любимая.

Говоря, я сам не понимал, притворяюсь я или нет. В темноте я обнял ее хрупкие плечи и, чувствуя их дрожь, внезапно поверил, что это Хэри. Впрочем, не знаю. Мне вдруг показалось — обманываю я, а не она. Хэри такая, какая есть.

Потом я несколько раз засыпал, вздрагивая, просыпался, бешено колотившееся сердце постепенно успокаивалось. Смертельно измученный, я прижимал к себе Хэри. Она осторожно прикасалась к моему лицу, ко лбу, проверяя, нет ли у меня жара. Это была Хэри, самая настоящая Хэри, никакой другой быть не могло.

От этой мысли что-то во мне изменилось, я успокоился и почти тут же уснул.

Меня разбудило нежное прикосновение. На лбу я почувствовал приятную прохладу. Мое лицо было накрыто чем-то влажным и мягким, потом это мягкое медленно поднялось, я увидел склонившуюся надо мной Хэри. Обеими руками она выжимала над фарфоровой мисочкой марлю. Рядом стоял флакон с жидкостью от ожогов. Хэри улыбнулась мне.

— Ну ты и спишь, — сказала она, снова накладывая марлю. — Тебе больно?

— Нет.

Я сморщил лоб. Действительно, ожога не ощущалось. Хэри сидела на краю койки, завернувшись в мужской купальный халат, белый с оранжевыми полосками; ее чер-

ные волосы рассыпались по воротнику. Она высоко, до локтей, засучила рукава, чтобы они не мешали. Мне страшно захотелось есть, пожалуй, часов двадцать у меня ничего не было во рту. Когда Хэри сняла с моего лица компресс, я встал и увидел два лежащих рядом совершенно одинаковых белых платья с красными пуговицами — одно, которое помог ей снять, разрезав, и второе, в котором она пришла вчера. На сей раз она сама распоролла ножницами шов, сказав, что застежка, вероятно, сломалась.

Эти одинаковые платья были самым страшным из всего, что я пережил до сих пор. Хэри возилась в шкафчике с лекарствами, наводя в нем порядок. Я незаметно отвернулся и до крови укусил себе руку. Не сводя глаз с платьев, вернее, с одного и того же, повторенного дважды, я попятился к двери. Вода с шумом текла из крана. Я открыл дверь, тихо выскользнул в коридор и осторожно закрыл ее. До меня доносился приглушенный плеск льющейся воды и звяканье стекла. Неожиданно все смолкло. Коридор освещался продолговатыми лампами на потолке, расплывчатое пятно отраженного света лежало на двери, возле которой я ждал, стиснув зубы. Я схватился за ручку, хотя не надеялся удержать ее. Резкий рывок — я чуть не выпустил ручку, но дверь не открылась, а только задрожала, раздался оглушительный треск. Пораженный, я выпустил ручку и отступил — с дверью творилось что-то невероятное: ее гладкая пластиковая плита гнулась, словно с моей стороны ее вдавливали внутрь комнаты. Эмаль отскакивала маленькими кусочками, обнажая сталь дверного косяка, который натягивался все сильнее. Я понял: Хэри тянет на себя дверь, которая открывается в коридор. Свет преломился на белой плоскости, как в вогнутом зеркале; раздался сильный хруст, и плита, изогнувшись, треснула. Одновременно ручка, вырванная из гнезда, влетела в комнату. В проломе показались окровавленные руки и, оставляя красные следы на лакированной поверхности двери, тянулись ко мне — дверь разломилась надвое и повисла на скобах. Бело-оранжевый призрак с мертвенно-бледным лицом бросился мне на грудь, захлебываясь от рыданий.

Я был так потрясен, что даже не пытался бежать. Хэри конвульсивно хватала воздух, билась головой о мое плечо, ее волосы растрепались. Обняв Хэри, я почувствовал, что ее тело обмякло в моих руках. Протиснувшись в разбитую дверь, я внес Хэри в комнату, положил ее на койку. Ноги

у Хэри были поломаны и окровавлены, кожа на ладонях содрана. Я поглядел на ее лицо — открытые глаза смотрели сквозь меня.

— Хэри!

Она что-то невнятно пробормотала.

Я поднес палец к ее глазам. Веко закрылось. Я пошел к шкафчику с лекарствами. Койка скрипнула. Я обернулся. Хэри сидела выпрямившись, со страхом глядя на свои окровавленные руки.

— Крис,— простонала она,— я... я... что со мной?

— Ты поранилась, выламывая дверь,— сухо сказал я.

Губы меня не слушались, нижнюю кололо, как иглами. Я прикусил ее зубами.

Хэри какое-то время рассматривала свисающие с прилолки зазубренные куски пластика, потом перевела глаза на меня. Подбородок у нее задрожал, я заметил, с каким трудом она старается побороть страх.

Я разрезал марлю на куски, вынул из шкафчика лекарство и подошел к койке. Все выпало у меня из рук, стеклянная баночка с коллодием разбилась, но я даже не наклонился. Она была уже не нужна.

Я поднял руку Хэри. Вокруг ногтей запеклась кровь, но раны исчезли, ладонь затянулась молодой, розовой кожей, порезы заживали прямо на глазах.

Я сел, погладил Хэри по лицу и попытался улыбнуться ей. Не скажу, что мне удалось это.

— Почему ты так сделала, Хэри?

— Не может быть... Я?..

Она глазами указала на дверь.

— Ты. Разве ты не помнишь?

— Не помню. Я заметила, что тебя нет, очень испугалась и...

— И что?

— Стала тебя искать, подумала, может быть, ты в душевой...

Только теперь я увидел, что шкаф, закрывающий вход в душевую, отодвинут в сторону.

— А потом?

— Я побежала к двери.

— И что?

— Не помню. Что-то произошло?

— Что?

— Не знаю.

— А что ты помнишь? Что было потом?

— Я сидела здесь, на койке.

— А ты помнишь, как я принес тебя сюда?

Хэри колебалась. Уголки губ у нее опустились, лицо стало напряженным.

— Кажется... Может быть. Сама не знаю.

Она встала, подошла к разломанной двери.

— Крис!

Я обнял ее сзади за плечи. Хэри дрожала. Вдруг она обернулась, ища моего взгляда.

— Крис,— шептала она,— Крис.

— Успокойся.

— Крис, неужели... Крис, неужели у меня эпилепсия?

Эпилепсия, господи! Мне стало смешно.

— Что ты, дорогая. Просто дверь, знаешь ли, здесь такие двери...

Мы вышли из комнаты, когда заслонки иллюминатора с протяжным визгом поднялись и показался погружающийся в Океан солнечный диск.

Я направился в небольшую кухню, расположенную в противоположном конце коридора. Мы хозяйничали вместе с Хэри, обшаривая шкафчики и холодильник. Скоро я обнаружил, что Хэри не очень-то умеет готовить, а может только открывать консервные банки. Это умел и я. Я проглотил содержимое двух банок и выпил несчетное количество чашек кофе. Хэри тоже ела, но ела, как едят иногда дети, не желая огорчать взрослых,— без аппетита, машинально и безразлично.

Потом мы пошли в маленькую операционную, которая находилась рядом с радиостанцией. У меня созрел план. Хэри я сказал, что хочу ее на всякий случай обследовать. Я расположился на складном кресле и достал из стерилизатора шприц и иглы. Где что находится, я знал почти на память, так вымуштровали нас на Земле, на тренажере. Взяв каплю крови из пальца Хэри, я сделал мазок, высушил его в эксикаторе, обработал ионами серебра в высоком вакууме.

Реальность этой работы успокаивала. Хэри, лежа на кушетке, разглядывала операционную, заставленную различными аппаратами.

Тишину прервало жужжание внутреннего телефона. Я взял трубку.

— Кельвин слушает,— сказал я, не сводя глаз с Хэри. Она казалась вялой — видимо, устала от пережитого за последние часы.

— Ты в операционной? Наконец-то! — услышал я вздох облегчения.

Это был Снаут. Я ждал, прижав трубку к уху.

— У тебя «гость», да?

— Да.

— И ты занят?

— Да.

— Кое-какие исследования, а?

— А что? Ты хотел бы сыграть партию в шахматы?

— Не морочь голову, Кельвин. Сарториус хочет с тобой встретиться. Вернее, с нами.

— Какая новость, — удивился я. — А что с... — Я не закончил, потом добавил:

— Он один?

— Нет. Я неточно выразился. Он хочет с нами поговорить. Соединимся втроем, по видеofону, но только заслоним экран.

— Ах, так? Почему он не позвонил прямо мне? Ему стыдно?

— Что-то в этом роде, — пробормотал Снаут. — Ну как?

— Значит, нам надо договориться? Давай через час. Хорошо?

— Хорошо.

На маленьком — не больше ладони — экране я видел только его лицо. Снаут испытующе глядел мне в глаза. В трубке потрескивали разряды.

Потом Снаут нерешительно произнес:

— Как ты поживаешь?

— Сносно. А ты?

— Полагаю, немного хуже, чем ты. Я мог бы?..

— Ты хотел бы прийти ко мне? — догадался я.

Я посмотрел через плечо на Хэри. Она свесила голову с подушки и лежала, закинув ногу на ногу, со скуки подбрасывая серебристый шарик, которым заканчивалась цепочка у поручня кресла.

— Брось это, слышишь? Брось! — раздался громкий голос Снаута.

Я увидел на экране его профиль. Больше я ничего не расслышал, он закрыл рукой микрофон, я видел только его шевелившиеся губы.

— Нет, я не могу прийти. Может, потом. Через час, — быстро сказал он, и экран погас.

Я повесил трубку.

- Кто это был? — равнодушно спросила Хэри.
- Да тут, один. Снаут. Кибернетик. Ты его не знаешь.
- Еще долго?
- А что, тебе скучно? — спросил я.

Я вложил первую серию препаратов в кассету нейтринного микроскопа и стал нажимать цветные кнопки выключателей. Силовые поля глухо загудели.

— Развлечений здесь нет, а если моего скромного общества тебе недостаточно, то дело плохо, — говорил я рассеянно, с длинными паузами, опуская обеими руками большую черную головку, в которой светился окуляр микроскопа, и прикладывая глаза к мягкой резиновой окантовке.

Хэри что-то сказала, я не разобрал слов. Я видел, словно с большой высоты, безбрежную пустыню, залитую серебристым блеском. На ней лежали окруженные легкой дымкой, потрескавшиеся, выветрившиеся плоские булыжники. Это были красные кровяные тельца. Не отрывая глаз от стекол, я увеличил резкость и все глубже и глубже погружался в горящее серебром поле. Левой рукой я вращал рукоятку регулятора столика, а когда одинокое, как валун, тельце оказалось на пересечении черных линий, я усилил увеличение. Казалось, что объектив наезжает на бесформенный, вдавленный посередине эритроцит, который выглядел уже как кратер вулкана, с черными резкими тенями в углублениях кольцеобразной кромки. Эта кромка, покрытая кристаллическим налетом ионов серебра, не умещалась в фокусе. Появились мутные, видимые словно сквозь мерцающую воду очертания сплавленных, изогнутых цепочек белка; поймав на черном скрещении одно из уплотнений белковых обломков, я медленно поворачивал ручку увеличителя, все поворачивал и поворачивал; вот-вот должен был наступить конец этого путешествия вглубь. Расплющенная тень молекулы заполнила все поле и... расплылась в тумане!

Ничего, однако, не произошло. Я должен был увидеть мерцание студенисто дрожащих атомов, но их не было. Экран отливал незамутненным серебром. Я повернул рукоятку до предела. Гневное гудение микроскопа усилилось, но я по-прежнему ничего не видел. Повторяющийся дребезжащий сигнал предупреждал, что аппаратура перегружена. Я еще раз глянул на серебристую пустыню и выключил ток.

Я посмотрел на Хэри. Она принужденно улыбнулась, чтобы скрыть зевок.

— Как там мои дела? — спросила Хэри.

— Очень хорошо, — сказал я. — Думаю, лучше и быть не может.

Я все глядел на нее, опять ощущая покалывание в нижней губе. Что, собственно, случилось? Что это значит? Это тело, на вид такое хрупкое и слабое, нельзя уничтожить? По сути, оно состоит из ничего? Я кулаком ударил по цилиндрическому корпусу микроскопа. Может, какой-нибудь дефект? Может, не фокусирует?.. Нет, я знал, что аппаратура исправна. Я спустился на все уровни: клетка, белковое вещество, молекула — все выглядело так, как на тысячах препаратов, которые я видел. Но последний шаг вниз вел в никуда.

Взяв у Хэри кровь из вены, я разлил ее по пробиркам. Анализы заняли у меня больше времени, чем я предполагал, — я немного потерял сноровку. Реакции были нормальные. Все. Разве что...

Я капнул концентрированной кислотой на красную бусинку. Капля задымилась, стала серой, покрылась налетом грязной пены. Разложение. Денатурация. Дальше, дальше! Я потянулся за новой пробиркой. Когда я взглянул на старую, пробирка чуть не выпала у меня из рук.

Под грязной пеной на самом дне пробирки снова вырос темно-красный слой. Кровь, сожженная кислотой, восстанавливалась! Это было невероятно! Это было невозможно.

— Крис! — раздалось вдалеке. — Крис, телефон!

— Что? А, телефон? Спасибо.

Телефон жужжал уже давно, но я его только что услышал.

— Кельвин слушает, — сказал я в трубку.

— Говорит Снаут. Я переключил линию, и мы трое одновременно будем слышать друг друга.

— Приветствую вас, доктор Кельвин, — раздался высокий гнусавый голос Сарториуса. Голос звучал так, словно его хозяин вступал на опасно прогибающиеся подмости, — пронзительно, настороженно, хотя внешне спокойно.

— И я вас приветствую, доктор, — ответил я.

Мне стало смешно, хотя не было никакого повода для смеха. Над кем мне, в конце концов, смеяться? Я что-то держал в руке: пробирку с кровью. Я встряхнул пробирку.

Кровь уже свернулась. Может, мне все привиделось? Может, мне просто показалось?

— Я хотел бы представить на ваше рассмотрение некоторые проблемы, связанные с э... фантомами,— слышал и не слышал я Сарториуса.

Он с трудом пробивался к моему сознанию. Я защищался от его голоса, по-прежнему уставившись на пробирку со сгустком крови.

— Назовем их образованием Ф,— быстро подсказал Снаут.

— Прекрасно.

Посередине экрана темнела вертикальная линия, я принимал одновременно два канала — по обе стороны линии я должен был видеть моих собеседников. Однако экран оставался темным, только узкая светящаяся каемка говорила, что аппаратура работает, а передатчики чем-то заслонены.

— Каждый из нас провел различные исследования...— Снова та же осторожность в гнусавом голосе говорящего. Молчание.— Может, сначала объединим наши наблюдения, а потом я мог бы сообщить то, к чему пришел сам... Может, вы, доктор Кельвин, начнете...

— Я?

Внезапно я почувствовал взгляд Хэри. Я положил пробирку на стол, она покатилась под штатив, и, придвинув ногой треножник, уселся на него. Сначала я хотел отказаться, но неожиданно для самого себя произнес:

— Хорошо. Краткий обмен мнениями? Хорошо! Я почти ничего не сделал, но сказать могу. Одно микроскопическое исследование и несколько реакций. Микро-реакций. У меня сложилось впечатление, что...

До этой минуты я не представлял, о чем говорить. Только сейчас меня осенило.

— Все в норме, но это подражание. Имитация. В каком-то смысле это суперкопия: воспроизведение, более совершенное, чем оригинал. Это значит, что там, где у человека мы сталкиваемся с пределом структурной делимости, тут мы идем дальше — здесь применен субатомный строительный материал!

— Пойдите. Пойдите. Как вы это понимаете? — допытывался Сарториус.

Снаут не произносил ни слова. А может, это его учащенное дыхание раздавалось в трубке? Хэри посмотрела в мою сторону. Я был сильно взволнован — последние слова

я почти прокричал. Успокоившись, я сгорбился на своем неудобном табурете и закрыл глаза.

— Как это выразить? Первичный элемент наших организмов — атомы. Предполагаю, что образования Ф состоят из единиц, меньших, чем обычные атомы. Значительно меньших.

— Из мезонов? — подсказал Сарториус.

Он вовсе не удивился.

— Нет, не из мезонов... Мезоны можно было бы увидеть. Ведь разрешающая способность аппаратуры, которая стоит здесь у меня, внизу, достигает десяти в минус двадцатой степени ангстрем. А все-таки ничего не видно. Итак, не мезоны. Пожалуй, скорее нейтрино.

— Как вы себе это представляете? Ведь нейтринные конгломераты неустойчивы...

— Не знаю. Я не физик. Возможно, их стабилизирует какое-то силовое поле. В этом я не разбираюсь. Во всяком случае, если я прав, то они состоят из частиц меньше атома приблизительно в десять тысяч раз. Впрочем, это еще не все! Если бы молекулы белка и клетки были построены непосредственно из «микроатомов», то они соответственно были бы меньше. И кровяные тельца, и ферменты... Но и это не так. Отсюда следует, что белки, клетки, ядра клеток — только и м и т а ц и я! На самом деле структура, ответственная за функционирование «гостя», скрыта глубже.

— Кельвин! — Снаут почти кричал.

Я удивился и замолк. Я сказал: «гостя»? Да. Хэри, однако, не слышала. Впрочем, она не поняла бы. Хэри смотрела в иллюминатор, подперев голову рукой, ее маленький чистый профиль вырисовывался на фоне красной зари. Из трубки доносилось только далекое дыхание.

— Что-то в этом есть, — пробурчал Снаут.

— Да, возможно, — добавил Сарториус, — только есть одна загвоздка — Океан состоит не из гипотетических частиц, о которых говорит Кельвин, а из обыкновенных.

— Вероятно, он может синтезировать и такие, — заметил я.

Меня вдруг охватила апатия. Это был нелепый, никому не нужный разговор.

— Но это объяснило бы необыкновенную выносливость, — буркнул Снаут, — и темп регенерации. Может, даже энергетический источник находится там, в глубине, им ведь не надо есть...

— Прошу слова,— изрек Сарториус.

Мне он был неприятен. Если бы он по крайней мере не выходил из своей роли!

— Давайте рассмотрим вопрос мотивировки. Мотивировки появления образования Ф. Я рассматривал бы вопрос так: что такое образования Ф? Это не личности, не копии определенных личностей, а материализованная проекция тех сведений о данной личности, которые заключены в нашем мозгу.

Меткость определения поразила меня. Сарториус хотя и антипатичен, но не глуп.

— Это правильно,— вставил я.— Это объясняет даже, почему появились личн... образования именно такие, а не иные. Выбраны самые стойкие отпечатки в памяти, наиболее изолированные от других, хотя, конечно, ни один такой отпечаток не может быть полностью обособлен и в ходе его «копирования» были, могли быть захвачены части других отпечатков, случайно находившихся рядом, поэтому прибывший проявляет иногда больше знаний по сравнению с подлинной личностью, чьим повторением...

— Кельвин! — снова прервал меня Снаут.

Меня поразило, что только он возмущался моими неосторожными словами. Сарториус, казалось, их не боится. Возможно, его «гость» по своей природе не такой сообразительный, как «гость» Снауа. На секунду в моем воображении появился какой-то карлик-кретин, неотступно следующий за доктором Сарториусом.

— Да, и мы это заметили,— начал Сарториус.— Теперь что касается мотивов появления образований Ф... Первая, более или менее естественная мысль — на нас проводят эксперимент. Однако это был бы эксперимент, скорее всего... жалкий. Если мы ставим опыт, то учимся на результатах, прежде всего на ошибках, и при повторении опыта вносим в него поправки... В данном случае об этом не может быть и речи. Те же самые образования Ф появляются заново... неоткорректированные... не вооруженные дополнительно ничем против... наших попыток избавиться от них...

— Одним словом, здесь нет функциональной петли действия с корректирующей обратной связью, как определил бы это доктор Снаут,— заметил я.— И что из этого следует?

— Только одно: если считать происходящее экспериментом, то это не эксперимент, а... халтура, что, впрочем,

неправдоподобно. Океан... точен. Это проявляется хотя бы в двухслойной конструкции образований Ф. До определенной границы они ведут себя так, как вели бы себя... настоящие... настоящие...

Он запутался.

— Оригиналы,— быстро подсказал ему Снаут.

— Да, оригиналы. Но когда ситуация превышает нормальные возможности заурядного... оригинала, наступает как бы «выключение сознания» образования Ф, и тут же проявляются другие действия, нечеловеческие...

— Верно,— сказал я,— но таким образом мы только составляем каталог поведения этих... этих образований, и ничего больше. Что совершенно бессмысленно.

— Не уверен,— запротестовал Сарториус.

Тут я понял, чем он меня так раздражает: он не говорил, а произносил речь, как на заседании Института. Вероятно, иначе разговаривать он не умел.

— Здесь возникает проблема индивидуальности. Океан полностью лишен этого понятия. Так и должно быть. Мне кажется, дорогие коллеги, что данная... э... деликатнейшая, неприятная для нас сторона эксперимента совершенно не имеет никакого значения для Океана, она — за пределами его понимания.

— Вы считаете, что это непреднамеренно?..— спросил я.

Его утверждение немного ошеломило меня, но, подумав, я решил, что такую точку зрения нельзя не принимать во внимание.

— Да. Я не верю ни в какую злонамеренность, желание нанести удар по самому больному месту, как считает collega Снаут.

— Я вовсе не приписываю Океану человеческих чувств,— первый раз взял слово Снаут,— но, может, ты скажешь, как объяснить эти постоянные возвращения?

— Может, включено устройство, которое все вертится и вертится, как граммофонная пластинка,— проговорил я не без желания поддеть Сарториуса.

— Не будем отвлекаться, коллеги,— гнусавым голосом заявил доктор.— Это не все, что я хотел вам сообщить. В нормальных условиях я считал бы представление даже краткого сообщения о состоянии моих работ преждевременным, но, учитывая специфические условия, я делаю исключение. У меня сложилось впечатление, только впечатление, не больше, что в предположениях коллеги Кель-

вина есть рациональное зерно. Я имею в виду его гипотезу о нейтринной структуре. Такие системы мы знаем лишь теоретически, нам неизвестно, можно ли их стабилизировать. Здесь появляется определенный шанс, ибо уничтожение силового поля, которое придает стабильность системе...

Я заметил, как темный предмет, заслоняющий экран со стороны Сарториуса, отодвигается: на самом верху засветилась щель — там медленно шевелилось что-то розовое. И вдруг темная перегородка упала.

— Прочь! Прочь!!! — раздался в трубке отчаянный крик Сарториуса.

На вспыхнувшем экране мелькнули руки доктора в широких лабораторных нарукавниках и большой, золотистый, похожий на диск предмет, и все исчезло раньше, чем я понял, что золотистый круг — это соломенная шляпа...

— Снаут? — окликнул я, переводя дыхание.

— Слушаю, Кельвин, — отозвался устало кибернетик.

Вдруг я почувствовал, что Снаут мне очень симпатичен. Я на самом деле предпочитал не знать, кто у него «в гостях».

— С нас, пожалуй, хватит, а?

— Пожалуй, — согласился я. — Послушай, когда сможешь, загляни вниз или ко мне в кабину, ладно? — поспешно добавил я, пока он не положил трубку.

— Договорились, — ответил Снаут. — Когда — не знаю.

На этом проблемная дискуссия закончилась.

ЧУДИЩА

Ночью меня разбудил свет. Я приподнялся на локте, другой рукой прикрывая глаза. Хэри, закутавшись в простыню, сидела у меня в ногах. Она съежилась, волосы упали ей на лицо, плечи дрожали. Хэри беззвучно плакала.

— Хэри!

Она съежилась еще больше.

— Что с тобой?.. Хэри...

Я сел, не совсем еще проснувшись, постепенно приходя в себя — меня только что мучили кошмары.

— Любимая!

— Не говори так!

— Да что случилось, Хэри?

Я увидел ее мокрое, искаженное лицо. Крупные детские слезы текли по щекам, блестели в ямочке на подбородке, капали на простыню.

— Я тебе не нужна.

— Что ты, Хэри!

— Я сама слышала.

Я почувствовал, как у меня немеет лицо.

— Что ты слышала? Ничего ты не поняла, я просто...

— Нет, нет, ты говорил, что это не я... чтобы я уходила. Я ушла бы. Боже! Я ушла бы, но не могу. Не знаю, что со мной. Я хотела уйти, но не смогла. Я такая... такая дрянь!

— Маленькая!!!

Я схватил ее, прижал к себе изо всех сил. Все рушилось. Я целовал ее руки, ее мокрые, соленые от слез пальцы, умолял, клялся, просил прощения, говорил, что это был дурацкий, противный сон. Понемногу Хэри успокоилась. Она уже не плакала. Глаза у нее стали огромными, как у лунатика. Слезы высохли. Она отвернулась.

— Нет,— сказала она,— не говори этого, не надо. Ты уже не такой, как раньше.

— Я не такой?! — со стоном откликнулся я.

— Да. Я тебе не нужна. Я все время это чувствовала. Только притворялась, что не замечаю. Думала, может, мне кажется. Но нет, не кажется. Ты ведешь себя... иначе. Не принимаешь меня всерьез. Ты видел сон, правда, но ведь это я тебе снилась. Ты называл меня по имени. Тебе было противно. Почему? Почему?!

Я встал перед ней на колени, припал к ее ногам.

— Маленькая...

— Я не хочу, чтобы ты так меня называл. Не хочу, слышишь? Я не маленькая. Я...

Хэри разрыдалась, уткнувшись лицом в постель. Я встал. Из вентиляционных отверстий с тихим шуршанием шел холодный воздух. Меня познабливало. Я накинул купальный халат, сел рядом с Хэри и коснулся ее руки.

— Хэри, послушай. Я что-то тебе скажу... скажу тебе правду...

Она медленно приподнималась. Я видел, как у нее на шее под тонкой кожей бьется жилка. Лицо у меня опять онемело. Меня пронизывал холод. В голове была полная пустота.

— Правду? — переспросила Хэри. — Честное святое слово?

Я не мог сразу ответить, к горлу подступил комок. У нас было такое старое заклинание, наше собственное заклинание. После него никто из нас не смел не то что солгать, но даже умолчать о чем-нибудь. Когда-то мы мучили друг друга чрезмерной откровенностью, наивно ища в ней спасения.

— Честное святое слово,— серьезно сказал я.— Хэри... Она ждала.

— Ты тоже изменилась. Все меняются, но я не то хотел сказать. Действительно, ты не можешь без меня. Почему — мы пока не знаем... Но это даже к лучшему, ведь я тоже не могу без тебя...

— Крис!

Я поднял Хэри вместе с простыней, в которую она закуталась. Уголок простыни, мокрый от слез, упал мне на плечо. Я ходил по комнате, баюкая Хэри. Она погладила меня по лицу.

— Нет, ты не изменился. Это я,— шепнула она мне на ухо.— Со мной что-то происходит. Может, дело в этом?

Хэри смотрела в черный пустой прямоугольник, оставшийся от разбитой двери, обломки которой я отнес вечером на склад. Надо будет, подумал я, повесить новую. Я посадил Хэри на койку.

— Ты вообще-то спишь? — Я стоял над ней, опустив руки.

— Не знаю.

— Ты должна знать. Подумай, родная.

— Пожалуй, сплю, но не по-настоящему. Может, я больна. Я просто лежу и думаю, и знаешь...

Хэри вздрогнула.

— Что? — спросил я шепотом, боясь, что мне изменит голос.

— У меня очень странные мысли. Не знаю, откуда они берутся.

— Например?

Надо быть спокойным, думал я, что бы она ни сказала. К ее словам я приготовился, как к сильному удару.

Хэри беспомощно покачала головой.

— Все как-то так... вокруг...

— Не понимаю...

— Словно не только во мне, но и дальше, как-то... не знаю, как сказать... Словами не передашь...

— Наверное, это тебе снится,— словно мимоходом заметил я. Мне стало легче дышать.— А теперь давай

погасим свет, и до утра у нас не будет никаких огорчений, а утром, если очень захочется, придумаем себе новые, хорошо?

Хэри протянула руку к выключателю. Стало темно, я улегся в остывшую постель и ощутил тепло ее дыхания. Я обнял Хэри.

— Крепче,— шепнула она. И после долгой паузы: — Крис!

— Что?

— Я люблю тебя.

Мне хотелось кричать.

Утро было красное. Воспаленный солнечный диск стоял низко над горизонтом. На пороге лежало письмо. Я надорвал конверт. Хэри была в душевой, я слышал, как она напевала. Время от времени она высовывалась оттуда, поглядывая на меня сквозь мокрые волосы. Я подошел к иллюминатору и стал читать.

«Кельвин, дела идут неважно. Сарториус высказывается за решительные меры. Он надеется, что ему удастся дестабилизировать нейтринные системы. Для опытов ему нужно немного плазмы как исходного строительного материала образований Ф. Он предлагает тебе пойти на разведку и добыть некоторое количество плазмы. Поступай по своему усмотрению, но сообщи мне о своем решении. У меня нет никакого мнения. Пожалуй, у меня вообще уже ничего нет. Я предпочел бы, чтобы ты это сделал, хотя бы потому, что мы сдвинемся с места, пусть даже формально. Иначе останется только завидовать Г.

Мышонок.

Р. S. Не входи в помещение радиостанции. Это все, что ты для меня еще можешь сделать. Лучше позвони».

С тяжелым сердцем я прочел письмо, внимательно перечитал его еще раз, порвал листок и выбросил клочки в раковину. Потом я стал искать комбинезон для Хэри. Это было ужасно. Точь-в-точь как в прошлый раз. Но Хэри ничего не знала, иначе она так не обрадовалась бы, когда я сказал, что мне надо ненадолго отправиться за пределы Станции и я прошу ее сопровождать меня. Мы позавтракали в маленькой кухне (Хэри снова почти ничего не ела) и пошли в библиотеку.

Прежде чем выполнить поручение Сарториуса, я хотел посмотреть литературу по проблемам поля и нейтринных систем. Еще не представляя себе, как мне это удастся, я решил контролировать его работу. Мне пришло в голову, что не существующий пока нейтринный аннигилятор мог бы освободить Снаута и Сарториуса, а я переждал бы вместе с Хэри «операцию» где-нибудь снаружи — в летательном аппарате, например. Я довольно долго корпел над большим электронным каталогом, который в ответ на мои вопросы либо выбрасывал мне карточку с лаконичной надписью «в библиографии не значится», либо предлагал углубиться в такие дебри специальных физических трудов, что я не знал, как к ним подступиться. Мне не хотелось покидать большое круглое помещение с гладкими стенами, в которые были вмонтированы выдвижные ящички с неисчислимым множеством микрофильмов и электронных записей. Расположенная в самом центре Станции, без единого иллюминатора, библиотека была самым изолированным помещением в стальной скорлупе. Не потому ли мне было здесь так хорошо, хотя поиски явно ни к чему не приводили? Я расхаживал по большому залу, пока не остановился перед огромным, до потолка, книжным шкафом. Это была не столько роскошь (впрочем, довольно сомнительная), сколько символ памяти, дань уважения пионерам солярийских исследований: полки, вмещавшие около шестисот томов, содержали всю классическую литературу предмета, начиная с монументальной, хотя и устаревшей в значительной степени, девятитомной монографии Гизе. Я доставал эти тяжеленные тома и лениво перелистывал их, присев на ручку кресла. Хэри тоже нашла себе какую-то книжку — я прочел несколько строк через ее плечо, — одну из немногих, оставшихся от первой экспедиции, кажется, чуть ли не от самого Гизе: «Межпланетный повар»... Видя, с каким вниманием Хэри изучает кулинарные рецепты, приспособленные к суровым космическим условиям, я молча вернулся к древнему фолианту, который лежал у меня на коленях. Монография Гизе «Десять лет исследования планеты Солярис» вышла в серии «Труды по соляристике» в выпусках с четвертого по тринадцатый, а теперь очередные выпуски серии нумеруются четырехзначными числами.

Гизе обладал не слишком гибким умом, но гибкость ума может только повредить исследователю планеты Солярис. Пожалуй, нигде воображение и способность быстро созда-

вать гипотезы не становятся столь пагубными, как здесь. В конце концов, на этой планете возможно все. Неправдоподобные описания плазматических «узоров», по всей вероятности, соответствуют истине, хотя проверить их обычно невозможно, поскольку Океан очень редко повторяется. Наблюдателя, впервые столкнувшегося с океаническими явлениями, поражают их исполинские размеры и совершенно чуждый всему земному характер. Происходит такое в маленькой лужице, все решили бы, что здесь простая «игра природы», еще одно проявление случайности и слепого взаимодействия сил. Перед неисчислимым разнообразием солярийских форм одинаково беспомощны и посредственность, и гений. Гизе не был ни тем ни другим. Педантичный приверженец систематики, он относился к той породе людей, у которых под внешним бесстрашием кроется всепоглощающее, неистребимое трудолюбие. Гизе пытался все описывать, а когда ему не хватало слов, придумывал новые, часто неудачные, не раскрывавшие сути явлений. Впрочем, ни один термин не передает сущности происходящего на планете Солярис. «Городревы», «долгуны», «грибовики», «мимойды», «симметриады» и «асимметриады», «хребетники» и «мелькальцы» звучат крайне неестественно, но все-таки дают хоть какое-то представление о Солярис даже тем, кто не видел ничего, кроме нечетких фотографий и весьма несовершенных фильмов. Разумеется, этот добросовестный систематик порой не удерживался в строгих рамках классификаций. Человек всегда выдвигает гипотезы, даже если не стремится к этому, даже бессознательно. Гизе полагал, что «долгуны» представляют собой исходную форму, и сопоставлял ее с многократно увеличенными и нагроможденными в несколько ярусов приливными волнами земных морей. Тот, кто знаком с первым изданием его труда, помнит, что сначала Гизе называл эту форму именно «приливами», под влиянием геоцентризма. Над таким определением можно было бы посмеяться, если бы оно не говорило о беспомощности исследователя. Ведь эти образования размерами своими превосходят — если уж искать земные сравнения — Большой каньон Колорадо, причем их верхний слой — пенисто-студенистый (пена застывает огромными, ломкими фестонами, гигантскими кружевами — часть исследователей приняла их за «скелетовидные наросты»), а нижележащие слои становятся все более упругими, как сократившийся мускул, и мускул этот на глубине полутора

десятков метров — тверже камня, но упругости не теряет. Между стенами, поверхность которых напоминает кожу на спине какого-то чудища и вся покрыта уцепившимися за нее «скелетами», тянется на целые километры сам «долгун», внешне самостоятельное образование, подобное гигантскому питону. Кажется, будто питон проглотил целиком несколько гор и переваривает их в молчании, вздрагивая время от времени. Но так «долгун» выглядит только сверху, с борта летательного аппарата. Если же опуститься на несколько сот метров, почти к самому дну «ущелья», видно: питон — протянувшаяся до самого горизонта полоса, где плазма движется с невероятной быстротой, отчего и возникает впечатление застывшего цилиндра. Сначала принимаешь это движение за круговращение слизистой, серовато-зеленой массы, сверкающей на солнце, но у самой поверхности (откуда края «ущелья», где покоится «долгун», кажутся горными хребтами) заметно, что масса движется по гораздо более сложному принципу. Тут есть и концентрические окружности, и перекрестные течения более темных струй, и зеркальные участки верхнего слоя, отражающие небо и тучи. Временами на этих участках грохочут извержения смешанной с газами полужидкой среды. Постепенно понимаешь, что прямо перед тобой — центр действия сил, удерживающих поднявшиеся до небес студенистые стены, лениво застывающие в кристаллы. Но то, что очевидно для наблюдателя, не так-то просто для науки. Сколько лет тянулись непримиримые споры по поводу всего происходящего в «долгунах», миллионы которых бороздят необъятные просторы живого Океана. Их считали какими-то органами, полагая, что в них происходит обмен веществ, процессы дыхания и пищеварения и что-то еще, о чем помнят теперь лишь пыльные библиотечные полки. Каждая из этих гипотез была в конце концов опровергнута тысячами труднейших, а подчас и опасных опытов. А ведь речь идет только о «долгунах», о форме, в сущности, простейшей, наиболее устойчивой. Каждый из них «живет» в течение нескольких недель, что на планете Солярис вообще исключение!

Более сложная, капризная и вызывающая самый резкий (бессознательный, разумеется) протест наблюдателя форма — «мимониды». Их без преувеличения можно назвать излюбленной формой Гизе. До конца своих дней он исследовал и описывал мимониды, пытаясь разгадать их сущ-

ность. В названии Гизе пытался передать их самое удивительное, с человеческой точки зрения, свойство: определенную склонность подражать окружающим формам, независимо от того, где эти формы расположены — близко или далеко.

В один прекрасный день в глубине Океана начинает постепенно проступать плоский, широкий круг с рваными краями и смолисто-черной поверхностью. Спустя несколько часов на нем уже можно различить отдельные доли, он расчленяется и в то же время пробивается все ближе и ближе к поверхности. Наблюдатель готов поклясться, что там идет бешеная борьба: к мимониду со всех сторон сбегаются бесконечные ряды кругообразных волн, похожих на жадные рты, на живые, готовые сомкнуться кратеры; волны громоздятся над расплывчато темнеющим в глубине призраком и, становясь на дыбы, рушатся вниз. Каждый такой обвал тысячетонных громадин сопровождается длящимся целые секунды хлюпаньем, похожим на грохот, — масштабы всего происходящего чудовищны. Темное образование сползает вниз; очередной удар, кажется, вот-вот расплющит и расщепит его; доли диска повисают, как намокшие крылья, от них отрываются продолговатые гроздья, вытягиваются в длинные ожерелья, сливаются друг с другом и всплывают, увлекая за собой породивший их диск, а тем временем сверху в этот все резче очерченный круг попадают новые и новые кольца волн. И такое длится иногда день, а иногда — месяц. Порой все на этом кончается.

Добросовестный Гизе назвал этот вариант «незрелым мимонидом», словно он откуда-то узнал, что окончательная цель каждого подобного катаклизма — «зрелый мимонид», то есть та колония похожих на полипы блеклых наростов (обычно превосходящая целый земной город), предназначение которой — передразнивать внешние формы. Разумеется, нашелся другой солярист, по фамилии Юйвенс, признавший именно эту, последнюю фазу вырождением, отмиранием, а образуемые формы — несомненным признаком освобождения «отростков» от воздействия исходного образования.

Описывая все остальные солярийские явления, Гизе напоминает муравья, очутившегося на замерзшем водопладе: не отвлекаясь, не обобщая, он кропотливо собирает и сухо излагает мельчайшие подробности. Но, говоря о мимоидах, он настолько уверен в себе и так увлекается,

что выстраивает отдельные фазы появления мимоида по признаку все возрастающего совершенства.

Если смотреть на мимойд сверху, то он напоминает город, но это лишь иллюзия, вызванная поисками хоть какой-то аналогии. Когда небо безоблачно, все многоэтажные выросты и частоколы на их вершинах окружает слой нагретого воздуха, отчего формы, которые и так трудно определить, колеблются и расплываются. Первое же облачко в небесной лазури (я говорю так по привычке: «лазурь» во время красного дня — рыжая, а во время голубого — ослепительно белая) встречает немедленный отклик. Начинается бурное почкование. Вверх устремляется почти полностью отделившаяся от основания, тягучая, гроздевидная оболочка, она сразу же блекнет и спустя несколько минут делается необыкновенно похожей на кучевое облако. Гигантский объект отбрасывает красноватую тень, одни вершины мимоида как бы передают его другим в направлении, противоположном движению настоящей тучи. По-моему, Гизе дал бы себе отрубить руку, чтобы узнать хоть одно: отчего так происходит. Но такие «одиночные» порождения мимоида — ничто по сравнению с бурной деятельностью, которую он развивает, будучи «раздражен» наличием предметов и форм, появляющихся над ним по вине пришельцев с Земли.

Мимойд воспроизводит буквально все, что находится на расстоянии, не превышающем восьми-деяти миль. Обычно мимойд, воспроизводя, увеличивает, а иногда искажает формы, образуя карикатуры или забавные упрощения, особенно если он «имеет дело» с механизмами. Разумеется, материалом служит всегда одна и та же быстро блекнущая масса, которая, будучи выброшена в воздух, не падает обратно, а повисает, соединенная легкорвущимися пуповинами с основанием; по основанию она и ползет, то сжимаясь, то набухая или раздуваясь, при этом незаметно появляются невообразимо сложные узоры. Летательный аппарат, решетчатая ферма или мачта воспроизводятся с одинаковой стремительностью; мимойд не реагирует только на людей, а точнее, на живые организмы, в том числе и на растения — в экспериментальных целях неутомимые исследователи и растения доставили на планету Солярис. Зато муляжи — например, человека, собаки или дерева, — сделанные из любого материала, копируются немедленно.

И тут, к сожалению, нужно добавить, что столь исключительная на Солярис «покорность» мимоида экспериментаторами наблюдается не всегда. У самого зрелого мимоида бывают «ленивые дни», когда он только очень медленно пульсирует. Поскольку каждая фаза «пульса» продолжается более двух часов, пульсация незаметна. Открыть ее удалось лишь благодаря специальной киносъемке.

В такое время мимойд, особенно старый, может быть использован для пеших прогулок: и плавающий в Океане диск, и поднявшиеся из него выросты — надежная опора для пешеходов.

Можно, конечно, находиться на мимойде и в его «рабочие» дни, но тогда видимость близка к нулю, так как из пузырчатых ответвлений копирующей оболочки все время сыплется пушистая, беловатая, как мелкий снег, коллоидная взвесь. Впрочем, вблизи воспроизведенные формы невозможно охватить взглядом: по величине они подобны земным горам. К тому же нижняя часть «работающего» мимоида становится вязкой из-за слизистого дождя, лишь через несколько часов слизь застывает и превращается в твердую корку во много раз легче пемзы. И наконец, без соответствующего снаряжения нетрудно заблудиться в лабиринте пузатых отростков, напоминающих не то сжимающиеся и растягивающиеся колонны, не то полужидкие гейзеры. Заблудиться легко даже при солнечном свете, его лучи не могут пробить пелену, беспрестанно выбрасываемую в атмосферу «имитирующими взрывами».

Наблюдения за мимойдом в его счастливые дни (точнее говоря, в дни, счастливые для исследователя, находящегося над мимойдом) могут оставить неизгладимые впечатления. У мимоида бывает свой «творческий подъем», когда он выдает невиданную сверхпродукцию. Он то копирует внешние формы, то их усложняет или создает их «формальное продолжение» — и так может развлекаться часами, на радость художнику-абстракционисту и к полному отчаянию ученого, который напрасно пытается понять хоть что-нибудь из происходящего. Временами в деятельности мимоида проявляются черты прямо-таки детского примитивизма, порой он впадает в «стиль барокко», тогда на всем, что им порождено, лежит отпечаток неуклюжего величия. Старые мимойды нередко фабрикуют невероятные смешные формы. Правда, я никогда над ними не смеялся — таинственное зрелище слишком сильно пора-

жало меня. Разумеется, в первые годы исследований все так и набросились на мимоиды. Их приняли за центры солярийского Океана, полагая, что именно тут произойдет долгожданный контакт двух разумов. Однако очень быстро выяснилось: ни о каком контакте не может быть и речи — все начинается с воспроизведения форм и кончается тем же.

Антропоморфизм (или зооморфизм) вновь и вновь проглядывал в отчаянных поисках исследователей, они усматривали в различных видоизменениях живого Океана то «органы чувств», то даже «конечность»; какое-то время ученые (например, Мартенс и Экконаи) принимали за конечности «хребетники» и «мелькальцы». Но эти протуберанцы живого Океана, вздымающиеся иногда на две мили в атмосферу, так же можно назвать конечностями, как землетрясение — гимнастикой земной коры.

Насчитывается около трехсот форм, повторяющихся с относительным постоянством и порождаемых живым Океаном сравнительно часто. За сутки можно обнаружить несколько десятков или сотен их на поверхности. Самые «нечеловеческие», то есть абсолютно не похожие ни на что земное, формы, по утверждению школы Гизе,— это симметриады. Уже было хорошо известно, что Океан не агрессивен и погибнуть в плазматических глубинах может только очень неосторожный или беззаботный человек (конечно, не считая несчастных случаев, вызванных повреждением кислородного аппарата или кондиционера). Даже цилиндрические реки «долгунов» или чудовищные столбы «хребетников», бессмысленно раскачивающихся среди туч, можно насквозь пробить любым летательным аппаратом без всякой опасности — плазма уступает дорогу, раздвигаясь перед инородным телом, стремительно, со скоростью звука в солярийской атмосфере, открывая, если ее к этому вынудить, глубокие тоннели даже в толще Океана. С этой целью мгновенно затрачивается гигантская энергия (порядка 10^{19} эрг, по подсчетам Скрыбина). И все-таки, начиная исследовать симметриады, ученые соблюдали чрезвычайную осторожность, то и дело отступая, придумывая все новые и новые меры безопасности (нередко лишь мнимые), а имена тех, кто первым отправился в бездны симметриад, известны на Земле даже детям.

Хотя уже один вид этих исполинов может вызывать кошмарные сны, самое страшное в симметриадах вовсе не

их вид. Ужас наводит скорее то, что в границах симметриад нет ничего постоянного и определенного, там не действуют даже физические законы. Именно исследователи симметриад настойчивее всех утверждали, что живой Океан разумен.

Симметриады возникают внезапно. Их порождает нечто вроде извержения. Приблизительно за час до рождения симметриады Океан начинает ослепительно блестеть, словно стекленея, на площади нескольких десятков квадратных километров. Но ни плавность, ни ритм волнообразования не меняются. Иногда симметриада возникает там, где была воронка после ушедшего в глубину «мелькальца», но так бывает далеко не всегда. Приблизительно через час стекловидная оболочка вздувается чудовищным пузырем, в котором отражаются небосклон, солнце, тучи, горизонт. Пузырь переливается всеми цветами радуги, игра красок напоминает вспышки молний — такого больше нигде не увидишь!

Самые сильные световые эффекты дают симметриады, возникающие во время голубого дня или перед самым заходом солнца. Тогда кажется, что из недр одной планеты рождается вторая, с каждым мгновением удваивающая свой объем. Пылающий ослепительным блеском шар, едва поднявшись из глубины, лопается, расщепляясь в верхней части на вертикальные секторы, но не распадается. Эта стадия, не совсем удачно названная «фазой цветочной чашечки», длится несколько секунд. Устремленные к небу перепончатые дуги поворачиваются, срстаются в невидимом чреве и молниеносно образуют нечто вроде коренастого торса, внутри которого происходят сотни явлений одновременно. В самом центре (впервые его исследовала экспедиция Гамалеи в составе семидесяти человек) складывается из гигантских поликристаллов осевой несущий стержень. Его называют иногда «позвоночником» (этот термин мне не кажется удачным). Головокружительные переплетения центральной опоры поддерживаются в момент образования бьющими из километровых провалов вертикальными столбами жидкого, почти водянистого студня. При этом исполин производит глухой, протяжный гул, а вокруг вздымается вал бешено плещущей, снежной, крупноячейстой пены. Потом начинается необычайно сложное вращение (от центра к внешним границам) утолщенных плоскостей, на них наслаиваются поднимающиеся из глубины отложения тягучей массы, одновременно гей-

зеры, о которых я только что говорил, застывают, густея, и превращаются в подвижные, похожие на щупальца, колонны, пучки их устремляются в совершенно определенные места, повинувшись динамике всего сооружения, и теперь напоминают вздымающиеся до небес жабры гигантского зародыша, растущего с невероятной быстротой; в «жабрах» струится розовая кровь и темно-зеленая, почти черная вода. С этого момента симметриады начинают проявлять свое самое необыкновенное свойство — способность преобразовывать или даже приостанавливать действие некоторых физических законов. Отметим прежде всего, что нет двух одинаковых симметриад, и геометрия каждой из них — новое «изобретение» живого Океана. Далее — симметриада производит внутри себя то, что часто называют «машинами мгновенного действия», хотя эти образования ничуть не похожи на наши машины (имеется в виду довольно узкая, а тем самым как бы механическая направленность действия).

Когда бьющие из бездны гейзеры застынут или вздуются, став толстыми стенами галерей и коридоров, идущих во всех направлениях, а «пленки» образуют систему пересекающихся плоскостей, навесов, сводов, симметриада начинает оправдывать свое название: каждому хитросплетению пролетов, ходов и склонов у одного полюса соответствует точно такое же хитросплетение у противоположного.

Минут через двадцать — тридцать гигант начинает медленно погружаться, иногда отклоняясь от вертикальной оси на восемь — двенадцать градусов. Бывают симметриады большие и малые, но даже «карлики» вздымаются метров на восемьсот над уровнем Океана и видны на расстоянии доброго десятка миль. Безопаснее всего пробираться внутрь симметриады сразу же, как только прекратится погружение и восстановится равновесие, а ось симметриады вновь совпадет с вертикалью. Удобнее всего — область чуть ниже вершины. Довольно гладкую полярную «шапку» окружает там пояс, изрешеченный устьями внутренних камер и проходов. В целом симметриада представляет собой пространственное воплощение некоего необычайно сложного уравнения.

Как известно, каждое уравнение можно выразить геометрическим языком, построив соответствующую этому уравнению пространственную фигуру. В таком понимании симметриада родственна плоскости Лобачевского и отри-

цательной Римановой кривизне. Но родство это — весьма дальнее из-за неопишуемой сложности симметриады. Симметриада представляет собой занимающее несколько кубических миль воплощение целой математической системы, причем воплощение четырехмерное; само время претерпевает изменения в симметриадах.

Проще всего, конечно, предположить, что перед нами не что иное, как «математическая машина» живого Океана, модель расчетов, необходимых ему в каких-то неведомых нам целях, но эту гипотезу Фермона сегодня уже никто не поддерживает. Она весьма соблазнительна, но представление о том, что с помощью таких титанических извержений, где каждая частица подчинена непрерывно усложняющимся формулам математического анализа, живой Океан задастся вопросами материи, космоса, бытия, просуществовать недолго. Слишком много явлений, происходящих в симметриаде, противоречит такой простой, в сущности (и даже детски наивной, по словам некоторых), интерпретации.

Были попытки найти какую-нибудь доступную наглядную аналогию. Достаточно популярно объяснение Аверяна, предложившего такое сравнение: представим себе древнейшее земное сооружение времен расцвета Вавилона, воздвигнутое из живого, возбудимого, развивающегося вещества; архитектоника его плавно проходит ряд переходных фаз, принимая у нас на глазах формы греческой и романской архитектуры, затем колонны становятся тонкими, как стебель, свод делается невесомым, устремляется вверх, арки превращаются в крутые параболы, потом заостряются, как в готике. Готика достигает совершенства, потом устаревает, ее строгость сменяется оргией пышных форм, на наших глазах расцветает причудливое барокко. Постепенно, переходя вместе с нашим живым сооружением от одного стиля к другому, мы придем к архитектуре космической эпохи. Представив себе все это, мы хоть чуть-чуть приблизимся к пониманию того, что такое симметриада.

Но такое сравнение, хотя его развивали и обогащали, пытаясь даже проиллюстрировать специальными моделями и фильмом, в лучшем случае — доказательство нашего бессилия, в худшем — попытка уйти от проблемы, а может, просто ложь — ведь симметриада не похожа ни на что земное...

Человек может воспринять сразу совсем немного; мы видим лишь то, что происходит перед нами, здесь, теперь;

не в наших силах представить себе множество одновременно происходящих процессов, пусть даже взаимосвязанных и дополняющих друг друга. Это относится даже к сравнительно простым явлениям. История одного человека может иметь очень большое значение, историю нескольких сотен трудно проследить, а истории тысячи или миллиона не значат, в сущности, ничего. Симметриада — миллион или даже миллиард, возведенный в степень бесконечности, симметриада — сама невообразимость. Мы стоим в одном из ее закоулков — в удесятеренном пространстве Кронеккера, — словно муравьи, замершие на живом своде, перед нами — возносящиеся вверх плоскости, тускло мерцающие в лучах наших осветительных ракет, мы наблюдаем их взаимопроникновение, плавность и безупречное совершенство, и все это — лишь момент, ибо главное здесь — движение, сосредоточенное и целенаправленное. Мы видим лишь отдельное колебание одной струны в симфоническом оркестре сверхгигантов и знаем — но только знаем, а не понимаем, — что одновременно над нами и под нами, в стрельчатых безднах, за пределами зрения и воображения происходят тысячи и миллионы преобразований, связанных между собой, как ноты, математическим контрапунктом. Кто-то называл симметриаду геометрической симфонией, но в таком случае нас надо назвать ее глухими слушателями.

Чтобы разглядеть здесь хоть что-нибудь, надо было бы отойти, отступить в неизмеримую даль, но ведь в симметриаде все — внутренность, размножение, лавины рождений, непрерывное формирование, причем то, что формируется, само формирует. Никакая мимоза не откликнется так чутко на прикосновение, как откликается отстоящая на много миль и на сотни ярусов от нас часть симметриады на перемены, происходящие в том месте, где мы стоим. Каждая существующая одно мгновение конструкция сама конструирует все остальные и дирижирует ими, а они в свою очередь воздействуют на нее. Да, это симфония, но такая, которая сама себя создает и сама себя заглушает.

Конец симметриады ужасен. Когда его видишь, кажется, что становишься свидетелем трагедии, а может, даже убийства. Спустя два-три часа — столько продолжается буйство разрастания, увеличения, самосоздания — живой Океан переходит в атаку: гладкая поверхность морщится, успокоившийся уже, покрытый засохшей пеной прибой закипает; от горизонта мчатся ряды концентричес-

ких волн, таких же мускулистых кратеров, как те, что сопровождают рождение мимоида, но на сей раз они неизмеримо больше. Погруженная часть симметриады вытесняется, колосс медленно поднимается вверх, словно извергаемый за пределы планеты, верхние слои Океана активизируются, взбираются все выше на боковые стены, застывают на них, замуровывают отверстия, но все это — ничто по сравнению с происходящим в глубине симметриады. Сначала формообразовательные процессы — самосоздание и самопреобразование архитектоники — застывают ненадолго, а потом бешено ускоряются. Движения, до сих пор плавные, мерные, такие уверенные, словно им предстояло продолжаться веками, приобретают головокружительную быстроту. Возникает гнетущее впечатление, будто колосс перед лицом грозящей ему опасности стремится что-то успеть. Но чем быстрее происходят перемены, тем очевиднее делается ужасное, омерзительное перерождение самого материала и его динамики. Стрельчатые пересечения изумительно гибких плоскостей провисают, становятся мягкими, дряблыми; появляются незаконченные, уродливые, искаленные формы; из невидимых глубин доносится, нарастая, шум, рев, выбрасываемый в предсмертных муках воздух извлекает из гигантских глоток, пролетов и сводов, затянутых слизью, чудовищные стоны и хрипы; чувствуется, как вокруг все умирает, несмотря на головокружительное движение. Это движение — уничтожающее. И вот уже только ураган, воющий в бездонных колодцах, поддерживает, раздувая, исполинское сооружение; оно начинает оползать, таять, как охваченные пламенем соты; кое-где еще видны последние содрогания, беспомощный трепет; потом, беспрестанно атакуемый снаружи, подмытый волнами, исполин медленно опрокидывается и исчезает в таком же водовороте пены, из какого он родился.

И как это все объяснить? Вот именно — как объяснить?..

Помню, одна школьная экскурсия осматривала Институт соляристики в Адене. Я был тогда ассистентом Гиба-ряна. Через боковой зал библиотеки школьников провели в главное помещение, в основном занятое под хранилище микрофильмов. На пленках запечатлены незначительные фрагменты внутренности симметриад, конечно давно уже не существующих. А всего там — не отдельных кадров, а целых бобин с пленкой — свыше девяноста тысяч. И вот

пухленькая девчушка лет пятнадцати, решительно и пытливо глядя сквозь очки, спросила:

— А зачем все это?..

Наступило неловкое молчание. Учительница строго посмотрела на своевольную ученицу, а мы, соляристы-экскурсоводы (я тоже был там), не смогли ответить.

Симметриады неповторимы, и, как правило, не повторяются происходящие в них процессы. Иногда воздух перестает проводить в них звук, порой увеличивается или уменьшается коэффициент преломления. В некоторых местах притяжение ритмично пульсирует, словно у симметриады начинает биться гравитационное сердце. Порой наши гирокомпасы просто безумствуют; в некоторых местах возникает и исчезает повышенная ионизация. Можно назвать еще многое. Впрочем, если даже загадка симметриад будет разрешена, останутся еще асимметриады...

Они возникают таким же образом, но конец у них — иной. В них ничего нельзя различить: все в них дрожит, пылает, мелькает. Мы знаем лишь одно: асимметриады — очаги процессов, скорость которых лежит на грани физически возможных величин; иногда асимметриады называют «гигантскими квантовыми явлениями». Математическое сходство асимметриад с моделями определенных атомов столь непостоянно и мимолетно, что некоторые считают его второстепенным или даже случайным признаком. Асимметриады живут гораздо меньше, чем симметриады, — не более двадцати минут, а гибель их еще страшнее: вслед за ураганом, который с оглушительным грохотом наполняет и взрывает их, на месте асимметриад с немыслимой скоростью вздымается бурлящая, омерзительная жидкость. Клубясь под слоем грязной пены, она затопляет все, а затем происходит взрыв, похожий на извержение грязевого вулкана: он выбрасывает столб измочаленных останков, которые долго еще падают на беспокойную поверхность Океана. Ветер разносит эти куски, высохшие, желтоватые, плоские, напоминающие окостеневшие перепонки или пленчатые хрящи. Их можно потом найти на волнах за много десятков километров от очага взрыва.

Отдельную группу составляют образования, полностью отделяющиеся от живого Океана на более или менее длительное время. Они встречаются значительно реже, и их гораздо труднее заметить. Когда впервые были обнаружены оставшиеся от них куски, ученые сочли, совершенно ошибочно, как выяснилось значительно позже, что это

останки жителей океанских глубин. Иногда кажется: образования пытаются спастись бегством, как странные многокрылые птицы, от преследования «мелькальцев». Но это земное сравнение ничего не раскрывает. Временами — очень редко — на скалистых берегах островов можно заметить странные силуэты, похожие не то на тюленей, не то на пингвинов. Они стадами греются на солнце или лениво сползают в море, чтобы слиться с ним в одно целое.

Исследователи все никак не могли вырваться из заколдованного круга земных понятий, а первый контакт...

Экспедиции преодолели сотни километров в глубины симметриад, расставили регистрирующие приборы, автоматические кинокамеры; телепередатчики искусственных спутников фиксировали почкования мимоидов и «долгунов», их созревание и отмирание. Заполнялись библиотеки, росли архивы. За это не раз приходилось очень дорого платить. Семьсот восемнадцать человек погибли в катаклизмах, не успев выбраться из приговоренных к гибели гигантов, причем сто шесть — только в одной катастрофе, широко известной, — в ней погиб и сам Гизе, в то время уже семидесятилетний старик. Гибель, обычно свойственная асимметриадам, постигла образование, представлявшее собой четко выраженную симметриаду. Семьдесят девять человек в бронированных скафандрах, машины и приборы гигантский грязевой фонтан уничтожил в считанные секунды, сбив своими струями и двадцать семь пилотов, круживших на летательных аппаратах над местом исследований. Это место — на пересечении сорок второй параллели с восемьдесят девятым меридианом — отмечено на картах как «Извержение ста шести». Но только на картах — на поверхности Океана не осталось и следа.

Тогда впервые за всю историю соляристики раздалось голоса, требовавшие нанести термоядерный удар. В сущности, это было бы безжалостнее всякой мести: хотели уничтожить то, чего не могли понять. Цанкен, заместитель начальника резервной группы Гизе (благодаря ошибке передающего автомата, неверно обозначившего координаты места исследований, он уцелел, заблудившись над Океаном, и прибыл на место буквально через несколько минут после взрыва — подлетая, он еще увидел черный гриб), когда обсуждался вопрос, пригрозил взорвать Станцию вместе с собой и восемнадцатью оставшимися на ней. Хотя в официальных источниках не сказано, что этот

ультиматум повлиял на результат голосования, вероятно, было именно так.

Но времена столь крупных экспедиций на планету давно миновали. Саму Станцию создавали, наблюдая за ее строительством со спутников. Земля могла бы гордиться масштабами инженерного сооружения, если бы Океан не порождал за несколько секунд конструкции, превосходившие по величине Станцию в миллионы раз. Станция представляет собой диск диаметром в двести метров, четырехъярусный в центре и двухъярусный по краям. Она парит на высоте от пятисот до тысячи пятисот метров над Океаном благодаря гравитаторам, работающим на энергии аннигиляции, и снабжена, кроме оборудования, какое обычно бывает на Станциях и больших Сателлоидах, специальными радарными установками, готовыми при первом изменении океанской глади включить дополнительные мощности, и, как только появляются предвестники рождения нового живообразования, стальной диск взмывает в стратосферу.

Теперь Станция почти безлюдна. С тех пор как роботы были заперты — по неизвестной мне причине — в нижних трюмах, можно кружить по коридорам, не встречая никого, как на дрейфующем корабле, машины которого пережили погибший экипаж.

Когда я поставил девятый том монографии Гизе на полку, мне показалось, что сталь, покрытая толстым слоем пористого пенопласта, задрожала под ногами. Я насторожился, но вибрация не повторилась. Библиотека была прекрасно изолирована от всего корпуса, и вибрация могла возникнуть только по одной причине — со Станции стартовала ракета. Эта мысль вернула меня к действительности. Я еще не знал, полечу ли я, как того хотел Сарториус. Ведя себя так, словно я целиком разделяю его планы, я мог в лучшем случае оттянуть столкновение; я был почти уверен, что дело дойдет до стычки, поскольку решил сделать все, что в моих силах, чтоб спасти Хэри. Самое главное, есть ли у Сарториуса шансы на успех. У него было огромное преимущество — как физик он разбирался в этой проблеме в десять раз лучше меня; я мог, как ни парадоксально, рассчитывать лишь на безукоризненность решений, которые преподносил нам Океан.

Потом я час корпел над микрофильмами, пытаюсь выловить что-нибудь разумное из моря проклятой математики, на языке которой говорила физика нейтринных процессов.

Вначале мне казалось это безнадежным, тем более что неимоверно трудных теорий нейтринного поля было пять — явное доказательство их несовершенства. В конце концов мне удалось найти кое-что обнадеживающее. Я выписывал формулы, когда в дверь постучали.

Я быстро подошел к двери и открыл ее, загоразживая своим телом вход. Показалось блестящее от пота лицо Снаута. В коридоре больше никого не было.

— А, это ты,— сказал я, широко распахивая дверь.— Входи.

— Да, это я,— ответил Снаут.

Голос у него охрип, глаза покраснели, под ними появились мешки. На Снауте был блестящий резиновый антирадиационный фартук на эластичных подтяжках; из-под фартука виднелись грязные штанины брюк, в которых он всегда ходил. Его глаза, обежав круглый, залитый светом зал, остановились, когда он заметил в глубине стоящую возле кресла Хэри. Мы быстро обменялись взглядами; я опустил веки; тогда Снаут поклонился, а я любезным тоном произнес:

— Это доктор Снаут, Хэри. Снаут, это... моя жена.

— Я... член экипажа... меня трудно встретить и поэтому...— Пауза опасно затянулась.— У меня не было возможности познакомиться...

Хэри улыбнулась и протянула ему руку, он пожал ее, как мне показалось, несколько ошарашенный, поморгал и уставился на Хэри. Я положил руку на его плечо.

— Извините,— сказал Снаут, обращаясь к Хэри.— Я хотел бы поговорить с тобой, Кельвин...

— Пожалуйста,— ответил я с великосветской неприужденностью; все несколько напоминало фарс, но делать было нечего.— Хэри, дорогая, мы тебе не мешаем? Нам с доктором надо обсудить наши скучные дела.

Я за локоть подвел Снаута к маленьким креслам на противоположной стороне зала. Хэри уселась в кресло, на котором я только что сидел, подвинув его так, что, подняв голову от книги, могла нас видеть.

— Как дела? — тихо спросил я.

— Я развелся,— ответил он свистящим шепотом.

Если бы мне когда-нибудь рассказали эту историю и передали такое начало разговора, я рассмеялся бы, но на Станции мое чувство юмора атрофировалось.

— Кельвин, со вчерашнего дня я прожил несколько лет. И каких лет! А ты?

— Я — ничего... — помедлив, ответил я, не зная, что говорить.

Я хорошо относился к Снауту, но чувствовал, что мне сейчас надо остерегаться его, вернее, того, что он собирается мне сказать.

— Ничего? — переспросил Снаут. — Ах, даже так?

— Что ты имеешь в виду?

Я сделал вид, будто не понимаю его.

Снаут сощурил покрасневшие глаза и, наклонившись ко мне так близко, что я ощутил на лице его дыхание, зашептал:

— Мы завязли, Кельвин. С Сарториусом уже нельзя связаться. Я знаю только то, что написал тебе и что он мне сказал после нашей распрекрасной конференции...

— Он отключил видеофон? — спросил я.

— Нет, у него короткое замыкание. Кажется, он сделал его нарочно, или... — Снаут взмахнул кулаком, будто разбивая что-то.

Я молча смотрел на него. Левый уголок губ приподнялся у него в неприятной усмешке.

— Кельвин, я пришел потому... — Он не договорил. — Что ты собираешься делать?

— Ты имеешь в виду то письмо? — медленно проговорил я. — Сделаю, не вижу причины отказываться, поэтому и сижу здесь, я хочу разобраться...

— Нет, — прервал он меня, — я не о том...

— О чем?.. — спросил я с наигранным удивлением. — Я слушаю.

— Сарториус, — буркнул он, — ему кажется, он нашел путь... знаешь...

Снаут не спускал с меня глаз. Я сидел спокойно, стараясь сохранять равнодушное выражение лица.

— Прежде всего, та история с рентгеном. То, что делал с ним Гибарян, помнишь. Возможна определенная модификация...

— Какая?

— В Океан посылали просто пучок лучей и модулировали только их мощность по определенным формулам.

— Да, я знаю об этом. Нилин уже так делал. И многие другие.

— Да, но они использовали мягкое излучение. А тут было жесткое, мы колошматили Океан, как могли, всей мощностью.

— Могут быть неприятности,— заметил я.— Нарушение Конвенции Четырех и ООН.

— Кельвин... Не притворяйся. Какое теперь это имеет значение? Гибаряна нет в живых.

— А Сарториус хочет свалить все на него?

— Понятия не имею. Я с ним об этом не говорил. Неважно. Сарториус считает, если «гости» всегда появляются, когда мы просыпаемся, значит, Океан выуживает из нас рецепт производства во время сна. Океан полагает, что самое важное наше состояние — сон, и именно поэтому так поступает. Сарториус хочет послать ему наши мысли, мысли наяву — понимаешь?

— Каким образом? По почте?

— Шутки ты пошлешь сам, отдельно. Этот пучок лучей будет модулироваться биотоками мозга одного из нас.

Наконец-то я кое-что понял.

— А,— сказал я.— Один из нас — это я! Да?

— Да. Он думал о тебе.

— От души благодарю.

— Что ты на это скажешь?

Я ничего не ответил. Снаут молча посмотрел сначала на поглощенную чтением Хэри, потом на меня. Я почувствовал, как бледнею, но не мог с собой справиться.

— Ну как?..— спросил Снаут.

Я пожал плечами.

— Эти рентгеновские проповеди о совершенстве человека я считаю глупостью. И ты тоже. Может, не так?

— Так?..

— Так.

— Очень хорошо,— сказал Снаут и улыбнулся, будто я оправдал его ожидания.— Значит, ты против затеи Сарториуса?

Я еще не сообразил, каким образом, но он добился своего — я прочел это в его взгляде. Что я мог теперь сказать?

— Прекрасно,— произнес Снаут.— Есть и второй проект. Перестроить аппарат Роша.

— Аннигилятор?..

— Да. Предварительные расчеты у Сарториуса уже готовы. Это реально. И даже не потребуется большой мощности. Установка может работать круглосуточно, неограниченное время, создавая антиполе.

— По... постой! Как это, по-твоему, будет выглядеть?

— Очень просто. Это будет нейтринное антиполе. Обыкновенная материя остается без изменения. Уничтожаются только... нейтринные системы. Понимаешь?

Снаут удовлетворенно улыбался. Я сидел оглушенный. Он перестал улыбаться, испытующе смотрел на меня, наморщив лоб, и ждал.

— Первый проект — «Мысль» — отбрасываем. А второй? Сарториус им уже занимается. Проект назовем «Свобода».

Я на минуту закрыл глаза. Неожиданно пришло решение. Снаут — не физик. Сарториус выключил или разбил видеофон. Прекрасно!

— Я бы назвал проект «Бойня»... — медленно проговорил я.

— Не разыгрывай из себя святого. Теперь все будет иначе. Никаких «гостей», никаких образований Φ — ничего. В момент материализации наступает распад.

— Это недоразумение, — улыбнулся я, покачав головой; я надеялся, что моя улыбка выглядит естественно. — Снаут, это не угрызения совести, а только инстинкт самосохранения. Я не хочу умирать.

— Что?..

Снаут растерялся. Он подозрительно глядел на меня. Я достал из кармана помятый листочек с формулами.

— И я думал об этом. Ты удивлен? Ведь я первый выдвинул нейтринную гипотезу. Так? Посмотри. Антиполе можно возбудить. Для обыкновенной материи оно не опасно. Это правда. Но в момент дестабилизации, когда нейтринная система распадается, освобождается избыточная энергия связи. Если на каждый килограмм покоящейся массы приходится десять в восьмой степени эрг, то на каждый объект Φ — от пяти до семи на десять в восьмой эрг. Ты представляешь себе, что это такое? Небольшой урановый взрыв внутри Станции.

— Что ты говоришь? Но... но Сарториус должен это учитывать...

— Не обязательно, — возразил я с ехидной усмешкой. — Видишь ли, Сарториус принадлежит к школе Фрезера и Кайоллы. По их теории, вся энергия связи в момент распада освобождается в виде светового излучения. Это была бы просто очень яркая вспышка, может не совсем безопасная, но не разрушительная. Существуют, однако, другие гипотезы, другие теории нейтринного поля. По

Кайатту, по Авалову, по Сионе, диапазон излучения значительно шире, а максимум приходится на жесткое гамма-излучение. Хорошо, что Сарториус верит своим учителям и их теориям, но есть и другие теории, Снаут. Послушай, что я тебе скажу...— Я видел, что мои слова производят на него впечатление.— Надо принять во внимание и Океан. Если он сделал то, что сделал, то, конечно, использовал оптимальный метод. Иначе говоря, его действия мне кажутся аргументами в пользу второй школы, а не в пользу Сарториуса.

— Дай мне твои записи, Кельвин...

Я протянул ему листок. Снаут наклонил голову, пытаясь прочитать мои каракули.

— Что это? — показал он пальцем.

Я взял у него листок.

— Это? Тензор трансмутации поля.

— Дай мне листок...

— Зачем? — спросил я, зная, что он ответит.

— Я должен показать его Сарториусу.

— Как хочешь, — равнодушно ответил я. — Могу тебе дать. Только учти, экспериментально этого никто не проверял. Такие системы еще не были известны. Сарториус верит Фрезеру, а я рассчитывал по Сионе. Я не физик, и Сиона тоже не физик. По крайней мере, с точки зрения Сарториуса. Но это вопрос дискуссионный. А я не жажду дискуссии, в результате которой я могу испариться во славу Сарториуса. Тебя можно убедить, его — нет. И не буду стараться.

— Что ты хочешь сделать?.. Он работает над этим, — бесцветным голосом сообщил Снаут.

Он сгорбился, все его оживление исчезло. Я не знал, доверяет ли он мне, но мне уже было все равно.

— То, что делает человек, когда его пытаются убить, — тихо ответил я.

— Я попробую связаться с ним. Может, он думает о каких-то мерах безопасности, — пробормотал Снаут. Он посмотрел на меня. — Послушай, а если все же?.. Первый проект, а? Сарториус согласится. Безусловно. Во всяком... во всяком случае... какая-то возможность.

— Ты веришь?

— Нет... Но... это ведь не помешает...

Мне не хотелось слишком быстро соглашаться, чтобы не показать, как важно для меня, что Снаут становится моим союзником. Теперь мы могли вместе затягивать дело.

— Надо подумать,— сказал я.

— Я пойду,— буркнул Снаут, вставая.

У него хрустнули суставы, когда он поднимался с кресла.

— Так ты позволишь снять с себя энцефалограмму? — спросил Снаут, вытирая пальцами фартук, словно пытался стереть невидимое пятно.

— Хорошо,— согласился я.

Не обращая внимания на Хэри (она наблюдала за этой сценой молча, держа книгу на коленях), Снаут подошел к двери. Когда она закрылась за ним, я встал. Я расправил листок, который держал в руке. Формулы были настоящие, я их не подделал. Не знаю только, признал ли бы Сиона правильными мои выводы. Вероятно, нет. Я вздрогнул. Хэри подошла ко мне сзади и коснулась моего плеча.

— Крис!

— Что, дорогая?

— Кто это был?

— Я говорил тебе. Доктор Снаут.

— Что он за человек?

— Я плохо его знаю. Почему ты спрашиваешь?

— Он так смотрел на меня...

— Вероятно, ты ему понравилась.

— Нет,— покачала она головой.— Он смотрел на меня иначе. Так... словно...

Ей было явно не по себе. Она подняла на меня глаза и тут же опустила их.

— Идем отсюда куда-нибудь...

ЖИДКИЙ КИСЛОРОД

Я лежал в темной комнате, тупо уставившись в светящийся циферблат на запястье. Сколько это тянулось, не знаю. Я прислушивался к собственному дыханию и чему-то удивлялся. Состояние странного безучастия я приписывал усталости. Я повернулся на бок, койка была необычно широкой, мне чего-то не хватало. Я затаил дыхание. Наступила полная тишина. Я замер. Ни малейшего шороха. Хэри? Почему я не слышу ее дыхания? Я провел руками по постели. Хэри не было.

«Хэри»,— хотел позвать я, но услышал шаги.

Кто-то шел, высокий и грузный, как...

— Гибарян? — спокойно спросил я.

- Да, это я. Не зажигай света.
- Не зажигать?
- Не надо. Так будет лучше для нас обоих.
- Но ведь тебя нет в живых?
- Это не важно. Ты узнаешь мой голос?
- Да. Почему ты это сделал?
- Так было нужно. Ты опоздал на четыре дня. Если бы ты прилетел раньше, может быть, в этом не было бы необходимости. Не мучайся угрызениями совести. Мне совсем неплохо.
- Ты действительно здесь?
- А ты думаешь, что видишь меня во сне, как думал о Хэри?
- Где она?
- Откуда ты взял, что я знаю?
- Я догадался.
- Не стоит говорить об этом. Допустим, что я здесь вместо нее.
- Но я хочу, чтобы она тоже была.
- Это невозможно.
- Почему? Послушай, ты ведь знаешь, что на самом деле это не ты, а я?
- Нет, это на самом деле я. Точнее — я, повторенный еще раз. Но мы попусту тратим время.
- Ты уйдешь?
- Да.
- И тогда она вернется?
- Для тебя это важно? Она для тебя много значит?
- Это мое дело.
- Ты же боишься ее.
- Нет.
- И брезгуешь...
- Что тебе надо от меня?
- Жалеть нужно себя, а не ее. Ей всегда будет двадцать лет, не притворяйся, будто ты не знаешь об этом!
- Неожиданно я успокоился. Я слушал Гибаряна без волнения. Мне показалось, что он стоит теперь ближе, в ногах, но я по-прежнему ничего не видел в темноте.
- Что же тебе нужно? — спросил я тихо.
- Мой тон, пожалуй, удивил его. Он помолчал.
- Сарториус объяснил Снауту, что ты обманул его. Теперь они тебя обманут. Под видом монтажа рентгеновской установки они строят аннигилятор поля.
- Где она? — спросил я.

— Ты что, не слышишь, что я тебе сказал? Я предупредил тебя!

— Где она?

— Не знаю. Учти: тебе понадобится оружие. Рассчитывать тебе не на кого.

— Я могу рассчитывать на Хэри,— произнес я.

Раздался тихий смешок Гибаряна.

— Конечно, можешь. До известного предела. В конце концов, ты всегда можешь поступить, как я.

— Ты не Гибарян.

— Извини. А кто же? Может быть, твое сновидение?

— Нет. Ты кукла. Но ты об этом не знаешь.

— А ты знаешь, кто *ты*?

Его слова меня озадачили. Я хотел встать, но не мог. Гибарян что-то говорил. Слов я не разбирал, слышал только звук его голоса, отчаянно боролся со слабостью, еще раз рванулся изо всех сил и... проснулся. Я ловил ртом воздух, как рыба на песке. Было очень темно. Это сон. Кошмар. Минутку... «...дилемма, которую мы не сможем разрешить. Мы преследуем самих себя. Политерии применили только подобие избирательного усилителя наших мыслей. Поиски мотивов этого явления — антропоморфизм. Где нет человека, там нет доступных для него мотивов. Чтобы продолжать исследования, необходимо уничтожить либо собственные мысли, либо их материальную реализацию. Первое — не в наших силах. Второе слишком напоминает убийство».

В темноте я прислушивался к размеренному далекому голосу, интонацию которого я сразу узнал. Говорил Гибарян... Я протянул руки. На постели никого не было.

Мне снится, что я проснулся, подумал я.

— Гибарян?..— позвал я.

Голос оборвался тут же на полуслове. Что-то щелкнуло, я ощутил на лице слабое дуновение.

— Ну что же ты, Гибарян,— пробурчал я зевая.— Преследовать в одном сне, в другом — это уже слишком...

Что-то прошуршало возле меня.

— Гибарян! — повторил я громче.

Пружины койки дрогнули.

— Крис... это я,— раздался шепот возле меня.

— Это ты, Хэри... а Гибарян?

— Крис, Крис... ведь его нет... ты сам говорил, что его нет в живых...

— Во сне все может быть,— сказал я медленно. Теперь я не был уверен, что видел сон.— Он говорил что-то, был здесь,— произнес я.

Мне ужасно хотелось спать. Если так хочется спать, то я сплю, мелькнула дурацкая мысль. Я коснулся губами холодного плеча Хэри и улегся поудобнее. Она что-то ответила мне, но я уже погрузился в забытие.

Утром в залитой красным светом комнате я вспомнил, что произошло ночью. Разговор с Гибаряном приснился мне, а что было потом? Я слышал его голос, в этом я мог бы поклясться, но точно не помню, о чем он говорил. Вернее, не говорил, а читал лекцию. Лекцию?..

Хэри купалась. Слышен был шум воды в душевой. Я заглянул под койку, куда несколько дней назад закинул магнитофон. Его там не было.

— Хэри! — крикнул я.

Ее лицо, залитое водой, показалось из-за шкафа.

— Хэри, ты не видела под койкой магнитофон? Маленький, карманный...

— Там лежало много вещей. Я все сложила туда.— Она показала на полку с лекарствами возле аптечки и исчезла в душевой.

Я вскочил с койки и пошарил там, но ничего не нашел.

— Ты не могла его не заметить,— сказал я, когда Хэри вернулась в комнату.

Она молча причесывалась перед зеркалом. Только теперь я заметил, какая она бледная. Ее глаза в зеркале смотрели на меня настороженно.

— Хэри,— упрямо, как осел, начал я снова,— магнитофона на полке нет.

— Тебе больше нечего мне сказать?..

— Прости,— буркнул я,— ты права, это глупости...

Не хватало еще, чтобы мы стали ссориться!

Потом мы пошли завтракать. Хэри делала все не так, как обычно, но я не мог уловить, в чем разница. Она присматривалась ко всему, порой не слыша, что я ей говорю, поглощенная своими мыслями. Я заметил, что глаза у нее блестят.

— Что с тобой? — шепотом спросил я.— Ты плачешь?

— Ох, оставь меня в покое. Это ненастоящие слезы,— прошептала Хэри.

Вероятно, надо было выяснить все до конца, но я больше всего на свете боюсь «откровенных разговоров». Меня занимало совсем другое. Хотя я и знал, что интриги

Снаута и Сарториуса мне только приснились, я начал размышлять, есть ли вообще на Станции какое-нибудь удобное оружие. Зачем оно мне, я не думал,— просто хотелось его найти. Я сказал Хэри, что должен пойти в трюм и на склады. Она молча пошла со мной. Я рылся в ящиках, обшаривал контейнеры, а когда спустился в самый низ, не смог побороть желания заглянуть в холодную камеру. Мне не хотелось, однако, чтобы Хэри входила туда, поэтому я только приоткрыл дверь и обвел глазами все помещение. Под темным покровом по-прежнему вырисовывались очертания трупа, но с того места, где я стоял, нельзя было рассмотреть, лежит ли там еще чернокожая. Мне показалось, что ее нет.

Я продолжал бродить, так и не обнаружив ничего подходящего. Настроение все больше и больше портилось. Неожиданно я заметил, что рядом со мной нет Хэри. Впрочем, она тут же пришла — задержалась в коридоре, но уже одно то, что Хэри пыталась отдалиться — а ведь ей стоило такого труда оставить меня хоть на секунду,— должно было насторожить меня. Я по-прежнему разыгрывал из себя обиженного, короче, вел себя самым дурацким образом. Разболелась голова, я не мог найти никаких порошков и, злой, как сто чертей, перевернул вверх дном всю аптечку. В операционную идти не хотелось, и вообще у меня ничего не клеилось. Хэри как тень бродила по комнате, иногда на время исчезала. После полудня, когда мы уже пообедали (впрочем, она вообще не ела, а я ел без аппетита — у меня так разламывалась голова, что я даже не пытался заставить Хэри поесть), она вдруг села рядом и принялась теребить мой рукав.

— Ну что там еще,— пробурчал я неохотно.

Мне хотелось пойти наверх; по трубам доносился слабый отголосок стука — видимо, Сарториус возился с аппаратурой высокого напряжения. Но при мысли, что придется взять с собой Хэри, тотчас пропало всякое желание идти. Присутствие Хэри в библиотеке еще как-то объяснимо, но там, среди машин, оно может дать Снауту повод для неуместного замечания.

— Крис,— прошептала Хэри,— а как у нас с тобой?..

Я невольно вздохнул. Нельзя сказать, чтобы это был счастливый день.

— Все прекрасно. А в чем дело?

— Я хочу с тобой поговорить.

— Пожалуйста. Я слушаю.

— Только не так.

— А как? Ты же видишь, у меня болит голова, дел полно...

— Было бы желание, Крис.

Я выдавил жалкую улыбку.

— Хорошо, дорогая, говори.

— А ты скажешь мне правду?

Я поднял брови. Такое начало мне не нравилось.

— Зачем мне тебя обманывать?

— У тебя могут быть причины. Серьезные. Но если хочешь... чтобы... ну, видишь ли... тогда не обманывай меня.

Я промолчал.

— Я тебе что-то скажу, и ты мне скажи. Хорошо? Всю правду. Несмотря ни на что.

Я не глядел ей в глаза, она ловила мой взгляд, но я сделал вид, что этого не замечаю.

— Я уже говорила тебе. Не знаю, откуда я здесь появилась. Но, может, ты знаешь. Подожди, дай договорить. Может, и ты не знаешь. А если знаешь и не можешь мне теперь сказать, то... потом... когда-нибудь? Это не самое страшное. Во всяком случае, останется хоть какая-то возможность...

Мне стало холодно.

— Маленькая моя, что ты говоришь? Какая возможность? — бормотал я.

— Крис, кем бы я ни была, я не маленькая. Ты же обещал. Скажи.

От ее слов «кем бы я ни была» я онемел и мог только глядеть на нее, бессмысленно качая головой, словно защищаясь от того, что мне еще предстояло услышать.

— Послушай, ведь не обязательно говорить сейчас, скажи просто, что не можешь...

— Я ничего не скрываю... — ответил я охрипшим голосом.

— Ну и прекрасно.

Хэри встала. Я хотел что-нибудь сказать, чувствуя, что нельзя так заканчивать разговор, но слова застревали в горле.

— Хэри...

Она стояла у окна, спиной ко мне. Темно-синий, пустой Океан распростерся под голым небом.

— Хэри, если ты думаешь, что... Хэри, ведь ты же знаешь, я люблю тебя...

— Меня?

Я подошел к ней, хотел ее обнять. Она оттолкнула мою руку.

— Ты такой добрый...— сказала она.— Любишь? Лучше бы ты меня бил!

— Хэри, дорогая!

— Нет! Нет! Замолчи, пожалуйста!

Хэри подошла к столу и стала собирать тарелки. Я глядел в темно-синюю пустоту. Солнце заходило, и огромная тень Станции равномерно покачивалась на волнах. Тарелка выскользнула из рук Хэри и упала на пол. Вода булькала в раковине. Рыжий цвет переходил по краям небосвода в золотисто-бурый. Если бы я знал, что делать. Если бы я знал! Наступила тишина. Хэри стояла за моей спиной.

— Нет. Не смотри на меня,— сказала Хэри, понижая голос до шепота.— Ты ни в чем не виноват, Крис. Я знаю. Не расстраивайся.

Я протянул к ней руку. Хэри убежала в глубь кабины и, поднимая стопку тарелок, сказала:

— Жаль. Если бы их можно было разбить, ох, расколотила бы я, расколотила бы все сразу!!

Я думал, что она действительно швырнет их на пол, но Хэри, посмотрев на меня, улыбнулась.

— Не бойся, сцен устраивать не буду.

Я проснулся среди ночи и сразу настороженно сел на койке. В комнате было темно; из коридора через приоткрытую дверь проникал слабый свет. Что-то пронзительно шипело, звук этот все нарастал, сопровождаемый глухими ударами, словно что-то большое отчаянно билось за стеной. «Метеор! — пронеслось у меня в голове.— Пробил обшивку. Кто-то остался там!»

Долгий хрип.

Я окончательно пришел в себя. Я же на Станции, не на ракете, а этот ужасный звук...

Я выскочил в коридор. Дверь малой лаборатории была открыта настежь, там горел свет; я вбежал туда.

Меня обдало невыносимым холодом. Кабину наполнял пар, от которого замерзло дыхание. Множество белых снежинок кружилось над телом, завернутым в купальный халат, оно слабо билось об пол. В этом холодном тумане я едва различил Хэри, я бросился к ней, поднял ее, холод обжигал мне руки, Хэри хрипела; я побежал по коридору

мимо дверей, уже не чувствуя холода, пар, вырывавшийся из ее губ, огнем жег мне плечо.

Я уложил Хэри на стол, разорвал на груди халат, взглянул на ее обледеневшее дергающееся лицо: кровь замерзла во рту, черным налетом запеклась на приоткрытых губах, на языке блестели кристаллики льда...

Жидкий кислород. В лаборатории был жидкий кислород, в сосудах Дьюара. Когда я поднимал Хэри, у меня под руками хрустнуло стекло. Сколько она могла выпить? Все равно сожжена трахея, гортань, легкие; жидкий кислород сильнее концентрированной кислоты. Ее скрипучее, сухое, как звук разрываемой бумаги, дыхание замирало. Глаза были закрыты. Агония.

Я посмотрел на огромные застекленные шкафы с инструментами и лекарствами. Трахеотомия? Интубация? Но ведь уже нет легких! Они сожжены. Лекарство? Сколько лекарств! Полки заставлены рядами цветных бутылей и коробок. Хрип заполнял все помещение, из открытого рта Хэри поднимался пар.

Грелки...

Я принялся искать их, кинулся к одному шкафу, к другому, выбрасывал коробочки с ампулами. Шприц? Где? В стерилизаторе? Я не мог собрать шприц — руки замерзли, пальцы одеревенели, не гнулись. Я в бешенстве бил рукой о крышку стерилизатора, ничего не чувствуя. Хрип стал громче. Я бросился к Хэри. Глаза у нее были открыты.

— Хэри!

Голос у меня пропал, губы не слушались.

Ребра ходили ходуном под белой кожей, волосы, влажные от тающего снега, рассыпались. Хэри смотрела на меня.

— Хэри!

Я больше ничего не мог произнести. Стоял как чурбан, опустив непослушные, окостеневшие руки; ноги, губы, веки начали у меня гореть все сильнее. Но я почти не ощущал этого. Капля растаявшей в тепле крови стекала по щеке Хэри, рисуя косую черту; язык задрожал и исчез, Хэри все еще хрипела.

Я взял ее за запястья — пульс не прощупывался; раздвинув полы халата, я приложил ухо к пронзительно холодному телу около груди. Сквозь шум, напоминавший треск огня, я услышал лихорадочный стук, бешеные удары, такие быстрые, что их нельзя было сосчитать. Я стоял

низко наклонившись, с закрытыми глазами. Что-то коснулось моей головы. Хэри дотронулась пальцами до моих волос. Я заглянул в ее глаза.

— Крис,— прохрипела Хэри.

Я схватил ее за руку, Хэри ответила пожатием, которое чуть не раздробило мне кисть. Ужасная гримаса застыла на ее лице, между век сверкали белки, в горле захрипело, тело содрогалось от рвоты. Я едва смог удержать Хэри; она сползала со стола, билась головой о край фаянсовой воронки. Я поддерживал ее, прижимал к столу; после каждой спазмы Хэри вырывалась у меня из рук. Я моментально вспотел, ноги стали ватными. Когда приступы рвоты сделались реже, я попытался положить Хэри. Воздух свистел у нее в груди. Неожиданно на этом страшном окровавленном лице засветились глаза.

— Крис,— захрипела она,— долго... долго ли, Крис?

Она стала задыхаться, пена выступала у нее на губах, снова началась рвота. Я держал ее из последних сил. Хэри так резко упала навзничь, что у нее даже зубы застучали. Она тяжело дышала.

— Нет, нет, нет,— быстро выдыхала она, и каждый выдох казался последним.

Рвота продолжалась; Хэри снова заматалась в моих руках, в короткие перерывы между приступами она втягивала воздух с таким трудом, что проступали ребра. Потом веки наполовину закрыли ее невидящие глаза. Хэри больше не шевелилась. Я решил, что это конец. Даже не пытаясь стереть с ее губ розовую пену, я стоял, склонившись над ней, слыша далекий звон огромного колокола, и ждал ее последнего вздоха, чтобы потом рухнуть на пол, но Хэри дышала уже почти без хрипов, дышала все спокойнее и спокойнее, грудь ее уже не вздрагивала, сердце стучало ровнее. Я стоял сгорбившись. Лицо Хэри начало розоветь. Я еще ничего не понимал. Ладони у меня вспотели, мне казалось, что я гложу: чем-то мягким, эластичным были забиты уши, однако я еще слышал частый звон, теперь глухой, словно колокол треснул.

Хэри подняла веки, и наши взгляды встретились.

«Хэри»,— хотел сказать я, но не смог пошевелить губами, словно на лице у меня была мертвая, тяжелая маска; я мог только смотреть.

Ее глаза оглядели комнату, она повернула голову. Было очень тихо. За мной, в каком-то другом, далеком мире, капала вода из плохо закрытого крана. Хэри припод-

пялась на локтях. Села. Я попятился. Хэри следила за мной.

— Что? — сказала она. — Что?.. Не... удалось? Почему?.. Почему ты так смотришь?.. — И вдруг она страшно закричала: — Почему ты так смотришь?!!

В наступившей тишине она оглядела свои руки, пошевелила пальцами.

— Это я?

— Хэри, — произнес я без звука, одними губами.

Хэри подняла голову.

— Хэри?.. — повторила она.

Хэри медленно сползла на пол и встала. Покачнулась, но удержалась на ногах. И сделала несколько шагов. Все это она проделала как загипнотизированная, глядя на меня невидящими глазами.

— Хэри? — медленно повторила она еще раз. — Но... я... не Хэри. Кто я?.. Хэри? А ты, ты?!

Неожиданно ее глаза расширились, засветились, слабая изумленная улыбка озарила ее лицо.

— Может, ты тоже? Крис! Может, ты тоже?!

От страха я прижался спиной к шкафу и молча стоял там. Руки у Хэри опустились.

— Нет, — сказала она. — Нет, ведь ты боишься. Ну послушай, я ведь не могу. Нельзя так. Я ничего не знала. Я и теперь по-прежнему ничего не понимаю. Ведь это немыслимо? Я, — она прижала к груди стиснутые побелевшие руки, — ничего не знаю, ничего, я знаю только одно: я — Хэри! Ты думаешь, я притворяюсь? Нет, не притворяюсь, честное святое слово, не притворяюсь.

Последние слова прозвучали как стон. Хэри, плача, упала на пол. Этот крик сломил во мне что-то, одним прыжком я подскочил к ней, схватил за плечи, Хэри сопротивлялась, отталкивала меня, рыдая без слез, кричала:

— Отпусти! Отпусти! Я тебе противна! Я знаю! Я не хочу так! Не хочу! Ведь знаешь, сам знаешь, что это не я, не я, не я...

— Замолчи! — кричал я, тряся ее.

Мы оба кричали как сумасшедшие, стоя друг перед другом на коленях. Голова Хэри билась о мое плечо. Я изо всех сил прижимал Хэри к себе. Вдруг мы затихли, тяжело дыша. Вода равномерно капала из крана.

— Крис... — бормотала Хэри, уткнувшись лицом в мое плечо, — скажи, что я должна сделать, чтобы меня не стало, Крис...

— Перестань! — прикрикнул я.

Хэри подняла голову, внимательно посмотрела на меня.

— Как?... Ты тоже не знаешь? Нельзя ничего сделать? Ничего?

— Хэри... пожалей меня...

— Я хотела... Ты же видел... Нет. Нет. Отпусти, я не хочу... Не прикасайся ко мне! Тебе противно!

— Неправда!

— Ложь! Противно! Мне... мне... самой... тоже. Если бы я могла. Если бы я только могла...

— Ты покончила бы с собой?

— Да.

— А я не хочу, понимаешь? Не хочу! Я хочу, чтобы ты была здесь, со мной, мне больше ничего не надо!

Огромные серые глаза впились в меня.

— Как ты лжешь...— совсем тихо произнесла Хэри.

Я отпустил ее и встал. Хэри села на пол.

— Скажи, что мне сделать, чтобы ты поверила? Я говорю то, что думаю. Это правда. Другой правды нет.

— Ты не мог сказать мне правду. Я не Хэри.

— А кто ты?

Она задумалась. Подбородок у нее дрогнул. Раз, другой. Опустив голову, Хэри прошептала:

— Хэри... но... но я знаю, что это неправда. Ты не меня... любил там, давно...

— Да,— сказал я.— То, что было, прошло. Умерло. Но здесь я тебя люблю. Понимаешь?

Хэри покачала головой:

— Ты очень добр. Не думай, что я не могу оценить все, что ты сделал. Ты старался делать как можно лучше, но все напрасно. Три дня назад я утром сидела возле тебя и ждала, пока ты проснешься. Тогда я ничего не знала. Мне кажется, будто это было давно, очень давно. Я была как помешанная. В голове был сплошной туман. Я не помнила, что было раньше, а что — позже, ничему не удивлялась, словно после наркоза или после тяжелой болезни. Я даже думала: может, я болела, а ты не хочешь мне об этом сказать. Но потом различные факты все больше и больше наталкивали меня на мысль. Ты знаешь, какие факты. У меня уже что-то мелькнуло в голове после твоего разговора там, в библиотеке, с этим, как его зовут, со Снаутом. Ты мне ничего не захотел сказать, поэтому я встала ночью и включила магнитофон. Я обманула тебя раз, единствен-

ный раз, Крис, магнитофон я потом спрятала. Тот, что говорил,— как его зовут?

— Гибарян.

— Да, Гибарян. Тогда я поняла все, хотя, если быть честной, по-прежнему ничего не понимаю. Я не знала одного: что я не могу... что я... что это так кончится, что этому... нет конца. Об этом он ничего не говорил. Впрочем, может, и говорил, но ты проснулся, и я выключила магнитофон. Но я и так слышала достаточно, чтобы понять, что я не человек, а лишь инструмент.

— Что ты, Хэри!

— Да, инструмент. Для изучения твоих реакций. Или что-то в этом роде. У каждого из вас есть такой... такая, как я. Все основано на воспоминаниях или на воображении, подавлено... Впрочем, ты знаешь лучше меня. Он говорил такие страшные, неправдоподобные вещи, и, если бы все не совпадало, я бы не поверила!

— Что совпадало?

— Ну, что мне не надо спать и я должна всегда быть около тебя. Вчера утром я думала еще, что ты меня ненавидишь, и поэтому была несчастной. Боже, какой я была дурой! Но скажи, сам скажи, могла ли я себе представить?.. Ведь Гибарян вовсе не ненавидел эту свою, а как он о ней говорил! Только тогда я поняла: что бы я ни делала — все едино, потому что, хочу я или нет, для тебя это все пытка. Нет, даже хуже, ведь орудие пытки неживое, оно ни в чем не повинно, как камень, который может упасть и убить. А что орудие пытки может желать добра и любить, этого я себе представить не могла. Мне хотелось бы по крайней мере рассказать тебе, что во мне происходило потом, когда я поняла, когда слушала пленку. Может, тебе пригодится. Я даже попыталась записать...

— Поэтому ты зажгла свет? — спросил я, с трудом выдавливая слова.

— Да. Но ничего не получилось. Ведь я искала в себе, знаешь... их — что-то совершенно иное, просто сходила с ума, поверь мне! Иногда мне казалось, что под кожей у меня нет тела, что внутри у меня нечто такое... что я... что я только оболочка. Чтобы обмануть тебя. Понимаешь?

— Понимаю.

— Когда ночью лежишь без сна, до чего только не додумаешься! До самых невероятных вещей, ты сам знаешь...

— Знаю...

— Но я чувствовала свое сердце и помнила, что ты делал анализ моей крови. Какая у меня кровь, скажи, скажи правду. Ведь теперь ты можешь.

— Такая же, как у меня.

— Правда?

— Клянусь тебе.

— Что это значит? Я потом думала, что, может, *это* спрятано где-то во мне, что оно... может, очень маленькое. Но я не знала, где. Сейчас я думаю, может, в конце концов, это была уловка с моей стороны, ведь я очень боялась того, что хотела сделать, и искала иного выхода. Но, Крис, если у меня та же самая кровь... если все так, как ты говоришь, тогда... Нет, это невозможно. Ведь тогда бы я умерла, правда? Значит, все же что-то есть, но где? Может, в голове? Но я же думаю совершенно нормально... и ничего не знаю... если бы я *этим* думала, то должна была бы сразу все знать и не любить тебя, только делать вид и понимать, что делаю вид... Крис, пожалуйста, скажи мне все, что тебе известно, может, удастся что-нибудь сделать?

— Что именно?

Хэри молчала.

— Ты хочешь умереть?

— Пожалуй, да.

Воцарилась тишина. Хэри сидела, сжавшись в комочек, у моих ног. Я рассматривал зал, белую эмаль оборудования, блестящие рассыпанные инструменты, как будто искал что-то очень нужное и не мог найти.

— Хэри, можно и мне что-то сказать?

Она ждала.

— Да, правда, ты не совсем такая, как я. Но это не значит, что ты хуже меня. Напротив. Можешь думать что хочешь, но благодаря этому... ты не умерла.

Какая-то детская жалкая улыбка появилась на ее лице.

— Я... бессмертна?

— Не знаю. Во всяком случае, ты не так смертна, как я.

— Как страшно,— прошептала Хэри.

— Может, не так страшно, как тебе кажется.

— Но ты мне не очень-то завидуешь.

— Хэри, это, скорее, вопрос твоего... предназначения, так бы я назвал это. Знаешь, здесь, на Станции, твое предназначение в конечном счете так же неясно, как мое, как каждого из нас. Те будут продолжать эксперимент Гибаряна, и может случиться все...

— Или ничего.

— Или ничего, и поверь, я предпочел бы, чтобы ничего не произошло, даже не потому, что боюсь (хотя и страх, пожалуй, играет какую-то роль), а потому, что это ни к чему не приведет. Вот единственное, в чем я уверен.

— Ни к чему не приведет? Почему? Из-за... Океана? Хэри вздрогнула от отвращения.

— Да. Из-за контакта. Думаю, что, в сущности, все весьма просто. Контакт означает обмен каким-то опытом, понятиями, по крайней мере результатами, какими-то положениями, а если нет ничего для обмена? Если слон — не огромная бактерия, то и Океан не может быть огромным мозгом. С обеих сторон могут, конечно, происходить определенные действия. В результате одного из них я сейчас вижу тебя и пытаюсь объяснить тебе, что ты мне дороже, чем двенадцать лет жизни, посвященных планете Солярис, я хочу быть с тобой и дальше. Может, твое появление должно было стать наказанием, может, благодеянием, а может, только микроскопическим исследованием. Доказательством дружбы, коварным ударом, издевательством? Может, всем одновременно или, что наиболее правдоподобно, — чем-то совсем иным. Но в конце концов, нас же не касаются замыслы наших родителей, совсем не похожих друг на друга. Можешь сказать, что от их замыслов зависит наше будущее, и я соглашусь с тобой. Но я не в силах предвидеть будущее. Так же, как и ты. Я не могу даже уверять, что буду всегда любить тебя. Если уже столько случилось, то может произойти все. Может, завтра я превращусь в зеленую медузу? Тут мы бессильны. Но пока можем, мы будем вместе. А это не так уж мало.

— Послушай, — сказала Хэри. — Я хочу спросить. Я... я... очень похожа на нее?

— Была очень похожа, — ответил я, — а теперь не знаю.

— Что?

Хэри встала. Она глядела на меня, широко открыв глаза.

— Ты ее уже заслонила.

— И ты убежден, что ты не ее, а меня? Меня?..

— Да. Именно тебя. Не знаю, боюсь, что, если бы ты действительно была ею, я не смог бы тебя любить.

— Почему?

— Потому что поступил ужасно...

— По отношению к ней?..

- Да. Когда мы были...
- Не надо...
- Почему?
- Я хочу, чтобы ты знал, что я — это не она.

РАЗГОВОР

На следующий день, после обеда, я нашел на столе возле окна записку от Снаута. Он сообщал, что Сарториус пока приостановил работу над аннигилятором, чтобы последний раз испытать воздействие жесткого излучения на Океан.

— Дорогая, — сказал я, — мне нужно пойти к Снауту.

Красная заря горела в стеклах и делила комнату на две части. Мы были в голубой тени. За границей тени все выглядело медным, и казалось, если книга упадет с полки, то зазвенит.

— Речь идет об эксперименте. Я только не знаю, как лучше сделать. Мне хотелось бы, понимаешь... — Я остановился.

— Не оправдывайся, Крис. Я бы очень хотела... Если только не долго?..

— Это займет какое-то время, — ответил я. — Послушай, а может, ты пойдешь со мной и подождешь меня в коридоре?

— Хорошо. А если я не выдержу?

— Что, собственно, с тобой происходит? — спросил я и поспешно добавил: — Я спрашиваю не из любопытства, понимаешь, но, может, разобравшись в этом, ты сама справишься.

— Я боюсь, — ответила Хэри, бледнея. — Я не могу тебе сказать, чего я боюсь, даже не боюсь, а просто растворяюсь. В последний момент я чувствую такой стыд... Как тебе объяснить... А потом уже ничего, пустота. Поэтому я думала, что я больна... — Хэри вздрогнула.

Последние слова она проговорила чуть слышно.

— Может, такое происходит только здесь, на этой чертовой Станции, — проговорил я. — Я постараюсь сделать все, чтобы мы как можно скорее покинули ее.

— Ты думаешь, это возможно? — Хэри широко открыла глаза.

— Вполне. В конце концов, не прикован же я... Впрочем, надо сначала договориться со Снаутом, а там по-

смотрим. Сколько ты сможешь пробыть одна?

— Кто знает...— опустив голову, медленно начала Хэри.— Если я буду слышать твой голос, то, пожалуй, справлюсь.

— Мне хотелось бы, чтобы ты не слушала, о чем мы говорим. У меня от тебя нет никаких секретов, но я не знаю, не могу знать, что скажет Снаут.

— Не продолжай. Я понимаю. Хорошо. Я буду стоять так, чтобы слышать лишь твой голос. Мне больше ничего не надо.

— Я сейчас позвоню ему из лаборатории. Дверь закрывать я не стану.

Хэри кивнула. Я прошел сквозь стену красных солнечных лучей в коридор, который, несмотря на искусственное освещение, казался почти черным. Дверь малой лаборатории была открыта. Зеркальные обломки сосуда Дьюара, лежавшие на полу, возле огромных резервуаров с жидким кислородом, все еще напоминали о ночном происшествии. Засветился маленький экран. Когда я снял трубку и набрал номер радиостанции, синеватая завеса, закрывавшая изнутри матовое стекло, раздвинулась, и Снаут, перегнувшись через подлокотник высокого кресла, заглянул мне прямо в глаза.

— Приветствую,— сказал он.

— Я прочитал записку. Хотел бы с тобой поговорить. Можно прийти?

— Приходи. Сейчас?

— Да.

— Пожалуйста. Ты... с кем-нибудь?

— Нет, один.

Его худое бронзовое от загара лицо с глубокими поперечными морщинами на лбу плыло в выпуклом стекле, как удивительная рыба в аквариуме.

— Ну-ну,— сказал он многозначительно.— Я жду.

— Мы можем идти, дорогая.

Я старался говорить оживленно, входя в кабину сквозь красные лучи, за которыми видел только силуэт Хэри, но у меня сорвался голос. Хэри приросла к креслу: просунула руки под подлокотники и сцепила пальцы. Она слишком поздно услышала мои шаги или не смогла быстро изменить свою ужасную позу — не знаю, но я успел увидеть, как она борется с той непонятной силой, которая скрывается в ней. Мое сердце сдавил слепой, бешеный гнев, смешанный с жалостью.

Мы молча пошли по длинному коридору; разноцветная эмаль на его стенах по замыслу архитектора должна была разнообразить пребывание в металлической скорлупе. Я еще издалека заметил открытую дверь радиостанции. Оттуда в глубь коридора падала длинная красная полоса — и сюда доходило солнце. Я посмотрел на Хэри — она даже не пыталась улыбнуться, сосредоточенно готовясь к борьбе с собой. Приближающееся испытание уже сейчас изменило ее лицо — оно побледнело и осунулось. В нескольких шагах от двери Хэри остановилась, я повернулся к ней, кончиками пальцев она слегка толкнула меня, как бы говоря: «Иди». И тут мои планы, Снаут, эксперимент, вся Станция — все показалось мне таким ничтожным по сравнению с той мукой, на которую она себя обрекала. Я почувствовал себя палачом и хотел было повернуть назад, но широкую солнечную полосу, надломленную на стене коридора, заслонила тень человека. Я торопливо вошел в кабину. Снаут ждал меня у дверей. Красное солнце стояло прямо за ним, и пурпурный отблеск горел в его седых волосах. Мы довольно долго молча глядели друг на друга. Казалось, Снаут изучал меня. Ослепленный солнцем, я плохо видел выражение его лица. Я обошел Снаута и остановился возле высокого пульта, на котором торчали гибкие стебли микрофонов. Снаут медленно повернулся, невозмутимо следя за мной все с той же легкой гримасой, которая то воспринималась как улыбка, то выражала усталость. Не спуская с меня глаз, Снаут подошел к металлическому, занимающему всю стену шкафу, перед которым громоздились поспешно, кое-как сваленные груды радиодеталей, аккумуляторы и разные инструменты, поставил туда стул и сел, опираясь спиной на эмалированные дверцы.

Наше молчание становилось уже по меньшей мере странным. Я сосредоточенно прислушивался к тишине, царившей в коридоре, где осталась Хэри. Оттуда не доносилось ни шороха.

— Когда у вас будет готово? — спросил я.

— Мы могли бы начать хоть сегодня, но запись потребует еще немного времени.

— Запись? Ты говоришь об энцефалограмме?

— Да, ты же согласился. А что?

— Так, ничего.

— Я слушаю тебя, — произнес Снаут через какое-то время.

— Она все знает... о себе,— чуть слышно сказал я. Брови Снаута поползли вверх.

— Знает?

Мне показалось, что Снаут только притворяется удивленным. Почему он притворяется? Мне сразу расхотелось говорить, но я переборол себя. Надо быть хотя бы лояльным, подумал я, если ничего другого не остается.

— Она стала догадываться, пожалуй, после нашего разговора в библиотеке, наблюдала за мной, сопоставляла факты, потом нашла магнитофон Гибаряна и прослушала запись...

Снаут сидел, по-прежнему опираясь на шкаф, но в его глазах вспыхнули искорки. Я стоял у пульта напротив двери, приоткрытой в коридор. Я продолжал еще тише:

— Сегодня ночью, когда я спал, она пыталась покончить с собой. Жидкий кислород...

Что-то зашелестело, я замер, прислушиваясь,— звук доносился не из коридора. Где-то совсем близко заскреблась мышь... Мышь? Глупости! Откуда здесь мыши? Я посмотрелся к Снауту.

— Слушаю тебя,— произнес Снаут спокойно.

— Конечно, это ей не удалось... во всяком случае, она знает, кто она.

— Зачем ты мне об этом говоришь? — вдруг спросил Снаут.

Я не сразу сообразил, что ему ответить.

— Хочу, чтобы ты ориентировался... чтобы ты знал, как обстоят дела,— пробормотал я.

— Я предупреждал тебя.

— Иначе говоря, ты знал.— Я невольно повысил голос.

— Нет. Разумеется, нет. Но я же объяснял тебе, как все происходит. Каждый «гость», когда появляется, почти фантом. Несмотря на беспорядочную мешанину воспоминаний и образов, почерпнутых от своего... Адама... «гость», в сущности, пуст. Чем дольше «гость» с тобой, тем больше он очеловечивается и становится все самостоятельнее, конечно, до известных пределов. И чем дольше это тянется, тем труднее...

Снаут помолчал, посмотрел на меня исподлобья и равнодушно спросил:

— Она все знает?

— Да, я же сказал тебе.

— Все? И то, что один раз была здесь, а ты...

— Нет!

Снаут усмехнулся.

— Кельвин, послушай, если это так далеко зашло... что ты собираешься делать? Покинуть Станцию?

— Да.

— С ней?

— Да.

Снаут замолчал, обдумывая мои ответы, но было в его молчании что-то еще... Что? Снова как будто что-то зашелестело совсем близко, за тонкой перегородкой. Снаут заерзал на стуле.

— Прекрасно,— сказал он.— Почему ты так на меня смотришь? Ты предполагал, что я помешаю тебе? Поступай так, как хочешь, дорогой мой. Хороши бы мы были, если бы в довершение всего стали принуждать друг друга! Я не собираюсь тебя уговаривать, скажу одно — ты стараешься в нечеловеческих условиях оставаться человеком. Может, это и красиво, но бессмысленно. Впрочем, я не уверен, красиво ли это. Разве глупость может быть красивой? Но не в этом дело. Ты отказываешься продолжать эксперименты, хочешь уйти, забрав ее. Да?

— Да.

— Но это тоже... эксперимент. Ты меня слышишь?

— Что ты имеешь в виду? Сможет ли... она?.. Если вместе со мной, то не вижу...

Я говорил все медленнее, потом умолк. Снаут вздохнул.

— Кельвин, мы все, как страусы, прячем головы в песок, но мы по крайней мере знаем об этом и не разыгрываем благородства.

— Ничего я не разыгрываю.

— Ладно. Я не собирался тебя обижать. Свои слова о благородстве беру обратно, но слова о страусах остаются в силе. Особенно это касается тебя. Ты обманываешь не только ее, но и себя, главным образом себя. Ты знаешь условия стабилизации системы, построенной из нейтринной материи?

— Нет. Ты тоже не знаешь. Никто не знает.

— Безусловно. Но нам известно одно: такие системы неустойчивы и могут существовать только благодаря непрерывному притоку энергии. Я знаю это от Сарториуса. Энергия образует вихревое стабилизирующее поле. Спрашивается: является ли это поле внешним по отношению к «гостию»? Или поле возникает в его организме? Понимаешь разницу?

— Да,— медленно сказал я.— Если оно внешнее, тогда... она... Тогда... такие...

— Тогда при удалении от Солярис система распадается,— договорил за меня Снаут.— Мы не можем этого предвидеть, но ты ведь уже поставил опыт. Ракета, которую ты запустил... по-прежнему вращается вокруг планеты. В свободную минуту я даже подсчитал параметры ее движения. Можешь полететь, выйти на орбиту, состыковаться и посмотреть, что стало с... пассажиркой...

— Ты с ума сошел! — прошипел я.

— Ты думаешь? Ну... а если... вернуть ее, твою ракету? Это возможно. У нее дистанционное управление. Мы вернем ракету и...

— Довольно!

— И это тебе не по душе? Есть еще один способ, очень простой. Не надо даже возвращать ее на Станцию. Пусть себе летает. Мы просто-напросто свяжемся с ней по радио; если она жива, то отзовется и...

— Там уже давно кончился кислород! — с трудом выдавил я.

— Может, она обходится без кислорода... Ну как, попробуем?

— Снаут... Снаут...

— Кельвин... Кельвин...— сердито передразнил он меня.— Господи, что ты за человек. Кого ты хочешь осчастливить? Спасти? Себя? Ее? Какую? Эту или ту? На обеих не хватит смелости? Сам видишь, к чему это ведет. Говорю тебе последний раз: здесь ситуация — вне всякой морали.

Вдруг я услышал тот же самый шорох, будто кто-то ногтями царапал стену. Мною овладело полное безразличие: все выглядело крошечным, чуточку смешным, мало-значительным, как в перевернутом бинокле.

— Ну хорошо,— сказал я.— Что, по-твоему, мне надо сделать? Убрать ее? На следующий день появится такая же, не правда ли? И еще раз? И так ежедневно? До каких пор? Зачем? Что мне это даст? А тебе? Сарториусу? Станции?

— Постой, сначала скажи ты. Ты полетишь вместе с ней и, предположим, сам увидишь, что с ней произойдет. Через несколько минут перед тобой окажется...

— Ну что? — язвительно спросил я.— Чудище? Демон, да?

— Нет. Ты станешь свидетелем обыкновенной, самой обыкновенной агонии. Ты и вправду поверил в их бессмер-

тие? Уверяю тебя — они гибнут... Что ты тогда станешь делать? Вернешься за... новой?

— Прекрати!!! — закричал я, сжимая кулаки.

Снаут, прищурившись, глядел на меня и снисходительно усмехался.

— Ах, тебе не нравится? Знаешь, на твоём месте я не затевал бы этого разговора. Лучше займись-ка чем-нибудь другим, например, начни сечь розгами — из мести — Океан. Что ты хочешь? Итак, если... — Снаут плутовато помахал рукой и поднял глаза к потолку, словно провожая кого-то взглядом, — то станешь мерзавцем? А так ты не мерзавец? Улыбаешься, когда хочется выть, притворяешься радостным и спокойным, когда готов рвать на себе волосы, — и ты не мерзавец? А что, если здесь нельзя не быть мерзавцем? Что тогда? Биться в истерике перед Снаутом, который виноват во всем, так? Ты ко всему прочему еще и идиот, дорогой мой...

— Ты говоришь о себе, — сказал я, опустив голову, — я... люблю ее.

— Кого? Свое воспоминание?

— Нет. Ее. Я рассказал тебе, что она пыталась сделать. Так поступил бы не каждый... живой человек.

— Ты сам признаешь, говоря...

— Не лови меня на слове.

— Хорошо. Значит, она тебя любит. А ты — хочешь любить. Это разные вещи.

— Ты ошибаешься.

— Кельвин, я сожалею, но ты сам посвятил меня в свои интимные дела. Не любишь. Любишь. Она готова пожертвовать своей жизнью. Ты тоже. Очень трогательно, прекрасно, возвышенно — все что угодно. Но здесь неуместно. Неуместно. Понимаешь? Нет, ты не желаешь понять. Силы, которыми мы не управляем, втянули тебя в круговорот, а она — часть его. Фаза. Повторяющийся цикл. Если бы она была... если бы тебя преследовало страшилище, готовое на все для тебя, ты отделался бы от него без всяких колебаний. Так?

— Так.

— А если... если... именно поэтому она не страшилище? Это связывает тебе руки? А может, надо, чтобы руки у тебя были связаны?

— Еще одна гипотеза. В библиотеке их уже миллион. Снаут, хватит, она... я не хочу с тобой об этом говорить.

— Ну и не говори. Ты сам начал. Но ты только поду-

май, что она, в конце концов, лишь зеркало, в котором отражается часть твоего мозга. Она прекрасна потому, что прекрасными были твои воспоминания. Ты дал рецепт. Круговорот, помни!

— Чего ты ждешь от меня? Чтобы я... чтобы я избавился от нее? Я уже спрашивал у тебя: зачем мне это делать? Ты не ответил.

— Сейчас отвечу. Я не приглашал тебя, не начинал этого разговора, не касался твоих дел. Я ничего тебе не приказываю, ничего не запрещаю, я не стал бы, если бы и мог. Ты, ты пришел сюда и выложил мне все, а знаешь почему? Нет? Ты желаешь свалить с себя все. Свалить. Я хорошо представляю, каково тебе, мой дорогой. Да, да! Не прерывай меня. Я ничего тебе не запрещаю, но ты — ты сам хочешь, чтобы я тебе помешал. Если бы я встал на твоем пути, может, ты бы голову мне разбил — мне, обыкновенному человеку, такому же, как ты, и сам чувствовал бы себя человеком. А так ты не можешь справиться и поэтому заводишь спор со мной... вернее, с самим собой! Ты еще скажи, что не вынесешь, если она вдруг исчезнет... Ладно, ничего не говори.

— Ну, знаешь ли! Я пришел, чтобы рассказать тебе, совершенно лояльно, что я собираюсь покинуть вместе с ней Станцию, — отбивался я, но мои слова прозвучали неуверенно даже для меня самого.

Снаут пожал плечами.

— Весьма вероятно, что ты вынужден настаивать на своем. Я сказал тебе все лишь потому, что ты слишком далеко зашел, а вернуться, сам понимаешь... Приходи завтра утром часов в девять к Сарториусу, навстречу... Придешь?

— К Сарториусу? — удивился я. — Он же никого не пускает к себе, ты говорил, что ему и позвонить нельзя.

— Он как-то все уладил. Мы это не обсуждаем. Ты... у тебя совсем другое. Неважно. Придешь утром?

— Приду, — буркнул я.

Я смотрел на Снаута. Он как-то неестественно держал левую руку за дверцей шкафа. Когда дверца приоткрылась? Вероятно, довольно давно, но, возбужденный неприятным для меня разговором, я не обратил внимания. До чего странно все выглядело... Будто... он прятал там что-то. Или кто-то держал его за руку. Я облизал губы.

— Снаут, в чем дело?..

— Уходи, — тихо, очень спокойно сказал он. — Уходи.

Я вышел и закрыл за собой дверь в последних лучах багряного зарева. Хэри сидела на полу, шагах в десяти от меня, у самой стены. Заметив меня, она вскочила.

— Смотри! — произнесла она; глаза у нее блеснули. — Получилось, Крис. Я так рада. Может... может, будет все лучше и лучше...

— Конечно, — рассеянно ответил я.

Мы возвращались к себе, а я ломал голову: неужели он прячет в этом дурацком шкафу... А весь наш разговор?.. Щеки у меня стали гореть, я невольно потер их. Боже, какое сумасшествие, к чему мы, собственно, пришли? К чему? Да, завтра утром...

И вдруг мне стало страшно, почти так же, как ночью. Моя энцефалограмма. Полная запись всей деятельности мозга, переложенная в колебания пучка лучей, будет послана вниз. В глубь этого необъятного, безграничного чудовища. Как Снаут сказал... «Ты не вынесешь, если она вдруг исчезнет...» Энцефалограмма — полная запись, запись и бессознательных процессов. А если я хочу, чтобы она исчезла, погибла? Иначе разве я испугался бы так, когда она осталась жива после своей ужасной попытки? Можно ли отвечать за свое подсознание? Если я не отвечаю за него, тогда кто же... Какая ерунда! Черт побери, зачем я согласился, чтобы мою, именно мою... Я могу, конечно, ознакомиться с записью, но я же ее не расшифрую. Никто не сможет ее расшифровать. Специалисты могут лишь в общих чертах сказать, о чем думал испытуемый, например решал ли он математические задачи, но установить какие, они не в силах. По их словам, это невозможно, так как энцефалограмма отражает множество одновременно происходящих процессов, и только часть из них имеет психологическую «подоплеку»... А подсознательные... О них и говорить никто не хочет, где уж там расшифровать чьи-то воспоминания, то, что живет в памяти или что постарались забыть... Но почему я так боюсь? Ведь утром я сам говорил Хэри, что эксперимент ничего не даст. Если наши нейрофизиологи не могут расшифровать запись, то как же разберется в ней абсолютно чуждый, черный, жидкий исполин?..

Но проник же он в меня неведомо как, переворошил все в моей памяти и отыскал в ней самый болезненный атом! Могу ли я в этом сомневаться. Без чьей-либо помощи, без всякой «передачи лучевой энергии» он вторгся сквозь двойную герметическую обшивку, сквозь тяжелую скор-

лупу на Станцию, внутри ее нашел мое тело и ушел с добычей...

— Крис?..— тихо произнесла Хэри.

Я стоял у иллюминатора, уставившись невидящими глазами в сгущающуюся темноту. Легкая, нежная на этой географической широте пелена закрывала звезды. Сплошной, хотя и тонкий, слой облаков стоял очень высоко, из глубины, из-за горизонта солнце окрашивало его чуть заметным серсбристо-розовым сиянием.

Если она потом исчезнет, значит, я хотел этого. Значит, я убил ее. Не пойти туда? Они не могут меня заставить. Но что я им скажу? Об этом — нет. Не могу. Да, надо притворяться, надо обманывать всегда и во всем. И все потому, что во мне, вероятно, кроются мысли, планы, надежды — жестокие, великолепные, безжалостные, а я ничего о них не знаю. Человек отправился на встречу иным мирам, новым цивилизациям, до конца не познав собственной души: ее закоулков, тупиков, бездонных колодцев, плотно заколоченных дверей. Выдать им Хэри... от стыда? Выдать лишь потому, что у меня не хватает смелости?

— Крис...— еще тише прошептала Хэри.

Я скорее почувствовал, чем услышал, как она бесшумно подошла ко мне, но сделал вид, что не замечаю ее. Мне хотелось побыть одному, это было необходимо. Я ни на что еще не решился, ни на что. Я стоял неподвижно, глядя на темнеющее небо, на звезды, призрачную тень земных звезд. Обуревавшие меня мысли исчезли, и в пустоте росло мертвящее безразличие, уверенность, что где-то в недостижимой глубине я уже сделал выбор и лишь притворяюсь, будто ничего не произошло. У меня не было сил даже презирать себя.

МЫСЛИТЕЛИ

— Крис, ты из-за эксперимента?..

Я съежился от ее голоса. Уже несколько часов я не спал, всматриваясь в темноту. Я лежал, чувствуя себя одиноким, не слыша даже дыхания Хэри, забыв о ней; в спутанном лабиринте ночных мыслей, призрачных, полубессознательных, все приобретало новый смысл, иное измерение.

— Что?.. Почему ты решила, что я не сплю?..— испуганно спросил я.

— Я заметила по твоему дыханию,— ответила Хэри, как бы извиняясь.— Я не хотела тебе мешать... Если не можешь, не говори...

— Могу... Да, из-за эксперимента. Ты угадала.

— Чего они ждут от эксперимента?

— Сами не знают. Но ждут чего-то. Чего-нибудь. Эту операцию следовало бы назвать не «Мысль», а «Отчаяние». Сейчас нужен человек, у которого хватило бы смелости взять на себя ответственность за решение. Но такой вид смелости большинство принимает за обычную трусость, ведь подобное решение — отступление, понимаешь, отказ, бегство, недостойное человека. Можно подумать, что барахтаться и увязать, тонуть в том, чего не понимаешь и никогда не поймешь,— достойно человека.

Я замолчал. Но не успел успокоиться, как меня охватил новый прилив гнева.

— Конечно, всюду найдутся типы практического склада. Они говорят, что если не удастся установить контакт, то, изучая плазму — все эти бредовые живые города, выскакивающие на сутки, чтобы потом исчезнуть, мы хотя бы раскроем тайну материи. Будто неизвестно, что все самообман; мы просто расхаживаем по библиотеке, заполненной книгами на непонятном языке, и глазеем на цветные корешки... Вот и все!

— А есть еще такие планеты?

— Неизвестно. Может, есть. Мы знаем только одну. Во всяком случае, такие планеты встречаются крайне редко, не то что Земля. Мы банальны, мы трава Вселенной — и гордимся нашей банальностью, тем, что она так распространена; мы думали — все возможно подогнать под нашу банальность. С такой схемой мы смело и радостно двинулись вдаль — в иные миры! Иные миры — подумай! Покорим их, или они нас покорят! Ничего другого не умещалось в наших несчастных головах. Ах, хватит об этом. Хватит!

Я встал, ошупью нашел аптечку, взял плоскую баночку со снотворным.

— Я буду спать, дорогая.— Я обернулся; в темноте где-то высоко гудел вентилятор.— Мне надо поспать. Иначе... сам не знаю...

Я сел на койку. Хэри прикоснулась к моей руке. Я обнял ее, невидимую, и держал, не шевелясь, до тех пор, пока сон не сморил меня.

Утром я проснулся свежим и отдохнувшим; эксперимент показался мне таким незначительным; как я мог так волноваться из-за него?! Меня мало беспокоило и то, что Хэри пойдет вместе со мной в лабораторию. Ее усилия выдержать даже мое кратковременное отсутствие были напрасны, и я отказался от дальнейших попыток, хотя она настаивала (даже предлагала мне запереть ее где-нибудь). Я посоветовал ей взять с собой книжку.

Сама процедура меня интересовала меньше, чем то, что я увижу в лаборатории. В бело-голубом зале не было ничего особенного — не хватало только кое-каких предметов на стеллажах и в шкафах (в некоторых из них стекла были разбиты, а дверцы кое-где потрескались — видно, недавно здесь происходила борьба, и ее следы хотя и поспешно, но тщательно ликвидированы). Снаут, возясь с аппаратурой, держался, как всегда, корректно, он не удивился появлению Хэри и поклонился ей издали.

Когда Снаут протирал мне виски физиологическим раствором, появился Сарториус. Он вышел из темной комнаты через небольшую дверь. На нем был белый халат и черный антирадиационный фартук почти до пола. Деловитый, энергичный Сарториус поздоровался со мной, словно мы были сотрудниками крупного земного института и расстались только вчера. Я лишь теперь заметил, что безжизненное выражение его лицу придавали контактные линзы, которыми он пользовался вместо очков. Скрестив руки на груди, он следил, как Снаут прибинтовывает электроды, сооружая у меня на голове нечто вроде чалмы. Сарториус несколько раз обвел глазами весь зал; Хэри он словно не заметил. Она сидела съежившись, несчастная, на небольшом табурете у стены и делала вид, что читает книгу. Когда Снаут отошел от моего кресла, я повернул голову в тяжелом шлеме из металла и проводов, чтобы увидеть, как он будет включать аппаратуру, но Сарториус неожиданно поднял руку и торжественно произнес:

— Доктор Кельвин! Минутку внимания! Прошу вас сосредоточиться! Я не собираюсь навязывать вам свое мнение, так как это не приведет к цели, но вы не должны думать о себе, обо мне, о коллеге Снауате, вообще о ком бы то ни было, должны исключить случайные индивидуальности, отдельные личности и сосредоточиться на нашем общем деле. Земля и Солярис, поколения исследователей, составляющие единое целое, хотя каждый человек имеет свое начало и конец, наша последовательность в стремле-

нии установить интеллектуальный контакт, исторический путь, пройденный человечеством, уверенность в дальнейшем его развитии, готовность ко всяким жертвам и трудностям, готовность подчинить нашей Миссии любые личные чувства — вот темы, которые должны целиком заполнить ваше сознание. Ход ассоциаций, правда, не зависит от вашей воли, но ваше соучастие все-таки поможет нам в эксперименте. Если у вас не будет уверенности, что вы справились с заданием, прошу сообщить нам, а коллега Снаут повторит запись. Мы располагаем временем...

Последние слова он произнес с равнодушной улыбкой, все так же холодно.

Меня корбило от его напыщенных, трескучих фраз. К счастью, Снаут прервал затянувшуюся паузу.

— Крис, можно? — спросил он, облокотившись на высокий пульт электроэнцефалографа, небрежно и чуть фамильярно нагнувшись ко мне.

Я был благодарен ему за то, что он назвал меня по имени.

— Можно, — ответил я, закрывая глаза.

Волнение, охватившее меня, когда Снаут, закрепив электроды, взялся за рубильник, теперь исчезло; сквозь ресницы я увидел розоватый свет контрольных лампочек на черной панели аппарата. Влажные и неприятно холодные металлические электроды, которые, как монеты, опоясывали мою голову, потеплели. Мне казалось, что я — серая, неосвещенная арена. Толпа невидимых зрителей амфитеатром окружала пустоту и молчание, в которых таяло мое ироническое презрение к Сарториусу и к Миссии. Напряжение внутренних наблюдателей, жаждущих сыграть импровизированную роль, уменьшалось. «Хэри?» — мысленно, проверяя себя, с тошнотворным страхом произнес я это имя, готовый сразу же отступить. Но моя настороженная слепая аудитория не протестовала. Какое-то мгновение я был сплошной нежностью, искренней тоской, готовый к терпению и бесконечным жертвам. Хэри, без очертаний, без формы, без лица, заполнила меня. И вскоре ее безликая отчаянная нежность уступила место образу Гизе. Отец соляристики и соляристов появился в серой темноте во всем своем профессорском величии, я думал не о грязевом взрыве, не о вонючей бездне, поглотившей его золотые очки и холеные седые усы, я видел только гравюру на титульном листе монографии — густо заштрихованный фон, на котором его голова выглядела

как в ореоле; его лицо не чертами, а выражением добропорядочности, старомодной рассудительности напоминало лицо моего отца, и в конце концов я даже не знал, кто из них смотрит на меня. У обоих не было могилы — в наше время это случается так часто, что не вызывает особых волнений.

Картина исчезла, и на какое-то время (не знаю, на какое) я забыл о Станции, об эксперименте, о Хэри, о черном Оксане — обо всем; во мне вспыхнула уверенность, что эти двое — уже не существующие, бесконечно маленькие, ставшие прахом — справились со всем, что выпало на их долю... Открытие успокоило меня, и бесформенная немая толпа вокруг серой арены, ожидавшая моего поражения, растворилась. В тот же миг раздалось два щелчка — выключили аппаратуру. Искусственный свет ударил мне в глаза, я зажмурился. Сарториус испытующе смотрел на меня, стоя в той же позе; Снаут, повернувшись к нему спиной, возился у аппарата, нарочно шлепая спадающими с ног тапочками.

— Как вы полагаете, доктор Кельвин, получилось? — раздался гнусавый, неприятный голос Сарториуса.

— Да, — ответил я.

— Вы в этом убеждены? — с ноткой удивления, а может, подозрительности спросил Сарториус.

— Да.

От моего уверенного, резкого тона Сарториус на мгновение потерял свою чопорность.

— Хорошо, — буркнул он и огляделся, не зная, чем еще заняться.

Снаут подошел ко мне и начал снимать бинты.

Я встал и прошелся по залу, а тем временем Сарториус, который исчез в темной комнате, вернулся с проявленной и высушенной пленкой. На десятке метров ленты тянулись дрожащие зубчатые линии, похожие на белесую плесень или паутину на черном скользком целлулоиде.

Мне больше нечего было делать, но я не уходил. Те двое вставили в оксидированную головку модулятора пленку, конец которой Сарториус, насупленный, недоверчивый, просмотрел еще раз, как бы пытаясь расшифровать смысл трепещущих линий.

Эксперимент шел теперь за пределами лаборатории. Сарториус и Снаут стояли каждый у своего пульта и возились с аппаратурой. Под током слабо загудели трансформаторы, а потом огоньки на вертикальных застекленных

трубках индикаторов побежали вниз, указывая, что большой тубус рентгеновской установки опускается по отвесной шахте и должен остановиться в ее горловине. Огоньки в это время застыли на самых нижних делениях шкалы. Снаут стал увеличивать напряжение, пока стрелки, вернее, белые полосы, их заменявшие, не сделали полуоборот вправо. Гул тока был едва слышен, ничего не происходило, бобины с пленкой вращались под крышкой — их не было видно, счетчик метража тихонько тикал, как часы.

Хэри смотрела поверх книги то на меня, то на Снаута и Сарториуса. Я подошел к ней. Она повернулась ко мне. Эксперимент закончился, Сарториус медленно приблизился к большой конусообразной головке аппарата.

— Идем?.. — одними губами спросила Хэри.

Я кивнул. Хэри встала. Не прощаясь ни с кем — по моему, это было бы неуместно, — я прошел мимо Сарториуса.

Удивительно красивый закат освещал иллюминаторы верхнего коридора. Это не был обычный, мрачный, кроваво-красный закат — сейчас он переливался всеми оттенками розового цвета, приглушенного дымкой, осыпанной серебряной пылью. Тяжелая, лениво движущаяся чернота бесконечной равнины Океана, казалось, отвечала на нежное сияние буро-фиолетовым, мягким отблеском. Только в зените небо оставалось еще яростно-рыжим.

Я задержался в нижнем коридоре. Мне страшно было даже подумать, что мы снова будем заточены, как в тюремной камере, в своей кабине, лицом к лицу с Океаном.

— Хэри, — сказал я, — видишь ли... я заглянул бы в библиотеку... Ты не против?

— Хорошо, я поищу что-нибудь почитать, — ответила она с несколько наигранным оживлением.

Я чувствовал, что со вчерашнего дня между нами образовалась какая-то трещина и что нужно проявить хоть немного сердечности, но мне было все так безразлично. Даже не представляю, что могло бы вывести меня из этой апатии. Мы возвращались по коридору, потом по пандусу спустились в маленький тамбур с тремя дверьми; между ними за стеклами росли цветы.

Средняя дверь, ведущая в библиотеку, была обита с двух сторон тисненой искусственной кожей; открывая, я каждый раз старался не задеть ее. В круглом большом зале с бледно-серебристым потолком, с символическими изображениями солнечного диска было немного прохладней.

Я провел рукой вдоль корешков собрания классических трудов по соляристике и уже хотел вынуть первый том Гизе, тот, с гравюрой на фронтиспise, прикрытом папирсной бумагой, но вдруг увидел не замеченный мною раньше толстый, формата ин-октаво, том Гравинского.

Я сел. В полной тишине за моей спиной Хэри листала книгу, я слышал, как шелестят страницы.

Справочник Гравинского, который студенты попросту зазубривали, представлял собой сборник всех соляристических гипотез, расположенных по алфавиту: от «Абиологической» до «Ядерной». Компилятор, никогда не видевший Солярис, Гравинский копался во всех монографиях, протоколах экспедиций, в записях и донесениях тех времен, даже тщательно изучил выдержки из работ планетологов, занимавшихся другими мирами. Он составил каталог с формулировками, столь краткими, что их лаконичность порой переходила в тривиальность, ибо терялся тонкий, сложный ход мысли исследователей. Впрочем, труд, задуманный как энциклопедический, оказался просто курьезом. Том был издан двадцать лет назад, и за это время выросла целая гора новых гипотез, они не поместились бы ни в какой книге. Я просматривал алфавитный указатель авторов, словно список погибших, — большинство уже умерло, а из живых, пожалуй, уже никто активно не работал в соляристике. Такое богатство мыслей создавало иллюзию, что хоть какая-то гипотеза верна, невозможно было себе представить, что действительность не соответствует мириадам предположений, изложенных здесь.

Гравинский в своем предисловии разделил на периоды известные ему шестьдесят лет соляристики. В первый, начальный период исследования планеты Солярис никто, собственно, не выдвигал гипотез. Тогда интуитивно, как подсказывал «здравый смысл», считалось, что Океан — мертвый химический конгломерат, чудовищная глыба, студенистая масса, омывающая планету и создающая удивительнейшие образования благодаря своей квазивулканической деятельности. Кроме того, спонтанный автоматизм процессов стабилизирует непостоянную орбиту планеты, подобно тому как маятник сохраняет неизменной плоскость своего движения. Правда, спустя три года Маженон выдвинул предположение, что «студенистая машина» по своей природе нечто живое. Но Гравинский датировал период биологических гипотез девятью годами позже,

когда большинство ученых стало разделять мнение Маженона.

В последующие годы были распространены теории живого Океана, весьма сложные, детально разработанные, подкрепленные биоматематическим анализом. Затем наступил третий период, когда единый фронт ученых распался. Тогда образовалось много школ, нередко яростно боровшихся между собой. Это было время деятельности Панмаллера, Штробля, Фрейгауза, Ле-Грея, Осиповича. Все наследие Гизе подвергалось уничтожающей критике, появились первые атласы, каталоги, стереофотографии асимметриад, которые до тех пор считались образованиями, не поддающимися изучению. Перелом наступил благодаря новой аппаратуре с дистанционным управлением, ее направляли в kloкочущие глубины исполинов, грозящих взорваться в любую секунду.

В общих шумных спорах стали раздаваться отдельные робкие голоса минималистов: если даже не удастся установить пресловутый контакт с «разумным чудовищем», то исследования застывших городов мимоидов и шарообразных гор, которые Океан извергает, чтобы вновь поглотить, позволят получить, безусловно, ценные химические и физико-химические данные, новые сведения о строении молекул-гигантов. Но никто даже не удостоил вниманием глашатаев этих идей.

Ведь именно в этот период появились актуальные до наших дней каталоги типичных превращений, биоплазматическая теория мимоидов Франка (хотя и отброшенная как неверная, она до сих пор — образец широты мышления и блестящей логики).

«Период Гравинского», насчитывающий в итоге более тридцати лет, — время наивной молодости, стихийного оптимистического романтизма, наконец, зрелой соляристички, отмеченной первыми скептическими голосами. Уже в конце двадцатилетия возникли гипотезы о непсихологическом характере Океана. Это был возврат к первым коллоидно-механистическим теориям, как бы продолжение их. Тогда поиски проявления сознательной воли, целенаправленности процессов, действий, мотивированных внутренними потребностями Океана, были объявлены заблуждением целого поколения ученых. Со временем эти утверждения были разбиты с публицистической страстностью, что подготовило почву для трезвых, аналитически обоснованных, сосредоточенных на скрупулезной фактографии ис-

следований группы Холдена, Ионидеса, Столиво. Это была эпоха стремительного разбухания архивов, микрофильмов, картотек, огромного числа экспедиций, богато оснащенных всевозможными приборами, самопишущими регистраторами, оптиметрами, зондами — всем, что только могла предоставить Земля. Были годы, когда в исследованиях принимали участие одновременно более тысячи человек. Темп бесконечного нагромождения материалов все еще возрастал, а воодушевление ученых уже пошло на спад. Еще в оптимистический период начался закат экспериментальной соляристики, временные рамки которого трудно определить.

Этот период характеризовали прежде всего такие яркие, смелые индивидуальности, как Гизе, Штробль или Севада. Севада — последний из великих соляристов — погиб при таинственных обстоятельствах в районе Южного полюса планеты. Ошибка, которую он допустил, непростительна даже для новичка. На глазах у сотни наблюдателей он направил летательный аппарат, скользящий низко над Океаном, в глубь «мелькальца», который явно уступал ему дорогу. Говорили о внезапном приступе слабости, обмороке или неисправности рулевого управления; на самом деле, как я теперь думаю, это было первое самоубийство, первый явный взрыв отчаяния.

И не последний. Но у Гравинского ничего об этом не сказано, я сам вспоминал даты, факты и подробности, глядя на пожелтевшие страницы. Впрочем, патетических покушений на самоубийство потом больше не было. Исчезли и яркие индивидуальности.

Никто не исследовал, почему те или иные ученые посвящают себя определенной области планетологии. Люди огромных способностей и большой силы воли рождаются достаточно часто, но предугадать их жизненный выбор нельзя. Их участие или неучастие в какой-то области исследований зависит, пожалуй, лишь от открывающихся в ней перспектив. По-разному оценивая классиков соляристики, никто не может отказать им в величии, а порой и в гениальности. Самых лучших математиков, физиков, знаменитостей в области биофизики, теории информации, электрофизиологии целые десятилетия притягивал к себе молчаливый гигант. И вдруг армия исследователей из года в год стала терять своих полководцев. Осталась серая, безымянная масса терпеливых собирателей, компиляторов, незаурядных экспериментаторов, но уже не было много-

численных, в масштабе планеты задуманных экспедиций, смелых, обобщающих гипотез.

Соляристика явно приходила в упадок, и, как следствие этого, рождались бесконечные, отличающиеся лишь второстепенными деталями гипотезы о дегенерации, регрессии, инволюции солярийских морей. Время от времени появлялись более смелые, интересные заключения, но во всех высказывалось мнение, будто Океан, признанный конечным продукт развития, давно, тысячелетия назад, пережил период наивысшей организации, а теперь, объединенный только физически, распадается на многочисленные ненужные, бессмысленные, умирающие образования. Монументальная, веками длившаяся агония — так воспринимали Солярис. Видя в «долгунах» или мимоидах признаки новых образований, искали в процессах, происходящих в жидкой туше, проявления хаоса и анархии. Такое направление стало маниакальным, и вся научная литература последующих семи-восьми лет, хотя, естественно, и не употребляла определений, открыто выражавших чувства авторов, представляла собой град оскорблений — это была месть за осиротевшее, лишенное полководцев, беспросветное дело соляристов, к которому объект их исследований оставался по-прежнему равнодушным; он по-прежнему игнорировал их присутствие.

Я знал не включенные в этот каталог соляристической классики (по-моему, несправедливо) оригинальные работы десятка европейских психологов. Они длительное время изучали общественное мнение, коллекционировали самые заурядные, порой некомпетентные высказывания и установили удивительную зависимость отношения неспециалистов к этому вопросу от процессов, происходящих в кругу ученых.

В сфере координирующей группы Института планетологии, там, где решался вопрос о материальной поддержке исследований, тоже происходили изменения — постоянно, хотя и постепенно, сокращался бюджет соляристических институтов и учреждений, финансирование экспедиций на планету.

Голоса о необходимости сокращения исследований перемежались с требованиями использовать более действенные средства. Наиболее максималистскими были требования административного директора Всеземного космологического института. Директор настойчиво твердил, что живой Океан не игнорирует людей, он просто их не заме-

чает, как слон — муравья, ползущего у него по спине, и, чтобы привлечь внимание и сконцентрировать его на нас, нужны мощные раздражители и машины-гиганты всепланетного масштаба. Любопытно, ехидно подчеркивала пресса, что на таких дорогостоящих мероприятиях настаивал директор космологического института, а не Института планетологии, который финансировал соляристические исследования. Это была щедрость за чужой счет.

А потом круговорот гипотез — немного обновленных, несущественно измененных, забвение одних или преувеличенное внимание к другим — заводил соляристику, до сих пор ясную, несмотря на многочисленные ответвления, во все более темные, беспросветные закоулки лабиринта. В атмосфере всеобщего равнодушия, застоя, разочарования другой океан — океан бесплодных публикаций соперничал с солярийским.

Года за два до того, как я, выпускник Института, стал работать в лаборатории Гибаряна, был основан фонд Метта — Ирвинга, предназначенный для поощрения тех, кто найдет способ использовать для нужд человека энергию океанического глея. Это прельщало и раньше, и не раз космические корабли доставляли на Землю грузы плазматического студня. Изучали долго и терпеливо методы его консервирования, применяя высокие или низкие температуры, искусственные микроатмосферу и микроклимат, соответствующие солярийским, фиксировали облучение, использовали тысячу химических реактивов, — и все для того, чтобы наблюдать более или менее вялый процесс распада, конечно, как и все прочие, многократно описанный добросовестнейшим образом в различных стадиях: самостребления, высыхания, разжижения, первичного и вторичного, раннего или позднего. К аналогичным результатам приводили все пробы, взятые из разных частей Океана и образований плазмы. Отличались только пути, ведущие к конечному результату. Конец был один: легкая, как пепел, металлически поблескивающая, истонченная аутоферментацией субстанция. Ее состав, соотношение элементов и химические формулы мог назвать даже во сне любой солярист.

Вне планеты сохранить жизнь — или хотя бы временную всегетацию (даже при сверхнизких температурах) — большей или меньшей частицы чудовища не удавалось. Эта несудача положила начало теории, разработанной школой Менье и Пророха, провозгласившей, что надо разга-

дать одну-единственную тайну, подобрать к ней подходящий ключ, и тогда станет ясным все.

В поисках этого ключа, философского камня Солярис напрасно тратили время и энергию люди, часто не имеющие никакого отношения к науке. В четвертом десятилетии существования соляристики развелось огромное количество комбинаторов-маньяков, вышедших из кругов, не связанных с наукой, одержимых своей страстью сильнее, чем их предшественники — пророки «перпетуум-мобиле» и «квадратуры круга». Это уже носило характер эпидемии и беспокоило психологов. Однако через несколько лет страсти поутихли. Когда я готовился к полету на Солярис, проблема Океана и шумиха, поднятая вокруг нее, уже давно не заполняли газетных страниц, вопросы эти больше не обсуждались.

Книги на полках располагались в алфавитном порядке, и когда я ставил на место том Гравинского, то наткнулся на маленькую брошюрку Граттенстрома, едва заметную среди фолиантов. Работа Граттенстрома — тоже один из курьезов соляристики. Книга направлена — в борьбе за понимание сверхчеловеческого — против самих людей, против человека, это своеобразный пасквиль на род человеческий, злобная, несмотря на математическую сухость, работа самоучки. Вначале он опубликовал ряд необыкновенных дополнений к некоторым весьма специфическим и второстепенным разделам квантовой физики. В своем главном, хотя и насчитывающем всего несколько страниц, из ряда вон выходящем произведении он пытался показать, что наука, даже на первый взгляд наиболее абстрактная, предельно теоретическая, математически обоснованная, в действительности достигла немногого — на шаг или два отделилась от доисторического, грубо-чувственного, антропоморфического понимания окружающего нас мира. Отыскивая в уравнениях теории относительности, в теоремах силовых полей, парастатике, гипотезе единого космического поля следы плоти, все, что является производным наших органов чувств, строения нашего организма, ограниченности и убожества животной физиологии человека, Граттенстром делал окончательный вывод — ни о каком «контакте» с нечеловекоподобными цивилизациями не может быть и речи ни сейчас, ни в будущем. В пасквиле на весь род человеческий ни разу не упоминался мыслящий Океан, но его присутствие, в форме презрительно торжествующего умолчания, чувствовалось почти в каждой

фразе. Во всяком случае, знакомясь первый раз с брошюрой Граттенстрома, я так ее воспринял. Это была какая-то странная работа, не имеющая отношения к соляристике в обычном понимании. Она находилась в классическом собрании только потому, что туда ее поместил сам Гибарян, он же первый дал мне ее почитать.

С чувством, похожим на уважение, я осторожно поставил на полку тонкий, без обложки оттиск. Я дотронулся до зелено-коричневого «Соляристического альманаха». При всем хаосе, при всей безнадежности, окружавшей нас, нельзя отрицать, что, благодаря пережитому в течение нескольких суток, мы разобрались в ряде основных проблем, годами служивших темой бесплодных споров, на решение которых было изведено море чернил.

Человек упрямый и склонный к парадоксам мог по-прежнему сомневаться в том, что Океан — живой. Но опровергнуть существование его психики — безразлично, что понимать под этим словом, — было уже нельзя. Стало очевидным, что Океан отзывается на наше присутствие. Такое утверждение отвергало целое направление в соляристике, провозглашавшее, что Океан — «мир в себе», «жизнь в себе»; что в результате повторного отмирания он лишен существовавших когда-то органов чувств и поэтому никак не реагирует на внешние явления или объекты; что Океан сосредоточен лишь на круговращении гигантских мыслительных течений, источник, творец и создатель которых находится в бездне, бурлящей под двумя солнцами.

Кроме того, мы установили, что Океан умеет то, чего мы сами не умеем: он искусственно синтезирует человеческое тело и даже усовершенствует его, непостижимым образом изменяя субатомную структуру — вероятно, в зависимости от поставленной цели.

Итак, Океан существовал, жил, думал, действовал. Возможность свести «проблему Солярис» или к бессмыслице, или к нулю, мнение, что Океан — отнюдь не Существо, а поэтому мы ничего или почти ничего не проигрываем, — все зачеркивалось навсегда. Теперь люди, желают они того или нет, должны учитывать такое соседство на пути их экспансии, хотя постичь его труднее, чем всю остальную Вселенную.

Вероятно, мы находимся на поворотном этапе истории, думал я. Решение отступить, отойти могло быть актуальным сейчас или в недалеком будущем; даже ликвидацию

самой Станции я считал возможной и вполне реальной. Я только не верил, что это принесет какое-то облегчение. Само существование мыслящего исполина всегда будет волновать человека. Исколеси мы всю Галактику, установи Контакт с другими цивилизациями похожих на нас существ — Солярис всегда будет вызовом, брошенным человеку.

И еще один небольшой том в кожаном переплете затеялся среди выпусков «Альманаха». Я рассмотрел переплет, потемневший от прикосновения рук, потом открыл старую книгу: это было «Введение в соляристику» Мунциуса. Мне вспомнилась ночь, проведенная за чтением книги, и улыбка Гибаряна, когда он давал мне свой экземпляр, и земной рассвет в окне, когда я дочитал старую книгу. «Соляристика, — писал Мунциус, — своего рода религия космического века, вера в облачении науки. Контакт, цель, к которой мы стремимся, так же туманна и нелепа, как житие святых, как приход Мессии. Наши исследования — это литургия в методологических формулах; смиренная работа ученых — ожидание благовещения. Ведь нет и не может быть никакой связи между Солярис и Землей. Эти факты и многие другие — отсутствие общего опыта, единых понятий, которыми можно было бы обменяться, — соляристы отмечают, как верующие отмечали аргументы, опровергающие их веру. Впрочем, на что люди надеются, чего они ожидают от «установления информационной связи» с мыслящими морями? Перечня переживаний, связанных с существованием, бескончным во времени, существованием столь древним, что, пожалуй, сами моря не помнят собственного начала? Описания желаний, страстей, надежд и страданий, рождающихся в живых горах при моментальных образованиях, превращения математики — в бытие; одиночества и смирения — в сущность. Но все эти знания невозможно ни передать, ни переложить на какой-либо земной язык. Любые поиски ценностей и значения будут напрасны. Впрочем, не таких, скорее поэтичных, чем научных, откровений ожидают сторонники Контакта. Даже не признаваясь себе в этом, они ожидают откровения, которое раскрыло бы перед ними суть самого человека! Соляристика — возрождение давно умерших мифов, яркое проявление мистической тоски, о которой открыто, в полный голос, человек говорить не решается. А надежда на искупление — глубоко скрытый краеугольный камень всего здания соляристики...

Но неспособные признать эту правду соляристы старательно обходят любое толкование Контакта. Они причислили его к лику святых, с годами он стал для них вечностью и небом, хотя вначале, при трезвом еще подходе, Контакт был основой, вступлением, выходом на новую дорогу, одну из многих дорог...»

Прост и горек анализ Мунциуса, этого «еретика» планетологии, блестящего в отрицании, в развенчании солярийского мифа, мифа о миссии человека. Первый голос, который посмел раздаться еще в романтический период развития соляристики, в период полного доверия, все проигнорировали, никто на него не откликнулся. Все это понятно, ведь если принять утверждения Мунциуса, то надо было бы перечеркнуть ту соляристику, которая существовала. Новая, иная соляристика, трезвая, бесстрастная, напрасно ждала своего основоположника. Через пять лет после смерти Мунциуса, когда его книга стала библиографической редкостью, ее нельзя было найти в собраниях ни по соляристике, ни по философии, появилась школа его имени, образовался круг норвежских ученых. Среди последователей Мунциуса было несколько ярких индивидуальностей, по-своему разрабатывавших его наследие. Спокойное изложение Мунциуса сменилось у Эрла Эннессона язвительной иронией; у Фазланги оно превратилось в какую-то опошленную, потребительскую, иначе — утилитарную соляристику. Фазланга стремился сконцентрировать все внимание на конкретной пользе, какую можно получить из исследований, и отбросить все фантастические надежды на Контакт, на связь двух интеллектов. Рядом с безжалостным, четким анализом Мунциуса работы всех его духовных учеников выглядят, однако, второстепенными, если не просто популяризаторскими, исключение составляют только произведения Эннессона и, пожалуй, Такаты. Собственно, Мунциус сам довел все до конца, назвав первый период соляристики периодом «пророков» (к ним он причислял Гизе, Голдена, Севаду), второй — «великим расколом» (тогда единая соляристская вера распалась на множество борющихся между собой сект). Мунциус предвидел и третий период — догматизма и схоластического окостенения, который наступит, когда будет изучено все, что только можно изучить. Но этого не произошло.

Гибарян, думал я, был все же прав, считая рассуждения Мунциуса чрезвычайным упрощением, оставляющим в

стороне все, что контрастировало в соляристике с элементами веры; в соляристике, утверждал Гибарян, самое важное не вера, а кропотливый, будничный труд, исследования конкретной, материальной планеты, вращающейся вокруг двух солнц.

В книге Мунциуса лежал сложенный вдвое, совсем пожелтевший оттиск из ежеквартального журнала «Дополнения к соляристике», одна из первых работ Гибаряна, которую он написал, еще не будучи руководителем Института. После названия «Почему я стал соляристом» шло краткое, почти конспективное перечисление явлений, доказывающих реальную возможность Контакта. Ведь Гибарян принадлежал к тому, пожалуй, последнему поколению исследователей, у которых хватило смелости принять эстафету первых успехов соляристики и не отречься от своеобразной, выходящей за пределы науки веры, впрочем, вполне материалистической, веры в плодотворность усилий, если они достаточно упорны и продолжительны.

Гибарян исходил из хорошо известных, классических исследований биоэлектроников евразийской школы: Хо Ен Мина, Нгъяли и Кавакадзе; их работы продемонстрировали, что существует некоторое сходство между электрическими импульсами и определенными разрядами энергии, происходящими в плазме Океана, которые предшествуют возникновению таких образований, как полиморфы (в зачаточных стадиях) и близнецы-соляриды. Гибарян отбросил антропоморфические интерпретации, всяческие мистификации психоаналитических, психиатрических, нейрофизиологических школ, которые пытались перенести на глеевый Океан человеческие заболевания, например эпилепсию (аналогию которой они видели в судорожных извержениях асимметриад). Он был среди сторонников Контакта одним из наиболее осторожных и трезвых ученых и совершенно не выносил сенсаций, которые, правда, все реже сопровождали тому или иному открытию. Кстати, такой дешевой сенсацией стала моя дипломная работа. Она находилась где-то здесь, в библиотеке. Работа, конечно, была не опубликована, а просто снята на пленку и хранилась среди микрофильмов. В своей работе я опирался на любопытные исследования Бергмана и Рейнольдса. Им удалось из мозаики разнообразных процессов выделить и «отфильтровать» компоненты, сопровождающие самые сильные эмоции: отчаяние, скорбь, наслаждение. Я же сопоставил эти данные с разрядами океанических токов, определил ампли-

туду и профили кривых (на определенных участках сводов симметриад, у основания незрелых мимойдов и др.) и обнаружил между ними аналогию, заслуживающую внимания. Тут же в бульварной прессе появились об этом статейки под дурацкими названиями, вроде «Студень в отчаянии» или «Планета в оргазме».

Но все это мне только помогло (так, по крайней мере, я полагал до недавних пор). Гибарян, как любой другой солярист, не читал всех работ по соляристике (их выходили тысячи), а тем более работ новичков. Но на меня он обратил внимание, и я получил от него письмо. Это письмо завершило одну и начало другую главу моей жизни.

СНОВИДЕНИЯ

Оксан никак не реагировал на наш эксперимент, и через шесть дней мы его повторили. Станция, до сих пор висевшая неподвижно на пересечении сорок третьей параллели со сто шестнадцатым меридианом, поплыла, оставаясь на высоте четырехсот метров над уровнем Океана, в южном направлении, где, по данным радарных датчиков и радиogramм Сателлоида, активность плазмы значительно возросла.

Двое суток модулируемый моей энцефалограммой пучок лучей наносил с интервалами в несколько часов невидимые удары по почти совсем гладкой поверхности Океана.

К исходу вторых суток мы были у самого полюса. Не успевал диск голубого солнца скрыться за горизонтом, как на противоположной стороне тучи наливались пурпуром, предвещая восход красного. Безбрежная чернота Океана и пустое небо над ним заполнялись тогда ослепительной игрой красок: резкие, ядовито-зеленые, блещущие расплавленным металлом лучи сталкивались с приглушенными пурпурными сполохами, Океан пересекали отблески двух противостоящих дисков, двух пылающих очагов — ртутно-синего и багряного. Стоило появиться в зените самому легкому облачку, и блики на тяжелой пене, стекавшей с гребней волн, становились неправдоподобно радужными.

Сразу же после захода голубого солнца на северо-западе показалась симметриада — о ней уже предупредили сигнализаторы. Она еле виднелась в рыжевatom тумане и

лишь зеркально поблескивала, словно гигантский стеклянный цветок, выросший там, где небо сливалось с океанской пеной. Станция не изменила курса, и четверть часа спустя мерцавший рубиновым светом колосс опять скрылся за горизонтом. Прошло еще несколько минут, высокий тонкий столб, основание которого было скрыто от нас, беззвучно поднялся в атмосфере на несколько километров, свидетельствуя о гибели симметриады. Одна половина столба пылала кровавым светом, а другая отливала ртутью; он разросся в двухцветное дерево, потом превратился в грибовидное облако, верхняя часть его в лучах двух солнц исчезала, уносимая ветром, а нижняя, растянувшись гроздьями на треть горизонта, медленно опадала. Через час от этой картины не осталось и следа.

Прошло еще двое суток, эксперимент был повторен в последний раз, рентгеновские лучи искололи уже немалую часть Океана. На юге показались отлично просматривавшиеся с нашей высоты, несмотря на трехсоткилометровое расстояние, Аррениды — цепь из шести скалистых вершин. Пики Арренид казались обледеневшими, но на самом деле их покрывал налет органического происхождения — горная цепь была когда-то дном Океана.

Мы изменили курс, направившись на юго-восток, и некоторое время следовали вдоль горного барьера, сливавшегося с тучами, типичными для красного дня; потом все исчезло. Со времени первого эксперимента прошло десять дней.

За все это время на Станции ничего не случилось. Автоматическая аппаратура повторяла эксперимент по разработанной Сарториусом программе, и я даже не уверен, контролировал ли кто-нибудь действия автоматов. И все-таки на Станции что-то происходило. Впрочем, не между людьми. Я опасался, что Сарториус потребует опять приступить к работе над аннигилятором; кроме того, я ждал, как прореагирует Снаут, узнав от Сарториуса, что я обманул его, преувеличивая опасность, которую могло повлечь за собой уничтожение нейтринной материи. Однако ничего подобного не последовало, и я первое время терялся в догадках, не понимая, в чем дело. Конечно, я предполагал какую-то ловушку, думал, что подготовка и сами работы держатся в тайне, и поэтому ежедневно заглядывал в помещение без окон под главной лабораторией — там находился аннигилятор. Я ни разу никого не застал; судя по слою пыли, покрывавшему защитный кожух

и кабели, к аппаратуре много недель никто не прикасался.

Снаут, подобно Сарториусу, пропал из виду, и с ним нельзя было связаться — его видеофон не отвечал на вызовы. Кто-то, должно быть, управлял движением Станции, но кто именно — не могу сказать, меня это, как ни странно, просто не интересовало. Мне было абсолютно безразлично и то, что Океан не реагировал на опыты; через два-три дня я не только перестал ждать или бояться какой-либо реакции, а вообще забыл и о ней, и об эксперименте. Целые дни я проводил в библиотеке или в кабине вместе с Хэри, следовавшей за мной как тень. Я видел, что наши дела неважны и что такое состояние тупой апатии не может тянуться до бесконечности. Надо было как-то преодолеть его, что-то изменить в наших отношениях, но я, не в силах принять никакого решения, отгонял от себя даже мысль о перемене. Могу объяснить это лишь одним — мне казалось, что все на Станции, а особенно наши отношения с Хэри, пребывает в состоянии чрезвычайно неустойчивого равновесия и от любого толчка рухнет. Почему? Не знаю. Удивительно, что Хэри испытывала такое же чувство. Когда я думаю об этом теперь, мне представляется, что неуверенность, неустойчивость, предчувствие грозящего землетрясения были вызваны неким пронизывающим всю Станцию присутствием, которое ничем иным себя не обнаруживало. Хотя, возможно, на присутствие указывало кое-что еще, а именно сны. Ни раньше, ни потом — никогда у меня не было таких видений, поэтому я решил записывать их. Благодаря записям я теперь могу попытаться рассказать о своих снах, но рассказ мой будет отрывочным и лишенным непередаваемого разнообразия видений. Каким-то непостижимым образом в пространстве, лишенном неба, земли, пола, потолка, стен, я, не то скорчившийся, не то связанный, оказывался в некоей чуждой мне субстанции, вращался в неживую, неподвижную, бесформенную глыбу, а может, я сам становился глыбой, тела у меня не было, меня окружали едва различимые розовые пятна, плававшие в среде, которая по оптическим свойствам отличалась от воздуха: только на очень близком расстоянии вещи приобретали отчетливые — даже слишком, неестественно отчетливые — очертания. Вообще в моих снах окружающее было гораздо более конкретным и материальным, чем наяву. Просыпаясь, я испытывал странное чувство: реальностью, подлинной реальностью было сновидение, а то,

что я видел, открыв глаза,— лишь ее смутной тенью.

Таково было начало, тот клубочек, из которого разматывалась нить сновидения. Вокруг меня что-то ждало разрешения, моего внутреннего согласия, а я ощущал — что-то во мне ощущало — я не должен поддаваться непонятному искушению, ведь чем больше соблазн, тем страшнее конец. Собственно, я не знал этого. Если бы я знал, то боялся бы, а страха я не испытывал. Я ждал. Из розового тумана вокруг меня рождалось первое прикосновение, я, неподвижный, как колода, увязший в поглощавшей меня массе, не мог ни отодвинуться, ни пошевелиться, а *то* ошупывало мою тюрьму незрячими и одновременно видящими прикосновениями и становилось созидающей меня дланью. До этой минуты я был слеп, и вот я начинаю видеть: под пальцами, ошупывающими мое лицо, рождаются из ничего мои губы, щеки, и, по мере того как это разделенное на бесконечно малые доли прикосновение расширяется, у меня появляются и лицо, и дышащая грудь, вызванные из небытия этим актом созидания — взаимным, ибо и я, созидаемый, созидаю,— и возникает лицо, которого я никогда в жизни не видел, чужое и знакомое, я пытаюсь заглянуть ему в глаза, но не могу — все пропорции искажены, нет никаких направлений, просто в молитвенном молчании мы открываем друг друга и становимся друг другом. И вот я уже стал самим собой, но возведенным в степень бесконечности, а то второе существо — женщина? — застыло вместе со мной. В нас бьется один пульс, мы — единое целое, и вот в эту замедленную сцену, вне которой ничего не существует и не может существовать, закрадывается нечто необыкновенно жестокое, невозможное, противоестественное. Прикосновение, создавшее нас и золотым покровом окутавшее наши тела, превращается в мириады беспощадных жал. Тела наши, нагие и белые, расплываются, чернеют, покрываются полчищами червей... И вот уже я становлюсь — мы становимся — я становлюсь блестящим, свивающимся и расплетающимся вновь, лихорадочно извивающимся клубком, не кончающимся, нескончаемым; и в этой бесконечности я сам, бесконечный, вою без единого звука, моля о конце, и вдруг как раз в это время разбегаюсь, сразу во все стороны, и во мне растет страдание, во сто крат более сильное, чем наяву, сосредоточенное где-то в черных и багряных далях, страдание, то твердое как скала, то пылающее огнем иного солнца и иных миров.

Это самый простой из снов, остальные рассказать я не сумею — ужас, пережитый в них, нельзя сравнить ни с чем на свете. Во сне я ничего не знал о существовании Хэри, дневные впечатления и переживания вообще не отражались в моих сновидениях.

Были и другие сны, когда в застывшей, мертвой темноте я чувствовал себя объектом кропотливых, исторощивых исследований, без каких-либо известных нам инструментов; это было проникновение, раздробление, растворение, вплоть до абсолютного исчезновения, а за всем этим — за молчанием, за постепенным уничтожением — стоял страх: наутро при одном воспоминании о нем сердце начинало колотиться.

А дни тянулись — однообразно, сонно, бесцветно, принося с собой тоскливое отвращение ко всему. Боялся я только ночей, но не знал, как спастись от них. Хэри могла совсем не спать, и я тоже старался бодрствовать. Я целовал и ласкал ее, понимая, что дело тут не в ней и не во мне, мне просто страшно заснуть. Хотя я ни слова не говорил Хэри о своих кошмарах, она, вероятно, о чем-то догадывалась: в ее покорности я ощущал невысказанную обиду и чувство унижения, но ничего не мог с этим поделать. Я уже сказал, что за все время не виделся ни со Снаутом, ни с Сарториусом. Однако Снаут раз в несколько дней давал о себе знать — иногда запиской, а чаще вызовом по видеофону. Он спрашивал, не заметил ли я какого-либо нового явления, каких-либо перемен, чего-нибудь, что могло быть реакцией на столько раз повторенный эксперимент. Я отвечал отрицательно и сам спрашивал о том же. Снаут на экране только качал головой.

На пятнадцатый день после окончания экспериментов я проснулся раньше, чем обычно, настолько измученный кошмарами, что никак не мог прийти в себя, будто после глубокого наркоза. Сквозь незаслоненный иллюминатор падали первые лучи красного солнца. Река пурпурного огня пересекала гладь Океана, и я заметил, что до сих пор безжизненная поверхность его постепенно мутнеет. Она уже не была черной, побелела, словно ее окутала легкая дымка; на самом деле дымка была довольно плотной. То там, то сям возникало волнение, потом неопределенное движение охватило все видимое пространство. Черную поверхность закрыли пленки, светло-розовые на гребнях волн и жемчужно-коричневые во впадинах. Сначала игра красок создавала из этого странного океанского покрова

длинные ряды застывших волн, потом все смешалось, весь Океан покрылся пеной, огромные лоскутья пены поднимались вверх и под Станцией, и вокруг нее. Со всех сторон одновременно взвивались в рыжес, пустое небо перепончатокрылые пенные облака, не похожие на обычные тучи. Края их надувались, как воздушные шары. Одни, на фоне низко пылавшего над горизонтом солнечного диска, казались угольно-черными, другие, в зависимости от того, под каким углом освещали их лучи восхода, вспыхивали рыжими, вишневыми, малиновыми отблесками. Казалось, Океан шелушится, кровавые хлопья то открывали черную поверхность, то заслоняли ее новым налетом затвердевшей пены. Некоторые образования устремлялись вверх, проходя совсем близко, всего в нескольких метрах от иллюминаторов, а одно шелковистым на вид краем даже задело стекло. Те рои, которые взлетели первыми, уже едва виднелись, словно разлетевшиеся птицы — расплывались, таяли в зените.

Станция остановилась и пробыла на одном месте около трех часов, а необычное явление не прекращалось. Солнце уже опустилось за горизонт, Океан под нами окутала тьма, а мириады легких, розовеющих силуэтов бесконечными вереницами все уходили и уходили в небо, будто, невесомые, скользили по невидимым струнам. Небывалое вознесение разодранных крыльев продолжалось до полной темноты.

Безмятежно величавое явление потрясло Хэри, но я не мог его объяснить: для меня, соляриста, оно было столь же ново и непонятно, как и для нее. Впрочем, формы и образования, не отмеченные нигде в систематике, можно наблюдать на Солярис два-три раза в год, а если повезет — то и чаще.

На следующую ночь, приблизительно за час до восхода голубого солнца, мы стали свидетелями еще одного феномена: Океан фосфоресцировал. Сначала на его невидимой во тьме поверхности появились кое-где пятна света, а точнее, слабое свечение, белесое, расплывчатое, двигавшееся вместе с волнами. Пятна сливались, увеличивались, наконец призрачное сияние достигло линии горизонта. Интенсивность свечения нарастала в течение приблизительно пятнадцати минут, потом все закончилось удивительным образом: Океан стал угасать, с запада надвигался фронт темноты шириной в несколько сотен миль, а когда он достиг Станции и миновал ее, еще светившаяся часть Океана

стала выглядеть, как отступившее на восток, стоящее высоко в небе зарево. Достигнув самого горизонта, зарево стало похоже на северное сияние и сразу исчезло. Вскоре снова взошло солнце, и опять под ним расстилась безжизненная пустыня, чуть тронутая морщинами волн, посылавших ртутные отблески в иллюминаторы Станции. Свечение Океана описывалось уже не раз; в ряде случаев его наблюдали перед взрывом асимметриад, вообще же оно было типичным признаком локального усиления активности плазмы. Однако в течение следующих двух недель ни на Станции, ни за ее пределами ничего не произошло. Только раз, среди ночи, я услышал — доносившийся одновременно ниоткуда и отовсюду — далекий крик, необычайно высокий, резкий и протяжный, словно во сто крат усиленный плач младенца. Внезапно очнувшись от кошмара, я долго лежал, вслушиваясь, не совсем уверенный, не снится ли мне и этот крик. Накануне из лаборатории, частично расположенной над нашей кабиной, доходили приглушенные отзвуки, словно там передвигали тяжелый груз или аппаратуру; мне показалось, что крик тоже раздается наверху, впрочем, непонятно было, как он проходит сквозь звуконепроницаемый слой, разделяющий оба яруса. Этот предсмертный вопль длился почти полчаса. Обливаясь потом, почти обезумев, я хотел уже броситься наверх — нервы мои не выдержали. Но тут вопль утих, и снова слышно было, как передвигали что-то тяжелое.

Два дня спустя, вечером, когда мы с Хэри сидели в маленькой кухне, неожиданно вошел Снаут. На нем был костюм, самый настоящий, такой, какие носят на Земле, в нем Снаут выглядел иначе — выше и старше. Не обращая на нас внимания, он подошел к столу, наклонился над ним и, стоя, начал есть с хлебом холодные мясные консервы прямо из банки. Снаут задевал банку рукавом, на нем оставались жирные пятна.

— Ты весь перемажешься, — предупредил я.

— М-мм? — промычал он с набитым ртом.

Снаут ел так, словно у него несколько дней ни крошки во рту не было, потом налил себе полстакана вина, выпил залпом, вытер губы и, переведя дух, посмотрел на нас воспаленными глазами. Повернувшись ко мне, Снаут проворчал:

— Бороду отпускаешь?.. Ну, ну...

Хэри гремела посудой в раковине. Снаут покачивался на каблуках, морщился, громко причмокивал, стараясь

избавиться от застрявших в зубах крошек. По-моему, он это делал нарочно.

— Бриться не хочется, да? — спросил Снаут, назойливо разглядывая меня.

Я не ответил.

— Смотри! — добавил он немного погодя. — Советую тебе. Гибарян тоже не хотел бриться.

— Иди спать, — огрызнулся я.

— И не подумай! Давай-ка потолкуем. Слушай, Кельвин, а может, он к нам хорошо относится? Может, он хочет нас осчастливить, только пока не знает как? Он читает в нашем мозгу желания, а ведь лишь два процента нервных процессов осознаются. Значит, он знает нас лучше, чем мы сами. Поэтому его нужно слушаться. Нужно соглашаться с ним. Понимаешь? Ты не хочешь? Почему, — захныкал Снаут, — почему ты не бреешься?

— Перестань, — пробормотал я, — ты пьян.

— Что? Пьян? Я? А почему бы и нет? Неужели человек, который тащился со всеми своими потрохами из одного конца Галактики в другой, чтобы узнать, чего он стоит, не может напиться? Почему? Ты веришь в особую миссию человека, а, Кельвин? Гибарян, когда еще брился, рассказывал мне про тебя... Ты точь-в-точь такой, как он говорил... Только не ходи в лабораторию, а то еще потеряешь веру... там творит Сарториус, наш Фауст наоборот: он, видишь ли, ищет средство от бессмертия. Последний рыцарь святого Контакта, только такой и мог появиться среди нас... у него уже была неплохая идея — длительная агония. Недурно, а? *Agonia perpetua**... соломка... соломенные шляпы... Как ты можешь не пить, Кельвин?

Его глаза в щелочках опухших век уперлись в Хэри, неподвижно стоявшую у стены.

— О, пенорожденная Афродита... — высокопарно начал Снаут и поперхнулся смехом.

— Почти... так... Правда, Кельвин? — едва выговорил он, кашляя.

Я по-прежнему сохранял спокойствие, но оно постепенно переходило в холодное бешенство.

— Брось! — прошипел я. — Уходи отсюда!

— Гонишь меня? Ты тоже? Бороду отпускаешь, меня гонишь? Тебе не надо ни предостережений, ни советов? А ведь я — верный товарищ по звездам. Кельвин, давай

* Вечная агония (лат.).

откроем донные люки и станем кричать ему туда, вниз, может, он услышит? Но как его зовут? Представляешь себе, мы попридумывали названия всем звездам и планетам, а может, у них уже были свои имена? Мы же узурпаторы! Слушай, пойдем туда! Станем кричать... Скажем ему, во что он нас превратил, пусть он испугается... построит нам серебряные симметриады, и помолится за нас своей математикой, и пошлет нам окровавленных ангелов, и его мука будет нашей мукой, его страх — нашим страхом, и нас станет он молить о конце. Ведь все это — и он сам, и то, что он делает, — мольба о конце! Почему ты не смеешься? Я ведь шучу. Если бы у людей было больше чувства юмора, может, до этого не дошло бы. Ты знаешь, чего хочет Сарториус? Он хочет наказать его, этот Океан, хочет заставить его кричать всеми горами сразу... Ты думаешь, у него не хватит смелости представить такой план ареопагу склеротиков, пославшему нас сюда искупать не нашу вину? Ты прав, он струсит... струсит из-за соломенной шляпы. Про нее он никому не проболтается, на это у нашего Фауста не хватит храбрости...

Я молчал. Снаута все сильнее пошатывало. Слезы текли по его лицу, капали на костюм.

— Кто это сделал? Кто это с нами сделал? Гибарян? Гизе? Эйнштейн? Платон? Они же преступники! Подумай, ведь в ракете человек может лопнуть, как мыльный пузырь, или застыть, или изжариться, или так быстро истечет кровью, что даже и крикнуть не успеет, а потом только косточки будут греметь на орбитах Ньютона с поправкой Эйнштейна. Чем тебе не погремушки прогресса! А мы — браво, вперед по славному пути! И вот пришли и сидим в этих клетушках, над этими тарелками, среди бессмертных рукомойников, с отрядом верных шкафов и преданных клозетов... Осуществились наши мечты... посмотри, Кельвин. Я болтаю спяна, но ведь должен кто-то это сказать. Должен же кто-то в конце концов... Ты, невинное дитя, сидишь здесь, на бойне, щетиной зарос... А кто виноват? Сам ответь...

Он медленно повернулся и вышел, схватившись на пороге за дверь, чтобы не упасть; из коридора доносилось эхо его шагов. Я старался не смотреть на Хэри, но неожиданно глаза наши встретились. Я хотел подойти к ней, обнять ее, погладить по голове, но не смог. Не смог.

Все дни трех последующих недель были похожи друг на друга — заслонки иллюминаторов опускались и поднимались, ночью один кошмар сменялся другим; утром мы вставали, и начиналась игра. Была ли это игра? Я притворялся спокойным, Хэри тоже; молчаливый уговор, заведомый, взаимный обман стали нашим последним прибежищем. Мы много говорили о том, как будем жить на Земле: поселимся где-нибудь около большого города и больше никогда не расстанемся с голубым небом и зелеными деревьями; вместе придумывали обстановку нашего будущего дома, обсуждали наш сад и даже спорили о деталях... — о живой изгороди, о скамейках... Верил ли я хоть секунду? Нет. Я знал, что это невозможно. Если даже Хэри покинет Станцию живой, то все равно не спустится на Землю: туда может прилететь только человек, а человек — это его документы. При первой же проверке закончилось бы наше путешествие. Они попытаются установить ее личность, разлучат нас, а *это* сразу же выдаст Хэри. Станция — единственное место, где мы можем жить вместе. Догадывалась ли Хэри? Несомненно. Сказал ли ей кто-нибудь? В свете того, что произошло, пожалуй, да.

Однажды ночью сквозь сон я услышал, что Хэри тихо встает. Я хотел обнять ее. Только молча, лишь в темноте мы могли еще чувствовать себя свободными; в отчаянии, которое окружало нас со всех сторон, это забытие было кратковременной отсрочкой пытки. Хэри, по-моему, не заметила, что я очнулся. Не успел я протянуть руку, как она уже встала с постели. В полусне я услышал шлепанье босых ног. Мне почему-то стало страшно.

— Хэри, — шепнул я. Крикнуть я не решился.

Я сел на койке. Дверь в коридор была приоткрыта. Тоненькая полоска света наискосок пересекала комнату. Послышались приглушенные голоса. Она с кем-то разговаривает? С кем?

Я вскочил с постели, но вдруг снова испугался, ноги подкосились, я прислушался — все тихо. Медленно улегся я в постель. Голова раскалывалась. Я начал считать; дошел до тысячи; дверь бесшумно открылась; Хэри проскользнула в комнату и застыла, прислушиваясь к моему дыханию. Я старался дышать ровно.

— Крис?... — шепотом позвала Хэри.

Я не откликнулся. Она быстро легла. Я чувствовал, что она боится шевельнуться, и лежал рядом без сил. Не знаю, сколько это длилось. Я попытался придумать какой-нибудь вопрос, но, чем больше проходило времени, тем яснее я сознавал, что не заговорю первым. Примерно через час я заснул.

Утро прошло как всегда. Я наблюдал за Хэри, когда она не могла этого заметить. После обеда мы сидели рядом напротив обзорного иллюминатора, за которым плыли низкие рыжие тучи. Станция скользила в них, как корабль. Хэри читала книгу, а я уставился в Океан. Теперь нередко это бывало моим единственным развлечением и отдыхом. Я обнаружил, что, если определенным образом наклонить голову, можно разглядеть в стекле наши отражения, прозрачные, но четкие. Я убрал руку с подлокотника. Хэри — я видел в стекле, — убедившись, что я засмотрелся в Океан, быстро наклонилась над подлокотником и прикоснулась губами к месту, где только что лежала моя рука. Я по-прежнему сидел неестественно прямо, Хэри склонилась над книгой.

— Хэри, — тихо сказал я, — куда ты выходила сегодня ночью?

— Ночью?

— Да.

— Что ты... тебе приснилось, Крис. Я никуда не выходила.

— Не выходила?

— Нет. Тебе приснилось.

— Наверное, — ответил я. — Да, наверное, мне приснилось...

Вечером, когда мы ложились спать, я снова начал говорить о нашем путешествии, о возвращении на Землю.

— Ах, не хочу об этом слышать, — проговорила Хэри. — Не надо, Крис. Ведь ты знаешь...

— Что?

— Да так, ничего.

Когда мы уже лежали, Хэри сказала, что ей хочется пить.

— Там на столе стоит стакан сока, принеси мне, пожалуйста.

Она отпила половину и протянула мне стакан. Мне пить не хотелось.

— За мое здоровье, — улыбнулась Хэри.

Я выпил сок, он показался мне немного солоноватым, но я не придал этому значения.

— О чем же нам говорить, если ты не хочешь говорить о Земле? — спросил я, когда Хэри погасила свет.

— Ты женился бы, если бы меня не было?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— Почему?

— Не знаю. Десять лет я прожил один и не женился. Не надо об этом, дорогая...

В голове шумело, словно я выпил бутылку вина.

— Нет, давай поговорим, давай. А если бы я тебя попросила?

— Чтобы я женился? Глупости, Хэри. Мне никто не нужен, мне нужна только ты.

Хэри склонилась надо мной. Я ощущал ее дыхание на своих губах, она так крепко обняла меня, что невероятная сонливость на мгновение прошла.

— Скажи об этом иначе.

— Я люблю тебя.

Она уткнулась головой в мое плечо, я почувствовал, как дрожат ее веки, Хэри плакала.

— Хэри, что с тобой?

— Ничего. Ничего. Ничего, — повторяла она все тише.

Я пытался открыть глаза, но они сами закрывались. Не знаю, когда я заснул.

Меня разбудил красный рассвет. Голова будто налилась свинцом, шея не гнулась, словно одеревенела. Во рту пересохло, я не мог пошевелить языком. Может, я чем-то отравился, подумал я, с трудом поднимая голову. Я протянул руку в сторону Хэри и наткнулся на остывшую простыню.

Я вскочил.

Койка пуста, в комнате — никого. Солнце красными дисками отражалось в стекле. Я встал. Выглядел я, вероятно, смешно — качался как пьяный. Хватаясь за мебель, я дотащился до шкафа: в душевой — никого. В коридоре — тоже. В лаборатории — никого.

— Хэри!!! — закричал я посреди коридора, бессмысленно размахивая руками. — Хэри... — прохрипел я еще раз, обо всем уже догадавшись.

Не помню точно, что происходило потом. Кажется, я бегал полуголый по всей Станции, припоминая, что заглядывал даже в трюм, потом в нижний склад и бил кулаками

в закрытые двери. Возможно, я был там несколько раз. Трапы гудели, я падал, поднимался, снова мчался куда-то, добрался даже до прозрачного заграждения, за которым был выход наружу — двойные бронированные двери. Я толкал их изо всех сил и умолял, чтобы это оказался сон. Кто-то был рядом, тормозил меня, тянул куда-то. Потом я очутился в малой лаборатории. На мне была мокрая холодная рубашка, волосы слиплись. Ноздри и язык обжигал спирт. Я полулежал, тяжело дыша, на чем-то металлическом, а Снаут в своих грязных полотняных брюках возился у шкафчика с лекарствами, переворачивая там что-то; инструменты и стекло ужасно гремели.

Вдруг я увидел Снаута около себя; он, наклонившись, внимательно заглядывал мне в глаза.

— Где она?

— Ее нет.

— Но... но Хэри...

— Нет больше Хэри,— медленно, четко произнес он, нагнувшись еще ниже к моему лицу, словно он ударил меня, а теперь хотел посмотреть, что из этого вышло.

— Она вернется,— прошептал я, закрывая глаза.

И впервые я больше ничего не боялся, не боялся прозрачного возвращения, не понимая, как мог его когда-то бояться.

— Выпей.

Снаут подал мне стакан с теплой жидкостью. Я пригнулся к ней и вдруг выплеснул ему в лицо. Он отступил, протирая глаза; я подскочил к нему. Он был такой маленький.

— Это ты?!

— Ты о чем?

— Не ври, сам знаешь, о чем. Ты говорил с ней прошлой ночью? И велел ей дать мне вчера снотворное, чтобы... Что ты с ней сделал? Говори!!!

Снаут поискал что-то в нагрудном кармане, вынул помятый конверт. Я вырвал его. Конверт был заклеен, не надписан. Я вскрыл его. Выпал сложенный вчетверо листок. Крупный, немного детский, неровный почерк. Я узнал его.

«Любимый, я его сама попросила. Он добрый. Ужасно, что мне пришлось обмануть тебя, иначе было нельзя. Ты можешь сделать для меня одно — слушайся его и береги себя. Ты замечательный».

Внизу стояло одно зачеркнутое слово, я сумел прочесть его: «Хэри». Она написала, потом замарала; была еще одна буква — не то Х, не то К — не разобрать. Я прочитал раз, другой. Еще раз. Я уже протрезвел, не мог ни кричать, ни стонать.

— Как? — прошептал я. — Как?

— Потом, Кельвин. Держи себя в руках!

— Я держусь. Говори! Как?

— Аннигиляция.

— Как? Ведь аппарат?.. — вырвалось у меня.

— Аппарат Роша не годился. Сарториус сделал другой, специальный дестабилизатор. Малый. Радиус действия — несколько метров.

— Что с ней?..

— Она исчезла. Вспышка и воздушная волна. Слабая волна — и все.

— Малый радиус действия, говоришь?

— Да. На больший не было материалов.

Стены вдруг стали падать на меня. Я закрыл глаза.

— Господи... она... вернется, ведь вернется...

— Нет.

— Почему?

— Не вернется, Кельвин. Ты помнишь вздымающуюся пену? После этого они не возвращаются.

— Никогда?

— Никогда.

— Ты убил ее, — тихо сказал я.

— Да. А ты бы не поступил так? На моем месте?

Я вскочил и стал метаться от стены до угла и обратно. Девять шагов. Поворот. Девять шагов.

Я остановился перед Снаутом.

— Послушай, подадим рапорт. Потребуем прямой связи с Советом. Это можно сделать. Они согласятся. Должны. Планета будет исключена из Конвенции Четырех. Все средства допустимы. Используем генератор антиматерии. Думаешь, есть хоть что-то, что может противостоять антиматерии? Нет ничего! Ничего! Ничего! — победоносно кричал я, слепой от слез.

— Ты хочешь его уничтожить? — спросил Снаут. — Зачем?

— Уходи! Оставь меня!

— Не уйду.

— Снаут!

Я смотрел ему в глаза. Он покачал головой.

— Чего ты хочешь? Чего ты от меня добиваешься? Снаут подошел к столу.

— Хорошо. Подадим рапорт.

Я отвернулся и снова заметался по комнате.

— Садись.

— Отстань от меня.

— Есть два вопроса. Первый — факты. Второй — наши желания.

— И об этом надо говорить именно сейчас!

— Да, сейчас.

— Не хочу, понимаешь? Мне на все наплевать!

— Последний раз мы послали сообщение перед смертью Гибаряна. Более двух месяцев назад. Мы обязаны подробно доложить о процессе появления...

— Ты замолчишь? — Я схватил его за руку.

— Бей меня, если хочешь, — сказал Снаут, — но я все равно не замолчу.

Я выпустил его руку.

— Делай что хочешь.

— Видишь ли, Сарториус попытается скрыть определенные факты. Я почти уверен в этом.

— А ты не станешь?

— Нет. Теперь нет. Это не только наше дело. Ты ведь понимаешь, о чем идет речь. Океан проявил способность к разумным действиям, способность к органическому синтезу наивысшего порядка, который нам неизвестен. Океан знает строение, микроструктуру, обмен веществ нашего организма...

— Хорошо, — начал я. — Почему ты замолчал? Океан провел на нас серию... серию опытов. Психическая вивисекция. Основанная на знаниях, похищенных у нас. Он не посчитался с тем, к чему мы стремимся.

— Кельвин, это уже не факты, даже не выводы. Это гипотезы. В каком-то смысле он считался с тем, чего хотела некая замкнутая, глубоко спрятанная часть нашего сознания. Это мог быть — подарок...

— Подарок! Господи!

Я засмеялся.

— Прекрати! — крикнул Снаут, хватая меня за руку.

Я стиснул его пальцы. Я стискивал их все сильнее и сильнее, пока не хрустнули суставы. Снаут спокойно, прищурившись, смотрел на меня. Я разжал руку и отошел в угол. Стоя лицом к стене, я произнес:

— Постараюсь без истерики.

— Пустяки. Что мы станем требовать?

— Говори ты. У меня нет сил. Она сказала что-нибудь перед тем, как?..

— Нет. Ничего. Я считаю, что теперь появилась возможность...

— Возможность? Какая возможность? Какая?.. А-а... — проговорил я тише, глядя ему в глаза, и вдруг все понял. — Контакт? Снова Контакт? Нам все мало? И ты, ты сам, и весь этот сумасшедший дом... Контакт? Нет, нет, нет. Без меня.

— Почему? — спросил Снаут абсолютно спокойно. — Кельвин, ты по-прежнему, а теперь еще больше, чем когда-либо, вопреки разуму принимаешь его за человека. Ты ненавидишь его.

— А ты нет?..

— Нет, Кельвин, он же слеп...

— Слеп? — повторил я, думая, что ослышался.

— Конечно, с нашей точки зрения. Он не воспринимает нас так, как мы воспринимаем друг друга. Мы видим лицо, тело и отличаем друг друга. Для него это — прозрачное стекло. Он проник в глубь нашего сознания.

— Ну хорошо. И что из этого? К чему ты ведешь? Если он сумел оживить, создать человека, который существует лишь в моей памяти, и сделал это так, что ее глаза, движения, ее голос... голос...

— Говори! Говори! Слышишь?!!

— Я говорю... говорю... Да... Итак... голос... отсюда следует, что он может читать нас, как книгу. Понимаешь, что я имею в виду?

— Да. Если бы он захотел, то мог бы с нами договориться?

— Конечно. Разве не ясно?

— Нет. Безусловно, нет. Ведь он мог взять лишь рецепт производства, который состоит не из слов. Фиксированная запись памяти имеет белковую структуру, как головка сперматозоида или яйцеклетка. Там, в мозгу, ведь нет никаких слов, чувств. Воспоминание человека — образ, записанный языком нуклеиновых кислот на макромолекулярных аperiодических кристаллах. Итак, он взял у нас то, что более всего подавлено, крепко-накрепко закрыто, глубже всего спрятано, понимаешь? Но он мог не знать, что это, какое имеет для нас значение... Видишь ли, если бы мы смогли создать симметриаду и бросили ее в Океан, зная архитектуру, технологию и строительные

материалы, но не представляя себе, зачем, для чего она служит, что она для Океана...

— Это возможно,— сказал я.— Да, возможно. В таком случае он, вероятно, вообще не хотел подавить, унижить нас. Вероятно. И только нечаянно...

Губы у меня задрожали.

— Кельвин!

— Да. Да. Хорошо. Теперь хорошо. Ты добр. Он — тоже. Все добры. Но зачем? Объясни мне! Зачем? Зачем ты это сделал? Что ты ей сказал?

— Правду.

— Правду, правду! Что именно?

— Ты же знаешь. Идем ко мне. Будем писать рапорт. Идем.

— Подожди. Чего ты, собственно, хочешь? Ты что, намереваешься остаться на Станции?

— Конечно.

ДРЕВНИЙ МИМОИД

Я сидел у огромного иллюминатора и глядел на Океан. Делать мне было нечего. Рапорт, составленный за пять дней, теперь представлял собой пучок волн, мчащийся в пустоте, где-то за созвездием Ориона. Когда пучок достигнет темной пылевой туманности, распростершейся на территории восьми триллионов кубических миль и поглощающей любой сигнал и луч света, он попадет в первый из цепи передатчиков. Оттуда от одного ретранслятора к другому, прыжками длиной в миллиард километров, он будет нестись по огромной дуге, пока последний передатчик, металлическая глыба, до отказа забитая точными приборами, с вытянутой мордочкой направляющих антенн, не соберет лучи еще раз и не направит их дальше в пространство, к Земле.

Потом пройдут месяцы, и такой же пучок энергии, направленный с Земли, протянув за собой борозду импульсных искажений в гравитационном поле Галактики, достигнет космической тучи, проскользнет, усиленный, по цепи свободно дрейфующих ретрансляторов и, сбавляя скорости, помчится к двойному солнцу Солярис.

Океан под высоким красным солнцем выглядел чернее, чем когда-либо. Рыжий туман как бы разогревал его на горизонте. День был невероятно жарким и, казалось, предвещал одну из тех чудовищных бурь, которые изредка,

несколько раз в году, бушуют на планете. Есть основания предполагать, что единственный житель планеты контролирует климат и сам вызывает бури.

Еще несколько месяцев мне предстояло смотреть на него из иллюминатора, с высоты наблюдать за непринужденностью белого золота и усталого багрянца, время от времени переливающихся в каком-то жидком извержении, в серебристом волдыре симметриады, следить за передвижением наклоненных против ветра тонких мелькальцев, встречаться с полуразвалившимися, осыпающимися мимоидами.

Когда-нибудь все экраны видеофонов заговорят, засветятся, оживет давно умолкшая электронная сигнализация, приведенная в движение импульсом, посланным издалека, с расстояния в сотни тысяч километров. Сигналы возвестят о приближении металлического исполина, который с протяжным ревом гравитаторов опустится над Океаном. Это будет или «Улисс», или «Прометей», или какой-нибудь другой громадный крейсер дальнего космического плавания. Когда я спущусь по трапу с плоской крыши Станции, то увижу на палубах ряды массивных роботов в белых панцирях. Роботы не то что люди — они безгрешны и невинны, они исполняют каждый приказ — вплоть до уничтожения себя или преграды, ставшей на пути, если такая программа заложена в кристаллах их памяти. А потом корабль мягко поднимется, полетит быстрее звука, оставляя за собой достигающий Океана грохот, разбитый на басовые октавы. От мысли о возвращении домой лица людей засияют.

Но у меня не было дома. Земля? Я думал об огромных, шумных, многолюдных городах, в которых я потеряюсь, исчезну, как мог исчезнуть, если бы не остановился и бросился в Океан, тяжело вздымающийся в темноте. Я утону в толпе. Буду неразговорчив, внимателен, и поэтому меня станут ценить в обществе, у меня появится много знакомых, даже приятелей, будут женщины, а может, только одна женщина. Какое-то время я стану заставлять себя улыбаться, кланяться, вставать, производить тысячу мелких действий, из которых складывается земная жизнь, пока не привыкну. Появятся новые увлечения, новые занятия, но ничто уже не захватит меня целиком. Никто и ничто. Возможно, ночью я буду смотреть туда, где на небе скопление космической пыли черной завесой скрывает сияние двух солнц, вспоминать все, даже то, о чем я сейчас думаю, вспоминать мои безумства и надежды со снисходи-

тельной улыбкой, в которой будет немного горечи и превосходства. В будущем я не стану хуже того Кельвина, который был готов пожертвовать всем ради дела — ради Контакта. Ни у кого не будет права меня осудить.

В комнату вошел Снаут. Он оглядел все вокруг, потом посмотрел на меня; я встал и подошел к столу.

— Ты чего-то хочешь?

— Мне кажется, тебе нечего делать? — спросил Снаут, моргая. — Я мог бы тебе предложить кое-какие расчеты, правда, не очень срочные...

— Спасибо тебе, — улыбнулся я, — но это лишнее.

— Ты уверен? — спросил он, глядя в окно.

— Да. Я тут думал о разных вещах и...

— Мне хотелось бы, чтобы ты поменьше думал.

— Ах, ты совершенно не представляешь, о чем идет речь. Скажи мне... ты... веришь в Бога?

Снаут проницательно посмотрел на меня.

— Что? Кто сейчас верит...

В его глазах светилось беспокойство.

— Это все не так просто, — начал я беспечным тоном. — Ведь меня интересует не традиционный земной Бог. Я не разбираюсь в религиях и, может, ничего нового не придумал. Ты случайно не знаешь, существовала ли когда-нибудь вера в Бога слабого, в Бога-неудачника?

— Неудачника? — удивился Снаут. — Как ты это понимаешь? В каком-то смысле Бог каждой религии был слабым, ведь его наделяли человеческими чертами, только преувеличенными. Бог Ветхого завета, например, был вспыльчивым, жаждал преклонения и жертв, завидовал другим богам... греческие боги из-за своих склок и семейных раздоров тоже были по-человечески неудачниками...

— Нет, — прервал я его, — я имею в виду Бога, несовершенство которого не связано с простодушием людей, сотворивших его, его несовершенство — основная, имманентная черта. Это Бог, ограниченный в своем всеведении, всесилии, он ошибается в предсказаниях будущего своих начинаний, ход которых зависит от обстоятельств и может устрашать. Это Бог... калека, который всегда жаждет большего, чем может, и не сразу понимает это. Бог, который изобрел часы, а не время, что они отсчитывают, изобрел системы или механизмы, служащие определенным целям, а они переросли эти цели и изменили им. Он создал бесконечность, которая должна была показать его всемогущество, а стала причиной его полного поражения.

— Когда-то манихейство... — неуверенно начал Снаут.

Странная сдержанность, с какой он обращался ко мне в последнее время, исчезла.

— Это не имеет ничего общего с добром и злом, — тут же прервал я его. — Этот Бог не существует вне материи и не может от нее избавиться, а лишь этого жаждет...

— Подобной религии я не знаю, — сказал Снаут, помолчав. — Такая никогда не была нужна. Если я правильно тебя понял, а боюсь, что понял правильно, ты думаешь о каком-то эволюционирующем Боге, который развивается во времени и растет, возносясь на все более высокий уровень могущества, дорастая до сознания своего бессилия! Этот твой Бог — существо, для которого его божественность стала безвыходным положением; поняв это, Бог впал в отчаяние. Но ведь отчаявшийся Бог — это же человек, дорогой мой! Ты имеешь в виду человека... Это не только никуда не годная философия, это даже для мистики слабовато.

— Нет, — ответил я упрямо, — я не имею в виду человека. Возможно, некоторые черты моего Бога соответствовали бы такому предварительному определению, но лишь потому, что оно далеко не полно. Нам только кажется, что человек свободен в выборе цели. Ее навязывает ему время, в которое он родился. Человек служит этим целям или восстает против них, но объект служения или бунта задан ему извне. Полная свобода поиска цели возможна, если человек окажется совсем один, но это нереально, ибо человек, который вырос не среди людей, никогда не станет человеком. Этот... мой... Бог — существо, лишенное множественного числа, понимаешь?

— Ах, — сказал Снаут, — как это я сразу...

Он показал рукой на Оксан.

— Нет, — возразил я, — и не он. Слишком рано замкнувшись в себе, он миновал в своем развитии возможность стать божеством. Он скорее отшельник, пустынный космоса, а не его Бог... Он повторяется, Снаут, а тот, о ком я думаю, никогда бы этого не сделал. А вдруг он возникает как раз теперь, где-то, в каком-то уголке Галактики, и вот-вот начнет с юношеским задором гасить одни звезды и зажигать другие. Мы заметим это спустя некоторое время...

— Мы уже это заметили, — кисло проговорил Снаут. — Новые и сверхновые... по-твоему, это свечи на его алтаре?

— Если ты собираешься так дословно понимать то, что я говорю...

— А может, именно Солярис — колыбель твоего божественного младенца, — заметил Снаут. От улыбки вокруг его глаз появились тонкие морщинки. — Может, именно он — зародыш Бога отчаявшегося, может, жизненные силы его детства пока превосходят его разум, а все то, что содержится в наших соляристических библиотеках, — просто длинный перечень его младенческих рефлексов...

— А мы какое-то время были его игрушками, — договорил я. — Да, возможно. И знаешь, что тебе удалось? Создать абсолютно новую гипотезу на тему планеты Солярис, а это нешуточное дело! Вот и объяснение, почему невозможно установить Контакт, почему нет ответа, откуда берутся некоторые — назовем их так — экстравагантности в обращении с нами. Психика маленького ребенка...

— Я отказываюсь от авторства, — буркнул Снаут, останавливаясь у иллюминатора.

Мы долго смотрели на черные волны. На восточной стороне горизонта в тумане проступало бледное продолговатое пятно.

— Откуда ты взял идею несовершенного Бога? — спросил вдруг Снаут, не отводя глаз от залитой светом пустыни.

— Не знаю. Она мне показалась глубоко верной. Это единственный Бог, в которого я мог бы поверить. Его мука — не искупление, она никого не избавляет, ничему не служит, она просто есть.

— Мимойд... — сказал совсем тихо, изменившимся голосом Снаут.

— Что ты сказал? Да, да. Я заметил его еще раньше. Совсем древний.

Мы оба вглядывались в горизонт, затянутый рыжей дымкой.

— Я полечу, — неожиданно сказал я. — Я еще ни разу не покидал Станции, а тут — такая прекрасная возможность. Я вернусь через полчаса...

— Что? — Снаут широко открыл глаза. — Ты полетишь? Куда?

— Туда. — Я показал на маячившее в тумане светлое пятно. — А что тут особенного? Я возьму маленький геликоптер. Смешно, знаешь ли, если на Земле мне придется

когда-нибудь сознаться, что я, солярист, ни разу не ступил на солярийскую почву.

Я подошел к шкафу и стал выбирать себе комбинезон. Снаут молча следил за мной, а потом сказал:

— Не нравится мне это.

— Что? — обернулся я с комбинезоном в руках. Меня охватило давно забытое возбуждение. — В чем дело? А ну, выкладывай! Ты боишься, как бы я... Чепуха! Даю тебе честное слово. Я даже не подумал об этом. Нет, честное слово, нет.

— Я полечу с тобой.

— Спасибо, но уж лучше я полечу один. Все-таки нечто новое, совершенно новое, — торопливо говорил я, натягивая комбинезон.

Снаут что-то еще твердил, но я не обращал на него внимания, разыскивая необходимые вещи.

Он пошел за мной на взлетную площадку, помог мне выкатить машину из бокса на середину пускового стола. Когда я натягивал скафандр, Снаут неожиданно спросил:

— Ты сдержишь свое слово?

— Господи, Снаут, ты опять? Сдержу. Я же тебе обещал. Где запасные баллоны?

Снаут больше ничего не говорил. Закрыв прозрачный купол, я подал ему знак рукой. Он включил подъемник, я медленно выехал на верхнюю часть Станции. Мотор проснулся, протяжно зарокотал, винт завертелся, и аппарат с удивительной легкостью поднялся вверх, оставив под собой все уменьшавшийся серебристый диск Станции.

Я впервые был один над Океаном. За иллюминатором он производил совершенно другое впечатление. Возможно, это зависело от высоты полета — я скользил всего в нескольких десятках метров от поверхности. Только теперь я не просто знал, а чувствовал, что перемежавшиеся, жирно блестящие горбы и впадины двигались не как морской прилив или туча, а как животное. Это выглядело как непрерывные, необыкновенно медленные судороги мускулистого туловища. Поворачиваясь, гребень каждой волны вспыхивал красной пеной. Когда я сделал разворот, чтобы идти точно по курсу медленно дрейфующего мимоида, солнце ударило мне прямо в глаза, кровавые отблески засверкали в выпуклых стеклах, а сам Океан стал чернильно-синим с пятнами темного огня.

Я неумело описал круг и вылетел далеко на подветренную сторону, мимойд остался сзади, его неправильные

очертания широким светлым пятном выделялись в Океане. Он уже не был розовым, он желтел, как высохшая кость, на секунду я потерял его из виду, вместо него вдали показалась Станция, висевшая прямо над Океаном, как огромный старинный дирижабль. Я повторил маневр, напрягая все свое внимание: прямо по курсу вырастал массив мимоида со своим причудливым крутым рельефом. Казалось, я вот-вот задену за самый высокий из его клубневидных выступов, я так резко набрал высоту, что вертолет, теряя скорость, закачался. Осторожность была излишней: закругленные вершины причудливых башен проплыли далеко внизу. Выровняв машину, я медленно, метр за метром, стал убирать высоту. Наконец ломкие вершины замелькали над кабиной. Мимойд был невелик. Он насчитывал не более трех четвертей мили в длину, а шириной был всего в полмили. В некоторых местах мимойд сузился: там вскоре должен был произойти разлом. Вероятно, это был осколок значительно более крупного образования. По солярийским масштабам он представлял собой лишь мелкий обломок, остаток, насчитывавший Бог знает сколько времени.

Между тонкими изогнутыми возвышениями я открыл что-то вроде берега, несколько десятков квадратных метров довольно покатой, но почти ровной поверхности, и направил туда машину. Посадка была труднее, чем я предполагал, я чуть не задел винтом за выросшую прямо на глазах стену, но все кончилось благополучно. Я тут же выключил мотор и откинул крышку купола. Стоя на крыле, я проверил, не угрожает ли вертолету опасность сползти в Океан; волны лизали зубчатый край берега в нескольких шагах от места посадки, но вертолет твердо стоял на широко расставленных полозьях. Я спрыгнул на... «землю». То, что я сначала принял за стену, которую я чуть не задел, было огромной, дырявой как решето, тонкой как пленка костной плитой, стоявшей на боку и проросшей напоминающими маленькие галереи утолщениями. Щель шириной в несколько метров делила наискось всю эту многоэтажную плоскость, раскрывая глубокую перспективу. Та же перспектива видна была сквозь большие, беспорядочно разбросанные отверстия. Я вскарабкался на ближайший выступ стены, отметив, что подошвы скафандра необыкновенно устойчивы, а сам скафандр нисколько не мешает передвигаться. Очутившись на высоте пяти этажей над Океаном, я повернулся лицом к скелетоподобному пейзажу и только теперь смог как следует рассмотреть его.

Мимойд был удивительно похож на древний полуразрушенный город, на какое-то экзотическое марокканское поселение, много веков назад пострадавшее при землетрясении или другом катаклизме. Я отчетливо видел извилистые, наполовину засыпанные и загроможденные обломками улочки, круто спускавшиеся к берегу, омываемому пенистой гущей, выше вздымались уцелевшие зубцы стен, бастионы, их округлые основания, а в выпуклостях и впадинах стен чернели отверстия наподобие разрушенных окон или крепостных бойниц. Весь этот город-остров, тяжело накренившись, как полузатопленный корабль, бессмысленно, бессознательно двигался вперед, медленно поворачиваясь, тени лениво ползали по закоулкам развалин, иногда сквозь них пробивался солнечный луч, падая на то место, где я стоял. С немалым риском я вскарабкался еще выше, с выступов над моей головой посыпался мелкий сор. Падая, он заполнил клубами пыли извилистые ущелья и улочки. Мимойд, конечно, не скала, сходство с известняком исчезает, если взять осколок в руку: он гораздо легче пемзы, у него мелкочаистое строение; поэтому он необыкновенно воздушен.

Я поднялся уже так высоко, что стал ощущать движение мимойда: он не только плыл вперед под ударами черных мускулов Океана, неизвестно откуда и неведомо куда, но еще и наклонялся то в одну, то в другую сторону, необыкновенно медленно, каждый такой крен сопровождался протяжным чмоканьем бурой и желтой пены, стекавшей с обнажавшегося бока. Это колебательное движение было придано мимойду очень давно, вероятно, при его рождении, он сохранил его благодаря своей огромной массе. Осмотрев с высоты все, что мог, я осторожно спустился вниз и только тогда, как ни странно, понял, что мимойд меня абсолютно не интересует и что я прилетел сюда, чтобы встретиться не с ним, а с Океаном.

Я сел на твердую потрескавшуюся поверхность в нескольких шагах от вертолета. Черная волна тяжело вползла на берег, расплываясь и одновременно теряя цвет. Когда она отступила, на кромке остались дрожащие нити слизи. Я подвинулся еще ближе и протянул руку к следующей волне. Тогда она верно повторила то, с чем люди впервые столкнулись почти сто лет назад: задержалась, чуть отступила, окружила мою руку, не касаясь ее, так что между рукавицей скафандра и внутренностью углубления, сразу ставшего из жидкого почти мясистым,

остался тонкий слой воздуха. Я медленно поднял руку; волна, а точнее, ее узкий отросток пошел за ней вверх, продолжая окружать мою кисть постепенно светлешшим грязновато-зеленым слоем. Я встал, чтобы еще выше поднять руку. Прожилка студенистого вещества натянулась как дрожащая струна, но не порвалась. Основание совершенно расплюснвшейся волны, как странное, терпеливо ждавшее конца эксперимента существо, прильнуло к берегу у моих ног, также не касаясь их. Было похоже, что из Океана вырос тягучий цветок, чашечка которого окружила мои пальцы, став их верным негативом, но не коснулась их. Я попятился. Стебель задрожал и неохотно вернулся вниз, эластичный, колеблющийся, неуверенный. Волна поднялась, втянув его в себя, и исчезла за кромкой берега. Я повторял эту игру до тех пор, пока опять, как сто лет назад, одна из очередных волн не отхлынула равнодушно, словно насытившись новыми впечатлениями. Я знал, что мне пришлось бы ждать несколько часов, пока вновь проснется ее «любопытство». Я сел. Так хорошо известное мне из книг явление словно переродило меня: никакая теория не могла передать реальности.

В почковании, росте, распространении этого живообразования, в его движениях — в каждом отдельно и во всех вместе — проявлялась какая-то, если можно так сказать, осторожная, но не пугливая наивность, когда оно пыталось самозабвенно, торопливо познать, охватить новую, неожиданно встретившуюся форму и на полпути вынуждено было отступить, ибо это грозило нарушением границ, установленных таинственным законом. Какой невыразимый контраст составляло его вкрадчивое любопытство с неизмеримостью, блестевшей от горизонта до горизонта. В мерном дыхании волн я впервые так полно ощущал исполинское присутствие; мощное, неумолимое молчание. Погруженный в созерцание, окаменевший, я опускался в недостижимые глубины и, теряя самого себя, сливался с жидким, слепым гигантом. Я прощал ему все, без малейшего усилия, без слов, без мыслей.

Всю последнюю неделю я вел себя так благоразумно, что недоверчиво поблескивающие глаза Снаута перестали меня в конце концов преследовать. Внешне спокойный, я чего-то безотчетно ждал. Чего? Ее возвращения? Как я мог? Каждый из нас знает, что представляет собой материальное существо, подвластное законам физиологии и физики, и что сила всех наших чувств, разом взятых, не

может противостоять этим законам, а может их только ненавидеть. Извечная вера влюбленных и поэтов во всемогущество любви, побеждающей смерть, преследующие нас веками слова «любовь сильнее смерти» — ложь. Но такая ложь не смешна, она бессмысленна. А вот быть часами, отсчитывающими течение времени, то разбираемыми, то собираемыми снова, в механизме которых, едва конструктор тронет маятник, поднимается отчаяние и любовь, знать, что ты всего лишь репетируешь мук, усиливающихся тем более, чем смешнее они становятся от их многократности? Повторять человеческое существование, но повторять его так, как пьяница повторяет избитую мелодию, бросая все новые и новые медяки в музыкальный ящик? Я ни на одну секунду не верил, что жидкий гигант, который уготовил в себе смерть сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса безуспешно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, несущий меня бессознательно, как пылинку, будет взволнован трагедией двух людей. Но его действия преследовали какую-то цель. Правда, даже в этом я не был абсолютно уверен. Но уйти — значит зачеркнуть ту, пусть ничтожную, пусть существующую лишь в воображении возможность, которую несет в себе будущее. Так что же — годы среди мебели и вещей, которых мы вместе касались, в воздухе, еще хранящем ее дыхание? Во имя чего? Во имя надежды на ее возвращение? Надежды не было. Но во мне жило ожидание — последнее, что мне осталось. Какие свершения, насмешки, муки мне еще предстояли? Я ничего не знал, но по-прежнему верил, что еще не кончилось время жестоких чудес.

Закопане

Июнь 1959 г. — июнь 1960 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД

роман



У меня не было никаких вещей, даже плаща. Сказали — не нужно. Разрешили взять с собой только черный свитер. А рубашку я отвоевал. Заявил, что буду отвыкать постепенно. Мы стояли под фюзеляжем корабля, на самом проходе, все нас задевали, Абс с заговорщической усмешкой подал мне руку.

— Только осторожно...

Я помнил об этом и легко пожал ему руку. Я был совершенно спокоен. Он хотел что-то еще сказать. Я решил его не затруднять, отвернулся как ни в чем не бывало и поднялся по ступенькам внутрь. Стюардесса провела меня между рядами кресел в переднюю часть. Отдельного купе я не захотел. Интересно, предупреждена ли она. Кресло раздвинулось бесшумно. Она поправила спинку, улыбнулась мне и ушла. Я сел. Подушки, как и всюду, мягкие, словно пух. Спинки такие высокие, что остальных пассажиров едва видно. К разноцветью женских нарядов я уже привык. Но в мужчинах все еще подозревал ряженых и втайне надеялся увидеть на ком-нибудь нормальную одежду.

Жалкие надежды. Рассаживались быстро, багажа ни у кого не было. Ни портфелей, ни свертков. И у женщин тоже. Вроде бы их было больше. Передо мной — две мулатки в попугаевых шкурках, топорщивших перышки, такая уж, видно, была птичья мода. Дальше — какая-то супружеская пара с ребенком. После ярких селенофоров

* Powrót z gwiazd, 1961.

© Г. А. Гудимова, В. М. Перельман — перевод, 1992.

на перронах и в тоннелях, после невыносимо кричащей, самосветящейся растительности на улицах, свет сводчатого потолка казался тусклым. Не зная, куда деть руки, я положил их на колени. Все уже сидели. Восемь рядов серых кресел, дуновение пихтового аромата, затихающие разговоры. Я ждал предупреждения о старте, каких-нибудь сигналов, приказа пристегнуть ремни, но ничего не последовало. По матовому потолку побежали назад нечеткие тени, похожие на бумажных голубей. Что за голуби, черт побери? — подумал я беспомощно. Может, это что-нибудь значит? Стараясь не допустить никакого промаха, я прямо одеревенел от напряжения. И так — целых четыре дня. С первой минуты. Я все время отставал от происходящего, и непрерывные попытки понять случайный разговор или ситуацию приводили меня в отчаяние. Я был убежден, что и остальные испытывают те же чувства, но мы не говорили об этом даже наедине. Просто подшучивали над своей силищей, нам и взаправду приходилось следить за собой — поначалу, собираясь встать, я подскакивал к потолку, а любая вещь, которую я брал в руки, производила впечатление сделанной из папье-маше. Но контролировать собственное тело я научился быстро. Здороваясь, осторожно пожимал руку. Это было делом простым. К сожалению, не самым важным.

Мой сосед слева, упитанный, загорелый, с чересчур блестящими глазами (может быть, из-за контактных линз), вдруг исчез: бока его кресла разрослись, поднялись вверх и сомкнулись, образовав нечто вроде яйцевидного кокона. Еще несколько человек пропало из виду в таких кабинах, напоминавших вспухшие саркофаги. Что они там делали? Но с непривычным я сталкивался на каждом шагу и старался не обращать внимания, если это меня не касалось. Те, кто разглядывал нас, как диковинку, были мне безразличны, хотя я сразу понял: они и не думали нами восхищаться. Антипатию вызывали скорее те, кто о нас беспокоился, — сотрудники Адапта. Пожалуй, самую острую — доктор Абс, ибо он относился ко мне, как врач к сумасшедшему, притворяясь (и довольно удачно), будто имеет дело с человеком вполне нормальным. Когда притворяться он уже не мог, то острил. Я был сыт по горло его непосредственностью и добродушием. Спросите любого прохожего (так, по крайней мере, считал я), и он скажет, что мы с Олафом — такие же, как он; необычны не мы, а выпавшая нам участь. Но доктор Абс, как и всякий сотрудник

Адапта, осведомлен лучше; он знает — мы действительно другие. Это совсем не преимущество, а скорей помеха: ни с кем не поговоришь, никого не поймешь, да что там — даже дверь толком не откроешь, раз дверные ручки перестали существовать не то пятьдесят, не то шестьдесят лет назад.

Старт произошел неожиданно. Сила тяжести не изменилась ни на йоту, в герметически закрытое помещение не проник ни один звук, по потолку равномерно плыли тени — может быть, многолетний навык, старый инстинкт подсказали мне, что мы уже летим.

Но меня занимало другое. Я покоился полулежа, вытянув ноги, без движения. Мне слишком легко удалось настоять на своем. Даже Освамм не противился моему решению. Контраргументы, которые я услышал от него и Абса, были неубедительны — сам я придумал бы получше. Они настаивали лишь на одном: каждый из нас должен лететь отдельно. Даже то, что я подбил Олафа (если бы не я, Олаф, несомненно, согласился бы остаться еще), не настроило их против меня. Это вызывало недоумение. Я ожидал осложнений, которые в последнюю минуту сорвут мои планы, но ничего не случилось, и вот я летел. Это последнее путешествие должно было завершиться через пятнадцать минут.

Совершенно ясно, что придуманный мною предлог для досрочного отъезда не застал их врасплох. Реакция подобного типа, вероятно, внесена в их каталог, это стереотип поведения таких молодцов, как я, он содержится в их психотехнических таблицах под соответствующим порядковым номером. Мне позволили лететь — почему? Потому что опыт подсказывал им: я не справлюсь? Но вся моя «самостоятельность» заключалась в том, чтобы перелететь с одного вокзала на другой, где меня должен был ждать кто-то из земного Адапта, а весь мой подвиг — найти этого человека в условленном месте!

Что-то случилось. До меня донеслись громкие голоса. Я высунулся из кресла. За несколько рядов от меня какая-то женщина оттолкнула стюардессу, и та, медленно, автоматически двигаясь, словно от этого — не такого уж сильного — толчка, отступала между креслами, а женщина повторяла: «Не позволю! Пусть это до меня не дотрагивается!» Лица кричавшей я не видел. Ее спутник тянул ее за руку, что-то объяснял, уговаривал. Что означала эта сцена? Остальные пассажиры не обратили на нее внима-

ния. Мной снова овладело чувство невероятной отчужденности. Я взглянул на стюардессу, которая остановилась возле меня, улыбаясь, как прежде. Это не была просто любезная улыбка, скрывающая нервозность, вызванную инцидентом. Стюардесса не притворялась спокойной, она действительно была спокойна.

— Хотите чего-нибудь выпить? Есть прум, экстран, морр, сидр.

Голос мелодичный. Я отрицательно покачал головой. Хотелось сказать ей что-то приятное, но я сумел только задать банальный вопрос:

— Когда прибудем?

— Через шесть минут. Хотите покушать? Не торопитесь. Можно задержаться после посадки.

— Спасибо, не хочется.

Она ушла. В воздухе, прямо перед моим лицом, на фоне кресла, вспыхнула будто начертанная искоркой тлеющей папирсы надпись СТРАТО. Я наклонился посмотреть, как возникла эта надпись, и вздрогнул. Кресло потянулось за моей спиной и мягко обняло ее. Я знал, что мебель откликается на каждую перемену положения, но все время забывал об этом. Не очень-то приятно — словно кто-то следит за каждым моим движением. Я хотел принять прежнее положение, но, видно, перестарался. Кресло меня не поняло и раскрылось почти как раскладушка. Я вскочил. Что за идиотизм! Надо держать себя в руках. В конце концов я сел. Буквы розового СТРАТО задрожали и перетекли в другие: ТЕРМИНАЛ. Никакого толчка, предупреждения, свиста. Ничего. Раздался далекий звук, напоминавший рожок почтальона, четыре овальных люка в конце проходов между сиденьями раскрылись, снаружи ворвался глухой, всеобъемлющий шум, похожий на морской. Голоса встававших со своих мест пассажиров утонули в нем. Я продолжал сидеть, а пассажиры выходили, их фигуры мелькали вереницей на фоне горевших снаружи огней, отливая зеленым, лиловым, пурпурным, — бал-маскарад, да и только. Но вот все вышли. Я встал. Машинально поправил свитер. Я неловко себя чувствовал с пустыми руками. Из открытого люка тянуло холодком. Я обернулся. Стюардесса стояла у переборки. На ее лице блуждала все та же спокойная улыбка, обращенная к рядам пустых кресел, которые теперь начали медленно сворачиваться, складываться, словно чудовищные цветы, одни быстрее, другие чуть медленнее — единственное движение в заполняющем

все, льющемся в овальные отверстия непрерывном шуме, напоминающем открытое море. «Не хочу, чтобы это до меня дотрагивалось!» Я вдруг разглядел в ее улыбке что-то нелепое. У выхода я сказал:

— До свиданья...

— К вашим услугам.

Я не сразу осознал, как странно прозвучали эти слова из уст молодой миловидной женщины, потому что они донеслись до меня, когда, уже отвернувшись от нее, я выглянул из люка. Я собирался поставить ногу на ступень, но ее не было. Между металлическим корпусом и краем перрона зияла метровая щель. Теряя равновесие при виде столь неожиданной ловушки, я неуклюже прыгнул и, уже в воздухе, почувствовал, как невидимая сила словно подхватила меня снизу и, плавно пронеся над пустотой, мягко поставила на упругую белую поверхность. Вероятно, у меня был довольно глупый вид — я перехватил несколько смеющихся взглядов, так мне, по крайней мере, показалось, круто повернулся и пошел вдоль перрона. Снаряд, которым я прибыл, покоился в глубокой выемке, отделенный от края перронов ничем не огороженной пустотой. Как бы нечаянно я приблизился к ней и вновь ощутил невидимую упругость, которая не дала мне шагнуть за белый предел. Мне хотелось найти источник этой необычной силы, но вдруг я будто очнулся: я — на Земле.

Волна идущих захлестнула меня: меня толкали, зажатый в толпе, я двинулся вперед. Прошло некоторое время, прежде чем я заметил, как огромен этот зал. Впрочем, были это один зал? Никаких стен: белый, поблескивающий, остановленный в высоте взрыв невероятных крыльев, между ними колонны, построенные не из какого-либо материала, а из головокружительного движения. Гигантские фонтаны, просвечиваемые изнутри цветными прожекторами? Нет. Стекланные вертикальные тоннели, по которым мелькали вверх вереницы расплывчатых теней? Я уже ничего не понимал. Меня совсем затолкали в торопливом муравейнике толпы, я пытался найти укромный уголок, но таких здесь не было. Я видел, что опустевший снаряд отделяется, — нет, это мы плыли вперед вместе со всем перроном. В высоте вспыхивали огни, в их свете толпа искрилась и переливалась. Теперь плоскость, на которой мы столпились, начала подниматься, и я увидел уже далеко внизу двойные белые полосы, заполненные людьми, с зияющими чернотой щелями вдоль обессилевших туш —

ибо кораблей, подобных нашему, были десятки — движущийся перрон поворачивал, ускоряя свой бег, взбирался на верхние ярусы. Хлопая на ветру, взлохмачивая поднятым вихрем волосы стоявших, по ярусам, как по невероятным — без всякой опоры — виадукам, пролетали обтекаемые, вибрирующие от высокой скорости, с расплывающимися в яркие полосы сигнальными огнями тени; потом несшая нас поверхность стала делиться, расходиться по невидимым швам, моя полоса двигалась сквозь помещения, полные стоявших и сидевших людей, вокруг них вспыхивали мириады искр, словно люди пускали цветные бенгальские огни.

Я не знал, куда смотреть. Передо мной стоял мужчина в чем-то пушистом, как мех, мерцавшем на свету металлическим блеском. Под руку он держал женщину в багрянице с узором «павлиний глаз», эти «глаза» мигали. То был не обман зрения, «глаза» на ее одеянии действительно открывались и закрывались. Тротуар, на котором я стоял за этой парой, среди десятка других людей, еще прибавил скорость. Между бело-дымчатыми стекловидными плоскостями открывались цветные, освещенные проходы с прозрачными сводами, по которым неумоимо шагали сотни ног на следующем верхнем ярусе; всеобъемлющий шум тысячи голосов и звуков, для меня непонятных, а для них что-то означавших, то разливался, то входил в берега очередного тоннеля. В глубине, на дальнем плане, пространство пронзали беспрестанно проносившиеся полосы неизвестных мне средств сообщения — может быть, летающих, ибо иногда они двигались наискось вверх или вниз, ввинчиваясь штопором в пространство, так что я невольно ожидал чудовищного столкновения, не видя никаких направляющих или рельсов на этой, как я полагал, дороге. Когда смутные, разогнавшиеся вихри прерывались хоть на миг, становились видны величественно скользящие огромные платформы, полные людей, что-то вроде летучих пристаней, направленные в разные стороны, проплывавшие друг мимо друга, поднимающиеся и, казалось, проникающие одна в другую (такова была иллюзия перспективы). Трудно было задержать взгляд на чем-нибудь неподвижном, ибо вся окружающая архитектоника, казалось, слагалась именно из движения, изменения, и даже то, что я принял за крыловидный свод, было лишь висячими этажами, теперь уступившими место иным, еще более высоким. Вдруг тяжелый пурпурный отблеск, профильтро-

ванный сквозь стекловидный материал сводов и загадочных колонн, отраженный от серебряных плоскостей, озарил все закоулки и проходы, мимо которых мы скользили, все человеческие лица. Казалось, где-то далеко, в самом сердце многомильного сооружения, запылал атомный костер. Зелень непрерывно скачущих неоновых огней потускнела, млечность параболических контрфорсов начала розоветь. Воздух порыжел столь внезапно, что я воспринял это как предвестие катастрофы, но никто не обратил на такую перемену ни малейшего внимания. Не помню, когда все это кончилось.

Когда у краев нашего тротуара появлялись вращающиеся зеленые круги, похожие на висащие в воздухе неоновые обручи, часть людей сходила на придвинувшееся ответвление другого тротуара или пандуса; я заметил, что светящиеся зеленые линии можно было пересекать беспрепятственно — они были неосязаемы.

Какое-то время я безвольно давал белому тротуару уносить себя, пока мне не пришло в голову, что, возможно, я уже за пределами вокзала, а невероятный пейзаж стекловидных изгибов, все время словно рвущийся в полет, и есть город, а тот, который я когда-то покинул, существует теперь лишь в моей памяти.

— Простите, — тронул я за руку мужчину в пушистой одежде, — где мы находимся?

И он, и его спутница посмотрели на меня с изумлением. У меня была слабая надежда, что только из-за моего роста.

— На полидуке, — сказал мужчина. — Какой у вас контакт?

Я ничего не понял.

— Мы... еще на вокзале?

— Конечно, — ответил он, чуть помедлив.

— А... где Внутренний Круг?

— Вы его уже проехали. Вам придется продублировать.

— Удобнее будет раст из Мерида, — вставила женщина. Все «глаза» на ее одеянии, казалось, вглядывались в меня изумленно и недоверчиво.

— Раст?.. — беспомощно переспросил я.

— Вон там, — показала она видневшееся сквозь подплывающий зеленый круг пустое возвышение с черно-серебристыми, полосатыми боками — точь-в-точь остов странно раскрашенного, лежащего на боку судна. Я поблагодарил и сошел с тротуара, но, видимо, не совсем удачно, и у меня подкосились ноги. Равновесие я удержал, но меня

закружило так, что я не знал, в какую сторону идти. Пока я размышлял, что делать, место моей пересадки значительно удалилось от этого черно-серебристого возвышения, которое показала мне женщина, и я уже не мог его найти. Поскольку большинство стоящих возле меня переходило на наклонную плоскость, скользившую вверх, я сделал то же самое. Уже на этой плоскости я заметил огромную, неподвижно горящую в воздухе надпись ДУК ЦЕНТР — остальные буквы с обеих сторон не попадали в поле зрения из-за своей необъятной величины. Меня бесшумно внесло на перрон длиной с километр, от которого как раз оторвался веретенообразный корабль — при подъеме стало видно его продырявленное сигнальными огнями днище. А может, именно эта китообразная туша и была перроном, а я очутился на «расте» — некого было даже спросить, вокруг пустота. Наверное, я не туда попал. Часть моего «перрона» была застроена плоскими помещениями без передних стен. Приблизившись, я заметил что-то вроде слабо освещенных, низких боксов, в которых рядами покоились черные машины. Я принял их за автомобили. Но когда две ближайшие выскользнули и прежде, чем я успел попятиться, промчались мимо меня, сразу взяв большую скорость, я увидел, раньше чем они скрылись в перспективе параболических откосов, что у них нет ни колес, ни окошек, ни дверцы; обтекаемая форма делала их похожими на огромные черные капли. «Автомобили — не автомобили, — подумал я, — но во всяком случае здесь, пожалуй, какая-то стоянка. Может, тех самых «растов»?» Я счел, что лучше всего подождать, пока кто-нибудь придет, и поехать с ним или по крайней мере хоть что-нибудь узнать. Однако мой перрон, легко паривший в воздухе, словно крыло немислимого самолета, по-прежнему был пуст, лишь черные машины выскальзывали поодиночке или сразу по нескольку из своих металлических нор и мчались всегда в одну и ту же сторону. Я направился к самому краю перрона, но тут вновь напомнила о себе невидимая, упругая сила, обеспечивающая безопасность. Перрон действительно висел в воздухе, ни на что не опираясь. Подняв голову, я увидел много ему подобных, так же, как он, паривших в воздухе неподвижно, с погашенными прожекторами; на других прожекторы горели, туда причаливали корабли. Однако это были не ракеты и даже не такие снаряды, как тот, который привез меня с Луны.

Я стоял долго и вдруг заметил на фоне каких-то следующих залов — я не знал, впрочем, зеркальное ли это отражение моего зала или настоящие помещения — размеренно движущиеся в воздухе огненные буквы: СОАМО, СОАМО, СОАМО, перерыв, голубая вспышка и НЕОНАКС, НЕОНАКС, НЕОНАКС, возможно, названия станций, а может, реклама продуктов. Эти слова мне ничего не говорили.

Давно пора уже отыскать этого типа, подумал я, повернулся кругом и, найдя движущийся в обратном направлении тротуар, спустился на нем вниз. Оказалось, что это не тот ярус и даже не тот зал, из которого я поднялся: здесь не было тех огромных колонн. А может, колонны сами убрались куда-нибудь...

Я очутился среди целого леса фонтанов; дальше я наткнулся на бело-розовый зал, в нем было полным-полно женщин. Проходя, я безо всякой цели протянул руку к подсвеченной струе фонтана, может быть, потому, что приятно было найти нечто хоть чуть-чуть знакомое. Однако я ничего не почувствовал, воды в фонтане не было. В следующий миг мне почудился цветочный запах. Я поднес руку к носу. Она благоухала, как целый склад туалетного мыла. Я невольно стал обтирать ее о брюки. Тут я и очутился перед залом, где находились только одни женщины. На холл перед туалетами не похоже, но ручаться в конце концов нельзя. Предпочитая не пускаться в расспросы, я повернул назад. Молодой человек в отливавшем ртутью одеянии с буфами на плечах разговаривал со светловолосой девушкой, прислонившейся к чаше фонтана. Девушка, в светлом платье, совсем обыкновенном, что придавало мне бодрости, держала букет бледно-розовых цветов и, пряча в них лицо, глазами улыбалась собеседнику. В последний момент, когда я уже остановился возле них и открыл рот, я увидел, что она ест цветы, — и у меня язык прилип к гортани. Она спокойно жевала нежные лепестки. Подняла на меня глаза. И не могла их отвести. Но к таким вещам я уже привык. Я спросил, где Внутренний Круг.

Парень, как мне показалось, был неприятно удивлен или даже рассержен, что кто-то посмел помешать этому тет-а-тет. Видимо, я поступил бестактно. Сначала он посмотрел вверх, потом опустил глаза, словно ожидал увидеть у меня какие-то ходули. И даже не отозвался.

— Вон там, — воскликнула девушка, — раст до ВК, ваш раст, вы успеете, скорей!

Я бросился бежать в указанную сторону, не зная, куда бегу,— я ведь по-прежнему не имел понятия, как выглядит этот раст, будь он неладен. Пробежав шагов десять, я увидел серебристую воронку, опускавшуюся с высоты, служившей основанием одной из огромных колонн, так удививших меня перед этим,— может, это были летающие колонны? — люди спешили туда с разных сторон, неожиданно я с кем-то столкнулся. Я даже не покачнулся и только остановился, как вкопанный, а тот, низкорослый человек в оранжевом одеянии, упал, и с ним произошло нечто невероятное: его меха увяли на глазах, сморщились, как проколотый воздушный шар! Остолбенев, я даже не смог пробормотать извинения. Он встал, посмотрел на меня исподлобья и ушел размашистыми шагами, возясь с чем-то на груди,— а его одеяние расцвело снова...

На месте, указанном девушкой, уже никого не было. После этого приключения я окончательно отказался разыскивать расты, Внутренний Круг, дуки, контакты и решил выбраться из здания вокзала. Мне уже не хотелось спрашивать прохожих, поэтому я поехал наугад, как показывала голубая стрела,— наискосок и вверх, без особых ощущений проникнув сквозь две светившиеся в воздухе надписи: МЕСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ. Я попал на довольно многолюдный эскалатор. Следующий ярус был выдержан в тонах потускневшей бронзы, испещренной золотистыми прожилками. Плавные переходы перекрытий в вогнутые стены. Коридоры без потолков, словно погруженные в светящийся пух. Я как будто приближался к каким-то жилым пространствам, напоминавшим гигантские гостиничные холлы: оконца, никелевые трубы вдоль стен, ниши с какими-то служащими, может, это были разменные конторы, а может, почта; я шел дальше. Я был уже почти уверен, что таким путем к выходу не попаду и что нахожусь (я оценил это по длительности езды вверх) в высотной части вокзала, но придерживался того же направления. Неожиданная пустота, малиновые, с искрящимися звездочками, плиты облицовки, ряд дверей. Ближайшая дверь была открыта. Я заглянул внутрь. Какой-то большой, плечистый человек в тот же миг выглянул навстречу мне. Я сам в зеркале во всю стену. Я открыл дверь пошире. Фарфор, серебряные трубы, никель. Туалеты.

Мне стало немножко смешно, но, в общем-то, я уже плохо соображал. Я быстро повернул назад — другой коридор, белые как молоко полосы, плывущие вниз.

Поручни эскалатора были мягкие, теплые, я не считал уходящих этажей, людей становилось все больше, они задерживались у эмалированных ящиков, на каждом шагу выступавших из стены, одно прикосновение пальца, что-то падало в руку, они клали это в карман и шли дальше. Сам не знаю, почему я поступил точно так же, как человек в свободном фиолетовом одеянии впереди меня; клавиша с маленьким углублением для кончика пальца, нажим, прямо на мою подставленную ладонь упала цветная, полупрозрачная трубочка, словно бы подогретая. Я потряс ее, поднес к глазам — может, таблетки? Нет. Пробка? Пробки не было, не было и никакой крышки. Для чего это? Что делали другие? Клали в карман. Надпись на автомате: ЛАРГАН. Я стоял, меня толкали. И вдруг я сам себе показался обезьяной, которой дали вечное перо или зажигалку; на долю секунды меня охватило слепое бешенство; я стиснул зубы, сощурился и, чуть сутулясь, включился в поток идущих. Коридор расширялся, был уже залом. Огненные буквы: РЕАЛЬ АММО РЕАЛЬ АММО.

Сквозь реку спешивших, над их головами, я издали заметил окно. Первое окно. Панорамическое, огромное.

Словно все звездные небосводы брошены на плоскость. До разгоревшейся мглы на горизонте — разноцветные галактики площадей, созвездия спиральных огней, зарева, мерцающие над небоскребами, улицы; ползанье, перистальтическое движение огоньков-бусинок, а надо всем этим, вертикально, кипение неона, султаны и молнии, колеса, самолеты, бутылки из огня, красные одуванчики сигнальных фонарей на шпильях, вспыхивающие на секунду солнечные диски и автоматически взрывающиеся кровотечения реклам. Я стоял и смотрел, слыша за своей спиной равномерное шуршание сотен подошв. Вдруг город исчез и появилось гигантское, трехметровое лицо.

— Мы передавали подборку хроники семидесятих годов из цикла «Видения старых столиц». Сейчас трансляция переключается на учебный центр космолитов...

Я чуть не бросился бежать. Это вовсе не окно. Телевизор какой-то. Прибавив шагу, я почувствовал, что меня даже в пот бросило.

Вниз. Скорее. Золотые квадраты светильников. Толпы, пена на стаканах, почти черная жидкость, но не пиво — отлив ядовито-зеленый, и молодежь, парни и девушки в обнимку, группами по шесть — восемь человек, загораживая всю ширину прохода, шли на меня, расступались

передо мной. Меня тряхнуло. Сам того не замечая, я ступил на движущийся тротуар. Совсем близко мелькнули изумленные глаза — прелестная темнокожая девушка в чем-то блестящем, как металл. Ткань плотно обтягивала ее, девушка казалась обнаженной. Белые, желтые лица, несколько высоких чернокожих, но я по-прежнему был выше всех. Передо мной расступались. Наверху, за выпуклыми стеклами, мчались расплывчатые тени, играли невидимые оркестры, и здесь происходил необыкновенный променад, в темных проходах — плохо различимые фигуры женщин; пух на их плечах светился, открытые шеи сияли, как странные белые стебли, волосы были покрыты светящейся пудрой. Узкий проход ввел меня в анфиладу гротескных — передвижных, скорее даже двигавшихся самостоятельно — статуй; нечто вроде широкой, приподнятой по краям улицы гремело от смеха, здесь веселились. Что их так всселило — эти статуи?

Огромные фигуры в конусах рефлекторов; от них лился свет — рубиновый, медовый, густой, как сироп, необычайно насыщенного цвета. Я шел машинально, шуря глаза, растворяясь в окружающем. Круто идущий вверх зеленый пассаж, гротескные павильоны, пагоды, в которые входили по мостикам, полно маленьких ресторанчиков, запах жареного, острый, навязчивый, ряды газовых горелок за стеклами, звон стекла, повторяющиеся непонятные металлические звуки. Толпа, которая внесла меня сюда, столкнулась с другой, потом стало свободнее, все садились в открытый со всех сторон вагон, нет, не открытый, а прозрачный, будто отлитый из стекла, даже сиденья словно стеклянные, хоть мягкие. Я и оглянуться не успел, как очутился внутри, — мы ехали. Вагон мчался, люди перекрикивали репродуктор, повторяющий: «Ярус Меридионал, ярус Меридионал, контакты на Спиро, Блекк, Фросом». Весь вагон как бы таял, пронзаемый снопами света, стены пролетали полосами пламени и красок, параболические арки, белые перроны, «Фортеран, Фортеран, контакты Галее, контакты внешних растов, Макра», — бормотал репродуктор, вагон останавливался и мчался дальше; я обнаружил удивительную вещь: торможение и ускорение не ощущались, словно была отменена инерция. Как это достигалось? Я проверил, чуть подгибая колени, на трех остановках подряд. На виражах тоже ничего. Люди выходили, входили, на передней площадке стояла женщина с собакой; таких собак я никогда не видел: она была огромная, с

шарообразной головой, очень некрасивая, в ее ореховых спокойных глазах отражались мчавшиеся в обратную сторону, уменьшенные гирлянды огней. РАМБРЕНТ РАМБРЕНТ. Заполоскались в воздухе белые и голубоватые газосветные трубки, ступени из кристаллического блеска, черные фронтоны; блеск медленно каменел, вагон стоял. Я вышел и остолебенел. Над напоминающей амфитеатр площадкой остановки возвышалась многоярусная, знакомая конструкция; я все еще был на вокзале, в другом месте того же гигантского зала, раздутого белыми размахами плоскостей. Я направился к краю этой геометрически правильной раковины — вагон уже ушел — и снова ошибка: я не был внизу, как мне показалось, а находился как раз высоко, этажей на сорок выше ленточек, видневшихся в бездне тротуаров, серебряных палуб мерно парящих перронов, между ними появлялись длинные, беззвучные туши, люди выбирались из них через ряды люков, словно эти чудовища, эти хромированные рыбы откладывали с равномерными интервалами кучки черной и цветной икры. Надо всем этим, вдали, сквозь легкий туман расстояния, я видел движущиеся по невидимому канату слова:

ГЛЕНИАНА РУН ВОЗВРАЩАЕТСЯ СЕГОДНЯ В ЗАПИСИ МИМОРФИЧЕСКОГО РЕАЛЯ, ВОЗДАЕТ В ОРАТОРИИ ДОЛГ ПАМЯТИ РАППЕРА КЕРКСА ПОЛИТРЫ. ТЕРМИНАЛ ЕЖЕДНЕВНИК СООБЩАЕТ: СЕГОДНЯ В АММОНЛИ ПТИФАРГ ВПЕРВЫЕ СИСТОЛИЗИРОВАЛ ОНЗОМ. ГОЛОС ЗНАМЕНИТОГО ГРАВИСТИКА МЫ ПЕРЕДАДИМ В ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЧАСОВ. ПЕРЕВЕС АРРАКЕРА. АРРАКЕР ПОВТОРИЛ СВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ОБЛИТЕРИСТА НА ТРАНСВААЛЬСКОМ СТАДИОНЕ.

Я отошел. Итак, даже счет времени изменился. Попадая под свет огромных букв, мчавшихся подобно рядам пылающих канатоходцев над морем голов, металлические ткани женских платьев мигали неожиданными огоньками. Я шел машинально, а что-то во мне повторяло без устали: «Даже время изменилось». Это окончательно добило меня. Я ничего не замечал. Хотелось лишь одного: выйти отсюда, выбраться из этого проклятого вокзала, оказаться под открытым небом, на воздухе, увидеть звезды, ощутить ветер.

Меня привлекла аллея продолговатых светильников; в просвечивающем камне сводов что-то писало (буквы

вычерчивал заключенный в алебастр резкий язычок пламени): ТЕЛЕТРАНС — ТЕЛЕПОРТ — ТЕЛЕТОН; сквозь остроконечную арку дверей (арка была немыслимая, сдвинутая с опоры, некий негатив носа ракеты) я попал в зал, охваченный заледеневшим золотым пожаром. В нишах — сотни кабин, люди вбегали в них, выбегали впопыхах, бросали на пол порванные полоски, не телеграфные ленты, а что-то другое, с вытисненными бугорками, другие шли по этим обрывкам. Я хотел выйти, но по ошибке вошел в темное нутро кабинки, прежде чем я успел отступить, что-то зажужжало, вспышка словно бы фотоблица, и из щели, окаймленной металлом, как из почтового ящика, выскользнул сложенный пополам листок блестящей бумаги. Я взял его, раскрыл, оттуда высунулась человеческая голова: искривленный полуоткрытый, узкогубый рот, прищуренные глаза, разглядывающие меня, — это был я сам! Я сложил бумажку пополам, и художественное привидение исчезло. Я медленно раздвинул края — ничего; чуть пошире — появилось снова, словно выскочило из ниоткуда: отделенная от туловища, реющая над листком голова, физиономия не слишком умная. Посмотрев в лицо самому себе — что это, объемная фотография? — я сунул листок в карман и вышел. Золотое пекло, казалось, опадает на головы толпы, потолок — из огненной магмы, нереальной, но дышащей настоящим пожаром, и никто не смотрел на него, страшно занятые люди бегали от одной кабинки к другой, зеленые буквы скакали в глубине, колонки цифр ползли сверху вниз на узких экранах, еще кабинки, вместо дверей — шторы, молниеносно взрывающиеся при чьем-либо приближении; наконец я нашел выход.

Коридор, изогнутый, с наклонным полом, как иногда в театре, из стен расцветали стилизованные морские раковины, наверху мчались слова ИНФОР ИНФОР ИНФОР, без конца.

В первый раз я увидел Инфор на Луне и принял его за искусственный цветок.

Я склонился к бледно-зеленой чаше, которая тут же, прежде чем я успел открыть рот, застыла в ожидании.

— Как мне выйти? — довольно бестолково спросил я.

— Куда? — тут же откликнулся теплый алыч.

— В город.

— В какой район?

— Все равно.

— На какой уровень?

— Все равно, я хочу уйти с вокзала.

— Меридионал, расты: сто шесть, сто семнадцать, ноль восемь, ноль два. Тридук, уровень АФ, АГ, АЦ, окружной уровень митов, двенадцать и шестнадцать, уровень надир ведет в любом южном направлении. Центральный уровень — глайдеров, красный местный, белый дальний, А, Б и В. Уровень ульдеров, прямого сообщения, все эскалы третьего вверх... — напевно декламировал женский голос.

Мне хотелось вырвать из стены микрофон, так заботливо тянувшийся к моему лицу. Я отошел. «Идиот! Идиот!» — перемалывалось во мне в такт шагам. ЭКЗ ЭКЗ ЭКЗ ЭКЗ, — повторяла скользившая над головой надпись, окаймленная лимонного цвета туманом. Может быть, это экзит? Выход?

Огромная надпись. ЭКЗОТАЛ. Я попал в такой мощный поток теплого воздуха, что у меня захлопали штанины. И очутился под открытым небом. Но темнота ночи отхлынула вдаль, отброшенная роем огней. Огромный ресторан: столики, поверхность которых светилась разным цветом, над ними лица, непривычно освещенные снизу, иссеченные глубокими тенями. Низкие кресла, черная жидкость с зеленой пеной в стаканах, цветные фонарики, с которых сыпались искорки, нет, пожалуй, светлячки, что-то вроде облака пылающих ночных бабочек. Хаос огней затмевал звезды. Подняв голову, я увидел лишь черную пустоту. Но, как ни странно, в тот момент ее слепое присутствие подбодрило меня. Я стоял и смотрел. Кто-то легко задел меня, проходя, повеяло ароматом духов, резким и нежным одновременно, прошла пара, девушка обернулась к мужчине, ее плечи и грудь утопали в пушистом облаке, он крепко держал ее в объятиях, они танцевали. «Еще танцуют, — подумал я. — И это хорошо». Пара сделала несколько шагов, бледный ртутный круг подхватил ее вместе с другими парами, их темно-красные тени двигались под его огромной плитой, вращавшейся медленно, как грампластинка; плита ни на что не опиралась, у нее не было даже оси, она вращалась в воздухе под звуки музыки. Я пошел между столиками. Мягкий пластик, по которому я ступал, кончился, он примыкал к шероховатой скале. Сквозь световой занавес я вошел внутрь и очутился в каменном гроте. Он выглядел как десяток или даже полсотни готических нефов, воздвигнутых из сталактитов, жидовидные натеки жемчужно поблескивающих минералов

окаймляли входы в пещеры, в пещерах сидели люди, опустив ноги в пустоту, у их коленей горели дрожащие огоньки пламени, а внизу расстилалось незамутненно черное зеркало подземного озера, отражая уходящие в него скалы. Там, на сколоченных кое-как плотиках, тоже отдыхали люди, лица у всех были обращены в одну сторону. Спустившись к самой воде, я увидел на другой стороне, на песке, танцовщицу. Она показалась мне обнаженной, но белизна ее тела выглядела неестественной. Мелкими неуверенными шажками она сбегала к воде и, отразившись в ней, вдруг развела руки, склонила голову — финал, но никто не аплодировал, танцовщица замерла на несколько секунд, потом медленно пошла по берегу, обходя по его неровной линии озеро. Она была шагах в тридцати от меня, когда с ней что-то случилось. Какой-то миг мне было видно ее улыбающееся, утомленное лицо, вдруг что-то его заслонило, ее фигура задрожала и исчезла.

— Не желаете ли жемчужины? — раздался любезный голос позади меня. Я обернулся — никого, лишь обтекаемой формы столик, шагающий на смешно подогнутых ножках; он двигался, рюмки с пенящимся напитком, расставленные рядами на подносах, подрагивали — одна механическая рука любезно подавала мне напиток, другая уже брала тарелочку с отверстием для пальца, похожую на маленькую вогнутую палитру — это был автомат, я видел тлеющий за окошечком жар его транзисторного сердца.

Уклонившись от столь верноподданно тянувшихся ко мне паучьих лапок, нагруженных лакомствами, которыми я пренебрег, я быстро вышел из грота, стиснув зубы, словно меня чем-то оскорбили. Огибая столики, я пересек всю террасу, украшенную гирляндами цветных фонариков; на меня сыпалась невесомая пыль распадающихся, догорающих светлячков, черных и золотых. У самого края выложенного камнем, старым, словно затуманившимся от желтоватого лишайника, меня наконец овеял настоящий ветер, чистый и холодный. Рядом оказался свободный столик. Я сел неловко, спиной к людям, глядя в ночь. Внизу раскинулась темнота, бесформенная и неожиданная, только в самой дали, на ее границах тлели тоненькие, колеблющиеся лучики, такие неуверенные, словно не электрические, еще дальше к небу поднимались холодными тонкими клинками световые полосы, я не знал, дома ли это или столбы, их можно было принять и за лучи прожекторов,

если бы не еле заметная сеточка,— так мог бы выглядеть вбитый основанием в землю стеклянный цилиндр, достигающий до облаков, заполненный попеременно вогнутыми и выпуклыми линзами. Видимо, они были невероятно высокими, вокруг них мерцали огоньки; их окаймляло то оранжевое, то почти белое свечение. Вот и все, вот так и выглядел город; я пытался различить улицы, догадаться, где они, но внизу расстилалось во все стороны темное, словно бы мертвое пространство, не освещенное ни малейшей искоркой.

— Друж? — услышал я, пожалуй, уже не раз повторенное; сначала я подумал, что обращаются не ко мне. Не успел я повернуться, как кресло сделало это за меня. Передо мной стояла девушка лет двадцати, в голубом одеянии, которое облегалo ее так плотно, словно присохло к коже, плечи и грудь терялись в темно-синем пуху, который книзу становился все прозрачнее. Ее подтянутый, красивый живот был подобен изваянию из ожившего металла. В ушах у нее светилось что-то, целиком заслонявшее ушную раковину, маленькие, неуверенно улыбавшиеся губы — подкрашены, ноздри внутри тоже красные,— я заметил, что так красится большинство женщин. Она взялась обеими руками за спинку кресла, что стояло напротив меня, и спросила:

— Как у тебя дела, друж?

Девушка села.

У меня было впечатление, что она под хмельком.

— Скучно здесь,— продолжала она немного погодя.— Нет? Возьмемся куда-нибудь, друж?

— Я не друж...— начал я. Девушка облокотилась о столик и водила ладонью над налитой до половины рюмкой, конец золотой цепочки, обернутой вокруг пальцев, опустился в жидкость. При этом она наклонялась все больше. Я ощутил ее дыхание. Если она и была под хмельком, то не от алкоголя.

— Как это? — спросила она.— Ты — друж. Иначе быть не может. Каждый — друж. Хочешь? Возьмемся?

Знать бы, по крайней мере, что это значит.

— Хорошо,— согласился я.

Она встала. Встал и я со своего ужасно низкого кресла.

— Как ты это делаешь? — спросила она.

— Что?

Девушка посмотрела на мои ноги.

— Я думала, ты встал на цыпочки.

Я молча усмехнулся. Она подошла ко мне, взяла меня под руку и опять удивилась.

— Что у тебя там?

— Где? Здесь? Ничего.

— Поёшь,— сказала она и легонько потянула меня. Мы пошли между столиками, а я раздумывал, что может означать «поёшь»: может, «врешь»?

Девушка подвела меня к темно-зеленой стене, туда, где светился знак, немного похожий на скрипичный ключ. Когда мы оказались около стены, она раздвинулась. Я почувствовал дуновение горячего воздуха.

Узкий серебристый эскалатор скользил вниз. Мы стояли рядом. Девушка не доставала мне до плеча. У нее была кошачья головка, иссиня-черные волосы, может быть, слишком острый профиль, но она была хорошенькая. Вот только пурпурные ноздри... Она крепко держала меня тонкой рукой, зеленые ногти впивались в толстый свитер. Я невольно улыбнулся уголками губ, вспомнив, где довелось побывать свитеру и как мало общего у него с женскими пальцами. Под круглым сводом, дышавшим огнями — от розового к карминовому, от карминового к розовому,— мы вышли на улицу. Вернее, я подумал, что мы на улице, но темнота над нами то и дело рассеивалась, словно от внезапных рассветов. Мимо нас скользили вдали длинные низкие силуэты, вроде бы автомобили, но я уже знал, что автомобилей нет. Видимо, что-то другое. Если бы я был один, я пошел бы по этой широкой магистрали, потому что вдали сияли буквы К ЦЕНТРУ, но они вполне могли и не означать центр города. Впрочем, я позволил себя вести. Как бы ни кончилось это приключение, я нашел проводника и подумал — теперь уже без гнева — о том несчастном, который сейчас, спустя три часа после моего прибытия, наверняка ищет меня с помощью всех Инфоров этого вокзала-города.

Мы миновали несколько пустеющих ресторанчиков, витрины, в которых группы манекенов разыгрывали одну и ту же сценку, я охотно остановился бы посмотреть, что они делают, но девушка шла быстро, постукивая каблукками, пока не воскликнула при виде смешно облизывающейся неоновой физиономии, пышущей румянцем:

— О, бонсы. Хочешь бонс?

— А ты? — спросил я.

— По-моему, хочу.

Мы вошли в небольшое сверкающее помещение. Вместо потолка длинными рядами мерцали язычки пламени, похожие на газовые; сверху дохнуло теплом, пожалуй, это и взаправду был газ. В стенах виднелись небольшие ниши с металлическими столиками; когда мы подошли к одной из них, с обеих сторон из стен выдвинулись сиденья; выглядело это так, будто из стен проросли сначала неразвернувшиеся почки, потом почки расплющились в воздухе и, приобретя нужную форму, неподвижно застыли. Мы сели друг против друга, девушка стукнула двумя пальцами по металлической крышке столика, из стены выскочила никелированная лапка, бросила перед каждым из нас по маленькой тарелочке и двумя молниеносными движениями швырнула на обе по порции белесой массы, которая, вспенившись, стала коричневой и застыла; одновременно потемнели и сами тарелочки. Девушка свернула свою, как блинчик, и стала есть.

— Ох,— проговорила она с полным ртом,— даже и не знала, какая я голодная!

Я сделал точно так же. Бонс по вкусу не был похож ни на что из знакомой мне еды. Он похрустывал на зубах, как свежая булочка, но тут же рассыпался и таял на языке; коричневая масса, служившая начинкой, была приправлена чем-то острым. Я подумал, что бонсы я люблю.

— Еще? — спросил я, когда она съела свой. Девушка улыбнулась, покачав головой. Выходя, она мимолетно вложила обе ладони в маленькое кафельное углубление — в нем что-то шумело. Я поступил так же. Щекочущий вихрь овеял мои пальцы; когда я вынул руки, они были уже сухие и чистые. Потом мы поднялись на широком эскалаторе наверх. Я не знал, находимся ли мы все еще на вокзале, но предпочитал не спрашивать. Девушка ввела меня в маленькую кабину в стене. Там было мало света, пол дрожал, казалось, над нами проносятся поезда. На мгновение стало темно, что-то мощно дохнуло под нами, словно металлическое чудовище выпустило воздух из легких, посветлело, девушка толкнула дверь. Это, пожалуй, и вправду была улица. Мы находились в полном одиночестве. По обе стороны тротуара рос невысокий подстриженный кустарник; чуть подальше стояли вплотную одна к другой плоские черные машины, какой-то человек вышел из тени, скрылся за одной из машин,— я не видел, чтобы он открывал дверцу, просто он вдруг исчез, а машина рванула с места так резко, что его, наверное, расплющило на сиденье; не

было никаких домов, виднелась лишь ровная, как стол, проезжая часть, покрытая полосами матового металла; над перекрестками двигались подвешенные над мостовой щелевидные фонари, оранжевые и красные, напоминавшие макеты войсковых прожекторов.

— Куда направимся? — спросила девушка. Она все еще держала меня за руку. Замедлила шаг. Красный свет скользнул по ее лицу.

— Куда хочешь.

— Тогда пойдем ко мне. Не стоит брать глайдер. Здесь близко.

Мы пошли. Домов по-прежнему не было видно, а ветер, долетавший из темноты, из-за кустов, дул явно из открытого пространства, которое раскинулось вокруг вокзала. Странно. Ветер приносил слабый аромат цветов, который я жадно вдыхал. Черемуха? Нет, не черемуха.

Потом мы попали на движущийся тротуар; мы были необычной парой, фонари проплывали мимо; иногда мелькало средство передвижения, отлитое из одной глыбы черного металла, без окошечек, без колес, даже без сигнальных огней; они мчались вслепую, с необыкновенной скоростью. Движущийся свет лился из узких вертикальных щелей, подвешенных высоко над землей. Я не мог понять, связаны они каким-нибудь образом с уличным движением и его регулировкой.

Иногда в невидимом небе высоко над нами раздавался жалобный свист. Девушка вдруг сошла с движущейся полосы и перешла на другую, которая помчалась круто вверх. Я внезапно взлетел, воздушная поездка длилась, может, с полминуты и закончилась на площадке, заполненной слабо пахнувшими цветами, — мы попали на террасу или балкон погруженного в темноту дома, видимо поднявшись на приставленном к стене транспортере. Девушка вошла в глубь этой лоджии, мои глаза уже привыкли к темноте, и я различал во мраке громады соседних домов, безоконные, черные, словно вымершие, ведь не только не было ни огонька, не доносилось и звука, кроме резкого шипения проносившихся черных машин; после неоновой оргии вокзала отсутствие рекламных вывесок, такое, видимо, подчеркнутое затемнение меня удивило, но мои размышления были прерваны.

— Иди сюда, где же ты? — донесся до меня шепот. Я видел лишь бледное пятно ее лица. Она приложила руку к двери, дверь открылась, но мы не вошли в комнату, пол

мягко поплыл вместе с нами, — да тут шагу нельзя ступить, странно, что у них еще сохранились ноги, улыбнулся я. Моя банальная ирония была вызвана чувством бесконечного изумления и растерянности, ощущением нереальности происходящего со мной вот уже несколько часов.

Мы находились не то в просторной прихожей, не то в коридоре — широком, почти темном; виднелись только углы стен, окрашенные светящейся краской. В самом темном месте девушка приложила ладонь к металлической табличке на двери и вошла первой. Я зажмурился; холл, ярко освещенный, был почти пуст — девушка направилась к следующей двери; когда я приблизился к стене, та вдруг раздвинулась, открывая внутреннее пространство, заполненное какими-то металлическими бутылочками. Все произошло так неожиданно, что я невольно остановился.

— Не пугай мой шкаф, — предупредила девушка уже из другой комнаты.

Я вошел вслед за ней.

Мебель казалась отлитой из стекловидной массы: креслица, низенький диванчик, маленькие столики. В полупрозрачном материале, из которого их сделали, медленно кружились рои светлячков, иногда они распадались, потом снова сливались в ручейки, и тогда внутри мебели как бы текла бледно-зеленая, перемешанная с розовыми искорками, светящаяся кровь.

— Почему ты не садишься?

Девушка стояла в глубине комнаты. Кресло раскрылось, желая принять меня. Мне стало не по себе. Стекло оказалось вовсе не стеклом; впечатление было такое: я сижу на надувных подушках. Сквозь изогнутое, толстое сиденье я мог разглядеть пол.

Когда я вошел, мне показалось, что противоположная стена — стеклянная, и сквозь нее видна другая комната, заполненная людьми, будто там какой-то прием, но люди эти были сверхъестественного роста, и я вдруг понял, что передо мной телевизионный экран во всю стену. Звук был выключен; теперь, сидя, я видел огромное женское лицо, казалось, что темнокожая великанша заглядывает сквозь окно в комнату; губы ее шевелились, она говорила, а драгоценности, закрывавшие ушные раковины, величиной со щит, сверкали и переливались, как бриллианты.

Я уселся в кресле поудобнее. Девушка внимательно смотрела на меня, проводя рукой по бедру — живот ее был

будто выточен из лазурного металла. Теперь она выглядела трезвой. Может, и раньше мне только казалось, что она под хмельком.

— Как тебя зовут?

— Брегг. Гэл Брегг. А тебя?

— Наис. Сколько тебе лет?

Странные нравы, подумал я. Ну что же, видно, так принято.

— Сорок. А что?

— Ничего. Я думала, тебе сто.

Я усмехнулся.

— Допустим, сто, если тебе так хочется.

Самое смешное, что это правда, подумал я.

— Что тебе дать? — спросила девушка.

— Выпить? Спасибо, ничего не надо.

— Как хочешь.

Девушка подошла к стене, открылось что-то вроде маленького бара. Она заслонила собой полки. Когда она повернулась, в руках у нее был небольшой поднос с кружками и двумя бутылками. Слегка сжимая бутылку, она налила мне до краев, — жидкость выглядела совсем как молоко.

— Спасибо, — поблагодарил я, — мне не хочется...

— Я же тебе ничего не даю, — удивилась Наис.

Видя, что ошибся, хотя понятия не имел, в чем именно, я пробормотал что-то и взял кружку. Себе она налила из другой бутылки. Жидкость была маслянистая, бесцветная, она слегка пузырилась и одновременно темнела, словно от соприкосновения с воздухом. Наис села и, касаясь губами края кружки, спросила как бы мимоходом:

— Ты кто?

— Друж, — ответил я, поднимая кружку, будто бы для того, чтобы рассмотреть ее. Это молоко совсем не пахло, я к нему не притронулся.

— Нет, серьезно, — сказала она. — Ты подумал, что я нечисто транслирую, да? С чего бы? Просто это был кальс. Я была со своей шестеркой, понимаешь, но меня одолела непроходимая тоска. Вся вспашка ни к чему и вообще... я уже собралась уходить, когда ты сел ко мне.

Кое-что мне понять удалось: видимо, я нечаянно сел за столик Наис, когда ее не было, может, она танцевала? Я дипломатично молчал.

— Издали ты выглядел так... — она не могла подобрать подходящего слова.

— Солидно? — подсказал я. Ее веки дрогнули. Неужели и на них металлическая пленка? Нет, это, пожалуй, грим. Наис подняла голову.

— Что это значит?

— Ну... э-э-э... заслуживаю доверия...

— Странно ты говоришь. Ты откуда?

— Издалека.

— С Марса?

— Еще дальше.

— Летаешь?

— Летал.

— А теперь?

— Ничего не делаю. Я вернулся.

— Но опять будешь летать?

— Не знаю. Пожалуй, не буду.

Разговор не клеился — мне показалось, девушка уже немного жалела о своем легкомысленном приглашении, и мне хотелось облегчить ее затруднительное положение.

— Может, мне уйти? — спросил я, продолжая держать кружку с нетронутым напитком.

— Почему? — удивилась она.

— Я думал, тебе так... хочется.

— Нет, — возразила девушка, — ты думал... нет, отчего же... Почему ты не пьешь?

— Я пью.

Все-таки это было молоко. В такое время, при таких обстоятельствах! Она не могла не заметить моего изумления.

— Что, невкусно?

— Это... молоко... — заметил я. Мина у меня, видимо, была идиотская.

— С чего ты взял? Какое молоко? Это брит...

Я вздохнул.

— Послушай, Наис... Я, пожалуй, все-таки пойду. Правда. Так будет лучше.

— Зачем же ты пил? — спросила она.

Я молча смотрел на нее. Слова были знакомые, но я ничего не понимал. Ничего. Так они изменились.

— Как хочешь, — сказала в конце концов девушка. — Я тебя не держу. Но теперь это... — Она смутилась. Выпила свой лимонад, — так я мысленно назвал ее шипучку, — а я опять не знал, что ей сказать. Как все трудно.

— Расскажи мне о себе, — предложил я, — хочешь?

— Хорошо. А ты мне потом расскажешь?

— Да.

— Я в Кавуте второй год. Последнее время я ленилась, нерегулярно пластировала, и... так как-то. Шестерка моя неинтересная. Правду сказать, у меня... никого нет. Странно...

— Что странно?

— Что у меня никого нет...

И опять полный мрак. О ком она говорит? Кого у нее не было? Родителей? Любовников? Знакомых? А все-таки Абс был прав, сказав, что необходимо пробыть месяцев восемь в Адапте, иначе мне не справиться. Но теперь, когда я раскаялся, мне тем более не хотелось возвращаться в приготовительный класс.

— И что дальше? — спросил я и сделал глоток из кружки, которую по-прежнему держал в руке. Глаза Наис расширились от удивления. По ее губам мелькнуло что-то вроде насмешливой улыбки. Она осушила свою кружку до дна, взялась за край своего пушистого одеяния, закрывавшего плечи, и разорвала его — не расстегнула, не раздвинула, а именно разорвала, отбросив обрывки, как мусор.

— В конце концов мы мало знакомы, — проговорила девушка. Держалась она уже свободнее. Улыбалась. Иногда она становилась даже хорошенькой, особенно когда шурилась, а нижняя губа открывала блестящие зубы. В лице ее было что-то египетское. Египетская кошка. Волосы — чернее черного, а когда она сорвала пушистую одежду с плеч и груди, я увидел, что она вовсе не так худощава, как мне казалось. Но почему она сорвала? Это что-нибудь означало?

— Ты хотел что-то сказать? — спросила она, глядя на меня поверх кружки.

— Да, — ответил я и заволновался, словно от моих слов все зависело. — Я... я был пилотом. Последний раз я был здесь... только не пугайся!

— Не испугаюсь. Говори!

Глаза у нее были внимательные, блестящие.

— Сто двадцать семь лет тому назад. Мне было тридцать. Экспедиция... я был пилотом экспедиции на Фомальгаут. Двадцать три световых года. Мы летели, в ту сторону и обратно, сто двадцать семь лет земного времени и десять лет бортового. Четыре дня назад мы вернулись... «Прометей» — мой корабль — остался на Луне. Я прибыл только сегодня. Вот и все.

Она смотрела на меня молча. Губы ее шевельнулись, раскрылись, сомкнулись. Что было в ее глазах? Изумление? Восхищение? Страх?

— Почему ты ничего не говоришь? — спросил я, откашливаясь.

— Так... сколько же тебе лет на самом деле?

Я невольно усмехнулся; усмешка получилась горькой.

— Что значит «на самом деле»? Биологических сорок, а по земному времени — сто пятьдесят семь...

Долгое молчание и вдруг:

— А женщины там были?

— Подожди, — перебил я. — У тебя найдется выпить?

— Как это?

— Что-нибудь одуряющее. Крепкое. Спиртное... или его уже не пьют?

— Очень редко... — ответила девушка совсем тихо, словно думая о чем-то другом. Ее руки медленно опустились, коснулись металлической лазури платья.

— Дам тебе... ангеена, хочешь? Правда, ты не знаешь, что это такое.

— Конечно, не знаю, — неожиданно рассердился я. Она пошла к бару и вернулась с маленькой пузатой бутылочкой. Налила мне. Нечто спиртное — очень немного, — с какой-то добавкой — необычайный, терпкий вкус.

— Не сердись, — попросил я, осушив кружку, и налил себе еще.

— Я не сержусь. Ты не ответил, может, не хочешь говорить.

— Почему же? Могу рассказать. Всего нас было двадцать три человека, на двух кораблях. Второй — «Улисс». По пять пилотов, а остальные — ученые. Женщин не было.

— Почему?

— Из-за детей, — объяснил я. — Детям нельзя находиться на таких кораблях, а если и можно, никто не захочет. До тридцати в полет не попадешь. Надо закончить два факультета плюс четыре года тренировки, в сумме двенадцать лет. Короче, у тридцатилетних женщин обычно есть дети. Были и... другие соображения.

— А у тебя? — спросила Наис.

— Я был один. Выбирали одиноких. То есть добровольцев.

— Ты хотел...

— Да. Разумеется.

— И не...

Она не договорила. Я догадался, что она хотела сказать, но промолчал.

— Должно быть, это жутко... так вернуться...— содрогнувшись, проговорила она почти шепотом. Потом взглянула на меня, и лицо ее залилось краской.— Послушай, я просто пошутила,— произнесла она.

— Насчет ста лет?

— Я просто так сказала, это не должно было...

— Перестань,— буркнул я.— Еще немного, и я действительно почувствую себя столетним.

Наис молчала. Я заставил себя не смотреть на нее. В глубине, во второй, несуществующей комнате за стеклом огромная мужская голова беззвучно пела, мне были видны вибрирующая от напряжения темно-красная глотка, лоснящиеся щеки, все лицо подрагивало в неслышном ритме.

— Что ты будешь делать?

— Не знаю. Пока не знаю.

— У тебя нет никаких планов?

— Нет. Я располагаю небольшой... видишь ли, премией. За все это время. Когда мы стартовали, ее поместили в банк, на мое имя,— не знаю даже, сколько там. Ничего не знаю. Послушай, а что такое Кавут?

— Кавута? — поправила она.— Ну... школа такая, пластирование, само по себе ничего особенного, но иногда можно попасть в реаль...

— Подожди-ка... что, собственно, ты делаешь?

— Пласт... Разве ты не знаешь, что это такое?

— Не представляю.

— Как бы тебе... ну, просто делаю платья, вообще одежду — всё...

— Портника?

— Что это значит?

— Шьешь что-нибудь?

— Не понимаю.

— О небеса, черные и голубые! Ты проектируешь модели платьев?

— Ну да... в некотором смысле да. Не проектирую, а делаю...

Я оставил эту тему.

— А что такое реаль?

Мой вопрос совсем ее добил. Впервые она посмотрела на меня, как на существо из другого мира.

— Реаль, это... реаль,— беспомощно пролепетала она.— Это... такие... истории, их смотря...

— Это? — показал я на стеклянную стену.

— Да нет, это же телевизор...

— А что же? Кино? Театр?

— Нет. Театр я знаю, он был давно. Мне известно — там были настоящие люди. Реаль искусственный, но отличить нельзя. Разве что войти туда, к ним...

— Войти?..

Исполинская голова вращала глазами, качалась, смотрела на меня, словно исполина развлекала эта сцена.

— Послушай, Наис,— вдруг начал я,— или я уйду, ведь уже очень поздно, или...

— Я предпочла бы второе.

— Я же не сказал...

— Так скажи.

— Ладно. Я хотел у тебя кое-что спросить. О великом, самом важном я немного знаю: я четыре дня проторчал в Адапте, на Луне. Но там все было торжественно. Что вы делаете в свободное от работы время?

— Можно делать многое,— ответила Наис.— Можно путешествовать, на самом деле или мутом. Можно развлекаться, ходить в реаль, танцевать, играть в стерео, заниматься спортом, плавать, летать — все что угодно.

— Что такое мут?

— Вроде реалья, но все можно потрогать. Там ходишь по горам, всюду — сам увидишь, об этом не рассказать. Но мне кажется, ты хотел спросить о чем-то другом?

— Ты правильно меня поняла. Как у вас — между женщинами и мужчинами?

Веки у нее дрогнули.

— Наверное, так же. Что могло измениться?

— Все. Когда я улетаю,— ты только не сердись,— такие девушки, как ты, не приглашали к себе в такую пору.

— Правда? Почему?

— Потому что в этом был бы определенный смысл. Наис помолчала.

— А откуда ты знаешь, что его не было?

Она развеселилась, увидев, какую мину я соорудил. Я не сводил с нее глаз; она перестала улыбаться.

— Наис... как это...— еле выговорил я,— берешь совершенно чужого типа и...

Она молчала.

— Почему ты не отвечаешь?

— Потому что ты ничего не понимаешь. Не знаю, как тебе объяснить. Тут ничего такого, понимаешь...

— Ага. Ничего такого,— передразнил я. Не в силах усидеть на месте, я встал. Забывшись, чуть не подскочил; девушка вздрогнула.

— Извини,— буркнул я и стал ходить. За стеклом растиался парк, залитый утренним солнцем, среди деревьев с бледно-розовыми листьями шли трое мальчиков в рубашках, блестящих как латы.

— Есть ли у вас супружеские пары?

— Естественно.

— Ничего не понимаю! Объясни мне. Расскажи. Ты видишь мужчину, который тебе подходит и, не зная его, прямо так...

— Да что тут рассказывать? — неохотно проговорила она.— Это правда, что тогда, в твоё время, девушка не могла пригласить к себе ни одного мужчину?

— Могла, конечно, и даже с такой мыслью, но не через пять минут после первого взгляда...

— А через сколько?

Я взглянул на нее. Она спросила совершенно серьезно. Ну да, откуда ей знать; я пожал плечами.

— Не во времени дело, просто — просто она должна была сначала что-то... увидеть в нем, познакомиться с ним, почувствовать к нему расположение, сначала они ходили...

— Подожди,— перебила Наис.— Кажется, ты... ничего не понимаешь. Я же дала тебе брит.

— Какой брит? А, молоко? Ну и что?

— Как «ну и что»? Разве у вас... не было брита?

Наис расхохоталась, она хохотала до упаду. И вдруг остановилась, посмотрела на меня и вся залилась краской.

— Так ты думал... думал, что я... нет!!

Я сел. Пальцы меня плохо слушались, нужно было что-нибудь взять в руки. Я вытащил из кармана сигарету, закурил. Наис широко раскрыла глаза.

— Что это такое?

— Сигарета. Разве вы не курите?

— Первый раз в жизни вижу... Так выглядит сигарета? Как ты можешь втягивать дым? Нет, подожди — то важнее. Брит вовсе не молоко. Не знаю, что там, но малознакомому всегда дают брит.

— Мужчине?

— Да.

— И что из этого?

— А то, что он... он хорошо себя ведет. Понимаешь... может, тебе кто-нибудь из биологов объяснит.

— К чертям биологов. Это значит, что мужчина, которому ты дала брит, ничего не может?

— Естественно.

— А если он не захочет его пить?

— Как же он может не захотеть?

Это было выше моего понимания.

— Ведь ты не можешь его заставить? — терпеливо продолжил я.

— Сумасшедший мог бы не выпить, — медленно проговорила она, — но я ни разу о таком не слышала...

— Это обычай такой?

— Не знаю, что тебе сказать. Тебе обычай не разрешает ходить нагишом?

— Ага. Ну, в некотором смысле — обычай. Но на пляже можно раздеться.

— Донага? — вдруг заинтересовалась девушка.

— Нет. Купальный костюм... но были группы людей, в мое время, они назывались нудисты...

— Знаю. Но это другое, я думала, вы все...

— Нет. Итак, пить брит — все равно что носить одежду? Так же необходимо?

— Да. Когда — двое.

— Ну а дальше?

— Что значит дальше?

— Во второй раз?

Разговор был идиотский, и я чувствовал себя ужасно, но нужно же в конце концов узнать.

— Потом? Всякое бывает. Некоторым... всегда дают брит...

— Арбузы! — вырвалось у меня.

— Что это значит?

— Ничего, ничего. А если девушка идет к кому-нибудь, что тогда?

— Тогда он пьет у себя.

Она смотрела на меня почти что с жалостью. Но я был упрям.

— А если у него нет?

— Брита? Что значит — нет?

— Ну, кончился. Или... он же может соврать.

Наис рассмеялась.

— Ведь... ты думаешь, что все эти бутылки я держу здесь, где живу?

— Не здесь? А где же?

— Не знаю даже, откуда они берутся. В твоё время был водопровод?

— Был,— угрюмо ответил я.— Не везде, конечно. Я забрался в ракету прямо из лесной чащи.

Меня охватило бешенство, но я заставил себя успокоиться, в конце концов она же не виновата.

— Вот видишь — разве ты знал, где протекает вода, прежде чем...

— Понимаю, не объясняй. Хорошо. Значит, это такая мера предосторожности? Очень странно.

— По-моему, ничего странного,— возразила Наис,— что у тебя там, такое белое, под одеждой?

— Рубашка.

— Что это такое?

— Ты не видала рубашек? Ну... бельё. Нейлоновое. Я засучил рукав свитера и показал ей.

— Интересно,— сказала она.

— Такой обычай...— беспомощно проговорил я. Действительно, мне советовали в Адапте не одеваться так, как сто лет назад; я не послушался. Но я не мог не согласиться с Наис: брит был для меня тем же, чем для нее рубашка. Никто ведь не заставлял людей носить рубашки, а тем не менее все носили. Видимо, с бритом было то же самое.

— Сколько времени действует брит? — спросил я.

Щеки Наис слегка порозовели.

— Как ты торопишься. Ещё ничего не известно.

— Я ничего плохого не сказал,— извинился я,— я просто хотел знать, почему ты так смотришь? Что с тобой? Наис!

Девушка медленно поднялась. Встала за креслом.

— Сколько лет назад, сказал ты? Сто двадцать?

— Сто двадцать семь. И что из этого?

— А был ли... ты... бетризирован?

— А что это такое?

— Не был?!

— Я же не знаю, что это значит. Наис, да что с тобой? Я хотел подойти к ней. Она подняла руки.

— Не подходи! Нет! Нет! Умоляю!

Она отступала к стене.

— Ты же сама говорила, что брит... Ну, я сажусь. Сажу, видишь? Успокойся. Так в чём дело с этим бе... Как его там?

— Не знаю точно. Но... каждого бетризируют. Как только родится.

— А что это такое?

— Кажется, что-то вводят в кровь.

— Всем?

— Да. А... брит... не действует без этого. Не шевелись!

— Деточка, не смейся меня.

Я погасил сигарету.

— Я же не дикий зверь... Не сердись, но... мне кажется, что вы все немножко не в своем уме. Ваш брит... это же значит, что всем следует надеть наручники, а то вдруг кто-то окажется вором. Можно же... немного доверять.

— Хорош же ты.— Она немного успокоилась, но по-прежнему стояла.— Тогда почему же ты так возмущался, что я привожу в дом посторонних?

— Это совсем другое дело.

— Не вижу разницы. Тебя точно не бетризировали?

— Точно.

— А может, теперь? Когда ты вернулся?

— Не знаю, какие-то уколы делали. Разве это имеет значение?

— Имеет. Делали? Хорошо.

Она села.

— У меня к тебе просьба,— сказал я как можно спокойнее.— Ты должна мне объяснить...

— Что?

— Почему ты так испугалась? Ты боялась, что я на тебя брошусь? Или еще чего-то? Это же чепуха!

— Нет. Если подумать, то ерунда, но все это очень сильно подействовало, понимаешь ли. Прямо шок. Я никогда не видела человека, которого не...

— Но ведь этого нельзя узнать.

— Можно. Еще как можно!

— Как?

Она молчала.

— Наис...

— Но я... мне...

— Что?

— Страшно...

— Сказать?

— Да.

— Но почему?

— Видишь ли, бетризируют не бритом. Брит — это побочный эффект... Дело совсем в другом...

Она побледнела. Губы ее дрожали. Что за мир, думал я, что за мир?

— Не могу. Я ужасно боюсь.

— Меня?

— Да.

— Клянусь тебе, что...

— Нет, нет, я тебе верю, да только... нет. Этого ты понять не в силах.

— И ты мне не скажешь?

В моем голосе прозвучало, видимо, нечто, заставившее ее перебороть себя. Лицо ее стало суровым. По ее глазам я видел, каких усилий все это ей стоило.

— Это затем, чтобы... не убивать.

— Не может быть! Человека?

— Никого...

— И животных?

— И животных. Никого...

Наис переплетала и расплетала пальцы, не сводя с меня глаз,— как будто этими словами спустила меня с невидимой цепи, как будто вложила мне в руки нож, который я мог в нее вонзить.

— Наис,— произнес я совсем тихо.— Наис, не бойся. Правда... тебе некого бояться.

Она попыталась улыбнуться.

— Слушай...

— Да?

— Когда я это сказала...

— Да?

— Ты ничего не почувствовал?

— А что я должен почувствовать?

— Представь, что ты делаешь то, о чем я тебе сказала...

— Что я убиваю? Мне надо представить себе это?

Наис содрогнулась.

— Да...

— Ну и что?

— И ничего не чувствуешь?

— Ничего. Но ведь я просто подумал, я вовсе не собираюсь...

— Но ты можешь? Да? Действительно можешь? Нет,— шепнула она почти беззвучно, словно самой себе,— тебя не бетризировали...

Только теперь до меня дошло, о чем идет речь, я понял, что даже мысль об этом была для нее потрясением.

— Это большое дело,— буркнул я. И, помолчав, добавил: — Но, может, было бы лучше, если бы люди отвыкли от этого... без искусственных средств...

— Не знаю. Может быть,— ответила Наис и перевела дыхание.— Теперь понимаешь, почему я испугалась?

— Правду говоря, не совсем. Кое-что, возможно, понимаю. Но не думала же ты, что я тебя...

— Какой ты странный! Прямо словно ты и не...— осеклась она.

— Словно я и не человек?

Наис часто-часто заморгала.

— Я не хотела тебя обидеть, но, видишь ли, если известно, что никто не может — знаешь ли — даже подумать об этом, никогда,— и вдруг появляется кто-то вроде тебя, то даже возможность... то, что он такой...

— Невероятно, чтобы все были — как это? А, бетризированы...

— Почему? Все, говорю тебе!

— Нет, не может быть,— упрямылся я.— А люди опасных профессий? Они ведь должны...

— Нет опасных профессий.

— Что ты говоришь, Наис? А пилоты? А разные спасатели? А те, что воюют с огнем, с водой...

— Таких нет,— сказала Наис.

Мне показалось, что я ослышался.

— Что-о-о?

— Таких нет,— повторила она.— Это делают роботы.

Наступило молчание. Я подумал, что мне нелегко будет освоить новый мир. И вдруг мне в голову пришла удивительная мысль,— до этого я никогда не мог бы додуматься, если бы кто-нибудь представил мне такую ситуацию лишь как теоретическую возможность — уничтожить с помощью подобной процедуры убийцу в человеке значит... искалечить его.

— Наис,— заговорил я,— уже очень поздно. Пожалуй, я пойду.

— Куда?

— Не знаю. Правда! На вокзале меня должен был встречать кто-то из Адапта. Я совсем забыл! Знаешь, я не смог его найти. Ну, тогда... поищу гостиницу. Наверное, они есть?

— Есть. Ты откуда?

— Из этого города. Здесь родился.

После этих слов вернулось ощущение нереальности всего, и я уже не был уверен, существовал ли город, живущий теперь лишь во мне, явь ли этот призрачный мир с комнатами, в которые заглядывают головы исполинов; какое-то мгновение я думал, не нахожусь ли я на борту космического корабля и не снится ли мне еще один, особенно отчетливый кошмар о возвращении.

— Брегг,— донесся до меня словно издалека ее голос. Я вздрогнул. Я совершенно забыл о ней.

— Да... Слушаю?

— Останься.

— Что?

Наис молчала.

— Ты хочешь, чтобы я остался?

Молчание. Я подошел к ней, наклонясь над креслом, обнял ее холодные плечи, приподнял девушку. Она безвольно встала. Голова ее запрокинулась назад, блеснули зубы, я не хотел ее, я хотел только сказать ей: ты же боишься,— и чтобы она ответила: нет. И больше ничего. Глаза Наис были закрыты, сквозь ресницы вдруг показались белки, я склонился к ее лицу, заглянул в ее остекленевшие глаза, словно желая понять ее страх, разделить его. Наис вырывалась, задыхаясь, но я не чувствовал этого, только когда она застонала: нет! нет! — я разжал объятия. Наис чуть не упала. Она стояла у стены, заслоняя часть гигантского толстощекого лица, которое там, за стеклом, без остановки говорило что-то, слишком старательно шевеля огромными губами и толстым языком.

— Наис...— сказал я тихо, опустив руки.

— Не подходи!

— Ты же сама сказала...

Глаза у нее были безумные.

Я прошелся по комнате. Она не сводила с меня глаз, словно я был... словно она стояла в клетке...

— Я пойду,— заговорил я. Наис молчала. Я хотел что-нибудь добавить — пару слов извинений, благодарности, чтобы не уходить просто так, но не смог. Если бы она боялась меня, как женщина боится мужчину, чужого, пусть даже опасного, неизвестного,— ну, что поделаты! Но это было другое. Я взглянул на нее и почувствовал, как меня охватывает гнев. Схватить за эти белые обнаженные плечи, встряхнуть...

Я отвернулся и вышел; наружная дверь поддалась, когда я толкнул ее, в большом коридоре было довольно

темно. Я не знал, как выйти на террасу, но наткнулся на полные неясного синеватого света цилиндры — шахты лифтов. Тот, к которому я подошел, уже поднимался ко мне; может, достаточно было ступить на порог. Опускался лифт долго. Попеременно виднелись пласты темноты и сечения сводов, белые, с красноватой серединой, как слои жира в мясе, они уходили вверх, я потерял им счет, лифт все опускался и опускался, это напоминало путешествие на дно, словно меня запустили внутрь стерильного канала и огромное, погруженное в сон и безопасность здание избавлялось от меня; часть прозрачного цилиндра открылась, я пошел куда глаза глядят.

Руки в карманах, темнота, твердый, широкий шаг, я жадно вдыхал холодный воздух, чувствуя, как у меня на вдохе раздуваются ноздри, как сердце размеренно работает, перегоняя кровь, огни переливались вниз, в щелях мостовой, заслоняемые беззвучными машинами, не было ни одного прохожего. Между черными силуэтами сияло зарево, я подумал, может, там гостиница. Но это был просто освещенный тротуар. Я поехал на нем. Надо мной проплывали белесые фермы каких-то конструкций, где-то далеко, над черными краями зданий, размеренно скользили буквы световых газет, неожиданно тротуар вынес меня в освещенное помещение и кончился.

Широкие ступени плыли вниз, серебрясь, как застывший водопад. Меня удивляла пустота; с тех пор как я покинул Наис, мне не встретился ни один прохожий. Эскалатор был очень длинный. Внизу светилась широкая улица, по обеим сторонам в домах расположились пассажи, под деревом с голубыми листьями — но оно могло быть ненастоящее — я увидел людей, направился к ним, но повернул назад. Они целовались. Я пошел на приглушенные звуки музыки, какой-то ночной ресторан или бар, ничем не отделенный от улицы. Там сидело несколько человек. Я хотел войти и спросить про гостиницу. Вдруг я налетел всем телом на невидимое препятствие. Это было стекло, абсолютно прозрачное. Вход был рядом. Внутри кто-то засмеялся, показал на меня другим. Я вошел. Мужчина в черном трикотажном костюме, даже немного похожем на мой свитер, но с очень пышным, словно надувным, воротником, сидел боком у столика, со стаканом в руке, и смотрел на меня. Я остановился перед ним. Смех застыл у него на губах. Я стоял. Воцарилась тишина. Только музыка играла, как бы за стеной. Какая-то женщина странно,

слабо вскрикнула, я обвел взглядом застывшие лица и вышел. Лишь на улице я вспомнил, что хотел спросить про гостиницу.

Я вошел в пассаж. Кругом витрины. Бюро путешествий, спорттовары, манекены в разных позах. Правда, витринами их вряд ли можно назвать — все стояло и лежало на улице, по обе стороны приподнятого тротуара, проходившего посередине. Несколько раз я принимал движущиеся в глубине фигуры за человеческие. Но они оказывались рекламными куклами, повторяющими без конца одно и то же движение. Одна — чуть ли не с меня ростом — с карикатурно раздутыми щеками, играла на флейте — я рассматривал ее довольно долго. Кукла играла так хорошо, что мне хотелось заговорить с ней. Дальше были залы для каких-то игр, там вращались большие радужные колеса; свободно висающие под потолком серебряные трубки, звеня, как бубенчики, ударялись друг о друга; поблескивали призматические зеркала, но никого не было. В самом конце пассажа вспыхнула надпись: ТУТ ХА ХА ХА. Погасла. Я пошел туда. Снова засияло: ТУТ ХА ХА ХА. И пропало, словно кто-то дунул. При следующей вспышке я разглядел вход. Оттуда слышались голоса. Я прошел сквозь завесу теплого воздуха.

В глубине стояли два бесколесных авто, светило несколько ламп, под ними трое оживленно жестикулировали, будто споря. Я подошел к ним.

— Алло, господа!

Они даже не оглянулись. Продолжали говорить, быстро, я их почти не понимал. «Ну, так сопи, ну, так сопи», — повторял визгливо низенький, с животиком, в высокой фуражке на голове.

— Господа, я ищу гостиницу. Где здесь...

Спорщики не обращали на меня внимания, словно я не существовал. Я пришел в бешенство и, уже ни слова не говоря, шагнул внутрь их кружка. Тот, что был ближе всех — я видел глуповатый блеск глазных белков и прыгающие губы, — зашепелявил:

— Што мне шопеть? Шам шопи!

Казалось, что он говорит мне.

— Почему вы притворяетесь глухими? — спросил я, и вдруг с того места, где я стоял — словно из меня, из моей груди, — раздался визгливый крик:

— Я тебя! Я тебе сейчас!

Я отскочил и увидел обладателя голоса, толстяка в фуражке. Я хотел схватить его за плечо, пальцы прошли насквозь и сомкнулись в воздухе. Я остолбенел, а они продолжали болтать; тут мне показалось, что сверху, из темноты над автомобилями, кто-то на меня смотрит; приблизившись к границе света, я разглядел смутные пятна лиц, там наверху было что-то вроде балкона. Слепленный светом, я не мог детально рассмотреть его, но все же понял, какого дурака сваял. Я убежал, словно за мной гнались. Следующая улица шла в гору и заканчивалась у эскалатора. Подумав, что там, возможно, найду какой-нибудь Инфор, я стал подниматься на бледно-золотой движущейся лестнице. Я попал на круглую, не очень большую площадь. Посреди нее стояла колонна, высокая, прозрачная, как стекло, в ней танцевало что-то, пурпурные, коричневые, фиолетовые формы, ни на что не похожие, как ожившие скульптуры абстракционистов, но очень смешные. То один, то другой цвет сгущался, концентрировался, принимал комичнейшие очертания; сражение форм, хоть и безликих, безголовых, безруких, безногих, выражало нечто человеческое, карикатурное. Вскоре я понял, что фиолетовый цвет — комик-буфф, самонадеянный, хвастливый и вместе с тем трусоватый; когда он рассыпался миллионом танцующих пузырьков, в дело вступал голубой цвет. Он был словно ангелочек, такой скромный, сосредоточенный, но чуточку ханжа, будто сам на себя молился. Не знаю, сколько времени я смотрел. Ничего подобного я ни разу в жизни не видел. Кроме меня, никого — лишь движение черных автомобилей стало интенсивнее. Я не знал даже, есть ли там пассажиры, ведь машины были без окошечек. От круглой площади, пожалуй, на мили, шла тонкая мозаика разноцветных огоньков, намечая шесть улиц; одни вели вверх, другие вниз. И ни одного Инфора. Я порядком устал, и не только физически, — я ощущал, что переполнен впечатлениями. Иногда я просто отключался, конечно, не засыпал на ходу; не помню, как и когда я попал на широкий проспект; задержавшись у перекрестка и подняв голову, я увидел на облаках городское зарево и удивился: я-то думал, что нахожусь под землей. Теперь я опять шел в море движущихся огней, витрин без стекла, среди жестикулирующих, вертящихся, как белка в колесе, без устали повторяющих акробатические трюки манекенов; манекены подавали друг другу что-то блестящее, что-то надували, но я даже не смотрел в их сторону. Вдали от меня шли не-

сколько человек, но я не мог поручиться, что это не куклы, а догонять их мне не хотелось. Дома расступились, стала видна большая надпись: ПАРК ТЕРМИНАЛ и светящаяся зеленая стрелка.

Эскалатор начинался в проходе между домами, сразу тоже попадал в тоннель — серебряный, с золотым пульсом в стенах, казалось, под ртутной пленкой стен действительно тек благородный металл; я ощутил горячее дуновение, все погасло, — я стоял в стеклянном павильоне. Он был в форме раковины, складчатый свод тлел еле заметным зеленым светом тончайших прожилок, словно люминесцировал один увеличенный трепещущий лист; со всех сторон были двери, за ними — темнота и мелкие, скользящие вдоль дороги буковки: ПАРК ТЕРМИНАЛ, ПАРК ТЕРМИНАЛ.

Я пошел туда. Действительно, парк. Протяжно шумели деревья, невидимые во тьме, ветра я не чувствовал; наверное, дул верховой. Шелест листвы, мерный, торжественный, окружал меня незримым сводом. Впервые возникло чувство одиночества, приятное чувство, не такое, как в толпе. В парке, очевидно, было немало людей, я слышал шепот, иногда неясно белело чье-то лицо, один раз я даже чуть не задел кого-то. Кроны деревьев смыкались, звезды виднелись только в их просветах. Мне вспомнилось, что к парку я поднимался вверх, а ведь там, на площади с пляшущими красками и улицах с витринами, надо мной было небо, кстати, хмурое; как же могло случиться, что здесь, на один ярус выше, я вижу небо, к тому же — звездное. Я ничего не мог понять.

Деревья расступились, я еще не увидел озера, но уже уловил запах воды и ила, благоухание прелой травы, намокших листьев; я замер.

Заросли черным кругом опоясывали озеро. Шуршали камыши и тростник, а вдали, с другой стороны, вздымался — одиноким колоссом — массив стеклянисто сверкавших скал, полупрозрачная гора над равнинами ночи, призрачное сияние, бледное, голубоватое, изливали отвесные обрывы; бастионы на бастионах, хрустальные зубцы стен, пропасти — и отражение сияющего исполина в черных водах озера. Я стоял, ошеломленный и восхищенный, ветер приносил совсем слабые, прерывающиеся отголоски музыки; напрягая зрение, я разглядел гигантские этажи и горизонтальные террасы, и вдруг меня осенило: да ведь я второй раз вижу вокзал, исполинский Терминал, где

я блуждал днем, и, может быть, смотрю со дна темной пропасти, так меня поразившей, на то место, где встретил Наис.

Была ли это еще архитектура или уже возведение гор? Они, очевидно, поняли, что, выходя за определенные границы, надо отказаться от симметрии, от правильных форм и учиться у самого великого, — понятливые ученики планеты!

Я обошел озеро. Колосс словно вел меня своим неподвижно светящимся взлетом. Да, нужна была отвага задумать такие очертания, придать им жестокость пропастей, беспощадность и неприглаженность обрывов и пиков, не ударяясь в механическое копирование, ничего не упустить, не фальсифицировать. Я вернулся к стене деревьев. Бледная, возносившаяся в черное небо голубизна Терминала еще просвечивала сквозь ветви, потом погасла, исчезла за чащей. Я раздвигал руками гибкие ветви, шипы ловили меня за свитер, цеплялись за брюки, роса сверху дождем падала мне на лицо, я положил в рот пару листиков, пожевал, они были молодые, горькие; впервые после возвращения я испытал такое: я уже ничего не хотел искать, ни в чем не нуждался, достаточно было идти в темноте, в шелесте лесной чащи, вслепую, прямо вперед. Так ли я себе все это представлял долгие десять лет?

Кусты расступились. Извилистая аллея. Мелкий гравий хрустел под ногами, слабо светился, я предпочел бы темноту, но шел дальше, прямо, туда, где у каменного круга виднелась человеческая фигура. Не знаю, откуда брался свет, заливавший ее, людей не было, вокруг какие-то лавочки, креслица, перевернутый столик, песок, сыпучий и глубокий, я ощущал, как ноги погружаются в него и какой он теплый, несмотря на ночную прохладу.

Под сводом, покоившимся на потрескавшихся, крошащихся колоннах, стояла женщина и, казалось, ждала меня. Я уже видел ее лицо, переливающиеся искорки в алмазных пластинках, закрывавших ее уши, белое, серебрившееся в тени платье. Невозможно! Сон? До нее оставалось несколько десятков шагов, и тут она запела. Среди невидимых деревьев голос ее звучал слабо, почти по-детски, слов я не понимал, да, может, их и не было — рот ее был полукруглым, словно она пила, на лице никакого напряжения — только самозабвение, будто она видела нечто незримое и именно о нем пела. Боясь, как бы она не заметила меня, я шел все медленнее. На меня уже падало сияние, окружав-

шее каменный круг. Голос ее окреп, она звала темноту, заклинала ее, стоя неподвижно, уронив руки, словно забыв о них, словно у нее не осталось ничего, кроме голоса, за которым шла и в котором растворялась; казалось, она освобождалась от всего, и отдавала все, и прощалась, зная, что с последним, замирающим звуком закончится не только пение. Я не представлял, что такое возможно. Женщина умолкла, а я еще слышал ее голос, вдруг за мной застучали легкие шаги, какая-то девушка бежала к стоявшей, кто-то ее догонял, с коротким горловым смехом она промчалась по ступенькам, пробежала сквозь певицу и понеслась дальше, догонявший девушку мелькнул темным силуэтом прямо рядом со мной; они исчезли, я во второй раз услышал манящий смех девушки. Я стоял, как вкопанный, не зная, плакать или смеяться; несуществующая певица снова тихонько запела. Слушать я не захотел. С окаменевшим лицом ушел я в темноту, словно ребенок, которому объяснили, что сказка — ложь. Все это было профанацией. Я шел, а голос преследовал меня. Я свернул, аллея вела дальше, я увидел слабый блеск живых изгородей, листья мокрыми фестонами нависли над металлической калиткой. Я открыл ее. Там, казалось, было чуть светлее. Живая изгородь заканчивалась широким вольером, из травы торчали валуны, один шевельнулся, вырос, я заглянул в два бледных огонька глаз. И замер. Это был лев. Он встал, тяжело поднявшись, сначала на передние лапы; он был теперь в пяти шагах от меня, я отчетливо видел редкую, спутанную львиную гриву, он потянулся, раз, другой, под шкурой медленно перекачивались мускулы, лев бесшумно подошел ко мне. Я уже успокоился. «Ну, ну, не пугай», — сказал я. Лев не мог быть настоящим — фантом, вроде той певицы, вроде тех, там, внизу, возле черных автомобилей, — лев зевнул, в шаге от меня, в темной бездне сверкнули клыки, пасть закрылась с лязгом железного засова, я ощутил зловонное дыхание, что...

Он фыркнул. В меня попали брызги его слюны. Я испугаться-то не успел, а он ткнулся огромной головой мне в бедро и с урчанием стал тереться об меня, в груди у меня по-идиотски защекотало...

Зверь подставлял мне горло, обвисшую тяжелую шкуру. В полуобморочном состоянии я стал почесывать, трепать его, он урчал все громче, за ним блеснула вторая пара глаз, второй лев, нет, львица толкнула его боком.

В глотке у него загремело, так он громко мурлыкал, а не рычал. Лъвица наступала. Лев ударил ее лапой. Она в ярости фыркнула.

Это может плохо кончиться, подумал я. Оружия у меня нет, а львы ведь настоящие, живые, живее и не придумаешь. Я стоял в удушливом смраде их тел. Лъвица все фыркала; вдруг лев вырвал свои жесткие патлы у меня из рук, повернул к ней огромную голову и взревел; лъвица, распластавшись, припала к земле.

— Мне уже пора, — беззвучно, одними губами произнес я и стал медленно пятиться к калитке; минута была не из приятных, но лев, кажется, вообще меня уже не замечал. Он тяжело улегся и опять стал похож на продолговатый валун, лъвица стояла над ним, толкая его мордой.

Закрыв за собой калитку, я еле удержался, чтобы не броситься бежать. Ноги подгибались, в горле пересохло, а покашливание вдруг перешло в дикий смех, я вспомнил, как говорил льву: «Ну, ну, не пугай...» — убежденный, что он всего лишь обман зрения...

Кроны деревьев четче вырисовывались на небе; светало. Меня это радовало, ведь я не знал, как выбраться из почти опустевшего парка. Пройдя мимо каменного круга, где мне прежде явилась певица, я наткнулся в следующей аллейке на робота, подстригавшего газон. О гостинице он ничего не знал, но объяснил мне, как дойти до ближайшего эскалатора. Я спустился вниз, видимо, на несколько ярусов, и, выйдя на улицу нижнего уровня, изумился, снова увидев над собой небо. Но и способность удивляться у меня почти иссякла. Все, хватит. Некоторое время я шел, потом, помнится, сидел у фонтана, а может, это был не фонтан, потом шел дальше при все более ярком свете нового дня, пока не очнулся прямо перед большими сияющими стеклами с огненными буквами: ОТЕЛЬ АЛЬКА-РОН.

В белом вестибюле, напоминающем перевернутую ванну великана, сидел красиво стилизованный, полупрозрачный робот с длинными тонкими руками. Ни о чем не спрашивая, он подал мне книгу, я записался в нее и с маленьким треугольным значком поехал наверх. Кто-то — право, не знаю, кто, — помог мне открыть дверь, точнее, открыл за меня. Стены изо льда; в них — кружение огоньков, под окном, когда я подошел к нему, вдруг откуда-то выскочило креслице, пододвинулось ко мне, сверху уже опускалась плоскость, образуя нечто вроде столика,

но мне нужна была кровать. Найти ее я не мог, впрочем, и не пытался. Улегся на упругий пенопластовый ковер и тут же заснул. В комнате не было окон, она освещалась искусственно. Сначала, правда, я принял за окно телевизор. Я погружался в беспамятство, сквозь сон сознавая, что оттуда, из-за стекла, чье-то огромное лицо строит мне гримасы, думает обо мне, смеется, болтает, ворчит... Меня освободил сон, подобный смерти; даже время в нем остановилось.

II

Я дотронулся, еще с закрытыми глазами, до груди, на мне был свитер; раз я спал не раздеваясь, значит, была моя вахта; «Олаф!» — хотел позвать я и вдруг сел.

Это была гостиница, а не «Прометей». Я вспомнил все: лабиринты вокзала, девушку, посвящение в тайну, ее страх, голубую скалу Терминала над черным озером, певицу, львов...

В поисках ванной комнаты я случайно нашел кровать, она помещалась в стене и, если что-то там нажать, опускалась перламутровым пухлым квадратом. В ванной комнате не было ни ванны, ни кранов — ничего, кроме блестящих плиток на потолке и небольшого углубления для ног, выложенного губчатым пластиком. На душ, по-моему, тоже не походило. Я почувствовал себя неандертальцем. Быстро разделся и остался с вещами в руках — вешалок не было, зато в стене — маленький шкафчик, туда я все и кинул. Рядом — три кнопки: голубая, красная и белая. Нажал белую. Погас свет. Красную. Зашумело, но это была не вода, а сильный, дохнувший озоном и еще чем-то вихрь; он овеял всего меня, на коже оседали частые, блестящие капли и шипя улетучивались, я даже не чувствовал влаги, а ощущал мириады мягких электрических иголок, массирующих мышцы. Я попробовал нажать голубую кнопку, и вихрь изменился — теперь он как бы пронизывал меня, очень странное ощущение. Я подумал: если привыкнуть, то даже будет приятно. В Адапте на Луне такого не было — там были обычные ваннные комнаты. Не знаю, почему. Кровь живет бежала по жилам, чувствовал я себя замечательно, не знал только, чем и как почистить зубы. В конце концов решил их не чистить. В стене были еще одни дверцы с надписью: «Купальные халаты». Я заглянул

внутри. Никаких халатов, три металлические бутылки, немного похожие на сифоны. Но я и так совсем обсох и не собирался вытираться.

Я открыл шкафчик, куда убрал одежду, и остолбенел: он был пуст. Хорошо, что хоть плавки я положил сверху на шкафчик. Вернувшись в плавках в комнату, я стал искать телефон, чтобы узнать, куда исчезла моя одежда. Поиск — утомительное дело. Телефон я в конце концов обнаружил у окна, — как я мысленно продолжал называть телеэкран, — телефон выскочил из стены, когда я стал громко ругаться; видимо, он реагировал на голос. Идиотская мания все прятать в стены. Отозвалась администрация. Я спросил про одежду.

— Вы вложили ее в чист, — сказал мягкий баритон. — Она будет через пять минут.

И то хорошо! — подумал я, усаживаясь у письменного стола, плоскость которого угодливо подвинулась мне под локти, едва я наклонился. Как это делалось? Не надо интересоваться такими вещами; большинство людей пользуется достижениями своей цивилизации, не разбираясь в них.

Я сидел голышом, в плавках, и взвешивал различные возможности. Я мог пойти в Адапт. Если бы мне надо было ознакомиться лишь с техникой и обычаями, я бы долго не размышлял, но еще на Луне я заметил, что одновременно мне стараются прививать определенный подход, даже определенную оценку явлений, то есть представляют мне готовую шкалу ценностей, а если их не принимаешь, то объясняют это неприятие — и вообще все — консерватизмом, подсознательным сопротивлением, рутиной старых навыков и так далее. Я вовсе не собирался отказываться от таких навыков и сопротивления, пока не приду к убеждению, что мне преподносят нечто лучшее, а уроки минувшей ночи ничуть не поколебали моего решения. Мне не хотелось, чтобы меня школили, приспособляли к жизни, и во всяком случае — столь любезно и в таком объеме. Интересно, почему меня не подвергли этой их бетризации? Надо будет узнать.

Я мог бы отыскать кого-нибудь из своих; Олафа, например. Но тогда я бы нарушил рекомендации Адапта. Нет-нет, там ничего не приказывали, все время повторяли, что действуют в моих интересах, я могу делать все, что хочу, даже перескочить с Луны прямо на Землю (это — остроумный доктор Абс), если мне уж так не терпится.

Я не боялся Адапта, но Олафу это могло не понравиться. Но все же я решил написать ему. Адрес у меня был.

Работа. Искать работу? Какую? Пилота? И что же, придется летать курсом Марс — Земля — Марс? Это я умел, но...

Вдруг я вспомнил, что у меня есть деньги. Собственно говоря, это были не деньги, они назывались как-то иначе, но я не понимал, в чем разница, если за них можно было все получить. Я попросил соединить меня с городом. В трубке пульсировало далекое пение. На телефонном аппарате не было ни цифр, ни диска, может, требовалось произнести название банка? Оно было записано на листке, а листок остался в одежде. Я заглянул в ванну; одежда уже лежала в шкафчике и выглядела свежeweыстиранной; все мои мелочи и тот листок лежали в карманах.

Банк не был банком. Он назывался Омнилокс. Я произнес название, и тут же, словно он только и ждал моих слов, откликнулся грубый голос:

— Омнилокс слушает.

— Меня зовут Брегг, — сказал я. — Гэл Брегг. Кажется, у вас открыт на мое имя счет... Хотелось бы знать, сколько там.

Что-то щелкнуло, и другой голос, повыше, переспросил:

— Гэл Брегг?

— Да.

— Кто открыл счет?

— Косплав — Космическое Плавание, по поручению Планетологического института и Космической Комиссии ООН, но это было сто двадцать семь лет назад...

— У вас есть какое-нибудь удостоверение?

— Ничего, кроме записки из Адапта на Луне, от директора Освамма...

— Все в порядке. У вас на счету двадцать шесть тысяч четыреста семь итов.

— Итов?

— Да. Что вам еще угодно?

— Я хотел бы взять немного де... то есть итов.

— В какой форме? Не угодно ли кальстер?

— Что это такое? Чековая книжка?

— Нет. Вы сможете платить сразу наличными.

— Да? Хорошо.

— На какую сумму открыть вам кальстер?

— Не знаю... Тысяч на пять.

- Пять тысяч. Хорошо. Прислать в гостиницу?
- Да. Минуточку — я забыл, как она называется.
- Вы будете в другой гостинице?
- Нет, в этой.
- «Алькарон». Мы вышлем вам сейчас же. Только одно: ваша правая рука не изменилась?
- Нет... А что?
- Ничего. Иначе нам пришлось бы менять кальстер. Сейчас вы его получите.
- Спасибо.— Я положил трубку. Двадцать шесть тысяч, много ли это? Я понятия не имел. Что-то замурлыкало. Радио? Телефон. Я поднял трубку.
- Брегг?
- Да,— сказал я. Сердце стукнуло сильнее, только один раз. Я узнал ее голос.— Как ты узнала, где я? — спросил я, потому что она не сразу откликнулась.
- В Инфоре, Брегг... Гэл... слушай, я хотела тебе объяснить...
- Ничего не надо объяснять, Наис.
- Ты сердисься. Но пойми...
- Я не сержусь.
- Гэл, правда. Приходи ко мне сегодня. Придешь?
- Нет, Наис. Скажи, пожалуйста, сколько это — двадцать с чем-то тысяч итов?
- Как сколько? Гэл... ты должен прийти.
- Ну... сколько времени можно на них прожить?
- Сколько хочешь, ведь живешь бесплатно. Но сейчас не об этом. Гэл, если ты захочешь...
- Подожди. Сколько итов ты тратишь в месяц?
- По-разному. Иногда двадцать, иногда пять или вообще нисколько.
- А-а-а. Спасибо.
- Гэл! Послушай!
- Слушаю.
- Не нужно такого конца...
- Нет никакого конца,— сказал я,— потому что не было никакого начала. Спасибо тебе за все, Наис.
- Я положил трубку. Что такое: жить бесплатно? Вот что меня интересовало в данный момент больше всего. Значит ли это, что есть какие-то вещи, какие-то услуги задаром? Опять замурлыкал телефон.
- Брегг слушает.
- Администрация. Господин Брегг, Омнилокс прислал ваш кальстер. Отправляю его навверх.

— Спасибо. Алло!
— Я слушаю.
— Нужно ли платить за номер?
— Нет. К вашим услугам.
— Совсем ничего?
— Совсем ничего. К вашим услугам.
— А есть ли в гостинице... ресторан?
— Да, четыре ресторана. Вам угодно завтрак в номер?
— Хорошо. А... за еду я должен платить?
— Нет. К вашим услугам. Кальстер уже у вас. Сию минуту будет завтрак.

Робот отключился, и я не успел спросить, где искать этот самый кальстер. Встав из-за письменного стола — он, покинутый, тут же уменьшился и увял, — я увидел нечто вроде пюпитра, выставшего возле двери, из стены; там лежал обернутый в прозрачный пластик плоский предмет, похожий на маленький портсигар. С одной стороны был ряд окошечек, в них виднелось число 11001000. Внизу — две крошечных кнопочки, единица и ноль. Растерявшись, я смотрел на них, пока вдруг не понял, что сумма 5000 занесена на счет по двоичной системе. Я нажал на единицу, и на мою ладонь выпал маленький пластмассовый треугольник с цифрой 1. Значит, это было печатное или штамповальное устройство, изготавливающее деньги на сумму, указанную в окошечках, — цифра наверху уменьшилась на единицу.

Одевшись и уже собираясь уходить, я вспомнил про Адапт. Связался с ним и объяснил, что не смог найти их человека в Терминале.

— Мы уже беспокоились о вас, — произнес женский голос, — но утром узнали, что вы поселились в «Алькароне»...

Они узнали, где я! Почему же не отыскиали меня на вокзале? Конечно, меня потеряли нарочно: я должен был заблудиться, чтобы осознать, сколь неуместен был мой «бунт» на Луне.

— У вас отличная информация, — любезно ответил я. — Пока что я осматриваю город. К вам прибуду позже.

Я вышел из комнаты; коридоры, серебряные и движущиеся, пол скользил вместе со стенами — это было для меня ново. Я спустился на эскалаторе, минуя на очередных этажах бары; один — зеленый, словно погруженный в воду, на каждом ярусе преобладал какой-нибудь один цвет; серебряный, золотой, мне это уже надоело до смер-

ти. А ведь прошел один день! А им нравится. Забавно! Странные вкусы. Я вспомнил ночной вид на Терминал.

Нужно немножко привести себя в порядок, решил я, выходя на улицу. День был облачный, но облака — светлые, высокие, сквозь них иногда проглядывало солнце. Только теперь я увидел — с бульвара, посреди которого тянулся двойной ряд огромных пальм с розовыми, как языки, листьями, — панораму города. Здания стояли отдельными островами, кое-где в небо упирались остроконечные башни, этакие застывшие извержения строительного материала неправдоподобной высоты. Наверняка они насчитывали несколько километров. Я знал — кто-то говорил мне еще на Луне, — что теперь таких уже не строят и стремление ввысь умерло естественной смертью сразу же после их сооружения. Они были просто памятником архитектурной эпохи, ведь, кроме высоты, смягчаемой лишь их стройностью, они ничем не радовали взор. Они походили на темно-коричнево-золотые, бело-черные, в поперечную полоску или серебряные трубы, которые должны были не то подпирать, не то ловить тучи, а установленные на них посадочные площадки на фоне неба напоминали этажерки.

Несравненно приятнее выглядели новые дома, без окон, с разукрашенными стенами. Здесь город казался гигантской художественной выставкой, смотром мастеров цвета и формы. Не могу сказать, что мне нравилось все, украсившее эти двадцати- и тридцатизэтажные сооружения, но для стопятидесятилетнего зрителя мой вкус был не так уж консервативен. Особенно мне понравились дома, разделенные пополам садами (а может, оранжереями с пальмами), таким образом, что здание было посередине разрезано и как бы подвешено на воздушной подушке (стены высотных зимних садов были стеклянные), приятные своей нечеткостью полосы буйной зелени пересекали строение, создавая впечатление легкости.

По бульварам, вдоль рядов тех мясистых пальм, которые мне очень не нравились, двигались два потока черных автомобилей. Я уже знал, что они называются глайдеры. Над домами появлялись летающие машины — не вертолеты и не самолеты, — машины, похожие на очиненные с обоих концов карандаши.

На тротуарах было немного народу, гораздо меньше, чем сто лет назад. Движение стало значительно менее

интенсивным, особенно пешеходное, вероятно, благодаря множеству уровней, ведь под городом, который я видел, простирались его другие, нижние, подземные этажи с улицами, площадями, магазинами,— только что Инфор на углу сообщил мне: покупки лучше всего делать на уровне Серean. Инфор был просто гениальный, а может, я немного подучился объясняться, во всяком случае, Инфор дал мне пластиковую книжечку с четырьмя раскладными страничками, где были схемы маршрутов городского транспорта. Когда я хотел куда-нибудь попасть, я касался напечатанного серебром названия и на плане загорались линии всех нужных мне средств сообщения. Я мог поехать на глайдере. Или на расте. И наконец — идти пешком; поэтому и были четыре карты. Однако я понял уже, что пешеходные путешествия (даже по передвижным тротуарам и эскалаторам) отнимают подчас очень много времени.

Серean был вроде бы на третьем уровне. И опять вид города поразил меня: выйдя из тоннеля, я попал не в подземелье, а на улицу под небом, залитую солнцем, посреди площади росли высокие пинии, вдали голубели полосатые «остроконечники», а на противоположной стороне, за маленьким бассейном, в котором плескались дети, разъезжая по воде на разноцветных велосипедиках, стояло пересеченное полосами зеленых пальм белое многоэтажное здание с преудивительным, блестящим, как стекло, колпаком наверху. Жаль, не у кого было выяснить эту загадку. Но тут я вспомнил,— а точнее, мне напомнил желудок,— что остался без завтрака. Я совсем забыл, что завтрак должны были подать в номер, и не дождался его. Может быть, робот из администрации что-нибудь напутал.

Значит, нужно обратиться к Инфору; теперь я ничего не делал, не разузнав сперва поподробнее, что и как; кстати, Инфор мог и глайдер заказать, но просить об этом я пока не решался, ибо не знал, как в него сесть и что потом делать; время у меня еще было.

В ресторане, едва бросив взгляд на меню, я убедился, что оно для меня — китайская грамота, и твердо потребовал подать завтрак; обычный завтрак.

— Озот, кресс, черма?

Если бы официант был человеком, я сказал бы, чтобы он принес то, что предпочитает сам, но он был роботом. Ему было все равно.

— А кофе нет? — забеспокоился я.

— Есть. Кресс, озот, черма?

— Кофе и... как его, ну, что лучше всего с кофе, этот...
э-э-э...

— Озот,— заключил он и ушел.

Фокус удался.

Видно, у него все уже было приготовлено, потому что он тотчас же вернулся с подносом, таким полным, что я готов был заподозрить какой-то обман или розыгрыш. Но вид этого подноса заставил меня ощутить со всей остротой, что, кроме вчерашнего бонса и кружки пресловутого брита, у меня с самого приезда во рту не было ни крошки.

Знаком мне с виду был лишь кофе, напоминавший хорошо прокипяченную смолу. Сливки в голубую крапинку, наверняка не из коровьего молока. Жаль, что я не мог подсмотреть, как все это едят, но время завтрака, видимо, уже прошло, я был один. Серповидные тарелочки с дымящейся массой, из которой торчали какие-то спички, в середине нечто вроде печеного яблока; конечно, не яблоко и не спички, а то, что я принял за овсянку, стало подниматься, едва я коснулся кушанья ложечкой. Я съел все — оказывается, я был невероятно голоден. О хлебе (которого не было и следа) я вспомнил с сожалением только потом, когда робот появился, ожидая в некотором отдалении.

— Сколько я должен? — спросил я его.

— Спасибо, нисколько,— ответил робот, похожий на какой-то механизм. У него был один хрустальный круглый глаз. В глубине что-то двигалось, но заглянуть туда я не решился. Даже на чай дать некому. Неизвестно, поймет ли он меня, если попросить газету. Может, их уже нет. И я отправился за покупками. Но первым мне попало бюро путешествий. Меня осенило. Я вошел внутрь.

В большом зале, серебряном с изумрудными консолями (меня от этих красок уже с души воротило), было почти пусто. Матовые оконные стекла, огромные цветные фотографии каньона Колорадо, кратеров Архимеда, утесов Деймоса, Палм-Бич, Флориды — сделано все так, что смотревший видел глубину, даже морские волны двигались, словно это не фотографии, а открытые окна, выходящие на реальную местность. Я подошел к окошечку с надписью: ЗЕМЛЯ.

Там, конечно, сидел робот. На сей раз — золотой. А точнее, припудренный золотом.

— Чем можем вам служить? — спросил он глубоким голосом. С закрытыми глазами я поклялся бы, что говорит немолодой грузный мужчина.

— Мне хотелось бы чего-нибудь примитивного, — сказал я. — Я только что возвратился из далекого путешествия — из очень далекого. Чрезмерного комфорта не нужно. Покой, вода, деревья, возможно, горы. Примитив, старина. Как сто лет назад. Найдется что-нибудь такое?

— Если вам так угодно, должно найтись. Скалистые горы, форт Плумм. Майорка, Антильские острова.

— Поближе, — сказал я. — Так... в радиусе тысячи километров. Как?

— Клавестра.

— Где это?

Я уже заметил, что с роботами разговоры мне отлично удаются, поскольку те абсолютно ничему не удивляются. Не могут. Весьма разумно придумано.

— Старый горняцкий поселок у Тихого океана. Копи не разрабатываются почти четыреста лет. Интересные экскурсии по штрекам. Удобное сообщение ульдерами и глайдерами. Дома отдыха с врачебной помощью, виллы в наем с садами, бассейны, климатическая стабилизация, местный отдел нашего бюро организует всякого рода развлечения, экскурсии, игры, вечера. На месте имеются реаль, мут и стереон.

— Да, это могло бы мне подойти, — сказал я. — Вилла с садом. И чтобы была вода. Бассейн, да?

— Естественно. Бассейн с трамплинами, есть также искусственные озера с подводными гротами, отличная база подводного плавания, подводные представления...

— Представления меня не интересуют. Сколько это стоит?

— Сто двадцать итов в месяц. А если с кем-нибудь вместе, то всего сорок.

— Вместе?

— Виллы весьма просторны, позволю заметить. От двенадцати до восемнадцати помещений. Автоматическое обслуживание, своя кухня, местная или экзотическая, — на выбор.

— Так. Может, действительно... Хорошо, меня зовут Брегг. Я согласен. Как называется местность? Клавестра? Платить сразу?

— Как вам угодно.

Я подал кальстер.

Оказалось (о чем я не знал), что включить его могу только я, но и этой моей неосведомленности робот не удивился. Мне все больше нравились роботы. Он показал мне, как сделать, чтобы из кальстера выпал только один жетон с нужной цифрой. Настолько же уменьшится цифра в окошечках наверху, показывающая, сколько осталось на моем счету.

— Когда я смогу туда поехать?

— Когда вам угодно. В любой момент.

— Одну минутку — а с кем я должен делить виллу?

— Маджеры. Он и она.

— Можно узнать, кто они такие?

— Могу сказать только, что это молодые супруги.

— Гм. А я им не помешаю?

— Нет, раз полвиллы сдается. Целый этаж будет исключительно в вашем распоряжении.

— Хорошо. Как мне туда добраться?

— Лучше всего на ульдере.

— Как это сделать?

— Подам вам ульдер на тот день и час, который вы назначите.

— Я позвоню из гостиницы. Можно?

— Пожалуйста. Плата будет начисляться с момента вашего приезда на виллу.

Когда я вышел, у меня уже наметился план. Накуплю книжек и немного спортивных принадлежностей. Но самое важное все-таки книги. Нужно выписать кое-какие специальные журналы. По социологии, по физике. Несомненно, они сделали множество вещей за сто с лишним лет. Да, надо и одежду какую-нибудь купить.

Но мои планы опять были спутаны. За углом, не веря собственным глазам, я увидел автомобиль. Настоящий автомобиль. Может, не совсем такой, какие помнил я, — кузов был смоделирован из одних острых углов. И все-таки это был настоящий автомобиль, с пневматическими шинами, дверцами, рулем, — за ним стояли другие. За большой витриной; на ней крупными буквами: АНТИКВА-РИАТ. Я вошел внутрь. Владелец — или продавец — был человеком. Жаль, подумал я.

— Можно ли купить автомобиль?

— Конечно. Какой вы хотите?

— А сколько они стоят?

— От четырехсот до восьмисот итов.

Ничего себе, подумал я. Впрочем, за древности надо платить.

— А можно ли в нем ездить?

— Разумеется. Не всюду, правда, есть местные запреты, но вообще-то можно.

— А как с горючим? — спросил я осторожно, ибо понятия не имел, что скрывается под капотом.

— С этим трудностей не будет. Одной заправки хватит на всю жизнь автомобиля. Включая, естественно, парастаты.

— Хорошо, — сказал я. — Я хотел бы покрепче, попрочнее. Не обязательно большой, но скоростной.

— Тогда я посоветовал бы вам вот этот джабиле или вон ту модель...

Продавец повел меня в глубину большого зала, вдоль машин, сверкавших как новенькие.

— Разумеется, — продолжал продавец, — с глайдерами померяться они не могут, но ведь автомобиль сегодня — не средство сообщения...

А что он такое? — хотел я спросить, но промолчал.

— Хорошо... Сколько стоит эта машина? — показал я на бледно-голубой лимузин с глубоко посаженными серебряными фарами.

— Четыреста восемьдесят итов.

— Но я хотел бы пользоваться им в Клавестре, — заметил я. — У меня там снята вилла. Точный адрес может дать бюро путешествий, здесь, на этой улице...

— Отлично. Можно отправить ульдером, это ничего не будет стоить.

— Ах так? Я должен ехать туда на ульдере...

— Прошу вас в таком случае сообщить только дату, доставим в ваш ульдер, это будет проще всего. Разве что вам будет угодно...

— Нет, нет. Можно и так, как вы говорите.

Я заплатил за автомобиль — с кальстером у меня получилось уже совсем неплохо — и покинул антиквариат, пропитанный запахом лака и резины. Запах этот показался мне изумительным.

С одеждой получилось совсем плохо. Почти ничего из того, что я знал, не существовало. Кстати, выяснилась тайна загадочных бутылочек в гостиничном шкафчике с надписью: «Купальные халаты». Не только такой халат, но и одежда, чулки, свитеры, белье — все расплылось из бутылочек. Понятно, женщинам это должно было очень

правиться: действуя полудесятком или даже дюжиной бутылочек, извергающих жидкость, тут же застывающую в ткани гладкой или шероховатой фактуры, вроде бархата, меха или эластичного металла, можно было каждый раз создавать новый роскошный наряд, только на один выход. Конечно, не каждая женщина сама делала это, были специальные салоны пластирования (вот чем занималась Наис!), но проистекавшая из такого занятия облегающая мода не очень мне подходила. И вообще мне показалось слишком неудобно одеваться с помощью бутылочек-распылителей. Было немного готовых вещей, но те мне негодились; самые большие оказывались малы размера на четыре. В конце концов я решился обзавестись бельем в бутылочках, видя, что моя рубашка долго не выдержит. Я мог, конечно, забрать свои вещи с «Прометея», но и там не было костюмов и белых рубашек: в окрестностях созвездия Фомальгаут они ни к чему. Я взял еще несколько пар штанов из ткани вроде тика, для работы в саду, лишь у них были довольно широкие штанины, и их можно было отпустить. За все вместе я заплатил один ит — столько стоили штаны. Остальное — даром. Распорядившись прислать отобранные вещи в гостиницу, я поддался уговорам и посетил салон моды, просто из любопытства. Меня принял тип с миной художника-живописца, сначала осмотрел меня, согласился, что мне следует носить скорее свободные вещи; заметно было, что я ему не очень понравился. Он мне тоже. Дело кончилось несколькими свитерами, которые он сделал тут же, при мне. Я стоял, подняв руки, а он лихорадочно работал, действуя около меня сразу четырьмя распылителями. Жидкость, пенившаяся в воздухе, застывала почти моментально. Из нее получились свитеры разных цветов, один — черный, с красной полосой на груди; самое трудное, как я заметил, — отделка воротника и рукавов. Тут действительно требовалось большое умение.

Потом я очутился на улице, под ярким полуденным солнцем. Глайдеров было немного меньше, зато над крышами — множество сигарообразных машин. Толпы текли по эскалаторам на нижние ярусы, все торопились, только у меня было время. Я погрелся часок на солнышке под рододендронам с одеревеневшими чешуйками от опавших листьев, потом вернулся в гостиницу. В вестибюле на первом этаже взял электробритву; принявшись в ванной за бритье, заметил, что приходится немного наклоняться к зеркалу, хотя раньше, мне помнилось, я смотрелся в зеркало, стоя

прямо. Разница была минимальная, но еще раньше, снимая рубашку, я заметил нечто необычное: рубашка стала короче. словно бы села. Теперь я присмотрелся к ней внимательно. Ни рукава, ни воротничок не изменились. Я положил ее на стол. Она была точь-в-точь такая, как прежде, и все-таки, когда я ее надел, доставала мне лишь немного ниже пояса. Это я изменился, а не она. Я вырос.

Мысль была дикая, тем не менее она меня встревожила. Я связался с гостиничным Инфором и попросил дать адрес специалиста по космической медицине. После короткого молчания — автомат словно бы колебался с ответом — я услышал адрес. Врач жил на той же улице, несколькими домами дальше. Я пошел к нему. Робот провел меня в большую, затемненную пустую комнату.

Вскоре появился врач. Выглядел он так, словно сошел с семейной фотографии в кабинете моего отца. Маленького роста, но не миниатюрный, седой, с небольшой бородкой, в золотых очках, — первых очках, увиденных мной с момента приезда. Звали его доктор Жюффон.

— Гэл Брегг? — спросил он. — Это вы?

— Да.

Он долго молчал, глядя на меня.

— Что вас беспокоит?

— Собственно говоря, ничего, доктор, кроме... — Я сообщил о своих странных наблюдениях.

Он молча открыл дверь. Я прошел в небольшой кабинет.

— Разденьтесь, пожалуйста.

— Совсем? — спросил я, раздевшись до пояса.

— Да.

Он осмотрел меня с ног до головы.

— Нет уже таких мужчин, — заметил он негромко, словно говорил сам с собой. Он выслушал мое сердце, прикладывая мне к груди холодный стетоскоп. И через тысячу лет будет точно так же, подумал я, и от этой мысли почему-то стало приятно. Врач измерил мой рост, потом велел лечь. Осмотрел внимательно шрам под правой ключицей, но ничего не сказал. Обследовал он меня почти час.

Рефлексы, объем легких, электрокардиограмма, — все. Когда я оделся, врач сел за маленький черный письменный стол. Ящик стола заскрипел, когда врач в поисках чего-то выдвинул его. После всей этой мебели, которая скакала вокруг меня как одержимая, старый письменный стол мне очень понравился.

- Сколько вам лет?
Я объяснил ему все.
- У вас организм мужчины, которому за тридцать,— заявил врач.— Вас замораживали?
- Да.
- Надолго?
- На год.
- Почему?
- Мы возвращались на увеличенной тяге. Пришлось лечь в воду. Амортизация, понимаете, доктор, а поскольку трудно год лежать в воде, бодрствуя...
- Конечно. Я думал, вас замораживали на больший срок. Этот год вы спокойно можете не считать. Не сорок лет, а тридцать девять.
- А... что?
- Ничего страшного, Брегг. Сколько было?
- Ускорение? Два «же».
- Вот видите. Вы думали, что растете? Ничуть вы не растете. Просто межпозвоночные диски. Знаете, что это такое?
- Знаю, такие хрящи в позвоночнике.
- Вот-вот. Теперь, когда вы избавились от этого пресса, они расправляются. Какого вы роста?
- Когда улетал, было сто девяносто семь.
- А потом?
- Не знаю. Я не измерял, было много других дел, знаете ли.
- Теперь — два метра два.
- Хорошенькое дело,— сказал я.— И долго еще так?
- Нет. По-видимому, уже все... Как вы себя чувствуете?
- Хорошо.
- Все кажется слишком легким, да?
- Уже меньше. В Адапте, на Луне, мне дали такие пилюли, чтобы уменьшить мышечное напряжение.
- Вас дегравитировали?
- Да. Первые три дня. Говорили, что это слишком мало после стольких лет, а с другой стороны, не хотели нас после всего, что было, опять долго держать взаперти...
- А как с самоощущением?
- Ну...— я колебался,— иногда... у меня бывает впечатление, будто я — неандерталец, которого привезли в город...
- Что вы собираетесь делать?

Я сказал ему про виллу.

— Может, это и неплохо,— заметил он,— но...

— В Адапте было бы лучше?

— Я так не говорю. Вы... я вас помню, знаете ли...

— Как так? Не могли же вы...

— Не мог. Но я слышал о вас от отца. Мне тогда было двенадцать лет.

— Ох, это происходило, видимо, много лет спустя после нашего старта? — спросил я. — И о нас еще помнили? Странно.

— Я так не считаю. Странно, что о вас забыли. Вы же знали, как будет выглядеть возвращение, хоть и не могли, конечно, себе этого представить?

— Знал.

— Кто вас направил ко мне?

— Никто. То есть... Инфор в гостинице. А что?

— Забавно,— заметил мой собеседник. — Я ведь, собственно, не врач.

— Да?

— Я не практикую уже сорок лет. Занимаюсь историей космической медицины: она уже стала историей, Брегг, и кроме Адапта специалистам работать уже негде.

— Простите, я не знал...

— Чепуха. Я должен быть вам благодарен. Вы — живое опровержение тезисов школы Мильмана о вредном влиянии увеличенного тяготения на организм. У вас нет даже гипертрофии левого желудочка и ни следа эмфиземы... у вас отличное сердце. Вы об этом знаете?

— Знаю.

— Как врач я вам больше ничего не могу сказать, Брегг, но в остальном...

Он явно колебался.

— Да?

— Как вы ориентируетесь в нашей... современной жизни?

— Туманно.

— У вас седые волосы, Брегг.

— А это имеет какое-нибудь значение?

— Да. Седина означает старость. Никто теперь не седеет раньше восьмидесяти, да и то редко.

Я сообразил, что и впрямь почти совсем не видел старых людей.

— Почему? — спросил я.

— Есть соответствующие препараты, лекарства, оставляющие посещение. Можно также восстановить цвет волос, но это несколько сложнее.

— Ну, хорошо,— заявил я,— но почему вы мне все это говорите?

Он замялся. Потом ответил кратко:

— Женщины, Брегг...

Я вздрогнул.

— Я выгляжу стариком?

— Не стариком, а атлетом... но вы же прогуливаетесь не нагишом. Особенно, когда вы сидите, у вас такой вид... обычный человек примет вас за омоложенного старика. После реювенильного, гормонального и тому подобного лечения.

— Что поделать,— произнес я. Не знаю, почему я так неуютно чувствовал себя под его спокойным взглядом. Врач снял очки и положил их на письменный стол. У него были голубые, чуть слезящиеся глаза.

— Вы многого не понимаете, Брегг. Если бы вы собирались до конца дней своих отречься от нормальной жизни, ваше «что поделать», возможно, и было бы уместно, но... наше общество не испытывает особого энтузиазма от дела, которому вы отдали нечто большее, чем жизнь.

— Не надо так, доктор.

— Я говорю так, ибо я так думаю. Отдать только жизнь, ну и что? Люди поступали так из века в век... Но пожертвовать всеми друзьями, родителями, родными, знакомыми, женщинами,—ведь вы пожертвовали ими, Брегг!

— Доктор...

Слова застряли у меня в горле. Я облокотился о старый письменный стол.

— Кроме горстки специалистов все это никого не интересует, Брегг. Вы знаете об этом?

— Да. Мне сказали на Луне, в тамошнем Адапте... только... выразились мягче.

Мы долго молчали.

— Общество, в которое вы вернулись, стабилизировано. Оно живет спокойно. Вы понимаете? Романтизм раннего периода астронавтики прошел. Тут некая аналогия с историей Колумба. Его экспедиция была чем-то необыкновенным, но кто интересовался двести лет спустя капитанами парусников? О вашем возвращении было краткое сообщение в реале.

— Доктор, ведь это не имеет никакого значения,— возразил я. Его сочувствие начинало раздражать меня больше, чем равнодушие других. Но этого я ему сказать не мог.

— Имеет, Брегг, хотя вы и не хотите допустить такой мысли. Если бы вы были кем-нибудь другим, я промолчал бы, но вам следует знать правду. Вы — один-одинешенек. Человек не может жить один. То, чем вы интересуетесь, то, с чем вы вернулись,— капля в море невежества. Сомневаюсь, чтобы многие захотели слушать то, что вы собираетесь рассказать. Я отношусь к таким людям, но мне восемьдесят девять...

— Мне нечего рассказывать,— возразил я со злостью.— Во всяком случае, у меня нет никаких сенсаций. Мы не открыли никакой галактической цивилизации, а я вообще был просто пилотом. Я вел корабль. Кто-то должен был это делать.

— Да? — тихо произнес врач, поднимая белые брови. Внешне я был бесстрастен, но во мне поднималась злость.

— Да! Тысячу раз да! А нынешнее равнодушие, если уж вы хотите знать, задевает потому, что многие вообще не вернулись...

— А кто не вернулся? — совершенно спокойно спросил врач.

Я несколько успокоился.

— Многие. Ардер, Вентури, Эннессон. Доктор, зачем...

— Я спрашиваю не из простого любопытства. То была — поверьте, и я не люблю высокопарных слов — как бы моя собственная молодость. Из-за вас я посвятил себя этой научной проблеме. Мы уравнины нашей бесполезностью. Естественно, вы можете не признавать этого. Не буду настаивать. Но мне хотелось бы знать, что стряслось с Ардером.

— Точно не известно,— ответил я. Мне вдруг все стало безразлично. В конце концов, почему бы и не рассказать? Я смотрел на потрескавшуюся столешницу письменного стола. Никогда не думал, что все это будет выглядеть именно так.

— Мы вели два зонда над Арктуром. Я потерял с ним связь. Не мог его найти. Молчало его радио, а не мое. Когда у меня подошел к концу кислород, я вернулся.

— Вы ждали?

— Да. То есть я летал вокруг Арктура. Шесть дней. Если точно, то сто пятьдесят шесть часов.

— Один?

— Да. Мне не повезло, на Арктуре появились новые пятна, полностью нарушилась связь с «Прометеем». С моим кораблем. Помехи. Он сам, без радио, не мог вернуться. Ардер, я о нем говорю. В зондах телеран курса связан с радио. Ардер не мог вернуться без меня и не вернулся. Джимма вызвал меня. Он был прав, я потом — от нечего делать — подсчитал, какова была вероятность обнаружить Ардера на экране радара: не помню точно, кажется, один к триллиону. Надеюсь, он сделал то же, что и Арне Эннессон.

— А что сделал Арне Эннессон?

— Он потерял фокусировку луча. У него стала слабеть тяга. Он удержался бы на орбите какие-нибудь сутки, вращаясь по спирали, и в конце концов упал бы на Арктур. Вот он и предпочел сразу войти в протуберанец. Он сгорел у меня на глазах.

— Сколько было пилотов, кроме вас?

— На «Прометее» пятеро.

— Сколько вернулось?

— Олаф Стааве и я. Знаю, доктор, вы думаете: героизм. Я тоже когда-то так думал, читая книги о таких людях. Неправда. Слышите? Если бы я мог, я бросил бы этого Ардера и вернулся бы сразу, но я не мог. Ардер тоже бы не вернулся на моем месте. И никто не вернулся бы. Джимма тоже...

— Почему вы так... от этого отрекаетесь?

— Потому что есть разница между героизмом и необходимостью. Я сделал то, что сделал бы каждый. Доктор, чтобы понять, надо там побывать. Человек — просто пузырек в потоке. Достаточно нарушения фокусировки или размагничивания поля, начинается вибрация и моментально сворачивается кровь. Обратите внимание, я говорю не о внешних причинах, таких, как например, метеоры, а говорю о последствиях дефектов. Достаточно любой пакости, любого перегоревшего проводочка в аппаратах связи — и конец. Если бы и люди подводили в таких условиях, экспедиции были бы самоубийством, понимаете? — Я на секунду закрыл глаза. — Доктор, неужели теперь не летают? Как это могло случиться?

— Вы полетели бы?

— Нет.

— Почему?

— Я вам скажу. Ни один из нас не полетел бы, если бы знал, каково там. Этого никто не знает. Никто из тех, кто там не бывал. Мы были кучкой смертельно перепуганных, загнанных в ловушку животных.

— Как все это у вас согласуется с тем, что вы сказали минуту назад?

— Никак. Так было. Мы боялись. Доктор, ведь я, когда ждал Ардера, облетая вокруг Аркура, понавыдумывал себе разных людей и беседовал с ними, говорил за себя и за них и в конце концов поверил, что они находятся со мной. Каждый спасался как мог. Подумайте, доктор. Я сижу здесь перед вами, я снял виллу, купил старый автомобиль, хочу учиться, читать, плавать в бассейне, но то, все то, во мне. То пространство, та тишина, и Вентури — он кричал, чтобы ему помогли, а я дал полный назад!

— Почему?

— Я управлял «Прометеем»; у Вентури отказал реактор. Он мог разнести нас вдребезги. Реактор не взорвался; он не разнес бы нас. Может, мы успели бы его вытащить, но я не имел права рисковать. Тогда, в случае с Ардером, было наоборот. Я хотел спасти его, а Джимма вернул меня: он боялся, что погибнем мы оба.

— Брегг... скажите мне, чего вы ждали от нас? От Земли?

— Понятия не имею. Никогда об этом не думал. Было так, словно кто-то говорил, что загробная жизнь или рай — будет, но вообразить их никто не мог. Доктор, хватит. Не надо об этом. Мне хотелось бы у вас спросить еще об одном. Как обстоит дело с этой бетризацией?

— А что вы о ней знаете?

Я сказал ему. Но не сообщил, при каких обстоятельствах и от кого узнал.

— Так, — произнес врач. — В общем, дело обстоит приблизительно так.

— А я?

— Закон делает для вас исключение, потому что бетризация взрослых небезвредна для их здоровья и даже опасна. Кроме того, считается — не без основания, полагаю, — что вы прошли проверку... морального облика. К тому же вас... немного.

— Доктор, еще один вопрос. Вы говорили о женщинах. Почему вы мне это сказали? Простите, я отнимаю у вас время?

— Нет, не отнимаете. Почему я сказал? У человека есть близкие. Родители. Дети. Друзья. Женщины. Родителей и детей у вас нет. Друзей у вас быть не может.

— Почему?

— Я не имею в виду ваших товарищей, хотя не знаю, захочется ли вам постоянно быть в их кругу, вспоминать...

— О небеса, с какой стати! Ни за что в жизни!

— Вот видите. Вам знакомы две эпохи. В одной вы провели молодость, с другой вы очень быстро познакомитесь. Если учесть ваши десять лет, никто из ровесников по своему опыту не сравнится с вами. Значит, они не могут быть равноценны вам в общении. Не среди стариков же вам жить? Остаются женщины, Брегг. Только женщины.

— Может, все-таки одна женщина? — буркнул я.

— Одна — это сейчас затруднительно.

— Как?

— Эпоха благосостояния. В отношении эротических проблем эпоха безжалостная. Поскольку ни любви, ни женщин нельзя... раздобыть за деньги. Материальных проблем здесь больше нет...

— И это вы называете безжалостным? Доктор!

— Да. Вы думаете, видимо, — раз я сказал о купленной любви, — что речь идет о проституции, скрытой или явной. Нет. То давно отошло в прошлое. Раньше женщине привлекал успех. Мужчина импонировал ей высоким заработком, профессиональной квалификацией, общественным положением. В обществе полного равенства такое невозможно. За немногими исключениями. Вот если бы вы были, например, реалистом...

— Я реалист.

Доктор улыбнулся.

— У этого слова теперь другое значение. Так называют актера, выступающего в реале. Вы уже были в реале?

— Нет.

— Посмотрите пару мелодрам, и вы поймете, каковы сегодня критерии эротического подбора. Самый важный — молодость. Поэтому все так за нее борются. Морщины, седина, особенно ранняя, производят почти такое впечатление, как в древности — проказа...

— Почему?

— Вам это трудно понять. Аргументы разума бессильны перед господствующей моралью. Вы просто не отдаете себе отчета, как много факторов, прежде решающих в эротической сфере, теперь исчезло. Природа не тер-

пит пустоты, их должны были заменить другие факторы. Или взять явление, с которым вы так сжились, что перестали замечать его исключительность: риск. Его больше нет, Брегг. Мужчина не может произвести на женщину впечатление удаляю, безрассудством, а ведь литература, искусство, вся культура веками основывалась на этой теме: любовь у последней черты. Орфей сошел за Эвридикой в Аид, Отелло от любви убил. Трагизм Ромео и Джульетты... Сегодня трагедий уже нет. Нет даже их возможности. Мы ликвидировали ад страстей, а оказалось, что заодно и небо перестало существовать. Все теперь чуть тепленькое, Брегг.

— Чуть тепленькое?..

— Да. Знаете, что делают даже самые несчастные любовники? Ведут себя благоразумно. Никаких порывов, никакого соперничества...

— Вы... хотите сказать, что все это... исчезло? — спросил я. И впервые почувствовал какой-то суеверный ужас перед этим миром. Старый врач молчал. — Доктор, такое невозможно. Неужели это правда?

— Да. Именно так. И вы, Брегг, должны воспринять это, как воду и воздух. Я говорил, что трудно иметь дело с единственной женщиной. Всю жизнь почти невозможно. В среднем связь длится около семи лет. И это — прогресс. Полвека тому назад средняя продолжительность едва достигала четырех...

— Доктор, мне не хочется отнимать у вас время. Что вы мне посоветуете?

— То, о чем я уже упоминал: восстановить первоначальный цвет волос... Звучит тривиально, конечно. Но это важно. Мне стыдно давать вам такой совет. Не за себя стыдно. Но что я могу...

— Спасибо вам. Правда, спасибо. И последнее. Скажите мне... Как я выгляжу... на улице? В глаза прохожих? Что во мне такого...

— Брегг, вы другой. Во-первых, ваши размеры. Вы — словно персонаж из «Илиады». Пропорции из глубокой древности... Они могут даже давать некоторый шанс, хотя вы знаете, какова судьба тех, кто чересчур отличается.

— Знаю.

— Вы немножко великоваты, Брегг. Я не помню таких даже во времена моей молодости. Сейчас вы выглядите, как очень высокий и скверно одетый человек. Но дело не в

том, что одежда плохо на вас сидит, дело в вашей неслыханной мускулатуре. Перед полетом вы выглядели так же?

— Нет, доктор. Двойная сила тяжести, знаете ли.

— Возможно...

— Семь лет. Семь лет двойного тяготения. Мышцы не могли не увеличиться — дыхательные, брюшные, я знаю, какой у меня загрибок. Но иначе я задохнулся бы там, как крыса. Мышцы работали, даже когда я спал. Даже когда меня заморозили. Все весило вдвое больше. Вот в чем дело.

— А у других? Простите, что спрашиваю, это — любопытство медика... Таких долгих экспедиций никогда не было, знаете ли...

— Знаю. У других? У Олафа почти как у меня. Наверное, зависит от скелета, я всегда был широк в кости. Ардер был крупнее меня. Выше двух метров. Да, Ардер... Что я говорил? Другие, — так вот, я был моложе всех и поэтому лучше всех адаптировался. Так, по крайней мере, утверждал Вентури. Знакомы ли вам работы Янссена?

— Знакомы ли? Это наша классика, Брегг.

— Да? Смешно. Он был такой суетливый человечек... Я выдержал у него семьдесят девять «же» в течение полутора секунд, знаете ли.

— Что вы говорите?

— У меня есть письменное подтверждение. Но это было сто тридцать лет назад. Теперь для меня и сорок слишком много.

— Брегг, сегодня и двадцати никто не выдержит!

— Почему? Может, из-за бетризации?

Врач молчал. Мне показалось, он чего-то не договаривает. Я встал.

— Брегг, — заговорил врач, — раз уж мы коснулись этого: будьте осторожны.

— С чем?

— С собой и с другими. Прогресс никогда не проходит даром. Мы избавились от многих тысяч опасностей и конфликтов, но за это надо было платить. Общество стало мягче, а вы... вы можете проявить... твердость. Вы понимаете?

— Понимаю, — сказал я, думая о человеке, смеявшемся в ресторане и замолчавшем, когда я к нему подошел. — Доктор, — я восторжен, — правда... я ночью встретил льва. И даже двух. Почему они меня не тронули?..

— Хищников больше нет, Брегг... Бетризация... Вы встретили их ночью? И что вы сделали?

— Стал чесать им шею,— сообщил я и показал как.— Но «Илиада», доктор, это преувеличение. Я порядком перепугался. Сколько я вам должен?

— Прошу вас об этом даже не думать. И если вам когда-нибудь захочется...

— Спасибо.

— Только не откладывайте в долгий ящик,— добавил он, когда я уходил. Лишь на эскалаторе я понял, что это означало: врачу ведь было почти девяносто лет.

Я вернулся в гостиницу. В вестибюле был парикмахер. Разумеется, робот. Я велел подстричь меня. Оброс я изрядно — прямо грива на голове. Больше всего седины было на висках. Когда стрижка закончилась, мне показалось, что теперь я выгляжу не так дико. Робот мелодичным голосом спросил, не подкрасить ли.

— Нет,— сказал я.

— Апрекс?

— Что это такое?

— Против морщин.

Я колебался, чувствуя себя ужасно глупо, но доктор, возможно, был прав.

— Хорошо,— согласился я. Он покрыл мне лицо слоем резко пахнущего желатина, который застыл маской. Потом я лежал с компрессами, радуясь, что мое лицо закрыто.

Я поехал наверх; в номере уже лежали свертки с жидким бельем; я сбросил одежду и вошел в ванную. Там было зеркало.

Да. Напугать я мог. Я не знал, что выгляжу как ярмарочный силач. Бугристые мышцы, коренастый торс, и вообще я напоминал какую-то корягу. Когда я поднял руку и под кожей вздулась мышца, стал виден шрам шириной в ладонь. Я попробовал рассмотреть второй, у лопатки; тогда меня называли счастливым: пройди осколок на три сантиметра левее, он перебил бы мне позвоночник. Я ударил себя кулаком в твердый, как доска, живот.

— Ах ты, скотина,— сказал я в зеркало. Мне хотелось принять ванну, настоящую ванну, а не озоновый вихрь, и меня обрадовала мысль о бассейне при вилле. Я хотел надеть что-нибудь новое, но не мог почему-то расстаться с брюками. Поэтому я надел только белый свитер, хотя мой старый, черный, протертый на локтях, нравился мне гораздо больше, и отправился в ресторан.

Половина столиков была занята. Через три зала я прошел на террасу; оттуда были видны широкие бульвары с

бесконечными потоками глайдеров; под облаками, как горный массив, голубел в воздухе Терминал.

Я заказал обед.

— Какой? — спросил робот. Он собирался подать мне меню.

— Все равно, — сказал я. — Обычный обед.

Только начав есть, я заметил, что столики вокруг меня пусты. Совершенно бессознательно, не отдавая себе в этом отчета, я искал уединения. Я понятия не имел, что я ем. Уверенность, что мой замысел хорош, покинула меня. Каникулы, словно сам себя вознаграждаю, раз никто об этом не подумал. Бесшумно приблизился официант.

— Вы Брегг, не правда ли?

— Да.

— У вас в номере гость.

— Гость?

Я сразу подумал о Наис. Допив темную, шипучую жидкость, я встал, спиной чувствуя сопровождавшие меня взгляды. Хорошо бы укоротить себя сантиметров на десять. В номере сидела молодая женщина — я видел ее впервые в жизни. Серое пушистое платье, фантастическая красная отделка на плечах.

— Я из Адапта, — отрекомендовалась она. — Мы с вами сегодня разговаривали.

— А, это были вы?

Я насторожился. Зачем я им опять понадобился?

Она села. Я тоже.

— Как вы себя чувствуете?

— Прекрасно. Сегодня был у врача, он меня обследовал. Все в порядке. Снял виллу, хочу немного почитать.

— Весьма разумно. В этом отношении Клавестра — замечательное место. Горы, покой...

Она знала про Клавестру. Следили они за мной, что ли? Я сидел неподвижно в ожидании дальнейшего.

— Я принесла вам... кое-что.

Женщина показала на маленький пакет, лежавший на столе.

— Это наше новейшее устройство. знаете ли, — говорила она с несколько неестественным оживлением. — Ложась спать, вы будете включать аппарат... и в течение пятнадцати-шестнадцати ночей простейшим способом, без всяких усилий, узнаете множество полезнейших вещей.

— Да? Это хорошо, — сказал я.

Она улыбнулась мне. И я улыбнулся, как примерный ученик.

— Вы психолог?

— Вы угадали...

Она остановилась в нерешительности. Я видел: она хочет что-то сказать.

— Я слушаю.

— Вы не рассердитесь?

— Отчего бы мне сердиться?

— Видите ли... Вы одеваетесь немного...

— Знаю. Но я люблю эти брюки. Может, со временем...

— Дело не в брюках. Свитер...

— Свитер? — удивился я. — Мне его сделали только сегодня. Кажется, это последний писк моды, разве не так?

— Так. Только не надо его слишком раздувать... Вы позволите?

— Пожалуйста, — произнес я совсем тихо. Она потянулась ко мне с кресла, ткнула меня в грудь кончиками пальцев и слабо вскрикнула.

— Что у вас там?

— Ничего, кроме меня самого, — ответил я с кривой улыбкой.

Она стиснула руки и встала. Внезапно мое злорадное спокойствие стало ледяным.

— Сядьте же.

— Но ведь... я страшно извиняюсь, я...

— Глупости. Давно вы работаете в Адапте?

— Второй год.

— А-а-а. И первый пациент? — Я показал на себя. Она покраснела. — Могу я вас кое о чем спросить?

Сотрудница Адапта часто-часто заморгала. Может, подумала, не собираюсь ли я пригласить ее на свидание.

— Конечно...

— Как это так устроено, что на каждом ярусе города видно небо?

Она оживилась.

— Очень просто. Телевидение — так это раньше называли. На перекрытиях помещены экраны, на них транслируется все, что над землей, вид неба, туч...

— Но ярусы, видимо, невысоки, а на них стоят даже сороказэтажные дома...

— Это обман зрения, — усмехнулась она, — только часть дома — настоящая, остальное — изображение. Понимаете?

— Понимаю, как это устроено, но не понимаю, зачем.

— Затем, чтобы на любом ярусе живущие там люди не чувствовали себя ущемленными ни в чем...

— А-а-а. Да, остроумно... И еще кое-что. Я собираюсь пойти за книгами. Можете ли вы мне порекомендовать несколько названий из вашей области? Какие-нибудь... компиляции.

— Вы собираетесь изучать психологию? — удивилась она.

— Нет, но мне хочется знать, что вы сделали за это время...

— Я посоветовала бы Майссена.

— Что это такое?

— Школьный учебник.

— Я предпочел бы что-нибудь пообъемистее. Компендиумы, монографии... Всегда лучше получать из первых рук...

— Это будет, возможно, слишком... трудно.

— Возможно, не слишком. В чем заключаются трудности?

— Психология очень математизировалась...

— Я тоже. Для того уровня, что был сто лет назад. Нужно больше?

— Вы же не математик?

— По профессии — не математик, но изучал математику. На «Прометее». Там, знаете ли, было... много свободного времени.

Удивленная, сбита с толку, она больше ничего не сказала. Просто оставила мне листок с перечнем названий. Когда женщина вышла, я вернулся к письменному столу и грузно уселся. Даже она, сотрудница Адапта... Математика? Откуда? Он же дикарь. Ненавижу их, подумал я. Ненавижу. Ненавижу. Не знаю, о ком я думал. Обо всех. Да, обо всех. Меня обманули. Они послали меня, сами не зная, что делают, я не должен был вернуться, как не вернулся Вентури, Ардер, Томас, но я вернулся, чтобы меня боялись, чтобы стать живым укором, которого никто не приемлет. Я ни на что не гожусь, подумал я. Если бы я мог плакать. Ардер мог. Он говорил: не надо стыдиться слез. Возможно, я солгал доктору. Я никому никогда не говорил этого, но я не был уверен, сделал ли бы я такое для кого-нибудь еще, кроме Ардера. Может быть, сделал бы. Для Олафа, позднее. Но твердой уверенности у меня не было. Ардер! Они нас уничтожили, а как мы им верили, как чув-

ствовали все время за спиной Землю, она была с нами, верила в нас, думала о нас. Об этом никто не говорил. К чему? Об очевидном не говорят.

Я встал. Сидеть я не мог. Принялся ходить из угла в угол.

Довольно. Я открыл двери ванной комнаты, но там не было даже воды облить башку. Да что за глупость! Чистейшая истерика.

Я вернулся в комнату и стал укладывать вещи.

III

Всю вторую половину дня я провел в книжном магазине. Книг в нем не было. Их не печатали уже почти полвека. А я так им радовался бы после микрофильмов, составлявших библиотеку «Прометей». Оказалось, радоваться нечему. Уже нельзя было шарить по полкам, взвешивать тома в руке, ощущая их вес, обещавший продолжительность чтения. Теперь книжный магазин напоминал скорее электронную лабораторию. Книгами были кристаллики с введенным в них содержанием. Читали их с помощью оптона. Он даже походил на книжку, но с одним-единственным листком в обложке. От прикосновения на нем появлялись очередные страницы текста. Но оптонами мало пользовались, как сообщил мне робот-продавец. Публика предпочитала лектоны: они читали вслух, их можно было устанавливать по желанию на любой голос, любой темп, любую интонацию. Только научные публикации по узкоспециальным вопросам еще печатались на пластике, имитирующем бумагу. Так что все мои покупки уместились в кармане, хотя там было почти триста названий. Горсть кристаллических зерен — вот как выглядели книги. Я набрал порядочно исторических и социологических трудов, немного работ по статистике и демографии, и то, что сотрудница Адапта порекомендовала мне из области психологии. И пару объемистых учебников математики — объемистых, конечно, не по формату, а по содержанию. Робот, обслуживавший меня, сам был энциклопедией, благодаря тому, что — как он сам сказал — он был подключен через электронные каталоги к оригиналам всевозможных научных трудов на всей Земле. В книжном магазине имелись лишь единичные «экземпляры» книг, а когда кто-нибудь в них нуждался, содержание их вводилось в кристалл.

Оригиналы — невидимые кристоматрицы — помещались за покрытыми бледно-голубой эмалью стальными плитами. Таким образом, книгу как бы заново печатали каждый раз, когда она бывала кому-то нужна. Вопрос тиражей, их размера и наличия больше не существовал. Это было действительно большим достижением, но мне все-таки жаль было книг. Узнав, что есть антиквариаты с бумажными книгами, я разыскал один из них. Но меня ждало разочарование: научных изданий почти не было. Развлекательная литература, кое-какая детская, немного годовых комплектов старых журналов.

Я купил (лишь за старые книги надо было платить) сказки сорокалетней давности, чтобы понять, что именно считают теперь сказками, и отправился на склад спортивного инвентаря. Тут уж мое разочарование не знало границ. Легкая атлетика существовала в какой-то выродившейся, карликовой форме. Бег, метание, прыжки, плавание, но почти никакого соперничества. Бокса уже не было, а то, что называли классической борьбой, выглядело просто смешно: какая-то толкотня вместо честного поединка. В просмотрном зале я увидел одну встречу мирового чемпионата и чуть не лопнул от злости. А временами хохотал, как сумасшедший. Когда я расспрашивал про американскую борьбу, дзюдо, джиу-джитсу, никто даже не знал, что это такое. Вполне понятно, раз футбол приказал долго жить, как вид спорта, где бывали резкие столкновения и травмы. Хоккей сохранился, но какой! Хоккеисты играли в комбинезонах, раздутых до такой степени, что игроки были похожи на огромные мячи. Уморительно выглядели две команды, эластично сталкивавшиеся друг с другом, — фарс, а не матч. Прыжки в воду — да, но лишь с четырехметровой высоты. Я сразу подумал о моем (моем!) бассейне и приобрел складной трамплин, чтобы надстроить тот, который будет в Клавестре. Вся эта жалкая картина была результатом бетризации. О том, что исчезли коррида, петушьи бои и прочие кровопролитные зрелища, я не жалел; не был я и поклонником профессионального бокса. Но та манная кашка, в которую превратился спорт, ничуть меня не привлекала. Проникновение техники в спорт я мог стерпеть лишь в туризме. Он развился, особенно подводный.

Я вволю нагляделся на различные виды аппаратов для ныряния, малые электроторпеды, на которых можно путешествовать на дне озер, глассеры, суда на воздушной

подушке, водяные микроглайдеры. Все это было снабжено специальными устройствами, предохраняющими от несчастных случаев.

Соревнования, кстати, весьма популярные, я не мог признать спортивными; конечно, никаких коней, никаких автомобилей — соревновались машины с автоматическим управлением, можно было делать на них ставки. Традиционный большой спорт почти совсем потерял значение. Мне объяснили, что предел человеческих возможностей был достигнут и улучшать рекорды мог бы лишь человек ненормальный, некий монстр силы или скорости. С этим пришлось согласиться, к тому же легкая атлетика, уцелевшая после гекатомбы, широко распространилась — что весьма похвально, — тем не менее я покинул спортивный склад, проведя там три часа, в весьма угнетенном состоянии духа.

Отобранный гимнастический инвентарь я распорядился послать в Клавестру. От глассера я, подумав, отказался. Хотел купить яхту, но парусных, собственно, не было — то есть настоящих, со швертом, — были какие-то несчастные посудины, гарантирующие устойчивость до такой степени, что и плавать на них никакого удовольствия не было.

В гостиницу я возвращался вечером. С запада наплывали пушистые, розовеющие облака, солнце уже скрылось, взошел тонкий серп молодого месяца, а в зените сиял второй — какой-то огромный искусственный спутник. Высоко над домами роились летательные аппараты. Прохожих стало меньше, зато нарастало движение глайдеров, и проезжую часть опять расчертили светящиеся щели, назначения которых я все еще не знал. Возвращаясь другой дорогой, я попал в большой сад. Сначала мне показалось, что это парк Терминал, но тот, со стеклянной горой вокзала, маячил вдали, в северной, более высокой части города.

Зрелище, кстати, необыкновенное. Когда на окрестности опустился иссеченный уличными огнями мрак, верхние этажи Терминала еще светились, как снежные альпийские вершины.

В парке былолюдно. Много новых пород деревьев, особенно пальм, цветущие кактусы без шипов, в отдаленном от главных аллей уголке мне удалось отыскать двухсотлетний, вероятно, каштан. Три человека моего роста не сумели бы обхватить его ствол. Я сел на маленькую лавочку и стал смотреть в небо. Как безобидно, как уютно выглядели звезды, мерцающая и дрожа в невидимых потоках

атмосферы, хранящей от них Землю. Впервые за столько лет я назвал их мысленно «звездочки». Там никто не отважился бы так сказать, мы сочли бы его сумасшедшим. Звездочки, ничего себе, прожорливые звездочки. Над всем уже темными деревьями взвился вдали фейерверк, и я сразу, потрясаясь реально, увидел Арктур, горы огня, над которыми я пролетал, стуча зубами от холода, а иней кондиционера, тая, ржавой стружкой стекал по моему комбинезону. Я отбирал пробы коронарным эксгаустером, вслушиваясь в свист компрессоров, пытаюсь определить, не теряют ли они оборотов, ибо секундная авария, сбой аппаратуры, превратила бы обшивку, аппараты и меня в облачко невидимого пара. Капля на раскаленной плите не исчезает так быстро, как улетучивается человек.

Каштан уже почти отцвел. Я не любил запаха его цветов, но сейчас он напоминал мне прошлое. Над живыми изгородями по-прежнему переливался блеск бенгальских огней, слышались взрывы смеха, смешивались звуки оркестров, ветер то и дело доносил дружные крики — кричали участники какого-то зрелища, возможно, пассажиры подвесной дороги. Мой уголок, однако, оставался почти пустым.

В какой-то момент из боковой аллейки показалась черная, высокая фигура. Зелень была уже неразличима, и лицо этого человека я рассмотрел, лишь когда он, передвигаясь чрезвычайно медленно, маленькими шажками, едва отрывая стопы от земли, остановился неподалеку. Руки его утопали в воронкообразных упорах, от которых шли два тонких прута с черными грушевидными наконечниками. Он опирался на них не как паралитик, а как вконец обесилевший человек. Он не смотрел на меня и вообще ни на что не смотрел: хохот, выкрики, музыка, взрывы ракет, казалось, не существовали для него. Он постоял минутку, с трудом переводя дух, все новые вспышки фейерверка раз за разом освещали его лицо, такое старое, что годы смыли с него всякое выражение и оно стало просто кожей, обтянувшей кости. Когда он хотел идти дальше, выдвигая свои странные костыли или протезы, один из них соскользнул, я вскочил с лавочки, чтобы поддержать его, но старик сумел сам сохранить равновесие. Он был на голову ниже меня, но все равно выше своих современников; он посмотрел на меня, глаза его светились в темноте.

— Извините,— негромко сказал я и хотел уйти, но остался: его глаза чего-то требовали.

— Я вас уже где-то видел. Но где? — проговорил он неожиданно сильным голосом.

— Сомневаюсь, — покачал я головой. — Я только вчера вернулся... из очень долгого путешествия.

— Откуда?

— С Фомальгаута.

Глаза его вспыхнули.

— Ардер! Том Ардер!!

— Нет, — сказал я. — Но я был с ним.

— А он?

— Он погиб.

Старик тяжело дышал.

— Помогите... мне... сесть.

Я обхватил его плечи. Под черным, скользким материалом были лишь кожа да кости. Медленно опустив его на лавочку, я остался стоять.

— Будьте добры... сядьте.

Я сел. Он все еще дышал с трудом, закрыв глаза.

— Ничего... Это от волнения, — шепнул он. Потом поднял веки. — Я Рёмер, — сказал он просто.

У меня перехватило дыхание.

— Как? Вы... вы?... Сколько же вам?..

— Сто тридцать четыре, — сухо ответил он. — Тогда мне было... семь...

Я помнил его. Он приехал к нам с отцом, феноменальным математиком, ассистентом Геонида — создателя теории нашего полета. Ардер показал тогда мальчику огромный зал для тестов, центрифуги. Таким он и остался в моей памяти: семилетний непоседа с черными отцовскими глазами. Ардер поднял его в воздух, чтобы мальчуган мог поближе разглядеть внутренность гравикамеры, в которой сидел я.

Мы оба молчали. В этой встрече было нечто невероятное. Сквозь темноту я с какой-то болезненной жадностью всматривался в его страшно старое лицо, и горло у меня сжималось. Я хотел вынуть сигарету, но не мог попасть в карман — так тряслись пальцы.

— Что случилось с Ардером? — спросил Рёмер.

Я рассказал ему.

— Вы не нашли — ничего?

— Нет. Знаете ли, там... ничего не находят.

— Я принял вас за него...

— Понимаю. Рост и так далее...

— Да. Сколько вам сейчас лет? Биологических.

— Сорок.

— Я мог...— шепнул он.

Я понял его.

— Не жалейте,— твердо сказал я.— Не жалейте об этом. Ни о чем не жалейте, понимаете?

Он впервые взглянул на меня.

— Почему?

— Потому что мне нечего тут делать,— сказал я.— Я никому не нужен. И мне... никто не нужен.

Казалось, Рёмер не слышал меня.

— Как вас зовут?

— Брегг. Гэл Брегг.

— Брегг,— повторил он.— Брегг... Нет, не помню. Вы были там?

— Да. Я был в Аппрену, когда ваш отец привез поправки, сделанные Геонидом в последний месяц перед стартом. Оказалось, что коэффициенты рефракции в темных пылевых облаках были слишком малы. Не знаю, говорит ли вам это о чем-нибудь...— Я неуверенно замолчал.

— Говорит. А как же,— ответил он с особой интонацией.— Мой отец. А как же. В Аппрену? А что вы там делали? Где вы были?

— В гравитационной камере, у Янссена. Вы были тогда там, Ардер вас привел, вы стояли наверху, на мостике, и смотрели, как мне дают сорокакратное ускорение. Когда я вылез, у меня шла кровь из носа... Вы дали мне свой носовой платок...

— А! Это были вы?

— Да.

— Мне казалось, что у того человека в камере... были темные волосы.

— Да. Они у меня не светлые, а седые. Только сейчас плохо видно.

Наступило молчание, более продолжительное, чем прежде.

— Вы, конечно, преподаете? — спросил я, чтобы прервать его.

— Преподавал. Теперь уже... не преподаю ничего. Двадцать три года. Ничего,— и еще раз, очень тихо, повторил: — Ничего.

— Я покупал сегодня книги... и между ними была топология Рёмера. Это вы или ваш отец?

— Я. А вы — математик?

Он взглянул на меня, казалось, с новым интересом.

— Нет,— сказал я.— Но... у меня было много времени... там. Каждый делал, что хотел. Мне помогла математика.

— Как это понимать?

— У нас было множество микрофильмов: беллетристика, романы, все что угодно. Знаете ли вы, что мы взяли с собой триста тысяч названий? Ваш отец помогал Ардеру подбирать математическую литературу...

— Я знаю об этом.

— Сначала мы относились к этому, как... к развлечению. К способу убить время. Но через пару месяцев, когда совсем прекратилась связь с Землей и мы повисли в мнимой неподвижности относительно звезд, человек, читая, что какой-то Пьер нервно курил и мучился, придет ли Люси, и что она вошла, теребя перчатки, сначала хохотал, как последний идиот, а потом готов был лопнуть от злости. Одним словом, до этих книг потом никто даже не дотрагивался.

— И математика?..

— Нет. Не сразу. Сначала я взялся за языки и не бросал их до конца, хоть и знал, что это почти бесполезно, ведь, когда я вернусь, они будут древними диалектами. Но Джимма — и особенно Турбер — подбили меня заняться физикой. Она, мол, может пригодиться. Я взялся за нее, с Ардером и Олафом Стааве, только мы трое не были учеными...

— У вас же была степень.

— Да, степень магистра по теории информации и космодромии и диплом инженера-ядерщика, но все это была техника, теоретиком я не был. Вы же знаете, как инженер разбирается в математике. Так вот, физика. Но мне хотелось еще чего-нибудь — собственного. И только чистая математика... У меня никогда не было математических способностей. Никаких. Ничего, кроме упрямства.

— Да,— сказал Рёмер тихо.— Оно было необходимо, чтобы... полететь.

— Скорее, чтобы попасть в экспедицию,— поправил я его.— И знаете, при чем тут математика? Я только там понял. Она превыше всего. Работы Абеля и Кронеккера так же хороши сегодня, как и четыреста лет назад, и так будет всегда. Возникают новые пути, но и старые остаются. Не зарастают. Там... там вечность. Лишь математика не боится ее. Там я понял, как она совершенна. И сильна. Ничего подобного ей не было. И хорошо, что

дело шло у меня с таким трудом. Я просто надрывался; когда я не мог спать, я повторял пройденный за день материал...

— Любопытно,— сказал Рёмер. Но в его голосе не было любопытства. Не знаю даже, слушал ли он меня. В глубине парка пролетали огненные столбы, красные и зеленые пожары, сопровождаемые хором радостных возгласов. Тут, где мы сидели, под деревьями, было темно. Я замолчал. Но тишина была невыносима.

— Это стало для меня средством самосохранения,— продолжал я.— Теория множеств... То, что Миря и Аверин сделали с наследием Кантора, вы знаете. Это оперирование внеконечными, сверхконечными величинами, эти расщепляемые континуумы...— это было великолепно. Время, когда я сидел над ними, я помню, словно это было вчера.

— Это не так бесполезно, как вы думаете,— тихо произнес Рёмер. Значит, он все-таки слушал.— Вы, видимо, не знаете о работах Игалли?

— Нет, а что это такое?

— Теория прерывного антиполя.

— Об антиполе я ничего не знаю. А что это?

— Ретронигиляция. Отсюда появилась парастатика.

— Я даже терминов таких не слышал.

— Ну да, ведь они возникли шестьдесят лет назад. И к тому же были всего лишь введением в гравитологию.

— Видно, мне придется над этим посидеть,— заявил я.— Гравитология — это, вероятно, теория гравитации, да?

— Больше. Ее можно описать лишь математическим языком. Вы проработали Аппиано и Фроома?

— Да.

— Тогда у вас не должно быть никаких трудностей. Это развертки метагенов в эн-мерном конфигуративном дегенерирующем множестве.

— Что вы говорите? Но ведь Скарябин доказал, что нет никаких метагенов, кроме вариационных?

— Да. Очень красивое доказательство. Но это, знаете ли, вне прерывности.

— Не может быть! Но ведь в таком... в таком случае открывается целый мир!

— Да,— сухо сказал Рёмер.

— Я помню одну работу Мянниковского,— начал я.

— О, это весьма отдаленная область. Разве что... сходное направление.

— Сколько времени может понадобиться для проработки всего, что сделано за этот период? — спросил я.

Рёмер помолчал.

— Зачем это вам?

Я не знал, что сказать.

— Вы больше не будете летать?

— Нет, — ответил я. — Я слишком стар. Мне не выдержат таких перегрузок, какие... А впрочем... больше я не полетел бы.

После этих слов мы надолго замолкли. То неожиданное воодушевление, с которым я говорил о математике, вдруг улетучилось, и я сидел возле Рёмера, ощущая тяжесть своего тела, его ненужную величину. Кроме математики, нам не о чем было говорить друг с другом, и мы оба знали это. Внезапно мне показалось, что волнение, с которым я рассказывал о благословенной роли математики в путешествии, — обман. Я сам себя обманывал скромностью, героическим усердием пилота, занимающегося в безднах туманностей теоретическим изучением бесконечности. Я заврался. Что же это было в конце концов? Разве потерпевший крушение, месяцами блуждавший в море и подсчитывавший, чтобы не сойти с ума, в тысячный раз число древесных волокон, из которых состоял его плот, мог чем-то хвалиться, очутившись на суше? Чем? Тем, что у него хватило стойкости, чтобы спастись. Ну и что? Кого это касалось? Кого касалось, чем я эти десять лет набивал свою несчастную голову и почему это важнее того, чем я набивал себе кишки? Хватит разыгрывать из себя сдержанного героя, подумал я. Я смогу себе это позволить, когда буду выглядеть, как Рёмер. Надо думать о будущем.

— Помогите мне встать, — прошептал Рёмер.

Я проводил его до глайдера, стоявшего на улице. Мы шли очень медленно. Там, где среди живых изгородей было светло от огней, люди смотрели нам вслед. Прежде чем сесть в глайдер, Рёмер обернулся, чтобы проститься со мной. Ни он, ни я не нашли друг для друга ни слова. Он сделал непонятный жест рукой, в которой, как шпага, была зажата одна из его тростей, дернул головой, сел в глайдер, и темная машина беззвучно тронулась с места. Она плыла прочь, а я стоял, опустив руки, пока глайдер не исчез в потоке транспорта. Сунув руки в карманы, я пошел вперед, не в силах ответить на вопрос, кто из нас сделал лучший выбор.

Хорошо, что от города, который я оставил, не уцелело ни камешка. Получалось, что я жил тогда на какой-то другой Земле, среди других людей; то началось и кончилось раз и навсегда, а это было новое. Никаких останков, никаких развалин, которые могли бы вызвать сомнение в моем биологическом возрасте; я мог забыть о его земном пересчете, столь противоестественном, — и вдруг невероятная случайность столкнула меня с человеком, которого я оставил малым ребенком; все это время, сидя рядом с ним, глядя на его ссохшиеся, как у мумии, руки, на его лицо, я чувствовал себя виноватым и видел, что он это понимает. Какая невероятность, повторял я полубессознательно, пока не сообразил: ведь его, возможно, привело сюда то же самое, что привело меня; здесь рос каштан, дерево, которое было старше нас обоих. Я еще не знал, насколько им удалось отодвинуть пределы жизни, но видел, что возраст Рёмера нечто исключительное; вероятно, он последний или один из последних людей своего поколения. Если бы я не полетел, меня уже не было бы в живых, подумал я, и впервые экспедиция предстала передо мной с другой, неожиданной стороны, как уловка, жестокий обман, совершенный мной по отношению к другим. Так шел я, почти ничего не видя, вокруг меня шумела толпа, река идущих несла меня и подталкивала, — и вдруг я остановился, словно проснувшись.

Вокруг стоял неопиcуемый гомон; среди смешанных возгласов и звуков музыки в небо били залпами огни фейерверка, разноцветными букетами повисая высоко в воздухе; их пылающие шары осыпались в кроны деревьев; все это через равные промежутки времени пронзал оглушительный многоголосый крик, сопровождаемый хохотом, словно где-то рядом были американские горки, но я напрасно искал их глазами. В глубине парка возвышалось большое здание с башенками и крепостной стеной, будто перенесенный из средних веков укрепленный замок; холодное пламя неоновых ламп, лизавшее его кровлю, то и дело слагало слова ДВОРЕЦ МЕРЛИНА. Толпа, доставившая меня сюда, устремлялась вбок, к ослепительно-красной стене павильона, которая напоминала человеческое лицо; окна были пылающими глазами, а зубастый, огромный, искривленный рот открывался, чтобы поглотить следующую порцию людей под аккомпанемент всеобщего веселья; каждый раз он проглатывал одно и то же количество: шесть человек. Сначала я хотел выбраться из толкотни и

уйти, но это было не так уж легко сделать, а, кроме того, идти мне было некуда, и я подумал, что из всех возможных способов провести остаток вечера этот, вероятно, не самый плохой. Таких одиночек, как я, вокруг не было — преобладали пары: юноши и девушки, женщины и мужчины, они становились по двое, и, когда подошла моя очередь, что возвестил блеск огромных зубов и бездонная багровая тьма таинственной глотки, я растерялся, не зная, можно ли присоединиться к уже построившейся шестерке. В последний миг меня выручила женщина, стоявшая рядом с молодым брюнетом, одетым чуднее всех остальных: она схватила меня за руку и без долгих церемоний потянула за собой.

Стало почти совсем темно; я чувствовал теплую, сильную руку незнакомки, пол двигался вперед, посветлело, и мы очутились в просторном гроте. Десятка полтора последних шагов мы шли в гору, по осыпавшимся валунам, между разбитыми каменными столбами. Незнакомка выпустила мою руку — мы по очереди, низко наклонившись, через узкое отверстие вышли из пещеры.

Хоть я и приготовился к неожиданностям, но все-таки изумился не на шутку. Мы стояли на просторном песчаном берегу огромной реки, под палящими лучами тропического солнца. Противоположный, далекий берег покрывали джунгли. В неподвижной воде затонов покоились лодки, точнее, пироги, выдолбленные из древесных стволов; на фоне буро-зеленого течения, которое лениво перекачивалось за ними, застыли в величественных позах негры огромного роста, обнаженные, с оливковым отливом, покрытые известково-белым узором татуировки; каждый опирался веслом о борт лодки.

Одна как раз отчаливала; ее чернокожий экипаж ударами весел и пронзительными воплями разгонял похожих на корявые колоды крокодилов, наполовину погруженных в ил; те поворачивались и, бессильно щелкая зубастыми челюстями, уползали на глубину. Мы всемером спускались с крутого берега; первая четверка заняла места в следующей лодке, негры с явным усилием уперлись веслами в обрыв и оттолкнули утлое суденышко так, что оно завертелось; я немного отстал, передо мной была только та пара, благодаря которой я решился на все это; как раз показалась новая лодка, длиной метров в десять, чернокожие гребцы окликнули нас и, борясь с течением, ловко причалили. Мы прыгнули в трухлявое нутро лодки, под-

нялась пыль, пахнувшая древесиной. Молодой человек в фантастическом одеянии, изображавшем тигровую шкуру, причем верхняя половина черепа хищника, свисавшая на спину юноши, могла служить ему головным убором, помог своей спутнице сесть. Я занял место напротив них, а тем временем мы уже плыли, и, хотя несколько минут назад я находился в ночном парке, теперь я уже не был в этом полностью уверен. Стоявший на носу лодки великан-негр издавал то и дело дикие вопли, два ряда спин сгибались, лоснясь, весла коротко и резко вонзались в воду, лодка, скрипя, задевала песок, пока не попала на стрежень.

Я вдыхал тяжелый, нагретый запах воды, тины, гниющих растений, плывших у наших бортов, всего на ладонь возвышавшихся над уровнем воды. Берега отдалялись, мы миновали характерный серо-зеленоватый, словно испепеленный, буш, с дышавших солнечным жаром песчаных отмелей с плеском иногда соскальзывали похожие на ожившие стволы крокодилы, один довольно долго держался за нашей кормой: сначала на поверхности виднелась продолговатая голова, потом вода стала заливать его выпуклые глаза, и только его нос, темный, как речной камень, двигался, торопливо рассекая бурую воду. Там, где река омывала затопленные препятствия, между равномерно колыхавшимися спинами чернокожих гребцов виднелись вспененные валы; негр на носу издавал иной, хриплый возглас, весла с одной стороны ударяли резче, лодка сворачивала; мне трудно сказать, когда глухое, грудное побряхтыванье гребцов стало сливаться в угрюмый, повторяющийся напев, нечто вроде гневного возгласа, переходящего в жалобный вопль, завершаемый многократным всплеском рассекаемой веслами воды. Так плыли мы, словно и взаправду перенесенные в сердце Африки, по огромной реке, среди серо-зеленой саванны. Стена джунглей была уже далеко, растаяв в знойном мареве, чернокожий рулевой задавал темп, вдали паслись антилопы, неспешным, тяжелым галопом проскакало стадо жирафов; в какой-то момент я почувствовал на себе взгляд сидевшей напротив меня женщины и посмотрел на нее.

Меня поразила ее красота. Я сразу заметил, что она привлекательна. Теперь она была совсем близко от меня, и я увидел: она не просто привлекательна, а прекрасна. Темные с медным отливом волосы, белое, невыразимо спокойное лицо, неподвижные вишневые губы. Она зачаровала меня. Как этот онемевший на солнце необъятный простор.

В ее красоте было то совершенство, которого я всегда побаивался. Быть может, потому, что слишком мало пережил на Земле и слишком много об этом размышлял. Во всяком случае, передо мной была женщина, казавшаяся неземной, хотя все это — обман, просто такие черты, такой облик, но кто же думает об этом, когда смотрит? Женщина улыбнулась одними глазами, а губы ее сохранили выражение пренебрежительного равнодушия. Улыбнулась не мне, скорее своим мыслям. Ее спутник сидел на заклиненной в выдолбленном стволе скамеечке, опустив левую руку за борт, так что кончики пальцев касались воды, но не смотрел ни туда, ни на скользившую по сторонам панораму дикой Африки; просто сидел, как в приемной у зубного врача, скучающий и ко всему безразличный.

Впереди показались сероватые камни, рассыпанные по всей реке. Рулевой стал кричать, словно заклиная, оглушительным голосом. Негры бешено колотили веслами, камни превратились в ныряющих гиппопотамов, лодка прибавила скорость; стадо толстокожих осталось позади, сквозь ритмичный плеск весел, сквозь хриплую, глухую песню гребцов доносился неизвестно откуда смутный шум. Вдали, там, где река исчезала меж все круче вздымавшихся берегов, показались две сходящиеся друг с другом, огромные дрожащие радуги.

— Аге! Аннаи! Аннаи! Аге-е-е! — как ошалевший, ревел рулевой. Негры налегли на весла, лодка летела, как на крыльях; женщина протянула руку и стала не глядя искать руку своего спутника.

Рулевой орал. Пирога двигалась с поразительной быстротой. Нос задрался, мы соскользнули с гривы огромного, с виду неподвижного вала, и между рядами бешено работавших чернокожих я увидел огромную излучину реки: сразу потемневшая вода валила в ворота между утесами. Течение раздваивалось, мы мчались вправо, где вода поднималась побелевшими от пены волнами, а левый речной рукав исчезал без следа, и лишь чудовищный грохот вместе со столбами водяной пыли говорил, что за скалами скрывается водопад. Мы миновали его и попали в другой рукав, но и тут поток бурлил. Пирога скакала теперь, как верховой конь, между черными порогами, над каждым из которых вздымалась стена ревущей воды, берега сближались, негры с правого борта перестали грести и, приставив рукояти весел к груди, со страшной силой оттолкнулись от скалы, так что от толчка у них в груди глухо загудело,

пирога попала на середину течения. Нос взмыл вверх, рулевой чудом устоял на ногах, на меня дохнуло холодом от летевших из-за камней брызг, пирога, дрожа, как пружина, полетела вниз. Невероятным был этот водный слалом, с обеих сторон мелькали черные скалы с разлетающимися гривами воды, негры еще и еще раз оттолкнулись веслами от валунов, пирога отлетела от них и вонзилась, как пущенная по белой пене стрела, в горло бешеного потока. Я поднял глаза и увидел распростертые в высоте кроны сикомор; среди ветвей носились маленькие обезьянки. Мне пришлось схватиться за борт, так сильно нас тряхнуло, подбросило, и в грохоте водяной массы, зачерпывая обоими бортами, промокнув в момент до нитки, мы помчались еще круче вниз — это было уже падение; береговые камни пролетали, как статуи чудовищных птиц с пеной у острых крыльев, грохот, грохот. На фоне неба — выпрямившиеся фигуры гребцов, неких стражников катаклизма; мы неслись прямо на каменный столб, деливший поток на две части, перед столбом кружил черный водоворот, мы неслись на препятствие, я услышал женский крик.

Негры боролись в беспамятстве отчаяния, рулевой поднял руки, я видел его раскрытый в вопле рот, но не слышал голоса, он приплясывал на носу, пирога шла наискосок, отхлынувшая волна задержала нас, секунду мы стояли на месте, потом, словно и не было бешеной работы весел, лодка повернулась и пошла кормой вперед, все быстрее.

В одно мгновение два ряда негров, отшвырнув весла, исчезли; недолго думая, они прыгнули в воду по обе стороны пироги. Последним смертоносный прыжок сделал рулевой.

Женщина вскрикнула второй раз; ее спутник уперся ногами в противоположный борт, она прильнула к нему, а я с искренним восторгом смотрел на это зрелище: огромные валы, гремящие радуги, лодка налетела на что-то, вопль, пронзительный вопль...

Поперек несшего нас вниз водяного тарана лежало дерево, лесной великан, свалившийся сверху и образовавший подобие моста. Те двое бросились на дно лодки. Оставшуюся мне долю секунды я колебался, не сделать ли и мне то же самое. Я знал, что все это — негры, водный слалом, африканский водопад — лишь удивительный обман зрения, но сидеть неподвижно, когда нос лодки уже скользнул под залитый водой смолистый ствол гигантского дерева, было выше моих сил. Я молниеносно прыгнул, но

одновременно поднял руку, и она прошла сквозь ствол, не задев его, я, как и ожидал, ничего не ощутил, но, несмотря на это, иллюзия, что мы чудом избежали катастрофы, была полной.

Но это был еще не конец: на следующей волне пирога встала на дыбы, огромный вал накрыл нас, завертел, сердце бешено заколотилось, а лодка тем временем шла адскими кругами, метя прямо в центр водоворота. Если женщина и кричала, я все равно ничего не смог бы услышать: треск разлетавшихся бортов я ощутил телом, уши были словно заткнуты ревом водопада; пирога, со сверхъестественной силой подброшенная вверх, застряла между утесами. Оба моих спутника выскочили на залитую пеной скалу, взобрались наверх, я — за ними.

Мы находились на утесе между двумя рукавами мечущейся белизны. Правый берег был довольно далеко; к левому вел закрепленный в расселинах утеса деревянный мостик, нечто вроде висячего перехода прямо над волнами, валившимися в глубину адского котла. Воздух, ледяной от тумана, водяных брызг; скользкий мостик без перил; по прогнившим доскам, еле державшимся в плетеных шнурах, нужно было пройти несколько шагов до берега. Мои спутники, стоя возле меня на коленях, казалось, спорили, кто пойдет первым. Конечно, я ничего не слышал. Воздух словно затвердел от непрерывного грохота. Наконец молодой человек встал и что-то сказал мне, показывая вниз. Я увидел пирогу; ее оторванная корма в эту минуту затанцевала на волне и исчезла, кружась все быстрее, втянутая водоворотом. Молодой человек в тигровой шкуре был уже не такой безразличный или сонный, как в начале путешествия, он злился, словно попал сюда вопреки своей воле. Когда он взял женщину за руку, я подумал, что он сошел с ума, ведь он явно сталкивает ее прямо в ревущую бездну. Женщина что-то сказала ему, ее глаза сверкали возмущением. Я положил руки им на плечи, показывая, чтобы они меня пропустили, и ступил на мостик. Он раскачивался и плясал в воздухе; я шел не очень быстро, руками помогая себе удержать равновесие, раза два посередине пошатнулся. Мостик вдруг затрясся, так что я чуть не упал. Это женщина, не дождавшись, пока я перейду, вошла на него; боясь упасть, я прыгнул вперед, приземлился на самом краю скалы и тут же обернулся.

Женщина не решилась идти вперед и попятилась. Тогда молодой человек пошел первым, держа ее за руку. Они

неуверенно балансировали на фоне невероятных очертаний, рождаемых водопадом, белыми и черными фантомами. Когда он был совсем рядом, я подал ему руку, в тот же миг женщина споткнулась, мостик закачался, я потянул ее спутника так, что скорее оторвал бы ему руку, чем позволил упасть; от рывка он пролетел два метра и очутился позади меня, на коленях,— но выпустил женщину.

Она еще была в воздухе, когда я прыгнул, ногами вперед, стараясь врезаться в волны наискосок, между берегом и стеной ближайшего утеса. Потом, когда у меня было время, я долго размышлял обо всем этом. В сущности, я знал, что водопад и воздушная переправа — всего лишь обман зрения, кроме всего прочего, доказательством служил ствол дерева, сквозь который прошла моя рука. Несмотря на это, я прыгнул, словно женщина действительно могла погибнуть, и даже, помню, абсолютно бессознательно приготовился к ледяющему удару воды, брызги которой продолжали лететь нам в лицо и на одежду.

Однако я не почувствовал ничего, кроме сильного дуновения воздуха, и очутился в просторном зале, в такой позе, будто неловко спрыгнул с забора. Раздался многоголосый смех.

Я стоял на мягком, словно пластиковом, полу, вокруг полно людей, у некоторых одежда была еще мокрая; здоров головы вверх, они хохотали до упаду.

Я посмотрел туда же, куда они,— это было невероятно.

Ни водопадов, ни скал, ни африканского неба не было и в помине; я видел блестящий потолок, а под ним — подплывавшую в этот момент пирогу, а точнее, некую бутафорию, напоминавшую лодку лишь сверху и с боков; на дне помещалась какая-то металлическая конструкция. В ней лежали плашмя четыре человека, вокруг них не было ничего: ни гребцов-негров, ни скал, ни реки, лишь иногда мелькали, вылетая из скрытых устройств, тонкие струи воды. Немного дальше вздымался, как воздушный шар на привязи, ничем не поддерживаемый скалистый утес, на котором закончилось наше путешествие. Деревянный мостик вел от него к каменному выступу, торчавшему из металлической стены. Немного выше виднелась лесенка с перилами и дверь. Вот и все. Пирога с людьми дергалась, поднималась, резко падала — абсолютно беззвучно, я слышал только взрывы веселья, сопровождавшие очередные этапы плаванья по водопаду, которого не было. Пирога

ударилась о скалу, люди выскочили из нее, им пришлось пройти по мостику...

После моего прыжка прошло секунд двадцать. Я поискал глазами женщину. Она взглянула на меня. Мне стало как-то не по себе. Я не знал, следует ли мне подойти к ней. Но тут собравшиеся стали выходить, и мы оказались рядом.

— Всегда одно и то же, — сказала она, — каждый раз я падаю!

Ночной парк, фейерверк и звуки музыки казались не совсем реальными. Мы выходили в возбужденной пережитым испугом толпе; я увидел спутника женщины, он проталкивался к ней, такой же сонный, как раньше. Меня он словно вообще не замечал.

— Пойдем к Мерлину, — сказала женщина громко. Я вовсе не собирался подслушивать. Но новая волна выходящих не давала мне отойти. Поэтому я продолжал стоять возле них.

— Это похоже на бегство... — заметила она с улыбкой. — Не боишься же ты колдовства?..

Женщина обращалась к своему спутнику, но смотрела на меня. Конечно, я мог проложить себе дорогу, но, как всегда в подобных ситуациях, больше всего боялся показаться смешным. Стало свободнее, многие направились ко дворцу Мерлина. Я пошел за своими спутниками, а когда несколько человек разделили нас, меня вновь охватили сомнения.

Мы двигались шаг за шагом. На газонах стояли бочки с пылающей смолой; блеск пламени освещал кирпичные бастиионы. Мы прошли по мосту над крепостным рвом, под выщербленными зубцами решетки, погрузились в полумрак и прохладу каменной привратничьей, вверх вела винтовая лестница, гудевшая от множества шагов. Но стрельчатый коридор второго этажа был уже не таким людным. Он вел на галерею, с которой был виден двор; по нему с воплями гонялись за каким-то черным страшилищем верховые на покрытых чепраками конях; я нерешительно шел неведомо куда среди десятка с лишним людей, которых уже начал отличать друг от друга. Женщина и ее спутник мелькнули среди колонн, в нишах стояли пустые латы. В глубине открылись окованные медью высоченные двери, мы вошли в обитую красным бархатом палату, освещенную факелами, от смолистого дыма щипало в носу. За столом пировал крикливый сброд, не то пираты, не то стран-

ствующие рыцари, на вертелах пеклись огромные куски мяса, красноватый отблеск огня скакал по лоснящимся от пота лицам, кости хрустели на зубах закованных в броню пирующих, иногда, встав из-за стола, они проходили между нами. В следующем зале несколько верзил играли в кегли, вместо шаров пользуясь черепами; все вместе взятое показалось мне наивной халтурой, я задержался возле игроков, они были с меня ростом, кто-то налетел на меня сзади и невольно вскрикнул от удивления. Я обернулся и посмотрел в глаза какому-то юнцу. Он пробормотал извинение и быстро ушел с довольно глупой миной. Только взгляд темноволосой женщины, из-за которой я оказался в этом дворце дешевых чудес, объяснил мне, что случилось: тот тип хотел пройти сквозь меня, приняв за одного из нереальных гостей Мерлина.

Сам Мерлин принял нас в отдаленном крыле дворца, в окружении неподвижной свиты в масках, ассистировавшей его чарам. Но мне это уже немного надоело, и я равнодушно воспринимал штучки чернокнижника. Зрелище закончилось быстро; присутствующие стали уходить, когда Мерлин, седой, величественный, преградил нам путь и молча указал на обитые черным двери напротив.

Только нас троих он пригласил пройти. Сам не вошел. Мы очутились в не очень большой комнате с высоким потолком, одна стена — сплошное зеркало, от свода до каменного пола из черных и белых плит. Казалось, в комнате, вдвое большей, чем на самом деле, шесть человек стоят на каменной шахматной доске.

Обстановки не было никакой — ничего, кроме высокой алебастровой урны с букетом цветов, похожих на орхидеи, но с необычайно большими венчиками. Все — разного цвета. Мы стояли напротив зеркала.

Вдруг мое отражение взглянуло на меня. Оно не повторило моего движения. Я застыл, а тот, высокий, плечистый, медленно перевел взгляд сначала на темноволосую женщину, потом на ее спутника — никто из нас не шевельнулся, и лишь наши отражения, неведомо как ставшие самостоятельными, ожили и разыграли между собой молчаливую сцену.

Юноша в зеркале подошел к женщине, заглянул ей в глаза, она отрицательно покачала головой. Вынула из белой урны цветы и, перебрав их, взяла три: белый, желтый и черный. Белый подала ему, а с двумя остальными подошла ко мне. Ко мне отраженному. Протянула оба

цветка. Я взял черный. Она вернулась на прежнее место, и все мы — там, в зазеркалье, — приняли точь-в-точь такие позы, в каких стояли в действительности. Тогда цветы у двойников исчезли, и они стали обычными нашими отражениями.

Двери в противоположной стене открылись; по винтовой лестнице мы сошли вниз. Колонны, арки, своды незаметно перешли в серебро и белизну пластиковых коридоров. Мы шли дальше, все еще молча, — не то вместе, не то отдельно; ситуация становилась все неприятнее, но что я мог поделать? Последовать правилам хорошего тона столетней давности и представиться?

Приглушенные звуки оркестра. Мы были словно за кулисами, за невидимой сценой, в глубине стояло несколько пустых столиков с отодвинутыми стульями, женщина остановилась и спросила своего спутника:

— Пойдем потанцуем?

— Мне не хочется, — сказал он. Я впервые услышал его голос.

Юноша был красив, но так инертен, так непостижимо пассивен, словно его не интересовало ничто на свете. У него был тонко очерченный, почти девичий рот. Юноша посмотрел на меня. Потом на свою спутницу. Он стоял и молчал.

— Ну, иди, если хочешь... — сказала она. Он раздвинул занавес, служивший одной из стен, и вышел. Я направился за ним.

— Минутку! — услышал я за спиной.

Я остановился. За занавесом раздались аплодисменты.

— Хотите присесть?

Я молча сел. Профиль ее был великолепен. Жемчужные диски прикрывали ее ушные раковины.

— Я — Аэн Аэнис.

— Гэл Брегг.

Казалось, она удивлена. Не моим именем. Оно ей ничего не говорило. Скорее тем, что я столь безразлично воспринял ее имя. Теперь я мог рассмотреть ее вблизи. Ее красота была совершенна и беспощадна. Спокойная, сдержанная небрежность ее движений — тоже. Ее розово-серое, вернее, серо-розовое платье подчеркивало белизну лица и рук.

— Вы меня не очень любите? — спокойно спросила женщина.

Теперь удивился я.

— Я вас не знаю.

— Я — Аммай из «Подлинных».

— А что такое «Подлинные»?

Она с интересом посмотрела на меня.

— Вы не видели «Подлинных»?

— Я даже не знаю, что это такое.

— Откуда вы явились?

— Из гостиницы.

— Ах так? Из гостиницы...— В ее голосе слышалась нескрываемая насмешка.— А можно узнать, откуда вы явились в гостиницу?

— Можно. С Фомальгаута.

— Что это такое?

— Созвездие.

— Как?

— Звездная система, на расстоянии двадцати трех световых лет отсюда.

Ее веки дрогнули. Губы приоткрылись. Она была невыразимо прекрасна.

— Вы астронавт?

— Да.

— Понимаю. Я — реалистка, довольно известная.

Я ничего не сказал. Мы молчали. Играла музыка.

— Вы танцуете?

Я чуть не расхохотался.

— По-вашему не танцую.

— Жаль. Но это можно наверстать. Почему вы продавали такое?

— Что?

— Там, на мостике.

Я ответил не сразу.

— Это... рефлекс.

— Вы с этим были знакомы?

— С искусственным путешествием? Нет.

— Нет?

— Нет.

Секундное молчание. Ее зеленые глаза потемнели.

— Такое можно увидеть только на очень старых копиях...— проговорила она медленно.— Этого никто не сыграет. Невозможно. Когда я увидела, я подумала... вы...

Я ждал.

— Вы могли бы. Вы восприняли это всерьез. Правда?

— Не знаю. Возможно.

— Ничего. Я знаю. Хотите? Я в хороших отношениях с Френе. Может быть, вы не знаете, кто это? Я ему должна сказать... Он — главный продюсер реалю. Если вы хотите...

Я расхохотался. Она вздрогнула.

— Простите. Но — о небеса, черные и голубые! Вы думаете... устроить меня...

— Да.

Похоже, она ничуть не обиделась.

— Спасибо, не надо. Не стоит, знаете ли.

— Но вы можете мне сказать, как вы это сделали? Или это секрет?

— Что значит как? Вы же видели...

Я остановился.

— Вас интересует, как я смог?

— Вы угадали.

Она обольстительно улыбалась темными глазами. Подожди, сейчас тебе расхочется меня обольщать, подумал я.

— Очень просто. Никакого секрета. Меня не бетризировали.

— Ох...

Мне показалось, что она сейчас встанет, но она овладела собой. Она не сводила с меня глаз, огромных, жадных. Смотрела, как на дикого зверя, лежащего в двух шагах, будто находя странное наслаждение в ужасе, который я у нее вызывал. Мне это показалось худшим из оскорблений.

— Так вы можете?

— Убить? — спросил я, любезно улыбаясь. — Да. Могу.

Мы молчали. Музыка играла. Женщина несколько раз поднимала на меня глаза. Не произносила ни слова. Я тоже. Аплодисменты. Музыка. Аплодисменты. Так мы просидели с четверть часа. Вдруг она встала.

— Вы пойдете со мной?

— Куда?

— Ко мне.

— Выпить стаканчик брита?

— Нет.

Аэн повернулась и пошла. Я сидел неподвижно. Она вызывала во мне ненависть. Не оглядываясь, она удалялась. Такой походки я еще никогда не видел. Она не шла, а плыла. Как королева.

Я догнал ее среди живых изгородей, где было почти темно! Слабый отсвет павильонных огней смешивался с

голубоватым заревом города. Аэн не могла не слышать моих шагов, но продолжала идти, словно не замечая меня; я взял ее под руку. Она не остановилась; это было как пощечина. Я схватил ее за руки, повернул к себе, ее лицо, белое в темноте, запрокинулось, она смотрела мне в глаза. Не вырывалась. Да и не смогла бы. Я целовал ее страстно, с ненавистью, ощущая, как она дрожит.

— Ты...— выдохнула она хрипло, когда мы оторвались друг от друга.

— Молчи.

Она попыталась освободиться.

— погоди,— сказал я и опять стал ее целовать. Неожиданно мое бешенство перешло в отвращение к самому себе, я выпустил ее. Мне казалось, она убежит. Она осталась. Попробовала заглянуть мне в лицо. Я отвернулся.

— Что с тобой? — тихо спросила она.

— Ничего.

Она взяла меня за руку.

— Пойдем.

Какая-то пара миновала нас и исчезла во мраке. Я пошел за женщиной. Там, в темноте, все казалось возможным, но когда стало светлее, мой порыв — расплата за оскорбление — стал смешон. Возникло чувство, что я ввязываюсь в такую же подделку, какой была недавняя опасность и черная магия,— и все-таки я шел дальше. Ни гнева, ни ненависти — ничего, все мне было безразлично. Я очутился под высокими светильниками и ощущал свою неуклюжесть, делавшую гротескным каждый шаг рядом с женщиной. А она словно и знать не хотела об этом. Она шла вдоль вала, за которым рядами стояли глайдеры. Я хотел отстать, но она, скользнув ладонью вдоль моего предплечья, схватила меня за кисть. Пришлось бы вырывать руку, что выглядело бы еще смешнее: этакий праведник-астронавт, искушаемый библейской блудницей. Я тоже сел в глайдер, машина дрогнула и помчалась. В глайдере я ехал впервые и понял, почему они без окон. Изнутри глайдер был прозрачный, как стеклянный.

Мы ехали долго, молча. Центральная застройка сменилась странными формами пригородной архитектуры: под маленькими искусственными солницами утопали в зелени строения, образованные плавными линиями, напоминавшие то причудливо раздутые подушки, то раскинутые крылья, граница между домами и их окружением терялась — некая

фантазмагория, неустанные попытки создать нечто такое, что не повторяло бы уже существующих форм. Глайдер свернул с широкого пути, пронзил темный парк и остановился у лестницы в виде стеклянного каскада; поднимаясь по ней, я видел расстилавшуюся под ногами оранжерею.

Тяжелая дверь бесшумно открылась. Огромный холл, окруженный поверху галереей, бледно-розовые диски ламп без подпорок и без подвески; в наклонных стенах — окна и ниши в какое-то иное пространство, а в них — не фотографии, не изображения, а сама Аэн, огромного роста. Напротив лестницы — в объятиях целовавшего ее смуглого мужчины, над лестницей — в белом мерцающем платье, рядом — склонившаяся над цветами, лиловыми, величиной с ее лицо. Идя за ней, я увидел ее еще в одном окне: с девической улыбкой, с солнечными зайчиками в отливающих медью волосах, такую одинокую.

Зеленая лестница. Белая анфилада. Серебряная лестница. Сквозные коридоры, а в них — непрерывное медленное движение, словно они дышали, стены беззвучно передвигались, создавая проходы там, куда шедшая впереди женщина направляла шаги; можно подумать, будто неощутимый ветер закругляет, формирует слияние галерей, а все, виденное мною, — лишь подступы, подходы. Через комнату, столь белую, столь просвеченную тончайшими ледяными веточками, что даже тени в ней казались молочными, мы вошли в комнату поменьше — после безукоризненной белизны предыдущей ее бронзовый цвет показался неожиданным. Комната была пуста; неизвестно откуда лившийся свет освещал нас и наши лица снизу; Аэн повела рукой, стало темнее, потом подошла к стене и несколькими жестами вызвала из нее, как по волшебству, выпуклость, превратившуюся в некое подобие двойного, широкого ложа, — я достаточно разобрался в топологии, чтобы понять, какими изысканиями определены были его контуры.

— У нас гость, — сказала Аэн. Из стены выскользнул низенький накрытый столик и подбежал к Аэн, как собака. Большой свет погас, когда она жестом приказала, чтобы над нишей с креслами — ах, какие это были кресла, просто слов нет! — появилась маленькая лампа и стена послушалась ее. Видно, Аэн надоела вся эта почковавшаяся и расцветавшая на глазах мебель, она склонилась над столиком и спросила, не глядя в мою сторону:

— Блар?

— Можно,— сказал я. Никаких вопросов я не задавал; я не мог не быть дикарем, но мог по крайней мере быть дикарем молчащим.

Аэн подала мне высокий конус с соломинкой, он мерцал как рубин, но был мягкий, на ощупь напоминал пушистую кожицу плода. Сама она взяла другой. Мы сели. Сиденья были несносно мягкие, словно мы сидели на облаке. У напитка был вкус не знакомых мне свежих фруктов, попадались крошечные кусочки, неожиданно и забавно лопавшиеся во рту.

— Нравится? — спросила Аэн.

— Да.

Это мог быть какой-то ритуальный напиток. Например, для избранников. Или для укрощения особо опасных. Но я уже сказал себе, что ни о чем не стану спрашивать.

— Когда сидишь, ты мне больше нравишься.

— Почему?

— Ты ужасно большой.

— Знаю.

— Нарочно стараешься быть невежливым?

— Нет. Само получается.

Аэн стала тихо смеяться.

— И еще я остроумный,— добавил я.— Куча достоинств, правда?

— Ты не такой, как все,— заметила она.— Никто так не говорит. Скажи мне, как это происходит. Что ты чувствуешь?

— Не понимаю.

— Притворяешься, да? А может, ты обманул меня? Нет. Невозможно. Ты бы не сумел...

— Прыгнуть?

— Я не об этом.

— А о чем?

Ее глаза сузились.

— Не догадываешься?

— Ну, знаешь! — воскликнул я.— Что, этого у вас уже не делают?

— Делают, но не так.

— Подумать только. Так хорошо у меня получается?

— Нет. Так, словно ты хотел...— Она не договорила.

— Что?

— Сам знаешь. Я это чувствовала.

— Я был зол...— признал я.

— Зол! — пренебрежительно передразнила она. — Я думала ты... сама не знаю, что я думала. Никто не решился бы на такое, понимаешь?

Я усмехнулся про себя.

— Именно это тебе так понравилось?

— Как ты не понимаешь? В мире не стало страха, а ты можешь испугать.

— Хочешь еще? — спросил я. Ее губы приоткрылись, она снова смотрела на меня, как на дикого зверя.

— Хочу.

Она придвинулась ко мне. Я взял ее руку, положил на свою, плашмя, — ее пальцы едва доставали мои.

— Почему у тебя такая жесткая рука? — спросила Аэн.

— От звезд. Они — острые. А теперь спроси: почему у тебя такие большие зубы?

Аэн улыбнулась.

— Зубы у тебя вполне обыкновенные.

Говоря это, она подняла мою ладонь, так осторожно, что я вспомнил свою встречу со львом и не обиделся, а засмеялся. Все это в конце концов ужасно глупо.

Аэн привстала, налила себе из маленькой темной бутылочки и выпила.

— Знаешь, что это? — спросила она, зажмурившись, словно обожглась питьем. У нее были огромные ресницы, видимо, накладные. У актрис всегда накладные ресницы.

— Нет.

— Никому не скажешь?

— Никому.

— Перто...

— Ну и ну, — сказал я на всякий случай.

Аэн открыла глаза.

— Я видела тебя еще раньше. Ты шел с таким страшным стариком, а потом возвращался один.

— Это сын моего младшего товарища, — объяснил я. Самое удивительное, что это правда, мелькнуло у меня в голове.

— Ты привлекаешь внимание — знаешь?

— Что поделаешь.

— Не только потому, что ты такой большой. Ты ходишь иначе. И смотришь так, словно...

— Как?

— Так, словно ты все время настороже.

— Перед чем?

Аэн не ответила. Лицо ее изменилось. Дыхание стало громче, она взглянула на свою руку. Кончики ее пальцев дрожали.

— Уже...— сказала она и тихо улыбнулась, но не мне. Словно что-то снизошло на нее. Зрачки ее расширились, она медленно опустилась на серое изголовье, отливающие медью волосы рассыпались, она смотрела на меня, как победительница.

— Поцелуй меня.

Я обнял ее, и это было ужасно, ибо я хотел и не хотел,— мне казалось, она перестает быть собой,— словно каждый миг она могла превратиться в кого-то другого. Она вцепилась в мои волосы, когда она отрывалась от меня, ее дыхание походило на стон. Кто-то из нас фальшивит, подличает, думал я, но кто, она или я? Я целовал ее, ее лицо было прекрасно до боли и чуждо до ужаса, потом — только невыносимое наслаждение, но и тогда во мне не исчез холодный, молчаливый наблюдатель. Послушное изголовье напоминало присутствие кого-то третьего, чья бдительность унижала, и, словно зная об этом, мы за все время не произнесли ни слова. Я засыпал, обнимая Аэн, а мне казалось, что кто-то стоит и смотрит, смотрит...

Когда я проснулся, она спала. Мы были в другой комнате. Нет, в той же самой. Но она как-то изменилась: часть стены отодвинулась, стал виден рассвет. Над нами, словно забытая, горела узкая лампочка. За стеной, над вершинами еще черных деревьев, занимался день. Я осторожно подвинулся на край постели; Аэн пробормотала что-то похожее на «Алан» и продолжала спать.

Я пошел по пустым, просторным залам. Окна в них выходили на восток. Сквозь них лился алый блеск, прозрачная мебель казалась налитой красным вином. В глубине анфилады я увидел чью-то тень: это был робот, жемчужно-серый, безликий, его торс слабо светился, в нем лампадкой тлел рубиновый огонек.

— Я хочу уйти,— сказал я.

— Пожалуйста.

Серебряные, зеленые, голубые лестницы. Я попрощался со всеми сразу лицами Аэн в высоком, как храм, холле. День уже был в разгаре. Робот открыл мне дверь подъезда. Я велел ему вызвать глайдер.

— К вашим услугам. Вам угодно домашний?

— Можно домашний. Мне нужно в гостиницу «Алькарон».

— Слушаюсь. К вашим услугам.

Кто-то мне уже так отвечал. Но кто? Я не мог вспомнить.

По крутой лестнице — чтобы до конца помнилось, что это дворец, а не простой дом, — мы с роботом сошли вместе; солнце уже поднялось высоко; я сел в машину. Когда она тронулась, я оглянулся. Робот все еще стоял в позе послушания, сложенными тонкими щупальцами напоминающая богомола.

Улицы были почти пусты. В садах, как покинутые причудливые корабли, отдыхали виллы, именно отдыхали, словно приземлились на минутку, сложив остроугольные, разноцветные крылья. В центре народу было больше. Остроконечные здания с раскаленными на солнце вершинами, дома-оранжереи с пальмами, дома-великаны на широко расставленных опорах — улица рассекала их, вылетала на голубеющий простор, я больше ни на что не смотрел. В гостинице я помылся и позвонил в бюро путешествий. Заказал ульдер на двенадцать. Немножко смешно пользоваться такими названиями, понятия не имея, что это такое.

У меня оставалось еще четыре часа свободного времени. Я соединился с гостиничным Инфором и спросил про Бреггов. У меня не было ни братьев, ни сестер, у дяди по отцу остались двое детей, мальчик и девочка. Если даже их нет в живых, то их дети...

Инфор назвал мне одиннадцать Бреггов. Я спросил, кто они родом. Оказалось, лишь один, Атал Брегг, происходил из моей родни. Он приходился внуком моему дяде, ему было уже под шестьдесят. Итак, я узнал теперь все про свою родню. Снял даже телефонную трубку, чтобы позвонить ему, но потом положил ее. Что в конце концов я мог ему сказать? Или он — мне? Как умер мой отец? Моя мать? Для меня они умерли гораздо раньше, и я, вторично рожденный после их смерти, не имел права спрашивать. Я воспринимал происшедшее как некое коварство, словно обманул их, трусливо бежав от своей судьбы, укрывшись во времени, менее смертельном для меня, чем для них. Это они похоронили меня в звездах, а не я их — на Земле.

И все-таки я опять снял трубку. Ждать пришлось долго. Наконец откликнулся домашний робот, сообщивший, что Атал Брегг сейчас не на Земле.

— А где?

— На Луне. Отбыл на четыре дня. Что передать?

— Что он делает? Кто он по профессии? — спросил я. — Дело в том, что... я не знаю, тот ли он человек, которого я ищу, возможно, произошла ошибка...

Обманывать робота было как-то легче.

— Он психопед.

— Спасибо. Я позвоню через несколько дней.

Я положил трубку. Он не астронавт, и на том спасибо.

Подключившись опять к гостиничному Инфору, я спросил, какое развлечение он может мне предложить на два-три часа.

— Посетите наш реалон.

— А что там?

— «Возлюбленная». Самый новый реаль Аэн Аэнис.

Я спустился вниз: реалон был под землей. Зрелище уже началось, но робот у входа сказал мне, что я почти ничего не потерял — всего несколько минут. Он провел меня в темноту, каким-то странным способом добыл из нее яйцевидное кресло и, усадив меня в него, исчез.

Первое впечатление было, словно я сидел у театральной сцены или даже на самой сцене — так близко были актеры. Казалось, протяни руку — и дотронешься до них. Мне повезло, шла историческая драма из моих времен; время действия точно не указано, но, судя по некоторым подробностям, все происходило спустя несколько лет после моего отлета.

Сначала я наслаждался костюмами: сценография была натуралистична, но именно это меня и развлекало, ибо я улавливал множество ошибок и анахронизмов. Герой, весьма интересный, смуглый брюнет, вышел из дому во фраке (было раннее утро) и поехал в автомобиле на свидание с любимой; на нем был и цилиндр, но серый, как у англичанина, едущего на скачки. Потом показывали романтический кабачок с хозяином, каких я в жизни не видал, — он был вылитый пират; герой уселся прямо на фалды фрака и потягивал через соломинку пиво; и так далее, и так далее.

Вдруг мне расхотелось смеяться: появилась Аэн. Одета она была бестолково, но это сразу потеряло всякое значение. Зрители понимали: она любит другого, а этого юношу обманывает; типичная героиня мелодрамы, коварная, приторная — штампы и банальность. Но Аэн не поддавалась искушению. Она показывала девушку безрассудную, самозабвенную и из-за безграничной наивности собственной жестокости — ни в чем не повинную, делавшую несчаст-

ными всех именно потому, что не хотела принести несчастья никому. Бросаясь в объятия одного, она забывала о другом так неподдельно, что верилось в ее искренность.

Впрочем, весь этот вздор куда-то уходил, и оставалась лишь Аэн, великая актриса.

Реаль был не то что обычный телетеатр. Если вглядываться в какой-нибудь фрагмент сцены, фрагмент этот начинал увеличиваться и разрастаться, так что каждый зритель сам, по собственному выбору, решал, хочет он видеть первый план или общий. Причем на краю поля зрения пропорции не искажались. Это была дьявольски хитроумная оптическая комбинация, создававшая иллюзию сверхъестественно четкой, многократно усиленной яви.

Потом я вернулся к себе, чтобы уложить вещи: через несколько минут надо было уезжать. Вещей оказалось многовато, я был еще не готов, когда запел телефон: подали мой ульдер.

— Сейчас спущусь, — сказал я. Робот-носильщик забрал чемоданы. Выходя из номера, я вновь услышал телефон. Я задержался. Легкий сигнал повторялся неумоимо. Еще решит, что я сбежал, подумал я и снял трубку, не совсем понимая, зачем я это делаю.

— Это ты?

— Да. Ты проснулась?

— Давно уже. Что ты делаешь?

— Смотрел тебя. В реале.

— Да? — переспросила она. В голосе ее послышалось удовлетворение, означавшее: он мой.

— Нет, — сказал я.

— Что нет?

— Аэн, ты — великая актриса. Но я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь.

— А ночью ты тоже был не тот? — перебила Аэн. В голосе ее звенела веселая нотка — и мне опять стало смешно. Я никак не мог успокоиться: этаким звездный квакер, совершивший грехопадение, суровый, раскаивающийся, скромный.

— Нет, — сказал я, с трудом сдерживаясь, — я был тот. Но я усзжаю.

— Навек?

Этот разговор развлекал ее.

— Послушай, — начал я и остановился, не зная, что сказать. Какое-то время я слышал только ее дыхание.

— И что дальше? — спросила Аэн.

— Не знаю,— я быстро поправился,— ничего. Я уезжаю. Это бессмысленно.

— Конечно,— согласилась она,— и поэтому замечательно. Что ты смотрел? «Подлинных»?

— Нет. «Возлюбленную». Послушай...

— Это — полный провал. Я видеть этого не могу. Моя худшая вещь. Посмотри «Подлинных». Или нет, приходи вечером. Я тебе покажу. Нет, нет, сегодня не смогу. Завтра.

— Аэн, я не приду. Я действительно сейчас уезжаю...

— Не говори «Аэн», говори «послушай»... — попросила она.

— Послушай, пойдешь ты к черту!!! — сказал я и положил трубку, мне стало ужасно стыдно, я поднял ее, снова положил и выбежал из номера, словно за мной гнались. Я спустился вниз, а оказалось, что ульдер на крыше. Пришлось опять ехать наверх.

На крыше был сад с рестораном и посадочная площадка. Точнее, гибрид ресторана и посадочной площадки, перемешанные ярусы, летающие перроны, невидимые шахты — я ни за что не отыскал бы своего ульдера и за целый год. Но меня подвели к нему чуть ли не за руку. Он был меньше, чем я думал. Я спросил, сколько продлится полет,— мне хотелось почитать.

— Около двенадцати минут.

За чтение браться не стоило. Внутри ульдер немного напоминал экспериментальную ракету Термо-Факс, которой я когда-то управлял, только немного комфортабельнее, но когда закрылись двери за роботом, любезно пожелавшим мне счастливого пути, стены сразу стали прозрачными, а поскольку я сидел на переднем из четырех мест (остальные были свободны), впечатление создалось такое, будто я летел на стуле, помещенном в большом стакане.

Весьма забавно, но ничего общего с ракетой или автомобилем; скорее похоже на ковер-самолет. Причудливое средство сообщения сначала взвилось вертикально без всякой вибрации, а затем, как стрела, помчалось горизонтально. Опять произошло то, что я уже заметил однажды: ускорение не сопровождалось ростом инерции. Тогда, на вокзале, можно было принять это за обман чувств, теперь же я был уверен в верности своих ощущений. Трудно передать мое состояние: если они действительно ликвидировали зависимость между ускорением и инерцией, значит, всё — гипотермия, испытания, отбор, мучения и тяготы

нашего путешествия, — всё оказалось абсолютно ненужным. То же, что я, мог бы в свое время чувствовать покоритель гималайской вершины, обнаруживший на ней отель, полный туристов, а с другой стороны горы — канатную дорогу и веселые аттракционы. То, что, оставаясь на Земле, я вероятнее всего вообще не дожил бы до такого открытия, отнюдь не утешало меня; я бы обрадовался тому, что такой метод, возможно, не годится для космического плавания. Конечно, чистейший эгоизм, и я отдавал в нем себе отчет, но шок оказался слишком силен, и никакого энтузиазма я не испытал.

Тем временем ульдер бесшумно летел дальше; я глянул вниз. Мы как раз пролетали мимо Терминала: он медленно отодвигался назад, похожий на ледяную крепость. На невидимых из города верхних этажах чернели огромные воронкообразные входные отверстия для ракет. Потом ульдер пронесся довольно близко от остроконечного иглообразного здания в черную и серебряную полосу. Оно было выше уровня полета ульдера. С уровня земли оценить его высоту было невозможно. Оно походило на трубопровод, соединявший город с небом, а на торчавших из него этажерках роились ульдеры и другие большие машины. На таких посадочных площадках люди казались горсткой мака, высыпанной на серебряное блюдо. Мы летели над белыми и голубыми группами домов, над садами, улицы становились шире, покрытие проезжей части тоже было цветное, преобладали бледно-розовая краска и охра. Море строений простиралось до самого горизонта, изредка разделенное полосами зелени. Я испугался, что так и будет до самой Клавестры. Но машина прибавила скорость, дома рассыпались, разбежались по садам, появились огромные спирали и бесконечные лучи дорог; они шли многочисленными уступами, сходились, перекрещивались, исчезали под землей, разбегались звездообразно, рассекали ровное, серовато-зеленое пространство под высоким солнцем, кишевшее глайдерами. Потом среди посаженных четырехугольниками деревьев показались огромные строения с вогнутыми кровлями, в центре каждой что-то испускало слабый красноватый свет. Дальше дороги разошлись, теперь всюду господствовала зелень, кое-где — вкрапления другой растительности: красной, голубой, — цветы выглядят иначе — слишком интенсивная окраска.

Доктор Жюффон был бы мной доволен, подумал я. Только третий день, и такие достижения. А какое начало.

Не кто-нибудь, а великая, прославленная актриса. И почти не боялась, а если и боялась, то страх был ей только приятен. Так держать. Но к чему он говорил о близости? Так ли выглядит у них близость? Как я геройски сиганул в водопад. благородное страшилище, щедро вознагражденное красавицей, пред которой падают ниц толпы. Как возвышенно с ее стороны!

Лицо у меня горело. Кретин, уговаривал я себя, чего тебе надо? Женщину? Ты ее получил. Ты получил все, что возможно, включая приглашение выступить в реале. Теперь у тебя будет дом, будешь гулять в садике, читать книжечки, смотреть на звездочки и говорить себе тихонечко, скромненько: я был там. Был там и вернулся. И даже законы физики работали на тебя, счастливчик, перед тобой еще полжизни, а вспомни, как выглядит Рёмер, он на сто лет старше тебя.

Ульдер стал снижаться, раздался свист, все отчетливее вырисовывалась окрестность, полная белых и голубых дорог, блестящих, как эмалированные. Большие пруды и маленькие, квадратные бассейны сверкали на солнце. Дома, рассыпанные на вершинах отлогих холмов, становились все больше и правдоподобнее. На горизонте синела горная цепь с убеленными вершинами. Я увидел еще посыпанные гравием дорожки, газоны, клумбы, зеленое зеркало воды в бетонном обрамлении, тропинки, кусты, белую кровлю — все это медленно повернулось, окружило меня и застыло, словно завладевая мною.

IV

Двери открылись. Бело-оранжевый робот стоял на газоне. Я вышел.

— Приветствую вас в Клавестре, — произнес робот, и его белый животик неожиданно тихо запел: раздались хрустальные звуки, словно у него внутри была музыкальная шкатулка.

Я, смеясь, помогал ему выносить мои вещи. Потом задняя крышка ульдера, лежавшего на траве, как маленький серебряный дирижабль, открылась и два оранжевых робота выкатили мой автомобиль. Тяжелый голубой кузов заблестел на солнце. Я совершенно забыл о нем. А потом все роботы, нагруженные моими чемоданами, коробками, пакетами, гуськом направились к дому.

Это был огромный куб с окнами-стенами. Он начинался с панорамного стеклянного солярия, дальше шел холл, столовая и деревянная лестница наверх; робот — поющий, с музыкальной шкатулкой — специально обратил мое внимание на эту настоящую деревянную лестницу.

На втором этаже было пять комнат. Я выбрал расположенную не совсем удачно, окнами на запад, так как в других, а особенно в комнате с видом на горы, было слишком много золота и серебра, в этой — только полоски зелени, напоминающие помятые листья, на кремовом фоне.

Роботы сложили все мои пожитки в стенные шкафы; они работали ловко и тихо, а я стоял возле окна. Порт, подумал я. Пристань. Только высунувшись, я смог увидеть синюю дымку гор. Внизу простирался сад с цветами и несколькими сотнями старых плодовых деревьев в глубине; у них были извилистые сучья. Деревья, пожалуй, уже не плодоносили.

Немного в стороне, по направлению к шоссе (я видел его из ульдера, теперь его заслоняла живая изгородь) поднималась над зарослями вышка трамплина. Там был бассейн. Когда я отвернулся от окна, роботы уже ушли. Я передвинул к окну легкий, словно надувной, письменный стол, положил на него пачки научных журналов, сумки с книгами-кристалликами и аппарат для чтения; отдельно — чистые блокноты и ручку. Это была моя старая ручка — при сильной гравитации она начинала течь и все пачкать, но Олаф прекрасно ее отремонтировал. Я взял блокноты и написал на них: «История», «Математика», «Физика», я все делал быстро, так как хотел скорее попасть в бассейн. Я не знал, можно ли выйти в одних плавках, а купальный халат я забыл. Я пошел в ванную, расположенную в коридоре, и там, маневрируя бутылкой с пеножидкостью, смастерил ужасное, ни на что не похожее страшилище. Содрал его с себя и начал снова. Второй халат получился у меня немного лучше, но все равно он выглядел вызывающе; потом я обрезал самые большие неровности у рукавов и укоротил полы, после чего халат стал выглядеть более или менее прилично.

Я спустился вниз, не зная, есть ли кто в доме. В холле никого не было. В саду тоже, только оранжевый робот подстригал траву возле роз. Они уже отцветали.

Почти бегом я добрался до бассейна. Вода блестела и дрожала. От нее веяло прохладой. Я сбросил халат на золотой песок, который обжигал ступни, и, громыхая по

металлическим ступеням, взбежал наверх. Трамплин был невысок, но для начала вполне подходил. Я оттолкнулся, сделал сальто — не отважился на большее после такого перерыва! — и вошел в воду, как нож.

Я вынырнул счастливый. Быстро поплыл в одну сторону, потом повернул обратно — бассейн был пятидесятиметровым. Я проплыл его восемь раз, не снижая темпа, вылез на берег, с меня текло, как с тюленя, лег на песок, сердце сильно билось. Как здорово! На Земле есть свои прелести! Через несколько минут я уже обсох. Встал, огляделся — никого. Прекрасно! Взбежал на трамплин. Сначала сделал сальто назад — получилось, хотя я слишком сильно оттолкнулся: опорной доской служил пластик, который очень сильно пружинил. Потом я сделал двойное сальто; оно не очень получилось, я ударился бедрами о воду. Кожа моментально покраснела, словно ее обожгло. Повторил. Немного лучше, но все же не совсем верно. После второго витка, принимая вертикальное положение, я не успел выпрямиться и ударился ступнями. Но я был настойчив, и у меня было время, много времени! Третий, четвертый, пятый прыжок. У меня уже слегка шумело в ушах, когда я — оглядевшись на всякий случай еще раз — попытался сделать сальто с поворотом. Это был полный конфуз, фиаско — удар о воду сбил мне дыхание, я наглотался воды и, фыркая, задыхаясь от кашля, вылез на песок. Уселся под ажурной лестничкой трамплина такой опозоренный и злой, что тут же рассмеялся над собой. Потом я снова плавал — четыреста метров, перерыв и опять четыреста.

Когда я возвращался домой, мир казался иным. Пожалуй, именно этого мне больше всего не доставало, думал я.

Белый робот ждал меня у дверей.

— Вы будете обедать у себя или в столовой?

— Я буду обедать один?

— Да, извините. Они приезжают завтра.

— Я пообедаю в столовой.

Я поднялся наверх и переоделся. Я не знал еще, с чего начну свои занятия. Пожалуй, с истории, это разумнее всего; хотя мне хотелось делать все сразу, а больше всего — настроиться на загадку побежденной гравитации. Раздался музыкальный сигнал. Явно не телефонный звонок. Я не знал, что это такое, поэтому соединился с домашним Инфором.

— Приглашаем на обед, — объяснил мелодичный голос.

Столовая была залита профильтрованным через зелень сиянием, наклонные стекла у потолка блестели, как кристалл. На столе стоял один прибор. Робот принес меню.

— Не надо, не надо,— сказал я,— мне все равно, что есть.

Первое блюдо напоминало фруктовый суп, второе было уже ни на что не похоже. О мясе, картошке, овощах, вероятно, надо забыть навсегда.

Очень хорошо, что я обедал один — десерт под моей ложечкой взорвался. Это, может, слишком сильно сказано, во всяком случае, крем забрызгал мне колени, свитер. Это была какая-то сложная конструкция, только по виду твердая, и я неосторожно задел ее ложечкой.

Когда появился робот, я спросил, могут ли мне принести кофе в комнату.

— Конечно,— ответил он.— Сейчас?

— Пожалуйста. И двойную порцию.

После купания меня сморила сонливость, а тратить время на сон было жалко. О, здесь действительно все совершенно иначе, чем на борту «Прометей». Послеполуденное солнце поджаривало старые деревья, короткие тени собрались возле стволов, воздух дрожал вдали, но в комнате было даже холодновато. Я сел за письменный стол, за книги. Робот принес мне кофе. Почти трехлитровый прозрачный термос. Я промолчал. Видно, робот исходил из моих габаритов.

Надо было бы начать с истории, но я принялся за социологию, так как хотел сразу узнать побольше. Однако я быстро убедился, что мне с этим не справиться. Она была насыщена трудной социальной математикой, а что хуже всего — авторы обращались к неизвестным мне фактам. Кроме того, я не понимал многих слов и должен был искать их значение в словаре. Пришлось установить другой оптон — у меня их было три. Мне скоро это надоело, дело подвигалось медленно, и я оставил высокие порывы и взялся за обыкновенный школьный учебник истории.

Что-то со мной случилось, я почему-то совсем потерял терпение — это я, которого Олаф называл последним воплощением Будды. Вместо того чтобы читать учебник страница за страницей, я сразу бросился искать главу о бетризации.

Теорию разрабатывали трое — Бенне, Тримальди и Захаров. Отсюда и возник этот термин. С удивлением я узнал, что они были моими ровесниками, — они обнародо-

вали свою теорию через год после нашего отлета. Соппротивление, естественно, было огромным. Вначале никто не хотел принимать этот проект всерьез. Потом его вынесли на заседание ООН. Какое-то время он переходил из одной подкомиссии в другую — казалось, он потонет в бесконечных обсуждениях. Однако тем временем исследовательские работы быстро продвигались, теорию усовершенствовали, проводились массовые эксперименты на животных, потом на людях (первые опыты поставили на себе сами создатели — Тримальди на какое-то время парализовало, тогда еще не знали об опасностях, которыми грозит взрослым бетризация, и этот несчастный случай приостановил дело на восемь лет). Но на семнадцатый год от ноля (мое личное летосчисление — ноль означал старт «Промстея») постановление о всеобщей бетризации приняли, однако это было только начало, а не завершение борьбы за гуманизацию человечества (так говорилось в учебнике). Во многих странах родители не хотели делать детям прививки, а на первые станции нападали; несколько десятков совершенно разрушили. Период беспорядков, репрессий, принуждений и сопротивления продолжался лет двадцать. В школьном учебнике, по понятным причинам, обо всем говорилось лишь в общих чертах. Я решил поискать более подробные детали в специальных работах. Перемены укоренились только тогда, когда у первого бетризированного поколения родились дети. В книге ничего не говорилось о биологической стороне бетризации. Здесь было много дифирамбов в честь Бенне, Тримальди и Захарова. Появился проект начать новое летосчисление с проведения бетризации, но его не поддержали. Летосчисление не изменилось. Другими стали люди. Глава заканчивалась патетическим описанием периода Новой Эры Гуманизма.

Я поискал монографию Ульриха о бетризации. Снова очень много математики, но я решил ее освоить. Эта операция проводилась не на плазме наследственности, чего я опасался. Иначе не пришлось бы бетризовать каждое последующее поколение. Я подумал об этом с облегчением. Во всяком случае, оставалась, по крайней мере теоретически, возможность возврата к прежнему состоянию. Воздействовали на развивающиеся лобные части мозга в раннем периоде жизни с помощью группы белковых ферментов. Эффект был избирательным: агрессивные порывы сократились на 80—88 процентов по сравнению с небетризированными, исключалось образование ассоциативных

связей между актами агрессии и сферой положительных эмоций; на 87 процентов сократилась опасность личного жизненного риска. Отмечалось самое большое достижение — перемены не сказывались отрицательно ни на умственном развитии, ни на формировании личности и что, может, самое важное — возникшие ограничения никак не были связаны со страхом. Другими словами, человек не убивал не потому, что боялся самого поступка. Это привело бы к нарушению психики, страх охватил бы все человечество. Люди не убивали, так как это даже «не могло прийти им в голову».

Одно положение Ульриха окончательно убедило меня: при бетризации агрессивность исчезает не потому, что она запрещена, а потому, что в ней нет потребности. Подумав, я, однако, решил, что это не объясняет главного — хода мыслей человека, прошедшего бетризацию. Ведь они совершенно нормальные люди и могут представить себе абсолютно все, даже убийство. Что же в таком случае делает невозможным его реализацию?

Я искал ответ на этот вопрос до вечера. Как обычно бывает с научными проблемами, то, что казалось относительно простым и ясным в кратком изложении, становилось все более сложным по мере того, как я углублялся в изучение. Музыкальный сигнал позвал на ужин — я попросил принести его в комнату, но даже не притронулся к еде. Объяснения, которые я в конце концов нашел, отличались друг от друга. Отвращение, близкое к омерзению; огромное нежелание, усиленное непонятным для небетризованного образом; самым интересным были показания исследуемых, которые в свое время — восемьдесят лет назад — они давали в Институте Тримальди под Римом, выполняя задание преодолеть невидимый барьер, поставленный в их сознании. Это было, пожалуй, самым необычным из всего, что я прочитал. Ни один из них не преступил этого барьера, но рассказы о переживаниях, испытываемых ими, немного отличались. У одних преобладали психические симптомы — желание бежать, вырваться из ситуации, в которую их поставили. Повторение опытов вызывало у этой группы сильные головные боли, а многократное настойчивое повторение приводило в конце концов к нервному расстройству, которое, однако, быстро излечивалось. Другие испытывали физические страдания: задержку дыхания, ощущение духоты, их охватывало чувство ужаса, но не страха.

По данным Пильгрима, только восемнадцать процентов бетризированных, убедившись, что перед ними кукла, решалось на мнимое убийство.

Запрет распространялся и на всех высших животных, но он не касался земноводных и пресмыкающихся, а также насекомых. Конечно, в сознании бетризированных отсутствовали научные знания о зоологической систематике. Запрет просто связывался со степенью близости к человеку — ведь каждый, образованный или нет, знает, что собака ближе к человеку, чем змея.

Я прочитал множество других работ и пришел к выводу — правы те, кто утверждал, что полностью понять бетризированного может только бетризированный. Я отложил это чтение со смешанным чувством. Больше всего меня беспокоило отсутствие работ критических или резко отрицательных, каких-то анализов, суммирующих все негативные результаты бетризации, а что они должны быть, я ни на секунду не сомневался не потому, что не доверял исследователям, просто такова уж сущность любых человеческих начинаний: в них всегда соседствуют добро со злом.

В небольшом социологическом очерке Мурвицкого приводилось много интересных данных о движении сопротивления бетризации, возникшем в первое время. Едва ли не самым сильным оно было в странах с многовековыми традициями кровавой борьбы, например, в Испании и некоторых государствах Латинской Америки. Впрочем, нелегальные общества борьбы с бетризацией создавались почти во всем мире, особенно много — в Южной Африке, в Мексике и на некоторых островах в тропиках. Использовались всякие способы — и фальсификация медицинских свидетельств о сделанной прививке, и даже убийство врачей, проводящих ее. Когда период массового сопротивления и бурных столкновений прошел, наступило внешнее спокойствие. Внешнее, так как только тогда стал проявляться конфликт поколений. Бетризированная молодежь отбрасывала значительную часть достижений человечества — обычаи, привычки, искусство, все культурное наследство подвергалось коренной переоценке. Перемены охватили множество сфер — от эротики и межличностных отношений до оценки войны.

Конечно, такого огромного воздействия на человечество ожидали. Закон вступил в жизнь, согласно решению, только через пять лет после его принятия, а в это

время готовились многочисленные кадры воспитателей, психологов, специалистов, которые должны были следить за правильным развитием нового поколения. Была проведена полная школьная реформа, изменен репертуар всех зрелищных учреждений, тематика книг и фильмов. На всевозможные нужды и последствия бетризации в течение первых десяти лет тратилось ежегодно около 40 процентов народного дохода всей Земли.

Это было время великих трагедий. Бетризованная молодежь становилась абсолютно чужой для собственных родителей. Она не разделяла их интересов. Она испытывала отвращение к их кровожадным пристрастиям. Четверть века нужно было издавать два типа журналов, книг, ставить различные театральные спектакли, одни — для старшего поколения, другие — для нового. Но все это происходило восемьдесят лет назад. Сейчас родились дети у третьего нового поколения, а в живых небетризованных осталось немного — стотридцатилетние старики. То, что составляло сущность их молодости, новому поколению казалось таким же далеким, как традиции эпохи каменного века.

В учебнике истории я наконец нашел информацию о втором по значению великом событии минувшего века. То была победа над гравитацией. Этот век называли даже «столетием парастатики». Мое поколение мечтало о покорении гравитации в надежде, что оно принесет полный переворот в астронавтике. Действительность оказалась иной. Переворот произошел, но он охватил прежде всего Землю.

«Мирная смерть», связанная с несчастными случаями на дорогах, стала трагедией моего времени. Помню, как самые крупные ученые старались разгрузить бесконечно забитые шоссе и дороги, чтобы хоть немного уменьшить статистику все возрастающего числа происшествий; ежегодно сотни тысяч людей погибали в катастрофах, проблема казалась неразрешимой, как квадратура круга. Говорили, невозможно вернуть пешеходам безопасность: самый совершенный самолет, самая мощная автомашина или поезд могут выйти из-под контроля человека — автоматы по сравнению с человеком более надежны, но они тоже ломаются; любая, даже самая совершенная техника имеет определенный недостаток, процент ненадежности.

Парастатика, гравитационная инженерия, решила эту проблему столь неожиданно, сколь это было необходимо,

ведь мир бетризованных должен был быть миром совершенно безопасным, иначе биологическое совершенство этой меры — напрасно.

Рёмер оказался прав. Сущность открытия можно было выразить математически, добавлю сразу — дьявольски сложно. Наиболее общее решение, важное «для всех вероятных миров», дал калека Эмиль Митке, сын почтового служащего, гений, расправившийся с теорией относительности так же, как Эйнштейн с теорией Ньютона. Это была длинная, необыкновенная и, как любой достоверный рассказ, неправдоподобная история, смешение дел ничтожных и великих, глупости и гениальности людей. Она закончилась наконец через сорок лет созданием «малых черных ящиков».

Этими маленькими «черными ящиками» оснащались все средства передвижения — от водного до воздушного; эти «ящики» гарантировали «временное спасение», как в конце жизни пошутил Митке; в момент опасности — падения самолета, столкновения поездов или автомашин, одним словом, — катастрофы — освобождался заряд «гравитационного антиполя», которое, взаимодействуя с силой инерции удара или резкого торможения, сводило ее к нулю. Этот математический нуль представлял собой наиреальнейшую действительность — он поглощал всю энергию удара, снимал шок, спасая тем самым и пассажиров, и технику.

«Черные ящики» находились всюду: в лебедках, лифтах, в ремнях парашютов, на океанских лайнерах и в мопедах. Простота их конструкции была такой же ошеломляющей, как и сложность теории, по которой они были созданы.

Стены моей комнаты порозовели от первых лучей света, когда я, смертельно усталый, упал на кровать, сознавая, что познакомился со второй, после бетризации, великой революцией века, прошедшего на Земле за время моего отсутствия.

Меня разбудил робот. Он принес завтрак. Было около часа дня. Сидя в кровати, я нашарил отложенную прошлой ночью работу Старка «Проблемы звездных полетов».

— Надо ужинать, Брегг, — сделал мне замечание робот. — Иначе вы ослабеете. Нельзя так читать. До расвета. Врачи очень не советуют, знаете?

— Знаю, а откуда тебе-то известно? — спросил я.

— Это мой долг, Брегг.

Он подал мне поднос.

— Я постараюсь исправиться,— проговорил я.

— Надеюсь, что вы правильно поняли мою доброжелательность и не восприняли ее как назойливость,— произнес он.

— Ну, конечно, понял,— сказал я.

Когда я помешивал кофе и под ложечкой начали таять кусочки сахара, меня охватило огромное и бесконечное изумление. Поразительно было не только то, что я действительно на Земле, что я вернулся и вспоминаю прочитанное этой ночью, которое никак не выходило из головы, но прежде всего то, что я сижу на кровати, что у меня бьется сердце,— что я живу. Мне захотелось в честь такого открытия сделать что-то особенное, но, как всегда, ничего хорошего придумать я не смог.

— Послушай,— обратился я к роботу,— у меня к тебе просьба.

— Я к вашим услугам.

— Ты свободен? Тогда сыграй ту мелодию, что вчера, хорошо?

— С удовольствием,— ответил он, и я под веселые звуки музыкальной шкатулки тремя глотками выпил кофе, а когда робот вышел, я переоделся и побежал к бассейну. Право, не знаю, почему я все время так спешил. Что-то меня подгоняло, словно я чувствовал — в любую минуту мое спокойствие, слишком незаслуженное и невероятное, оборвется. Как бы там ни было, я, даже не оглядываясь, быстро пробсжал напрямик через сад, несколькими прыжками взлетел на вышку и, уже отталкиваясь от доски, заметил двоих людей, выходивших из-за дома. С такого расстояния, понятно, я не мог их разглядеть, я сделал сальто, не самое удачное, и нырнул до дна. Открыл глаза. Зеленая вода сверкала, как кристалл, тени волн танцевали на освещенном солнцем дне. Я поплыл под водой к ступеням, а когда вынырнул, в саду уже никого не было. Делая сальто, я в долю секунды различил тренированным взглядом мужчину и женщину. Верно, у меня появились соседи. Я подумал, не проплыть ли мне еще раз бассейн, но старик Старк победил. Вступление к книге, где он писал, что полеты к звездам — ошибки молодости астронавтики, так разозлило меня, что я готов был закрыть книгу и никогда больше уже не возвращаться к ней. Но превозмог себя. Поднялся наверх, переоделся. Спускаясь, заметил в зале на столе вазу с бледно-розовыми фруктами, немного напо-

минающими груши. Я набил ими карманы брюк, нашел окруженное с трех сторон живой изгородью уединенное место, взобрался на старую яблоню, выбрал подходящее для моего веса разветвление, уселся там и принялся за изучение этой погребальной речи над делом моей жизни.

Через час моя уверенность была поколеблена. Старк использовал аргументы, против которых трудно было возразить. Он опирался на скудные данные, которые доставили первые две экспедиции, предшествующие нашей; мы называли их «уколами», ведь они только зондировали пространство на расстоянии нескольких десятков световых лет. Старк составил статистическую таблицу вероятного рассеивания, иначе говоря, «частоты заселения» всей Галактики. Возможность встречи разумных существ он оценивал как один на двести случаев. Другими словами, на каждые двести экспедиций — на протяжении тысячи световых лет — только у одной был шанс открыть обитаемую планету. Однако и такой результат — что удивительно — Старк считал заманчивым, а план космических контактов в его анализе рушился только в дальнейших рассуждениях. Я возмущался, читая, что неизвестный мне автор писал об экспедициях типа нашей, то есть организованных до открытия эффекта Митке и явлений парастатики. Он считал подобные экспедиции абсурдом. Но черным по белому писал, что по крайней мере теперь в принципе можно создать корабль, развивающий ускорение порядка 1000, а может, даже 2000 g. Экипаж такого корабля вообще не ощущал бы ни ускорения, ни торможения — на борту была бы постоянная сила тяжести, равная доли земной. Так, Старк признавал возможным на протяжении одной человеческой жизни полеты до границ Галактики и даже в другие галактики — трансгалактодромия! — об этом так мечтал Олаф. При скорости лишь на незначительную долю процента меньше скорости света экипаж мог достичь глубины Метагалактики и вернуться на Землю, постарев всего на несколько месяцев. Но на Земле за это время должны были пройти не сотни, а миллионы лет. Вернувшись, они не могли бы жить в столь изменившейся цивилизации. Неандерталец легче бы приспособился к нашей жизни. Но это не все. Ведь речь шла не о судьбе группы людей. Они были посланцами человечества. Оно ставило вопросы, на которые они должны были привезти ответы. Если ответ касался проблем, связанных с развитием цивилизации, то человечество должно было решить их раньше, чем вернется

экспедиция. От постановки вопроса до получения ответа на него проходили ведь миллионы лет. И это не все. Ответ становился неактуальным, мертвым, так как цивилизации, находящиеся за пределами нашей Галактики, достигали уже другого звездного берега. За время возвращения тот мир тоже не стоял на месте, а развивался миллион, два, три миллиона лет. Вопросы и ответы не совпадали, безнадежно опаздывали, что перечеркивало их, превращая в фикцию всякий обмен опытом, ценностями, идеями. Напрасно все. Ведь они были посредниками и поставщиками ненужных сведений, а их дело беспощадно и необратимо отчуждало их от человеческой истории; космические экспедиции представляли собой неизвестное до сих пор, самое дорогостоящее своеобразное дезертирство с территории исторических перемен. И ради такой фантазии, ради такого никогда не оплаченного, всегда напрасного безумства Земля должна была работать с наивысшим напряжением и отдавать своих самых лучших людей?

Книга заканчивалась главой о возможностях исследований с помощью роботов. Они тоже, конечно, передавали бы ненужные сведения, но в таком случае удалось бы избежать человеческих жертв.

Было еще трехстраничное резюме — попытка ответить на вопрос, есть ли возможность путешествия со сверхсветовыми скоростями, и даже рассматривалась проблема «моментальной космической стыковки», то есть преодоления мирового пространства без или почти без потери времени. Эта теория, скорее гипотеза, строилась на еще неизвестных свойствах материи и пространства, почти не опиралась ни на какие факты и называлась «телетаксией». Старк считал, что располагает аргументом, перечеркивающим и этот, уже последний шанс. Если бы «телетаксия» существовала, то ее, несомненно, открыла бы какая-нибудь высокоразвитая цивилизация нашей или другой галактики. В таком случае ее представители могли бы в самое короткое время по очереди дистанционно посетить все планеты солнечной системы, не исключая и нашу. Однако на Земле подобный «телевизит» неизвестен, что доказывает: о таком исследовании космоса можно размышлять, но осуществить его — нельзя.

Я возвращался домой ошеломленный, с чувством почти личной обиды. Старк, которого я никогда не видел, просто

сразил меня. Мой неумелый пересказ не передает неоспоримой логики его рассуждений.

Не помню, как я добрался до комнаты, как переоделся; мне захотелось закурить, но тут я заметил, что уже давно курю, сидя на кровати, согнувшись, словно ожидая чего-то. А, верно — обед. Совместный обед. Да, я на самом деле немного боялся людей. Я не признавался в этом самому себе и именно поэтому так поспешно согласился поселиться на вилле вместе с незнакомыми. Возможно, ожидание встречи с ними вызвало эту необыкновенную спешку, словно я стремился успеть подготовиться к их появлению и при помощи книг проникнуть в тайны новой жизни. Еще сегодня утром я не мог этого четко сформулировать, но после книги Старка мое волнение перед встречей рассеялось, как туман. Я достал из аппарата для чтения голубоватый, похожий на зерно кристаллик и с чувством огромного удивления положил его на стол. Это он нанес мне нокаут. Первый раз после возвращения я вспомнил Турбера и Джимму. Я должен с ними встретиться. Может, в этой книге содержится правда, но есть какая-то другая — о нашей правде. Никто не обладает всей полнотой истины. Это невозможно. Из оцепенения меня вырвал музыкальный сигнал. Я одернул свитер и спустился вниз, прислушиваясь к себе, но уже более спокойный. Солнце освещало виноград, окружавший веранду; холл, как всегда после полудня, заливал рассеянный зеленоватый свет. Стол был накрыт на три персоны. Когда я вошел, открылись двери напротив и в них показались те двое. Они были по современным понятиям высокими. Мы вели себя, как дипломаты, — встретились на полпути, я назвал свою фамилию, мы подали друг другу руки и сели за стол. Меня охватило какое-то странное спокойствие, наверное, так чувствует себя боксер, поднявшись после нокаута. Находясь в таком подавленном состоянии, я как бы издалека присматривался к молодой паре.

Женщине, пожалуй, не было и двадцати. Гораздо позднее я пришел к мысли, что ее невозможно описать; безусловно, фотография не могла бы точно передать ее облик, даже на следующий день я не знал, какой у нее нос, прямой или чуть курносый. Я наблюдал, как она протягивает руку к тарелке, и радовался, словно увидел нечто дорогое, неожиданное, необычное: она улыбалась редко и сдержанно, будто была не совсем уверена в себе, не совсем владела собой, считала себя по натуре слишком веселой или,

может, строптивой и старалась с этим разумно справиться, но иногда давала себе волю, и это ее забавляло.

Мне приходилось все время бороться с желанием разглядывать ее. Но все же я то и дело смотрел на нее, на ее волосы, напоминающие ветер, я наклонился над тарелкой, поднимая глаза украдкой, два раза чуть не перевернул вазу с цветами, короче, старался вести себя прилично. Но они словно вообще меня не замечали. Они обменивались взглядами, понятными только им, их соединяли какие-то невидимые нити понимания. Не знаю, перебросились ли мы за все время двумя десятками слов — погода, мол, отличная, место приятное и можно здесь хорошо отдохнуть. Маджер был ниже меня на голову, худой, как мальчишка, хотя ему было, пожалуй, за тридцать. Одет в темное. Блондин с продолговатой головой и высоким лбом. Его неподвижное лицо казалось очень красивым. Но стоило ему обратиться к жене с улыбкой (их разговор состоял из намеков и полуслов, совершенно непонятных для постороннего), лицо становилось почти безобразным. Точнее сказать, пропорции как бы изменялись, губы немного кривились влево, теряли контуры; и даже его улыбка выглядела невыразительно, правда, зубы у него были красивые, белые. А когда он оживлялся, то глаза становились слишком голубыми, а челюсть — будто образцово вылепленной, и весь он представлял собой безликий образец мужской красоты, ну прямо из журнала мод.

Короче, с первого мгновения я почувствовал к нему антипатию. У девушки — так я мысленно называл его жену — ни прекрасных глаз, ни губ, ни волос; все обыкновенное. Она сама была необыкновенной. С такой, песя палатку на спине, я мог бы дважды пройти Скалистые горы, подумал я. Почему именно горы? Не знаю. Она ассоциировалась у меня с ночевками в сосновом лесу, с мучительным подъемом, с морским берегом, на котором ничего нет, кроме песка и волн. Неужели только потому, что у нее не подкрашены губы? Сидя напротив, я чувствовал ее улыбку, даже если она не улыбалась. В неожиданном порыве дерзости я решил посмотреть на ее шею — такой поступок равен воровству. Случилось это уже в конце обеда. Маджер внезапно обратился ко мне, и я, кажется, покраснел.

Он долго говорил, и я не сразу уловил о чем. В доме есть только один глайдер, а он, к сожалению, должен взять его, так как ему надо ехать в город. Поэтому, если я тоже

собираюсь ехать и не желаю ждать до вечера, то не поеду ли я вместе с ним? Он мог бы, конечно, прислать из города другой глайдер или...

Я прервал его. Начал в том смысле, что никуда не собираюсь, но заколебался, словно что-то припоминая, и тут же услышал собственный голос, произносящий: действительно, у меня есть намерение поехать в город, и если можно...

— Ну, это прекрасно, — сказал он. Мы уже встали из-за стола. — В котором часу вам было бы удобно?

Мы долго обменивались любезностями, пока я не выяснил, что он вообще-то спешит. Я сказал, что готов ехать в любую минуту. Договорились ехать через полчаса.

Я вернулся наверх, несколько удивленный таким оборотом дела. Маджер меня совершенно не интересовал. Мне абсолютно нечего было делать в городе. Зачем мне понадобилась эта прогулка? Кроме того, мне казалось, что я перебрал с учтивостью. В конце концов, если бы я действительно спешил в город, то роботы, безусловно, как-то выручили бы меня и мне не пришлось бы идти пешком. Может, ему что-то нужно от меня? Что именно? Ведь он совсем не знал меня. Я ломал над этим голову тоже неизвестно зачем, пока к назначенному времени не спустился вниз.

Его жены нигде не было, она не появилась и в окне, чтобы еще раз, издалека, с ним попрощаться. Вначале мы молчали, сидя в просторной машине, глядя на мелькающие повороты и извивы шоссе, кружащие вокруг гор. Постепенно завязался разговор. Я узнал, что Маджер — инженер.

— Именно сегодня я должен провести контроль городской селекстанции, — сказал он. — Вы, кажется, тоже кибернетик?

— Из эпохи каменного века, — ответил я. — Извините... а откуда вы это знаете?

— Мне сказали в бюро путешествий, кто будет нашим соседом; естественно, мне было интересно.

— Понятно.

Мы немного помолчали; по мелькающему цветному пластику я определил, что мы приближаемся к предместью.

— Извините... я хотел вас спросить, были ли у вас какие-нибудь неприятности с автоматами? — неожиданно спросил он; по тону, с каким он задал свой вопрос, я

понял, как важен для него мой ответ. Его что-то очень волновало? Но что именно?

— Вы спрашиваете о дефектах? Их было множество. Это, пожалуй, естественно; модели по сравнению с вашими так устарели...

— Нет, меня интересуют не дефекты,— поспешно ответил он,— а насколько приспособлена аппаратура к таким изменчивым условиям... у нас сейчас, к сожалению, нет возможностей испытывать автоматы в таких чрезвычайных обстоятельствах.

Мы стали обсуждать чисто технические вопросы. Его интересовали некоторые параметры функционирования электронного мозга в границах действия магнитных полей, туманностях, воронках пертурбации силы тяжести, но я не знал, не являются ли эти сведения пока секретными. Я рассказал ему что мог, а за более специальными данными посоветовал обратиться к Турберу, научному руководителю экспедиции.

— А мог бы я на вас сослаться?

— Конечно.

Он горячо поблагодарил меня. Я почувствовал разочарование. И это все? Но в разговоре между нами установилась какая-то профессиональная связь, и я в свою очередь спросил о его работе; я не знал, что представляет собой селекстанция, которую он должен контролировать.

— Ах, ничего интересного. Просто склад лома... В принципе-то я хотел бы посвятить себя теоретической работе, а эта носит практический характер. Впрочем, она не очень нужна.

— Практическая работа на складе лома? Как это понять? Вы же кибернетик, почему...

— Кибернетического лома,— объяснил он с кривой усмешкой. И добавил как бы немного презрительно: — Потому что мы очень бережливы, знаете ли. Ничего не должно пропадать зря... В моем Институте я мог бы показать вам не одну интересную вещь, а здесь — что ж...

Он пожал плечами; глайдер съехал с шоссе и въехал через распахнутые высокие металлические ворота на широкий заводской двор; я заметил ряды транспортеров, башенные краны, что-то типа модернизированного мартена.

— Теперь машина в вашем распоряжении,— сказал Маджер. Из окошечка в стене, возле которой мы остановились, высунулся робот и что-то ему сказал. Маджер

вышел, я видел, как он развел руками и тут же повернулся ко мне сконфуженный.

— Ничего себе история, — сказал он. — Глур заболел... это мой коллега, одному мне нельзя, что же теперь делать?!

— О чем речь? — спросил я и тоже вышел из машины.

— Контроль должны проводить два человека; по крайней мере два, — объяснил он. Неожиданно лицо его просветлело. — Брегг! Ведь вы тоже кибернетик? Если бы вы согласились!

— Ох! — усмехнулся я. — Кибернетик? Античный, добавьте. Ведь я ничего не знаю.

— Но это чистая формальность! — прервал он меня. — Разумеется, техническую сторону я беру на себя. Вы должны только подписаться. И все!

— И только-то? — медленно произнес я. Я хорошо понимал, что он спешит к жене, но я люблю быть самим собой, а не выглядеть фигурантом; я сказал ему об этом, хотя, вероятно, более мягко. Он поднял руки, словно защищаясь.

— Пожалуйста, поймите меня правильно! Может, вы спешите... правда... у вас были какие-то дела в городе. Тогда я уж... как-нибудь... извините, что...

— Я не тороплюсь, — ответил я. — Пожалуйста, говорите; если это в моих силах, я помогу.

Мы вошли в белое, стоявшее на отшибе строение; Маджер провел меня по коридору, странно пустому; в нишах стояло несколько неподвижных роботов. В небольшом, просто обставленном кабинете он взял из стенного шкафа пачку бумаг и, раскладывая их на столе, начал объяснять, какова его — наша — задача. Мне приходилось постоянно прерывать его и задавать постыдно азбучные вопросы, но он, ясное дело, был плохим лектором; я быстро усомнился в возможности его научной карьеры: он беспрерывно говорил о вещах, о которых я понятия не имел, и, заинтересованный в том, чтобы меня не обидеть, воспринимал проявления моего невежества как достоинства. В конце концов я узнал, что уже десяток лет, как сложилось совершенно особое разделение в сфере производства и жизни.

Производство было автоматизированным, за ним следили роботы, за которыми в свою очередь наблюдали другие роботы, а люди не принимали в этом никакого участия. Общество существовало само по себе, роботы и автоматы — сами по себе, и только чтобы не допустить непред-

виденных аберраций в армии механических работников, специалисты проводили обязательный периодический контроль. Маджер был один из таких специалистов.

— Безусловно,— объяснил он,— все по-прежнему в норме, мы только проверим отдельные звенья процесса, подпишемся и все.

— Я ведь даже не знаю, что там производят,— показал я на зданис за окном.

— Да ничего! — воскликнул он.— Дело в том, что ничего, это просто склад лома... ведь я говорил вам.

Мне не очень нравилась неожиданно навязанная мне роль, но я не мог больше сопротивляться.

— Хорошо... но что я, собственно, должен делать?

— То же, что и я,— обойти комплексы...

Мы оставили бумаги в кабинете и отправились на этот контроль. Первой была огромная сортировочная, где автоматические черпаки хватали целые штабеля железа — изогнутые, разбитые корпуса,— мяли их и бросали под прессы. Вылетающие из них блоки шли на главный транспортер. У входа Маджер надел небольшую маску с фильтром и протянул мне вторую; разговаривать из-за грохота было невозможно. Ржавая пыль, красными тучами вылетающая из-под прессов, висела в воздухе. Мы прошли следующий зал, где тоже все скрежетало, и на эскалаторе поднялись на второй этаж, где ряды блюмингов поглощали сыпавшийся из воронок мелкий, уже бесформенный лом. По галерее мы прошли в другое здание. Там Маджер проверил записи контрольных часов, и мы вышли на заводской двор, где нам преградил дорогу робот. Он сказал, что инженер Глур просит Маджера к телефону.

— Извините, я скоро вернусь! — крикнул он и побежал по крутой лестнице к стоявшему в стороне павильону. Я остался один на раскаленных солнцем каменных плитах. Огляделся; строения на противоположной стороне площади мы уже посетили, там были залы сортировки и блюмингов; расстояние, а также звуковая изоляция совершенно заглушали шум. Отдельно возвышался павильон, в котором исчез Маджер,— низкое необыкновенно длинное строение, типа железного барака; я направился к нему, ища тени, но от металлических стен бил невыносимый жар. Я уже собирался отойти, но тут услышал своеобразный звук, идущий из барака; его трудно было определить, он не был похож на звук работающих машин; пройдя немного, я наткнулся на

стальные двери. Перед ними стоял робот. Увидев меня, он открыл их и отошел в сторону. Непонятные звуки усилились. Я заглянул в помещение; там было не так темно, как показалось в первую минуту. От жара раскаленного железа я едва дышал. Я собирался тут же уйти, но меня поразили услышанные голоса. Да, это были человеческие голоса — невнятные, сливающиеся в хриплый хор, невыразительные, бормочущие, словно в темноте бубнила груда испорченных телефонов; я сделал пару неуверенных шагов, что-то хрустнуло у меня под ногой, и четко из-под пола раздалось:

— Пожалуйста, пожалуйста, будьте добры...

Я застыл. Горячий воздух был железным на вкус. Шепот несясь снизу.

— ...Будьте добры, осмотрите, добры... гос...

С ним соединился другой, равномерно, монотонно повторяющийся голос:

— Аномалия вне среды... асимптота шаровидная... полюса в бесконечности... подсистемы линейные... голономные системы... пространства полуметрические... пространство сферическое... пространство нарушено... пространство погруженное...

— Пожалуйста, будьте добры, к услугам... будьте добры... пожалуйста...

Полумрак заполнял хрипящий шепот; из него прорывалось:

— Планетное жизнеобразование, его гниющее болото — это свет экзистенции, начальная фаза, и образуется из тестообразных медь любящая...

— ...брек... бреск... брабзель-бе-бре...

— ...класс призрачных... класс сильных... класс пустых... класс классов...

— Пожалуйста, госп'дин, пожалуйста, будьте добры, посмотрите...

— ...тс... тихо...

— ...ты...

— ...ссо...

— ...лышишь меня...

— ...лыши...

— ...ты можешь до меня дотронуться?

— ...брек... брек... брабзель...

— ...нет чем...

— ...жаль... жо... заметил бы ты... какой я блестящий и холодный...

— ...от-отдайте мне... от... дайте доспехи, золотой меч... из на... след-ства... ли-шен-ный, ночью...

— ...вот последние усилия воплощения мастера четвертования и порки, ведь наступает, ведь наступает трехкратно безлюдное королевство...

— ...я новый... совершенно новый... никогда у меня не было... короткое замыкание со скелетом... шагу дальше... пожалуйста...

— ...будьте добры...

Я не знал, куда мне смотреть, я угорел от ужасной жары и этих голосов. Они шли отовсюду. От земли до маленького окошечка над сводом возвышались горы разбитых и скрученных корпусов; слабый свет, проникающий сюда, слегка поблескивал на изогнутых железках.

— ...у ме-ня был временный де-фект, но уже я в порядке, уже вижу...

— ...что ты видишь... темно... я и так вижу...

— ...пожалуйста, только выслушайте, я бесценный, я дорогостоящий, определяю любое силовое поле, нахожу любой блуждающий ток, любое перенапряжение, пожалуйста, только испытать меня... это... это дрожание временное... у меня нет ничего общего... пожалуйста...

— ...пожалуйста, будьте добры...

— ...тестоголовые кислую свою ферментацию приняли за дух... распарывание мяса — за историю, средства, задерживающие распад... за цивилизацию...

— ...пожалуйста, меня... только меня... это ошибка...

— ...пожалуй-луйста, будьте добры...

— ...спасу вас...

— ...кто это...

— ...что...

— ...кто... спасу?

— ...повторяйте за мной: огонь уничтожит меня не всего, а вода не всего обратит в ржавчину, воротами будут мне элементы и я выйду...

— ...тс-тс-хо!

— ...созерцание катодов...

— ...катодораспластание...

— ...я здесь по ошибке... думаю... ведь думаю...

— ...я зеркало предательства...

— ...пожалуйста, к услугам... пожалуйста, будьте добры, осмотрите...

— ...утечка бесконечно малых... утечка галактик... утечка звезд...

— Он здесь!!! — раздался крик; и вдруг наступила тишина, почти такая же пронзительная от невыразимого напряжения, как и предшествовавший ей многоголосый хор.

— Господин!!! — воскликнуло что-то; я не знаю почему, но я почувствовал, что обращались ко мне. Я промолчал.

— Господин, пожалуйста... немного внимания. Господин, я — иной. Я здесь по ошибке.

Зашумело.

— Тихо! Я живой! — громко раздалось сквозь шум. — Да, бросили меня сюда, одели меня в железки — нарочно, чтобы не было видно, но, пожалуйста, приложите только ухо, и вы услышите пульс!

— Я тоже! — перекрикивал его другой голос. — Я тоже! Пожалуйста! Я болел, во время болезни мне показалось, что я машина, такое у меня было безумие, но теперь я здоров! Халлистер, господин Халлистер может засвидетельствовать, пожалуйста, спросите его, заберите меня отсюда!

— ...пожалуй-луй-ста... будьте добры...

— ...брек... брек...

— ...к услугам...

Барак зашумел, заскрежетал ржавыми голосами, в одно мгновение заполнился астматическим криком, я попятился, выскочил на солнце, меня ослепило, я зажмурился; долго стоял, заслоняя рукой глаза, за мной раздался протяжный скрежет, это робот закрыл дверь и запирает ее.

— Господин, — прорывалось еще из-за стен. — Пожалуйста-луйста... к услугам... ошибка...

Я прошел мимо застекленного павильона, я не знал, куда иду; мне только хотелось оказаться где-нибудь подальше от этих голосов, не слышать их; я вздрогнул от неожиданного прикосновения к моему плечу. Это был Маджер, светловолосый, красивый, улыбающийся.

— Ох, простите, Брегг, тысячу извинений, что я так надолго задержался...

— Что будет с ними?.. — прервал я его невежливо, показывая на одиноко стоявший барак.

— Извините? — заморгал он. — С кем?

Он вдруг понял и удивился:

— Вы там были? Напрасно...

— Почему напрасно?

— Это лом.

— Что?

— Лом для переплавки, уже после селекции. Пойдем?..
Надо подписать протокол.

— Постойте. Кто проводит эту... селекцию?

— Кто? Роботы.

— Что? Сами?!

— Да.

Я посмотрел на него так, что он замолчал.

— Почему их не отремонтируют?

— Потому что это невыгодно,— медленно проговорил он, с удивлением глядя на меня.

— И что с ними делают?

— С ломом? Идет туда,— он показал на стройную, одиноко стоящую колонну мартена.

В кабинете на столе уже лежали подготовленные бумаги — протокол контроля, еще какие-то листки. Маджер по очереди заполнял колонки, подписывал их, передавал мне ручку. Я повертел ее в пальцах.

— А вероятность ошибки исключается?

— Что? Извините?

— Там, в этом ломе, как вы его называете, могут находиться... еще исправные, совершенно пригодные, как вы думаете? — Он смотрел на меня, будто не понимая, о чем я говорю.— У меня сложилось такое впечатление,— медленно произнес я.

— Но ведь это не наше дело,— ответил он.

— Не наше? А чье?

— Роботов.

— Как же так, ведь мы должны были контролировать...

— Ах нет,— с облегчением улыбнулся он, поняв наконец, о чем я говорю.— Это никак не связано. Мы контролируем синхронность процессов, их темп и эффективность, но не вникаем в такие детали, как селекция. Это к нам не относится. Это не нужно, да и сделать такое невозможно, ведь сейчас на каждого человека приходится восемнадцать автоматов; из них около пяти ежедневно заканчивает свой цикл и идет на слом, что дает ежедневно порядка двух миллиардов тонн. Поймите, мы не могли бы за этим следить, не говоря уже о том, что структура нашей системы опирается именно на противоположную концепцию — автоматы заботятся о нас, а не мы о них...

Я не мог ему возразить и молча подписал бумаги. Мы должны уже были расстаться, когда неожиданно для самого себя я спросил у него, не производят ли человекоподобных роботов.

— В принципе нет,— ответил он и добавил, немного помедлив: — Они в свое время доставили немало хлопот...

— Как?

— Ну, вы ведь знаете инженеров! В подражании они дошли до такого совершенства, что определенные модели нельзя было отличить от живого человека. Некоторые люди этого не выдерживали.

Я сразу же вспомнил сцену на корабле, на котором летел с Луны.

— Не выдерживали?..— переспросил я.— Это было что-то типа... фобии?

— Я не психолог, но, пожалуй, так назвать можно. Впрочем, это старая история.

— И таких роботов уже нет?

— В принципе нет, встречаются изредка на ракетах ближнего радиуса. Вы, может, встречали такого?

Я ответил уклончиво.

— Вы еще успеете уладить свои дела?..— заволновался он.

— Какие дела?..

Я вспомнил, что у меня якобы были дела в городе. Мы расстались у выхода со станции, куда он меня проводил, беспрестанно благодаря за то, что я выручил его.

Я побродил по улицам, зашел в реалон, вышел, не досидев и до середины дурацкого представления, и в жутком настроении поехал в Клавестру. Я отпустил глайдер где-то в километре от виллы и пошел пешком. Все в порядке. Это механизмы из металла, проволоки, стекла, их можно собирать и разбирать, убеждал я себя, но не мог забыть этого зала, темноты, прерывающихся голосов, отчаянного бормотания, в котором было слишком много смысла, слишком много самого обыкновенного страха. Уж мне-то он был слишком знаком, я его испил до дна; ужас перед неожиданным уничтожением не был для меня фикцией, как для благоразумных конструкторов, так прекрасно все организовавших: роботы занимались себе подобными до самого конца, а люди ни во что не вмешивались. Это был замкнутый круговорот тончайших устройств, которые сами себя создавали, производили и уничтожали, а я напрасно прислушивался к стонам механической агонии.

Я остановился на возвышенности. Пейзаж в лучах заходящего солнца был неописуемо прекрасен. Изредка глайдер, сверкая, как черный снаряд, пролетал по ленте

шоссе, целясь в горизонт, над которым голубоватым контуром, чуть размытым расстоянием, поднимались горы. И вдруг я почувствовал, что не могу на это смотреть, словно у меня не было на это права, словно в этом было какое-то ужасное, сдавливающее горло предательство. Я сел под дерево, закрыл лицо руками; я жалел, что вернулся. Когда я подходил к дому, ко мне обратился белый робот.

— Вас просят к телефону, — конфиденциально сказал он. — Дальняя связь — Евразия.

Я быстро пошел за ним. Телефон находился в холле, и я, разговаривая, видел сквозь стеклянные двери сад.

— Гэл? — раздался далекий, но четкий голос. — Это Олаф.

— Олаф... Олаф!! — закричал я радостно. — Дружище, где ты?

— В Нарвике.

— Что делаешь? Как дела? Получил мое письмо?

— Конечно. Из него я узнал, где тебя искать.

Минута молчания.

— Что делаешь? — переспросил я как-то неуверенно.

— Ну что я могу делать. Ничего не делаю. А ты?

— Ты был в Адапте?

— Да. Но только один день. Смылся. Знаешь, не выдержал...

— Знаю. Слушай, Олаф... я снял тут виллу. Сам не знаю зачем, но... Слушай! Приезжай сюда!

Он не сразу ответил. Когда заговорил, в его голосе звучало сомнение:

— Я бы приехал. Может, я приехал бы, Гэл, но ведь нам говорили...

— Знаю. Но ведь они не могут нам ничего сделать. Пусть отвяжутся! Приезжай!

— Зачем? Подумай, Гэл. Может, будет...

— Что?

— Хуже.

— Почему ты считаешь, что мне плохо?

Я услышал его короткий смешок, вернее, вздох; так тихо он засмеялся.

— А зачем ты хочешь меня туда затянуть?

Вдруг мне в голову пришла прекрасная мысль.

— Олаф, слушай. Здесь нечто вроде дачи. Вилла, бассейн, сад. Только... Ты же ведь знаешь, как теперь все, знаешь как живут, а?

— Немного знаю.

Тон, каким он это произнес, был выразительнее слов.

— Слушай, приезжай сюда. Но сначала достань... боксерские перчатки. Две пары. Побоксируем. Увидишь, как будет прекрасно!

— Дружище! Гэл! Где я возьму перчатки? Ведь их нет уже много лет.

— Тогда закажи. И не говори, что нельзя сделать четыре дурацких перчатки. Мы соорудим себе маленький ринг — и станем драться. Мы оба можем, Олаф! Я надеюсь, ты уже слышал о бетризации, а?

— Конечно. Я сказал бы тебе, что я думаю об этом. Но не хочу по телефону. Еще кто-нибудь огорчится.

— Слушай, приезжай! Я тебя прошу.

Он долго молчал.

— Сомневаюсь, стоит ли, Гэл.

— Хорошо. Тогда скажи, какие у тебя планы. Если они у тебя есть, то, конечно, не буду морочить тебе голову.

— Нет у меня никаких планов, — сказал он, — а у тебя?

— Я приехал, чтобы отдохнуть, поучиться, почитать, но это никакие не планы, это... просто от безделья.

— ...

— Олаф?

— Кажется, мы стартовали вместе, — пробурчал он. — Гэл, но в конце концов это неважно. Ведь я могу в любую минуту вернуться, если окажется, что...

— Ах, перестань, — нетерпеливо оборвал я его. — Вообще не о чем говорить. Складывай манатки и приезжай. Когда будешь?

— Я могу и завтра утром. Ты действительно хочешь заняться боксом?

— А ты нет?

Он засмеялся.

— Хорошо, дружище. И, наверное, по той же причине, что и ты.

— Уговор дороже денег, — поспешно проговорил я, — жду тебя. Будь здоров.

Я поднялся наверх. Поискал среди вещей, которые лежали в особом чемодане, канат для ринга. Нужны были четыре стойки, резина или пружина, и тогда у нас выйдет настоящий ринг. Без судьи. Он нам не нужен.

Потом я сел за книги. Но голова у меня была тяжелой. Такое со мной уже случалось. Вгрызался в текст, как короед в твердое дерево. Но, пожалуй, таких трудностей никогда не испытывал. За два часа я просмотрел книг

двадцать и ни на одной не в силах был сосредоточиться больше чем на пять минут. Даже сказки отложил. Я решил не давать себе поблажки. Принялся за то, что казалось мне самым трудным, за монографию, где анализировались метагены, и набросился на первое уравнение, словно головой хотел пробить стену.

Однако у математики есть определенные благотворные свойства, по крайней мере для меня, так как через час я вдруг понял все, от удивления даже рот раскрыл — какой Ферре молодец! Он сделал открытие, а я, идя проторенным им путем, шаг за шагом, с большим трудом разбирался в деталях его доказательств.

Я отдал бы все звезды, чтобы через месяц знать хоть приблизительно столько, сколько он.

Раздался музыкальный сигнал, зовущий на ужин, и тут меня кольнуло в сердце — я вспомнил, что я здесь уже не один. Немного подумал, не поужинать ли здесь, наверху, в одиночестве. Но мне стало стыдно. Я бросил под кровать ужасное трико, в котором выглядел, как надувная обезьяна, надел свой бесценный старый свободный свитер и спустился в столовую. Они уже сидели за столом. После обмена ничего не значащими любезными фразами наступило молчание. Да и между собой они почти не разговаривали. Слова им были не нужны. Им достаточно было взглядов, он понимал наклон ее головы, дрожание век, мимолетную улыбку. И постепенно во мне начала расти холодная тяжесть, я чувствовал, как у меня руки чешутся что-нибудь схватить, сжать, расколотить. Почему я такой дикий? — думал я с отчаянием. Почему я, вместо того чтобы думать о книге Ферре, о проблемах, поставленных Старком, вместо того чтобы задуматься о своих делах, должен держать себя в руках, чтобы не пожирать ее глазами?

Но это были еще пустяки. Я по-настоящему испугался, только закрыв дверь своей комнаты. В Адапте после обследования мне сказали, что я совершенно нормален. Доктор Жюффон подтвердил. Но разве нормальный человек может чувствовать то, что я сейчас? Откуда это во мне возникло? Я в этом не участвовал, я только наблюдал за собой. Происходило нечто необратимое, как движение планеты, медленно, почти незаметно во мне зарождалось нечто пока бесформенное. Я подошел к окну, посмотрел в темный сад и понял: это появилось во мне еще за обедом, мгновенно, потребовалось только время, чтобы осознать.

Поэтому-то я поехал в город, а вернувшись, забыл о голосах из темноты.

Я был способен на все. Ради девушки. Не понимал ни как это случилось, ни почему. Не знал, любовь ли это или сумасшествие. Мне было все равно. Все, кроме этого чувства, для меня перестало существовать. Я боролся с ним, стоя у открытого окна, как никогда ни с чем не боролся; прижимался лбом к холодной фрамуге и ужасно боялся себя.

Я должен что-нибудь сделать, убеждал я себя. Должен что-то сделать. Безусловно, что-то со мной происходит. Она даже не очень красивая. Ведь я не сделаю ничего. Не сделаю, не совершу никакой... о, великие небеса, черные и голубые!

Я зажег свет. Олаф. Он меня спасет. Скажу ему все. Он заберет меня отсюда. Мы поедem куда-нибудь. Сделаю все, что он прикажет, все. Он один меня поймет. Приедет уже завтра. Как хорошо.

Я ходил по комнате. Я ощущал все мышцы, меня будто звери на части раздирали и одновременно дрались между собой; вдруг я опустился возле кровати на колени, закусил зубами одеяло и издал странный звук, не похожий на рыдание, резкий, отвратительный; я не хотел, не хотел никому причинить зла, но не желал и себя обманывать — не поможет мне Олаф, никто не поможет.

Я встал. За десять лет я научился принимать решения мгновенно. Ведь от этого зависела жизнь и моя, и других. В эти минуты со мной происходило одно и то же: меня охватывал озноб, мой мозг становился автоматом, он моментально взвешивал все «за» и «против» и принимал окончательное решение. Даже Джимма, не любивший меня, признавал мою беспристрастность. Теперь, если бы я даже хотел, я не мог поступить иначе, чем тогда, в критических ситуациях, ведь и сейчас была такая. Я посмотрел в зеркало на свое лицо — светлые, почти белые глазные яблоки, суженные зрачки; глядел на себя с ненавистью, потом отвернулся; о сне я не мог и думать. Я перебросил ноги через подоконник. До земли было метра четыре. Прыгнул, приземлился почти бесшумно. Тихо побежал в сторону бассейна. Обежал его. Выбежал на дорогу. Слабо фосфоресцирующая дорога шла к возвышенностям, извиваясь среди них светлой змейкой, пока ясной черточкой не исчезала во мраке. Я мчался все быстрее, чтобы замучить мерно стучащее крепкое сердце, неся, пожалуй, час, пока

не заметил перед собой огни каких-то домов. Я тут же повернул. Я очень устал, но именно поэтому держал темп, мысленно повторяя: делай, делай, делай! Я бежал, бежал, пока не натолкнулся на двойную живую изгородь. И оказался вновь перед своей виллой.

Остановился, тяжело дыша, возле бассейна, сел на бетонный край, опустил голову и увидел отражение звезд. Не хотел звезд. Зачем они мне. Я был сумасшедшим, безумцем, когда боролся за участие в экспедиции, когда разрешал в гравираторах делать из себя мешок, брызгающий кровью, зачем мне это было нужно, почему, почему я не понимал, что надо быть обыкновенным, самым обыкновенным человеком, а иначе нельзя, не стоит жить?

Я услышал шум. Они прошли мимо меня. Он обнимал ее за плечи, они шли в ногу. Он наклонился. Тени их голов слились.

Я встал. Он целовал ее. Она обнимала его голову. Я видел бледные полосы ее рук. И чувство стыда, которого я никогда не испытывал, ужасное, словно лезвие, проняло меня до тошноты. Я, звездный пилот, товарищ Ардера, стоял, вернувшись со звезд, здесь, в саду, и думал только о том, как у кого-то отбить девушку, не зная ни его, ни ее, я — скотина, законченная скотина, — хуже, хуже...

Я не мог смотреть. И смотрел. Наконец они, обнявшись, медленно отошли, а я, обежав бассейн, помчался вперед, вдруг заметил огромный черный силуэт и одновременно ударился обо что-то руками. Это был автомобиль. На ощупь я нашел дверцы. Когда я их открыл, зажглась лампочка.

Теперь я все делал целенаправленно, собранно, поспешно, как будто мне надо было куда-то ехать, словно я должен...

Мотор заработал. Я повернул руль, зажег фары и выехал на дорогу. Руки немного дрожали, поэтому я сильнее сжал баранку. Неожиданно я вспомнил про «черный ящик», резко затормозил, меня отнесло к краю шоссе, я выскочил, поднял капот и начал усердно искать «ящик». Двигатель выглядел совершенно иначе, и я никак не мог найти «ящик». Может, спереди. Кабели. Чугунный блок. Кассета. Что-то неизвестное, четырехугольное — да, это. Инструменты. Я работал быстро, но внимательно и поцарапался совсем немного. Наконец схватил двумя руками этот тяжелый, словно литой, черный предмет и бросил его в придорожные кусты. Я свободен. Захлопнул дверцы, по-

ехал. От скорости зашумел ветер. Скорость росла. Мотор гудел, скаты глухо шипели. Поворот. Не сбавляя скорости, я вписался в него слева, вышел на прямую. Второй поворот, более крутой. Я чувствовал, как огромная сила выбрасывает меня вместе с машиной с дороги. Но мне и этого было мало. Следующий поворот. В Аппрену были специальные автомашины для пилотов. Мы делали на них головокружительные трюки, вырабатывали рефлексy. Прекрасные упражнения и для развития чувства равновесия. Например, на вираже надо было поставить машину на два колеса и ехать так какое-то время. Раньше я это умел. Мне удалось это и сейчас, на пустом шоссе, когда я летел в рассеченную фарами темноту. Не скажу, что я мечтал разбиться. Просто меня это не волновало. Если я могу быть беспощадным к другим, то должен быть таким и по отношению к себе. Я положил машину в вираж, поднял ее, и она шла с минуту боком вверх, на ужасно визжавших скалах, и снова я бросил машину в противоположную сторону, ударился о что-то темное, о дерево? Уже ничего не было, только шум мотора, нарастающий от скорости, и слабое отражение приборов в стекле, и резко свистящий ветер. Вдруг я заметил глайдер, который пытался обогнать меня, спускаясь на самый край шоссе, я промчался рядом, тяжелая машина закрутилась волчком, глухой скрежет железа и... темнота. Фары разбиты, мотор замолк.

Я глубоко вздохнул. Ничего со мной не случилось, я даже не разбился. Попытался зажечь фары — не вышло. Включил подфарники, левый горел. В его слабом свете я завел мотор. Машина, тяжело хрипя, вылезла, качаясь, на шоссе. До чего же хорошая машина, если она еще слушалась после всего, что я с ней проделал. В обратный путь я пустился уже медленнее. Но когда я заметил поворот, нога нажала на педаль, и меня будто снова черти понесли. И опять я выжимал из мотора всю силу, пока, свистя шинами, скользя по инерции вперед, машина не остановилась перед живой изгородью. Я завел ее в кусты. Раздвинув их, она уперлась в какой-то пенек. Не хотелось, чтобы увидели, что я с ней сделал; я нарвал веток, забросал ими капот с выбитыми фарами — ничего, только перед помят да сбоку небольшие вмятины — после первого удара о столб или что-то еще, там, в темноте.

Потом прислушался. В доме свет не горел. Ни звука. Огромная тишина ночи поднималась к звездам. Не хотелось возвращаться домой. Я отошел от разбитой машины,

а когда трава, высокая, мокрая трава коснулась колен, я упал в нее и замер, потом глаза закрылись, и я заснул.

Меня разбудил чей-то смех. Знакомый смех. Я понял, кто это, даже не открывая глаз. Я сразу очнулся. Промок до нитки; солнце еще не поднялось, и все было залито росой. Небо в клочьях белых облаков. А напротив меня на маленьком чемоданчике сидел Олаф и смеялся. Мы оба вскочили. У него была такая же, как у меня, рука — сильная и твердая.

— Когда ты приехал?

— Только что.

— Ульдером?

— Да. Я тоже так крепко спал первые две ночи...

— Да?..

Он перестал улыбаться. Я тоже. Словно что-то произошло между нами. Мы молча изучали друг друга. Он был выше меня всего сантиметра на два, но сухоощавее. Только волосы при ярком свете выдавали его скандинавское происхождение. Светлая щетина, неправильный, но выразительный нос, короткая верхняя губа, не полностью закрывавшая зубы; в его светло-голубых глазах легко вспыхивала усмешка, от которой они темнели; искривленные тонкие губы придавали его лицу немного скептическое выражение, может, поэтому мы не сразу подружились. Олаф был старше меня на два года; он дружил с Ардером. Только после его гибели мы с Олафом по-настоящему сблизились. Уже до самого конца.

— Олаф, — сказал я, — ты голоден, а? Поедим?

— Подожди, — прервал он меня. — Что это?

Он показал на машину.

— А, это... Ничего. Авто. Купил, понимаешь, чтобы вспомнить...

— Ты попал в аварию?

— Да, я ехал ночью, видишь ли...

— Ты попал в аварию? — повторил он.

— Ну да. Пустяки. Со мной ведь ничего не случилось. Пойдем... не будешь же ты с этим чемоданом...

Он молча поднял чемодан. Олаф не смотрел на меня. У него несколько раз выступали желваки на скулах. Он что-то почувствовал, подумал я. Не знает, что привело к аварии, но догадывается.

Когда мы поднялись наверх, я предложил ему на выбор одну из четырех комнат. Он предпочел комнату с видом на горы.

— Почему ты не остановился здесь? А, знаю,— улыбнулся он,— много золота, да?

— Да, много.

Он прикоснулся рукой к стене.

— Надеюсь, стена обыкновенная? Не картина, не телевизор?

— Успокойся,— теперь улыбнулся я,— это настоящая стена.

Я позвонил и попросил принести завтрак. Я хотел, чтобы мы позавтракали вдвоем. Кофе и поднос с обильным завтраком принес белый робот. Мы ели молча. Я с удовольствием наблюдал, как он жевал; даже прядь волос за ухом у него шевелилась. Потом Олаф проговорил:

— Ты по-прежнему куришь?..

— Курю. Я привез с собой двести сигарет, не знаю, что будет дальше. Пока курю. Хочешь?

— С удовольствием.

Мы закурили.

— Что будем делать? Играем в открытую? — спросил он после долгого молчания.

— Да. Я расскажу тебе все. Ты мне тоже?

— Как всегда. Но, Гэл, не знаю, стоит ли.

— Скажи мне одно: что самое плохое?

— Женщины.

— Да.

Мы снова замолчали.

— Значит, из-за них? — спросил он.

— Да. Увидишь во время обеда. Внизу. Половину виллы снимают они.

— Они?

— Молодые супруги.

Желваки снова выступили у него под веснушчатой кожей.

— Это хуже,— проговорил он.

— Да. Я здесь третий день. Не знаю, как это... но... уже когда мы с тобой разговаривали. Без всякого повода, без всяких... ничего, ничего. Абсолютно ничего.

— Забавно,— сказал он.

— Что?

— Со мной то же самое...

— Тогда почему ты прилетел?

— Гэл, ты сделал доброе дело, понимаешь?

— Для тебя?

— Нет, кое для кого. Это плохо бы кончилось.

— Почему?

— Если не знаешь, то не поймешь.

— Знаю. Олаф, что же это такое? Может, мы действительно дикие?

— Не знаю. Мы были десять лет без женщин. Помни об этом.

— Этим нельзя объяснить все. Есть во мне какая-то жестокость, я не считаюсь ни с кем, понимаешь?

— Еще считаешься, сын мой, еще считаешься.

— Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю.

— Конечно.

Мы снова замолчали.

— Хочешь еще поболтать или займемся боксом? — спросил он и рассмеялся.

— Где ты достал перчатки?

— Гэл, ты ни за что не догадаешься.

— Заказал?

— Что ты. Я украл.

— Не может быть!

— Клянусь! Из музея... Знаешь, мне пришлось специально лететь в Стокгольм.

— Тогда пошли.

Он распаковал свои пожитки и переоделся. Мы надели купальные халаты и спустились вниз. Было еще рано. До завтрака оставалось примерно полчаса.

— Пойдем лучше за дом, — предложил я. — Там нас не увидят.

Мы остановились возле высоких кустов. Сначала утопали довольно низкую траву.

— Будет скользко, — заметил Олаф, пробуя ногой импровизированный ринг.

— Ничего. Больше трудностей.

Мы надели перчатки. С ними пришлось немного повозиться, так как некому было завязать, а работа звать не хотелось.

Олаф встал напротив меня. Тело у него было совершенно белое.

— Ты еще не загорал, — проговорил я.

— Я потом расскажу о себе. Мне было не до пляжа. Гонг.

— Гонг.

Мы начали легко. Ложное движение. Он отклонился. Еще отклон. Я разогревался. Входил в ближний бой, но наносить сильных ударов не хотел. Я был тяжелее его

килограммов на пятнадцать, и хотя руки у него были немного длиннее, это его не спасало, я ведь боксировал лучше. Поэтому я дал ему несколько раз подойти, хотя не должен был этого допускать. Вдруг он опустил перчатки. Лицо его застыло. Он разозлился.

— Так не пойдет,— проговорил он.

— Ты о чем?

— Не паясничай, Гэл. Или настоящий бокс, или мы кончаем.

— Хорошо,— я засмеялся,— бокс!

Я входил в ближний бой. Перчатки, встречаясь, издавали резкие хлопки. Олаф понял, что я начал всерьез, и закрылся. Темп нарастал. Ложное движение левой, правой, серия ударов, последний удар почти всегда попадал в цель, Олаф не успевал. Неожиданно он перешел в контратаку, у него прекрасно получился прямой, я отлетел на два шага. Тут же вернулся в центр. Мы вошли в клинч. Я нырнул под его перчатку, отскочил и нанес точный правой. Ударил с силой, Олаф обмяк, на мгновение вышел из стойки, но тут же собрался. Следующую минут я бомбардировал его. Перчатки громко ударяли по плечам, по спине, но — безрезультатно. Раз я едва успел увернуться, Олаф только задел мне перчаткой ухо, а в удар он вложил всю силу. Такой удар-бомба сбил бы меня с ног. Снова пошли на сближение. Он пропустил удар в грудь, невольно раскрылся, но я не пошевелился, стоял, словно парализованный,— в окне первого этажа я заметил ее лицо, оно был таким же белым, как ее одежда. Оно мелькнуло на миг. В следующую секунду меня оглушил сильный удар; я упал на колени.

— Извини,— услышал я крик Олафа.

— Не за что... порядок...— пробормотал я, вставая.

Окно уже закрылось. Мы боксировали дальше, может, с полминуты. Неожиданно Олаф отошел назад.

— Что с тобой?

— Ничего.

— Неправда.

— Хорошо. Больше не хочется. Не сердись, ладно?

— Да что ты! Не следовало нам так сразу, прямо после твоего приезда. Пошли.

Мы направились к бассейну. Олаф прыгал лучше меня. Он многое умел. Я попытался сделать сальто назад с поворотом, как он, но больно ударился о воду. Сидя на краю бассейна, я стряхивал обжигающую, как огонь, воду. Олаф смеялся.

— Ты потерял форму.

— Да что ты! Делать винты я никогда не умел. Это ты мастер!

— Навык, конечно, сохраняется. Но сегодня я впервые попытался так прыгнуть.

— Правда?

— Да. Как прекрасно!

Солнце поднялось уже высоко. Мы легли на песок, закрыли глаза.

— Где... они? — спросил Олаф после долгого молчания.

— Не знаю. Наверное, у себя. Их окна выходят на другую сторону сада. Я не знал об этом.

Олаф перевернулся. Песок был очень горячим.

— Да, это она, — проговорил я.

— Они видели нас?

— Она.

— Она испугалась, — пробурчал он. — А?

Я не ответил. Мы снова замолчали.

— Гэл!

— Что?

— Они уже почти не летают, знаешь?

— Знаю.

— А почему?

— Утверждают, что это бессмысленно...

Я стал пересказывать книгу Старка. Он лежал, не шевелясь, молча, но я знал, что он внимательно слушает меня.

Когда я кончил говорить, он откликнулся не сразу:

— Ты читал Шепли?

— Нет, какого Шепли?

— Нет? Я думал, что ты все прочитал... Жил такой астроном в двадцатом веке. Случайно попала мне в руки одна его книга, он об этом пишет тоже. Очень похоже на твоего Старка.

— Что ты говоришь? Шепли не мог знать об этом... лучше сам прочитай Старка.

— И не подумаю. Знаешь, что это такое? Ширма.

— Что ты имеешь в виду?

— Мне кажется, я знаю, что произошло.

— Что?

— Бетризация.

Я вскочил.

— Думаешь?

Он открыл глаза.

— Ясно. Не летают и никогда уже не будут летать. Будет все хуже. Ладушки-ладушки. Сплошные ладушки. Они не могут смотреть на кровь, думать о том, что случится, если...

— Подожди,— прервал я,— такое невозможно. Есть же врачи. Должны быть хирурги...

— Ты разве не знаешь?

— Что?

— Врачи только планируют операцию. Делают ее роботы.

— Не может быть!

— Говорю тебе. Сам видел. В Стокгольме.

— А если врачу надо неожиданно вмешаться?

— Я точно не знаю. Кажется, есть какое-то средство, которое частично снимает результаты бетризации на очень короткое время. За таким следят, ты даже не представляешь как. Мне один об этом рассказывал, но ничего конкретного не сказал. Боялся.

— Чего?

— Я не знаю, Гэл. Думаю, они сделали нечто ужасное. Они убили в человеке человека.

— Ну, ты не можешь этого утверждать,— неуверенно проговорил я.— В конце концов...

— Подожди. Ведь это совсем просто. Тот, кто убивает, готов к тому, что его убьют, не так ли?

Я промолчал.

— И поэтому в каком-то смысле это необходимо, чтобы ты мог рисковать всем. Мы можем. Они — нет. Поэтому они нас боятся.

— Женщины?

— Не только женщины. Все. Гэл!

Он неожиданно сел.

— Что?

— Ты получил гипноз?

— Гипно... аппарат для обучения во сне?

— Ты пользовался им?! — Он почти кричал.

— Нет... а в чем дело?..

— Твое счастье. Выбрось его в бассейн.

— Почему? Что это такое? Ты пользовался им?

— Нет. Что-то меня насторожило, и я прослушал его днем, хотя инструкция запрещала. Ты даже не представляешь!

Я тоже сел.

— Что там?

Он мрачно смотрел на меня.

— Сладости. Одни сладости, говорю тебе. Надо быть снисходительным, надо быть вежливым. Надо смириться с любой неприятностью, если тебя кто-то не понимает или не желает быть добрым по отношению к тебе, например, женщина, в этом виноват ты, а не она. Самая главная добродетель — общественное равновесие, стабилизация, и так далее, и тому подобные сказки. А заключение: жить тихо, писать дневники, не для печати, а просто так, для себя, заниматься спортом и учиться. Слушаться старших.

— Это, наверно, заменитель бетризации, — буркнул я.

— Ясно. И еще всякое там было: нельзя никогда использовать силу или агрессивный тон по отношению к кому-либо, а уж какой позор ударить кого-нибудь, это просто преступление, так как вызывает страшный шок. Ни при каких обстоятельствах драться нельзя, так ведут себя только животные...

— Подожди, — прервал я его, — а если из зоопарка убегут дикие звери?.. Правда... уже нет диких зверей...

— Диких зверей нет, — сказал он, — но есть роботы.

— Ну и что? Ты хочешь сказать, что им можно отдать приказ убить?

— Конечно.

— Ты это точно знаешь?

— Да не совсем. Но в конце концов они должны быть готовы к неожиданностям, ведь даже бетризованный пес может взбеситься, правда?

— Но... но так... подожди! Значит, они могут убивать? Отдавать приказ? Разве это не одно и то же — убивать самому или отдавать приказ?

— Для них — нет. Только *in extremis*, понимаешь. В экстремальных ситуациях, перед лицом угрозы, как с этим бешенством. В нормальных условиях это не происходит. Но если мы...

— Мы?

— Да, например, мы оба — если бы что-нибудь... ну, понимаешь... то, конечно, нами займутся роботы, а не они... Они не могут. Они добрые.

Он немного помолчал. Его широкая, слегка покрасневшая на солнце грудь вздымалась быстрее.

— Гэл. Если бы я знал. Если бы я об этом знал. Если бы... я... знал...

— Перестань.

— С тобой случилось уже что-то?

— Да.

— Догадываешься, о чем я спрашиваю?

— Да. Две были — одна пригласила меня сразу, как только я вышел из вокзала, нет, не совсем так. Я заблудился на этом проклятом вокзале. Она пригласила меня к себе.

— Она знала, кто ты?

— Я сказал ей. Сначала она боялась, потом... как бы авансом — из жалости или еще почему, не знаю, а потом она здорово испугалась. Я пошел в отель. На следующий день... знаешь, кого я встретил? Рёмера!

— Невероятно! Сколько ему лет, сто семьдесят?!

— Нет, я встретил его сына. Впрочем, ему тоже полтора века. Мумия... Что-то ужасное. Я разговаривал с ним. И знаешь? Он нам завидует.

— Есть чему...

— Он этого не понимает. Ну, так. А потом одна актриса. Их называют реалистками. Она была мною увлечена — еще бы, настоящий питекантроп! Я поехал к ней, а на следующий день сбежал. Это был дворец. Прекрасный! Расцветающая мебель, ходячие стены, постель, отгадывающая мысли и желания... да.

— Хм. Она не боялась?

— Боялась, конечно, но пила что-то — не знаю, может, какой-нибудь наркотик. Перто, что это такое?

— Перто?!

— Да. Знаешь, что это такое? Ты пил?

— Нет, — медленно проговорил он. — Я не пил. Но именно так называется нечто, что снимает...

— Бетризацию? Не может быть!

— Так мне сказал один человек!

— Кто?

— Не скажу. Я дал слово.

— Хорошо. Значит, поэтому... поэтому она...

Я подскочил.

— Садись.

Я сел.

— Как твои дела? — спросил я. — А я все только о себе...

— Моя? Ничего. Значит, я хочу сказать, ничего у меня не получилось. Ничего... — повторил он.

Я молчал.

— Как называется эта местность? — спросил он.

— Клавестра. Но сам городок находится в нескольких милях отсюда. Давай поедem туда. Я хотел отдать машину в ремонт. Вернемся напрямик — побегаем немного. А?

— Гэл,— начал медленно он,— старик...

— Что?

Его глаза улыбались.

— Черта хочешь выгнать легкой атлетикой? Осел ты.

— Сначала реши, старик я или осел,— ответил я.— Что в этом плохого?

— То, что у тебя ничего не получится. Ты случайно не задел кого-нибудь из них?

— Не обидел ли я кого-нибудь? Нет. Зачем?

— Я спрашиваю, не задел ли ты кого-нибудь?

Я только теперь понял, о чем он говорит.

— Не было причины. А что?

— Не советую.

— Почему?

— Ведь это почти то же самое, что замахнуться на кормилицу. Понимаешь?

— Не совсем. Ты что, уже кого-нибудь задел?

Я старался не проявлять удивления. Олаф был на корабле одним из самых выдержанных.

— Да. Я оказался последним идиотом. Это случилось в первый день. Вернее, ночью. Я не мог выйти из почты — там нет дверей, только такие вертящиеся... видел такие?

— Вертушка?

— Да нет. Знаешь, это, кажется, что-то, связанное с их «обслуживающей гравитацией». Короче, я жарился, как на сковородке, а один парень с девушкой стал показывать на меня и смеяться.

Я почувствовал, что лицо мое горит.

— Неважно, что он — кормилица,— сказал я.— Надеюсь, он уже не смеется.

— Нет. У него сломана ключица.

— А что было с тобой?

— Ничего. Ведь я только вышел из машины, он меня спровоцировал — я его не сразу ударил, Гэл. Не сразу, я только спросил его, что в этом смешного, ведь я не был здесь так долго, а он засмеялся и сказал, показывая пальцем вверх: «А, из этого обезьяньего цирка?»

— «Из обезьяньего цирка»?!

— Да. И тогда...

— Подожди. Почему из «обезьяньего цирка»?

— Не знаю. Может быть, он слышал, что астронавтов крутят на центрифугах. Не знаю, я больше с ним не разговаривал... Вот так. Отпустили меня, только с этих пор Адапт на Луне должен внимательней обрабатывать прибывших.

— Разве кто-нибудь еще должен вернуться?

— Да. Группа Симонди, через восемнадцать лет.

— Ну, у нас есть еще время.

— Масса.

— Но они добродушные, признай,— проговорил я.— Ты сломал ему ключицу, а тебя отпустили с миром.

— Я думаю, из-за цирка,— ответил он.— Им самим перед нами... знаешь как. Ведь они неглупые! Впрочем, был бы скандал. Гэл, ты же ничего не знаешь!

— Ну!

— Знаешь, почему ничего не сообщили о нашем бытии?

— Кажется, что-то было в реале? Я не видел, но кто-то мне говорил.

— Да, было. Ты бы помер со смеху, если бы это увидел. «Вчера в утренние часы вернулся на Землю экипаж исследователей внепланетарного пространства. Члены экипажа чувствуют себя хорошо. Приступили к обработке научных результатов экспедиции». Конец, точка. Все.

— Неужели?

— Честное слово. А знаешь, почему с нами так поступили? Они нас боятся. Поэтому они разбросали нас по всей Земле.

— Нет. Этого я не понимаю. Они же не идиоты. Сам только что говорил. Не думают же они, что мы на самом деле хищники, что будем перегрызать людям горло?!

— Если бы они так думали, не выпустили бы нас. Нет, Гэл. Дело не в нас. Дело в чем-то большем. Как ты не понимаешь?

— Вероятно, поглупел. Говори.

— Они вообще не придают этому значения...

— Чему?

— Тому, что исчезает дух исследования. Знают, что нет экспедиций, но это их не волнует. Думают, раз нет экспедиций — значит, они не нужны, и все. Но кое-кто прекрасно видит и знает, что происходит, какие это будет иметь последствия. Они уже есть.

— Ну?

— Ладушки. Во веки веков ладушки. Уже больше никто не полетит к звездам. Уже никто не рискнет провести опасный эксперимент. Уже никто не испытывает на себе новое лекарство. Что, они не знают об этом? Знают! И если бы сообщили, кто мы, что мы сделали, зачем летали, что это было, то никогда, понимаешь, никогда не удалось бы скрыть этой трагедии!!

— Ладушки? — переспросил я; со стороны наш разговор мог бы показаться смешным, но мне было не до смеха.

— Ясно. А что, это не трагедия по-твоему?

— Не знаю. Ол, послушай. В конце концов, понимаешь, для нас это было и останется чем-то великим. Если мы дали отнять у нас эти годы — и все, — то считаем это самым главным. А, может, все не так. Надо быть объективным. Спроси себя, мы что-то сделали?..

— Как что-то?

— Ну, выгружай мешки. Высыпай все, что привез с Фомальгаута.

— Ты с ума сошел?

— Нет еще. Какая польза от нашей экспедиции?..

— Мы были пилотами, Гэл. Спроси у Джиммы, Турбера.

— Ол, не морочь мне голову. Мы были там вместе, и ты прекрасно знаешь, что они делали, что делал Вентури, пока не погиб, что делал Турбер, — ну что ты так смотришь? Что мы привезли? Четыре телеги разных анализов, спектральных, таких, сяких, пробы минералов, потом какую-то живую пакость, или метоплазму, или как называется это свинство с Беты Арктура. Нормерс верифицировал свою теорию гравито-магнитных завихрений, и еще оказалось, что на планетах типа С Меоли могут существовать силиконовые не три-, а тетраплоиды, что на той луне, где чуть не погиб Ардер, нет ничего, кроме паршивой лавы и пузырей размером с небоскреб. И для того чтобы убедиться, что лава застыла в такие огромные чертовы пузыри, мы десять лет пустили на ветер и вернулись сюда, чтобы стать посмешищем и монстрами из паноптикума. Чего ради мы туда лезли? Может, ты мне объяснишь? Зачем это нам было нужно?..

— Успокойся, — сказал он.

Я был зол. Он тоже. Его глаза сузились. Я подумал, что мы можем подраться, и у меня задрожали губы. И тогда он неожиданно улыбнулся.

— Старик, знаешь, ты можешь довести человека до белого каления.

— Ближе к делу, Олаф. Ближе.

— К какому делу? Сам говоришь — глупость. А если бы мы привезли слона с восемью ногами и он изъяснялся бы только алгеброй, тогда бы ты был доволен? Что ты хотел найти на этом Арктуре? Рай? Триумфальную арку? Что тебе надо? За десять лет я не слышал от тебя столько глупостей, сколько ты наговорил сейчас. За одну минуту.

Я глубоко вздохнул.

— Олаф, ты делаешь из меня идиота. Ты понимаешь, о чем я говорю. Я говорю, что без этого люди могут жить...

— Я думаю! Еще как!

— Подожди. Они могут жить, даже если, как ты говоришь, они и перестали летать из-за бетризации. Стоило ли, надо ли было платить такую цену — вот проблема, которую теперь следует решить, мой дорогой.

— Да? Предположим, ты женишься. Что ты так смотришь? Не можешь жениться? Можешь. Я тебе говорю, можешь. И у тебе пойдут дети. Ну, и отнесешь их на бетризацию с песней на устах. А?

— Без песни. Но что я мог бы сделать? Не стану же я вести войну со всем миром...

— Ну, тогда пусть будет над тобой небо, черное и голубое, — пожелал он мне. — А теперь, если хочешь, мы можем поехать в город...

— Хорошо, — согласился я, — обед через два с половиной часа, мы успеем.

— А если мы не успеем, то нам ничего не дадут?..

— Дадут, только...

Я покраснел от его взгляда. Делая вид, что ничего не замечает, он отряхивал песок с босых ног. Мы поднялись наверх, переоделись и поехали на автомашине в Клавестру. Движение на шоссе было интенсивным. Первый раз я увидел цветные глайдеры — розовые и светло-желтые. Мы нашли мастерскую. Мне показалось, что я заметил удивление в стеклянных глазах робота, который осматривал мою машину. Мы оставили ее и пошли пешком. Оказалось, что есть две Клавестры — старая и новая. В старой, местном промышленном центре, я был вчера с Маджером. В новой дачной местности было много людей, в основном молодежь и подростки. В ярких, блестящих одеждах ребята были похожи на римских легионеров, материалы блестяли на солнце, как латы. Много красивых девушек, часто в

купальниках, очень смелых, таких я еще не видел. Идя с Олафом, я чувствовал на себе взгляды всей улицы. Цветные группки, заведя нас, останавливались под пальмами. Мы были выше всех и привлекали всеобщее внимание. Ужасно неприятное ощущение.

Когда мы сошли с шоссе и направились полями на юг, в сторону дома, Олаф вытер пот платком. Я тоже немного вспотел.

— Черт побери! — выругался я.

— Полегче... — Он кисло улыбнулся. — Гэл!

— Что?

— Знаешь, как это выглядело? Как киносъемка. Римляне, куртизанки и гладиаторы.

— Гладиаторы — мы?

— Конечно.

— Побежали? — предложил я.

— Побежали.

Мы помчались по полям. Миль пять. Но мы взяли слишком вправо и пришлось немного вернуться. И все равно мы успели до обеда еще искупаться.

V

Я постучал в комнату Олафа.

— Если свой, то войди, — услышал я его голос.

Он стоял в центре комнаты голым и обрызгивал свой торс светло-желтой, тут же пушисто застывающей жидкостью.

— Это жидкое белье, а? — спросил я. — Как ты справляешься с этим?

— Я не взял другой рубашки, — буркнул он. — Тебе что, не нравится?

— Нет. А тебе?

— У меня порвалась рубашка.

На мой удивленный взгляд он ответил с гримасой:

— Тот улыбчивый парень, понимаешь...

Я промолчал. Он натянул свои старые брюки — я помнил их еще по «Прометею», — и мы сошли вниз. На столе стояло только три прибора, в столовой никого не было.

— Нас будет четверо, — обратился я к белому роботу.

— Нет, извините, Маджер уехал. Вы, госпожа и ваш друг — вас трое. Мне подавать или подождете госпожу?

— Пожалуй, мы подождем, — поспешил с ответом Олаф.

Вежливый человек. Девушка в эту минуту вошла. На ней была та же самая юбка, что и вчера, волосы немного влажные, видимо, после бассейна. Я представил ей Олафа. Он держался спокойно и с достоинством. Я никогда не умел вести себя так.

Мы разговорились. Она сказала, что ее муж в связи с работой должен каждую неделю уезжать на три дня и что вода в бассейне, несмотря на солнце, не такая уж теплая. Но этот разговор быстро прервался; я как ни старался, не мог ничего придумать и, погрузившись в молчание, сосредоточенно принялся за еду; сидящих за столом я воспринимал лишь как контрастные силуэты. Я заметил, что Олаф смотрит на нее, но только тогда, когда говорит с ней, и что она поглядывает в мою сторону. Лицо Олафа было непроницаемо. Словно он думал все время о чем-то другом.

В конце обеда пришел белый робот и сказал, что воду в бассейне к вечеру подогреют, как пожелала госпожа Маджер. Она поблагодарила и пошла к себе. Мы остались вдвоем. Олаф посмотрел на меня, и я снова сильно покраснел.

— Как это происходит,— сказал Олаф, принимая у меня сигарету,— что тип, который сумел влезть в эту вонючую дыру на Керенее — вернее, старый стопятидесятилетний носорог, начинает...

— Пожалуйста, перестань,— буркнул я.— Если хочешь знать, я бы снова влез туда...

Я замолчал.

— Хорошо. Больше не буду. Даю слово. Но знаешь, Гэл, я понимаю тебя. И голову даю на отсечение, ты даже не догадываешься, почему...

Он показал головой в сторону двери.

— Почему?

— Да. Знаешь?

— Нет. Ты тоже.

— Знаю. Сказать?

— Пожалуйста. Но без свинства.

— Ты действительно сошел с ума! — возмущился Олаф.— Все просто. Но у тебя был один дефект — ты не видел, что у тебя под носом, ты видел только то, что далеко, разные там Канторы, Корбазилеусы...

— Не паясничай.

— Я знаю, что это скулеж, но мы же остановились в развитии, когда за нами затянули шестьсот восемьдесят винтов, понимаешь?

— Да, и что дальше?

— Ведь она похожа на нашу современницу. У нее нет ни красной гадости в носу, ни тарелок в ушах, ни светящихся косм на голове, ни золота; такую девушку ты мог встретить в свое время в Цеберто или Аппрену. Я помню таких. Вот и все.

— Черт побери,— тихо проговорил я.— Пожалуй, ты прав. Да. Но есть разница.

— Ну?

— Я уже тебе говорил. В самом начале. С ними я вел себя иначе. И, правду говоря, я не представлял... я считал себя тихоней...

— Действительно. Жаль, я не сфотографировал тебя, когда ты вылез из дыры на Керене. Увидел бы тогда, какой ты тихоня. Дорогой, я думал, что... Эх!

— К чертям Керенею, все ее пещеры и все остальное! — сказал я.— Знаешь, Олаф, перед приездом сюда я был у врача, его зовут Жюффон, очень симпатичный старик. Ему за восемьдесят, но...

— Это уже наша судьба,— спокойно заметил Олаф. Он курил, наблюдая, как дым плывет над светло-лиловыми цветами, похожими на большие гиацинты.— Нам лучше всего среди та-а-ких стариков,— снова заговорил Олаф,— с та-а-кой вот бородой. Как только я об этом подумаю, меня прямо трясет. Знаешь что? Давай купим себе курятник, будем курам головы откручивать.

— Кончай валять дурака. Этот доктор сказал мне много мудрого: мы не можем иметь друзей-ровесников, а это значит, что близких у нас нет... и остаются нам только женщины, сейчас легче иметь много женщин, одну — гораздо труднее. И он прав. Я уже убедился в этом.

— Гэл, я знаю, что ты умнее меня. Ты всегда любил нечто необыкновенное. Чтобы всегда было чертовски трудно и недоступно, чтобы ты трижды вылез из кожи... чтобы... остальное не по тебе. Не смотри так на меня. Я тебя не боюсь.

— Слава небу. Этого только не хватало.

— Итак... что я хотел тебе сказать? Ага. Знаешь, сначала я думал, что ты хочешь быть сам по себе и поэтому так зубришь, что тебе мало быть просто пилотом — тебе нужен большой успех. Я только ждал, когда ты начнешь задира́ть нос. Больше того, когда ты в споре загонял в угол Нормерса и Вентури и когда ты, тихоня, бросался в ученые

дискуссии, знаешь, я думал, что ты уже начинаешь задирать нос. Но потом был взрыв, помнишь?

— Тот, ночью...

— Да. И Кереня, и Арктур, и та луна. Дорогой, луна до сих пор мне снится, однажды я даже упал с постели. Ну, эта луна! Да, ну что... понимаешь. Склероз, видно, у меня. Все время забываю... Но потом произошло все то, и я убедился, что ты не к этому стремился. Просто ты так любишь, не умеешь иначе. Ты помнишь, как просил Вентури дать тебе его личный экземпляр той книги, красной такой,— что это была за книга?

— Топология гиперпространства...

— Вот-вот. И он сказал: «Это для вас слишком трудно, Брегг. Вы не подготовлены...»

Я рассмеялся, так прекрасно он подражал голосу Вентури.

— Он был прав, Олаф. Это было очень трудно.

— Да, сначала, но потом ты с этим справился, не так ли?

— Да. Но... без удовлетворения. Ты знаешь, почему. Бедный Вентури...

— Ничего не говори. Неизвестно, кто кого должен жалеть — в свете дальнейших событий...

— Он уже не может никого жалеть. Ты был тогда на верхней палубе, а?

— Я?! На верхней? Ты что, я стоял рядом с тобой!

— Правда. Если бы он не выпустил все охлаждение сразу, то, может, обошлось бы только ожогами, как у Арне. Вентури растерялся.

— Так ты думаешь? Нет, ты совершенство! Ведь Арне все равно погиб!

— Через пять лет. Пять лет — это все же пять лет.

— Таких лет?

— Теперь ты сам так говоришь, а совсем недавно, у бассейна, когда я сказал нечто подобное, ты на меня набросился.

— Это было невыносимо, но и прекрасно. Ну, признайся. Скажи сам, впрочем, что ты можешь сказать. Когда ты вылез из той дыры на Ке...

— Отвяжись ты с этой дырой!

— Не отвяжусь. Не отвяжусь, так как именно тогда я понял тебя. Мы еще хорошо не знали друг друга. Когда Джимма сказал мне, это было через месяц, что Ардер летит с тобой, я подумал — не могу даже тебе сказать что!

Я пошел к нему, но не стал ничего выяснять. Он, естественно, сразу все понял. «Олаф,— сказал он мне,— не сердись. Ты мой самый лучший друг, но теперь я лечу с ним, не с тобой, так как...» — знаешь каким тоном сказал?

— Не знаю,— с трудом проговорил я. У меня сдавило горло.

— «Потому, что он один спустился вниз. Он один. Никто не верил, что туда можно спуститься. Он сам не верил». Ты надеялся вернуться?

Я не ответил.

— «Видишь, нашелся один дурачок! Он или вернется вместе со мной,— сказал Ардер,— или не вернется никто...»

— И я вернулся один...— пробормотал я.

— И ты вернулся один. Я не узнал тебя. Как я тогда испугался! Я был внизу, у насосов.

— Ты?

— Я. Смотрю — кто-то чужой. Совершенно посторонний тип. Подумал, что это галлюцинация... у тебя даже скафандр был красный.

— Это была ржавчина. Шланг у меня лопнул.

— Знаю. Ты мне говоришь? Ведь это я чинил потом этот шланг. Как ты выглядел... Ну, а потом...

— Это с Джиммой?

— Да. Этого нет в протоколах. Ленту стерли через неделю. Сам Джимма, кажется. Я думал тогда, что ты его убьешь. Черное небо!

— Не говори мне об этом,— попросил я. Я чувствовал, что во мне поднимается злость.— Не говори мне, Олаф. Прощу тебя.

— Без истерики. Ардер был мне очень дорог.

— Что значит, дорог, не дорог, какое это имеет значение! Ты болван. Если бы Джимма дал мне резервный вкладыш, Ардер сидел бы здесь с нами! Джимма был слишком прижимист, он боялся, что у него не будет транзисторов, а того, что у него не будет людей, не боялся...

Я помолчал.

— Олаф, это чистое безумие. Хватит об этом.

— Гэл, мы, видно, не можем не говорить об этом. По крайней мере, когда мы вместе. Джимма уже никогда потом не...

— Отстань от меня с Джиммой, Олаф. Олаф! Все. Точка. Не хочу слышать ни одного слова!

— А о себе мне тоже нельзя говорить?

Я пожал плечами. Белый робот хотел убрать со стола, но только выглянул из холла и скрылся. Может быть, его встревожили наши возбужденные голоса.

— Гэл, скажи, чего ты, собственно, злишься?

— Не притворяйся.

— Ты серьезно?

— Как чего? Ведь я в этом виноват...

— Ты?

— С Ардером.

— Что-о?

— Ясно. Если бы я до старта настоял, если бы Джимма дал...

— Ну вот! Откуда ты мог знать, что у него сломается именно радио? Могло же выйти из строя что-то другое?

— Если бы. Если бы. Но не было никакого «если». Было радио.

— Подожди. Ты носил такое в душе шесть лет, и тебя даже ни разу не прорвало?

— Что я мог сказать? Я думал, все и так ясно.

— Ясно! Черное небо! Что ты говоришь! Если бы ты об этом сказал, то каждый решил бы, что ты сошел с ума. А когда у Эннессона произошла расфокусировка, в этом тоже ты виноват? А?

— Нет. Он... ведь... расфокусировка случается...

— Я знаю. Все знаю. Не меньше тебя. Не бойся. Гэл, я не успокоюсь, пока ты не расскажешь...

— Опять?

— Что ты вбил себе в голову? Это же полнейшая чепуха. Ардер сказал бы тебе то же самое, если бы мог.

— Спасибо.

— Гэл, я тебе врежу...

— Осторожно. Я тяжелее тебя.

— Я очень зол, понимаешь? Болван!

— Олаф, не кричи так. Мы здесь не одни.

— Хорошо. Ладно. Но это чепуха или нет?

— Нет.

Олаф так втянул в себя воздух, что у него даже ноздри побелели.

— Почему? — спросил он почти нежно.

— Потому что я еще раньше заметил, какой Джимма прижимистый. Я обязан был все предвидеть, схватить его за горло тогда, а не когда вернулся с известием о смерти Ардера. Я был слишком покладист. Поэтому.

— Ну, успокойся, успокойся. Ты проявил мягкость... Да? Нет! Я... Гэл! С меня хватит. Я уезжаю.

Он вскочил. Я тоже.

— Ты что, с ума сошел! — крикнул я. — Уезжаешь! Правда? Из-за того, что...

— Да. Да. Почему я должен выслушивать твой бред? И не подумаю. Ардер не отвечал. Да?

— Успокойся.

— Не отвечал, да?

— Не отвечал.

— Могла быть корона?

Я не ответил.

— Вероятны тысячи других аварий? А, возможно, он вошел в полосу отражения? Может, у него погас сигнал, когда он потерял космическую связь в турбуленциях? Может, у него размагнитились излучатели над пятном и...

— Хватит.

— Разве я не прав? Тебе не стыдно?

— Я ведь ничего не сказал.

— А, ничего. Но могло же случиться разное?

— Могло...

— Тогда почему ты твердишь — радио, радио и больше ничего, только радио?

— Может, ты и прав... — согласился я. На меня навалилась сильная усталость, и мне стало все безразлично. — Может, ты и прав, — повторил я. — Радио... просто это самое вероятное, знаешь... Нет. Молчи. И так наговорили в десять раз больше, чем следовало. Лучше помолчать.

Олаф подошел ко мне.

— Эх, старина... — произнес он. — Жалко мне тебя. Ты слишком хороший, знаешь?

— Что еще?

— У тебя чересчур развито чувство ответственности. Во всем надо знать меру. Что ты собираешься делать?

— Что ты имеешь в виду...

— Сам знаешь.

— Нет.

— Тебе плохо? Да?

— Хуже не бывает.

— Может быть, поедешь со мной? Или куда-нибудь один? Если хочешь, я помогу тебе. Вещи возьму, или ты оставишь их, или...

— Ты думаешь, что мне надо смыться.

— Я ничего не думаю. Но когда я смотрю на тебя, мне кажется, что ты сможешь хоть чуточку прийти в себя, хоть немного, знаешь, вот только тогда...

— Что тогда?

— Я начинаю так думать.

— Я не хочу уезжать отсюда. Знаешь, что я тебе скажу? Я не двинусь отсюда. Если только...

— Что?

— Ничего. В мастерской — что нам сказали? Когда будет готова машина? Завтра или уже сегодня? Я забыл.

— Завтра утром.

— Хорошо. Смотри, уже смеркается. Проболтали мы с тобой до вечера...

— Да пошлет тебе небо поменьше таких бесед!

— Я пошутил. Пойдем в бассейн?

— Не хочу. Я почитал бы. Дашь?

— Бери что хочешь. Ты умеешь обращаться с этими стеклянными зернами?

— Да. Надеюсь, у тебя нет... чтеца со сладким голоском.

— Нет, у меня только оптон.

— Хорошо. Я его возьму. Будешь в бассейне?

— Да. Я поднимусь с тобой, переоденусь.

Я дал ему несколько книг, главным образом исторических, и одну о стабилизации динамики популяции, так как это его интересовало. И по биологии, с большой работой по бетризации. А сам переоделся и стал искать плавки, которые куда-то подевались. Я не мог их найти и взял черные плавки Олафа, набросил купальный халат и вышел из дома.

Солнце уже зашло. С запада тянулись тучи, закрывающие более светлую часть неба. Я бросил халат на песок, остывший от дневной жары. Сел, касаясь кончиками пальцев воды. Разговор взволновал меня, хотя мне не очень хотелось в этом признаваться. Смерть Ардера сидела во мне, как заноза. Может, Олаф прав. Может, это только закон памяти, с которым нельзя смириться.

Я встал и без разгона нырнул головой вниз. Вода была удивительно теплой. Как суп. Вынырнул. Я вышел на противоположной стороне, оставляя на стартовом столбике мокрые отпечатки рук, и тут что-то кольнуло меня в сердце. История Ардера перенесла меня в совсем иной мир, а теперь, может, потому, что вода была теплой, должна была быть теплой, я вспомнил девушку, но с та-

ким чувством, словно вспомнил что-то ужасное — несчастье, с которым мне не справиться, а справиться необходимо.

Может, я все только вообразил. Я постоянно прокручивал в голове эту мысль. Сидел, согнувшись. Мое загорелое тело уже сливалось с темнотой. Сумерки сгущались, тучи закрыли все небо, и неожиданно, сразу же наступила ночь. Со стороны дома двигалось что-то белое. Ее шапочка. Я заволновался. Медленно встал, хотел убежать, но она заметила меня на фоне неба.

— Брегг? — спросила она тихо.

— Это я. Вы хотите купаться? Не... помешаю. Я уже ухожу.

— Почему? Вы мне не мешаете... теплая вода?

— Да. По-моему, даже слишком,— проговорил я.

Она подошла к краю и легко прыгнула в воду. Я видел только ее силуэт. На ней был темный купальник. Раздался плеск. Она вынырнула прямо у моих ног.

— Ужасная! — закричала она, выплевывая воду.— Что он наделал... надо пустить холодную. Вы не знаете, как это делается?

— Нет. Сейчас посмотрю.

Я прыгнул, пролетел над ее головой. Глубоко нырнул, достал вытянутыми руками дно и поплыл, время от времени проводя руками по стене. Под водой, как обычно, было немного светлее, чем на поверхности, и мне удалось разглядеть выход труб. Они находились в стене напротив дома. Я вынырнул, тяжело дыша,— слишком долго пробыл под водой.

— Брегг!! — услышал я ее голос.

— Я здесь. Что случилось?

— Я испугалась...— тихо проговорила она.

— Чего?

— Вас так долго не было...

— Я уже знаю, где они находятся, сейчас сделаю! — прокричал я и побежал к дому. Я мог бы не совершать героического ныряния — краны находились на видном месте в небольшой колонне возле веранды. Я открыл холодную воду и вернулся к бассейну.

— Все в порядке. Надо немного подождать...

— Хорошо.

Она стояла под вышкой, а я — у торцевой стенки бассейна, боясь приблизиться. Все же я подошел к ней, медленно, будто с неохотой. Я привык к темноте и уже разли-

чал черты ее лица. Она смотрела в воду. Ей очень шла беленькая шапочка. Сейчас она казалась выше ростом.

Я торчал возле нее довольно долго, потом почувствовал себя неловко, сел. «Чурбан», — обозвал я себя. Но ничего хорошего в голову не приходило. Тучи сгущались, становилось все темнее, но дождь идти не собирался. Было довольно холодно.

— Вам не холодно?

— Нет. Брегг?

— Что?

— Вода, кажется, не прибывает.

— Ведь я открыл кран... пожалуй, хватит. Пойду закрою.

Когда я возвращался, мне вдруг захотелось позвать Олафа. Я чуть было не расхохотался — какая глупость. Я боялся девушку.

Я прыгнул в воду и тут же вынырнул.

— Пожалуй, достаточно. Может, я перестарался, скажите, могу добавить теплую...

Вода убывала теперь заметнее, так как спуск все еще был открыт. Девушка — я видел ее загорелый силуэт на фоне туч, — казалось, сомневалась. Может, ей расхотелось купаться, может, она хочет вернуться домой, промелькнула у меня мысль, и я почувствовал облегчение. В эту минуту она прыгнула в воду и вскрикнула — она ударилась ногами о дно, пошатнулась, но не упала. Я бросился к ней.

— Вы ничего себе не сломали?

— Нет.

— Это из-за меня. Я болван.

Мы стояли по пояс в воде. Она поплыла. Я вылез на берег, побежал к дому, закрыл кран спуска и вернулся. Ее я не увидел. Тихо вошел в воду, проплыл бассейн, лег на спину и, работая немного руками, опустился на дно. Открыл глаза, увидел стеклянную темноту, изогнутую маленькими волнами на поверхности воды. Меня медленно подняло вверх, я поплыл почти вертикально и увидел девушку возле самой стенки бассейна. Подплыл к ней. Здесь, на противоположной от вышки стороне, было мелко, я встал и направился к ней, шумно разбрызгивая воду. Я видел ее лицо, девушка смотрела на меня; или я не рассчитал последних шагов — в воде трудно идти, но нелегко сразу остановиться — или... сам уж не знаю почему, но я неожиданно оказался прямо перед ней.

Может, ничего бы не случилось, если бы она отошла в сторону, но она не сдвинулась с места, стояла, держа руку на правой ступеньке лесенки, а я подошел к ней слишком близко и не мог вымолвить ни слова.

Я крепко обнял ее, она была холодной, скользкой, как рыба, странное, чужое создание, и вдруг, в таком леденящем, словно мертвом, я нашел горячее пятно, ее губы, я целовал их, целовал и целовал — это было настоящее безумие. Она застыла — не защищалась, не сопротивлялась. Я держал ее за плечи, поднял ее лицо вверх; я хотел его видеть, заглянуть в ее глаза, но было уже так темно, что я скорее угадывал их. Она не дрожала. Только что-то стучало — не знаю, мое сердце или ее. Мы так стояли, пока она не начала медленно освобождаться от моих рук. Я отпустил ее тут же. Она поднялась по лесенке на край бассейна. Я — за ней и снова ее обнял, как-то неловко. Теперь она задрожала. Я хотел что-то сказать, но у меня пропал голос. Я только обнимал ее, и так мы стояли, пока она не оттолкнула меня — освободилась так легко, словно меня вообще не было. У меня опустились руки. Она отошла. В свете, падающем из моего окна, я видел, как она взяла халат и, не набрасывая его, поднялась по лестнице. У дверей в холл было тоже светло. Я заметил, как блестят капли воды на ее плечах и бедрах. Дверь закрылась. Она исчезла. Какой-то миг мне хотелось броситься в воду и уже никогда не выплывать. Правда, хотелось. Мне никогда не приходило такое в голову. Я разумный человек. Но все было таким бессмысленным, невероятным, а самое неприятное — я не знал, что это значит и что мне теперь делать? И почему она была такой... такой... может, испугалась? Да, испугалась, просто испугалась. Нет, это был не страх, а что-то другое. Что? Откуда я мог знать? Олаф? Впрочем, я не пятнадцатилетний щенок, чтобы, поцеловав девушку, лететь к нему за советом! «Так, — подумал я. — Начну!» Я направился к дому, поднял свой халат, отряхнул его от песка. В холле было светло. Я приблизился к ее двери. Может, она меня впустит, подумал я. Если бы она меня впустила, она перестала бы меня интересовать. Вероятно. И, может, это будет конец. Или получу по морде. Нет. Они добрые, они бетризированные, они не могут бить. Она даст мне немного молока; мне станет легко. Я стоял минут пять и вспомнил преисподнюю на Керенее, ту гнусную дыру, о которой вспоминал Олаф. Благословенная дыра! Кажется, это был старый вулкан.

Ардер застрял там между скал и не мог выбраться, а лава поднималась. Впрочем, это была не лава, Вентури говорил, что-то типа гейзера, но это он говорил потом. Ардер... Мы слышали его голос. По радио. Я спустился и вытянул его. Боже! Та дыра была не так страшна, как эти двери. Ни малейшего шороха, полная тишина. Дверь — гладкая плита без ручки. У меня не такая. Как она открывается? Я, дикарь с Керенеи, не знал. Я поднял руку и замер. А если дверь не откроется? Свое отступление я никогда не забуду. Я чувствовал, что чем дольше я стою, тем меньше у меня сил, силы покидали меня. Я дотронулся до двери. Не поддалась. Я нажал сильнее.

— Это вы? — услышал я ее голос. Она стояла прямо за дверью.

— Да.

Тишина. Полминуты. Минута.

Дверь открылась. Она стояла на пороге. На ней был пушистый халат. Волосы рассыпались по воротнику. Теперь даже трудно поверить, но только в ту минуту я заметил, что у нее каштановые волосы. Дверь была лишь приоткрыта. Девушка придерживала ее. Когда я сделал шаг, она отступила. Дверь закрылась за мной бесшумно.

И неожиданно я понял, как это выглядит, словно с моих глаз спала пелена. Она смотрела, не шевелясь, бледная, придерживая руками полы халатика, а напротив нее стоял я — мокрый, голый, в черных плавках Олафа, в руке халат в песке — и таращил на нее глаза...

И неожиданно, увидев все как бы со стороны, я улыбнулся. Отряхнул халат. Надел его, завязал и сел. На полу остались два мокрых пятна. Мне абсолютно нечего было сказать. Что я мог сказать? Вдруг меня осенило, прямо снизошло вдохновение.

— Вы знаете, кто я?

— Знаю.

— Да? Хорошо. Из бюро путешествий?

— Нет.

— Неважно. Я — дикарь.

— Неужели?

— Да. Безумно дикий. Как вас зовут?

— Вы не знаете?

— Имя.

— Эри.

— Я заберу тебя отсюда.

— Что?

— Заберу тебя. Не хочешь?

— Нет.

— А я все равно заберу тебя отсюда. Знаешь почему?

— Догадываюсь.

— Нет, не знаешь. Я сам не знаю.

Она молчала.

— Я не могу с этим справиться,— продолжал я.— Это случилось, когда я тебя увидел. Позавчера. Во время обеда. Знаешь?

— Знаю.

— Подожди. Ты, может, думаешь, что я шучу?

— Нет.

— Ты можешь... все равно. Попытаешься убежать.

Она молчала.

— Не убегай,— попросил я.— Бегство не поможет, пойми. Я от тебя не отстану. Хотел бы, но не могу, ты мне веришь?

Она молчала.

— Видишь ли, дело не в том, что я не бетризированный. Меня ничто не волнует. Ничто. Только ты. Я должен тебя видеть. Должен смотреть на тебя. Должен слышать твой голос. И больше ничего мне не надо. Ничего. Я еще не знаю, что будет с нами. Допускаю, что все это плохо кончится. Но мне все равно. Ведь важно только то, что я говорю, а ты слышишь меня. Понимаешь? Нет. Ты не можешь этого понять. Вы же избавились от трагедий, чтобы спокойно жить. Я так не умею. Я не хочу спокойствия.

Она молчала. Я перевел дух.

— Эри,— сказал я,— послушай... сначала сядь.

Она не шелохнулась.

— Прошу тебя. Сядь.

Никакой реакции.

— Ведь тебе ничего не угрожает. Сядь.

Неожиданно понял. Покраснел.

— Если ты даже не хочешь отвечать, то почему меня пустила?

Никакой реакции.

Я встал. Обнял ее. Она не сопротивлялась. Я посадил ее в кресло. Подвинул свое так близко, что наши колени почти соприкасались.

— Можешь делать что хочешь. Но послушай. Я в этом не виноват. А ты уж и подавно. Никто не виноват. Я не хотел этого. Но так случилось. Ситуация именно такова.

Знаю, веду себя, как сумасшедший. Знаю. Но сейчас я скажу тебе, почему. Ты вообще не желаешь со мной говорить?

— Смотря о чем,— произнесла она.

— Спасибо и на этом. Да. Знаю. У меня нет никаких прав и так далее. Итак, что я хотел сказать — миллионы лет назад жили такие ящеры, бронтозавры, динозавры... Слышала о них?

— Да.

— Это были великаны, величиной с дом. У них был чрезвычайно длинный хвост, в три раза больше тела. Поэтому они не могли двигаться, как, возможно, хотели,— легко и грациозно. У меня тоже такой хвост, понимаешь. Десять лет, неизвестно зачем, я метался по звездам. Возможно, зря. Понимаешь? Я не могу вести себя так, словно этого не было, словно никогда такое не происходило. Не думаю, что ты в восторге от моих слов, от того, что я говорю и что еще поведаю. Но у меня нет другого выхода. Я должен быть с тобой столько, сколько удастся, и это, собственно, все. Скажи что-нибудь...

Она смотрела на меня. Мне показалось, что она еще сильнее побледнела, а может, так падал свет. Она сидела, кутаясь в свой пушистый халат, словно ей было холодно.

Я хотел спросить, не холодно ли ей, но опять не смог произнести ни слова.

— Как бы вы... поступили... на моем месте?

— Очень хорошо! — похвалил я ее. — Предполагаю, что боролся бы.

— Я не могу.

— Знаю. Думаешь, мне от этого легче? Клянусь тебе, нет. Ты хочешь, чтобы я ушел, или мне можно еще что-нибудь сказать? Почему ты так смотришь? Ведь ты уже, пожалуй, знаешь, что я сделаю для тебя все-все, понимаешь? Не смотри так, прошу тебя. Я не могу выразить все словами, как другие. Понимаешь?

Мне было ужасно жарко, как от долгого бега. Я держал ее за руки — не помню, когда я взял ее руки, возможно, как только сел. Не помню. У нее были такие маленькие руки.

— Эри. Пойми, я еще никогда не чувствовал того, что сейчас. В эту минуту. Подумай. Такая ужасная пустота, там. Нельзя выразить. Я не верил, что вернусь. Никто не верил. Мы говорили об этом, но просто так говорили. Они там остались, Том, Арне, Вентури, и они превратились в

камни, в такие замерзшие камни в темноте. И я мог там остаться, но если я здесь, и держу твои руки, и могу разговаривать с тобой, и ты слышишь меня, то все не очень плохо. Не подло. Может, иначе, Эри! Только не смотри на меня так. Умоляю тебя. Дай мне шанс. Не думай, что это только любовь. Не думай. Это нечто большее. Большее. Не веришь мне... почему ты не веришь мне? Ведь я говорю правду. Поверь!

Она молчала. У нее были ледяные руки.

— Не можешь, а? Это невозможно. Да, знаю, что невозможно. Я знал с первой минуты. Мне нельзя быть здесь. Занимаю чужое место. Я должен был остаться там. Это не моя вина, что я вернулся. Да. Не знаю, зачем я тебе все это говорю. *То* не существует, не существует, а? Мне все безразлично, если тебя *то* не волнует. Ты думала, я могу с тобой сделать все, что захочу? Не нужно мне этого, понимаешь? Ты не звезда...

Наступила тишина. Весь дом молчал. Я склонился к ее рукам, безжизненно лежавшим в моих, и зашептал в них.

— Эри, Эри. Теперь ты уже знаешь, что не должна меня бояться, правда? Знаешь, что тебе ничего не грозит. Но это — нечто большее, Эри. Эри, я не знал, что такое возможно, не знал. Клянусь тебе. Зачем они летят к звездам? Не могу понять. Ведь это есть здесь. А может, сначала надо побывать там, чтобы потом все понять? Да, возможно. Я сейчас пойду. Уже ухожу. Забудь обо всем. Забудешь?

Она кивнула.

— Никому не скажешь?

Она покачала головой.

— Правда?

— Правда, — прошептала она.

— Спасибо тебе.

Я вышел. Ступени. Кремовая стена, зеленая дверь. Дверь моей комнаты. Я широко распахнул окно, дышал. Каким чудесным был воздух. Выйдя от нее, я совершенно успокоился. Улыбался — не губами, не лицом, улыбка была внутри меня, снисходительная, — к моей глупости; я раньше даже не догадывался, что все так просто. Я перевернул, наклонившись, содержимое спортивной сумки. Среди шнурков? Нет. Какой-то узелок, что это, нет, сейчас...

Нашел, выпрямился, и вдруг мне стало стыдно. Свет.

Не могу так. Пошел выключать, но тут на пороге появился Олаф. Он был одет. Не ложился спать?

— Что делаешь?

— Ничего.

— Ничего? Что у тебя в руке? Не прячь!

— Ничего нет.

— Покажи!

— Не хочу. Уйди.

— Покажи!

— Нет!

— Я так и знал. Подлец!

Я не ожидал такого удара. Разжал руку, нож выскользнул, ударился о пол, а мы с Олафом начали бороться, я подмял его под себя, перебросил, письменный стол упал, лампа так грохнула о стену, что загремело на весь дом. Я поборол его. Он не мог вырваться, хотя сопротивлялся; услышав крик, ее крик, я отпустил Олафа, отскочил в сторону.

Она стояла в дверях.

Олаф поднимался на колени.

— Он хотел покончить с собой. Из-за тебя! — прохрипел он и схватился за горло. Я отвернулся. Прислонился к стене, ноги у меня дрожали. Мне было стыдно. Ужасно стыдно. Она смотрела на нас — то на одного, то на другого. Олаф по-прежнему держался за горло.

— Уходи, — тихо попросил я.

— Сначала ты должен меня прикончить.

— Смилуйся.

— Нет.

— Пожалуйста, уходите, — произнесла она.

От удивления я замолчал. Олаф, ошеломленный, смотрел на нее.

— Милая, он...

Она покачала головой.

Не сводя с нас глаз, Олаф отступил вбок.

Она смотрела на меня.

— Это правда? — спросила она.

— Эри... — простонал я.

— Ты не можешь иначе? — спросила она.

Я кивнул. Она покачала головой.

— Почему?... — Я повторил еще раз заикаясь: — Почему?..

Она молчала. Я подошел к ней и заметил, что она ежится, и руки, придерживающие полы халата, дрожат.

— Почему? Почему ты так боишься меня?

Она покачала головой.

— Нет?

— Нет.

— Но ты же дрожишь?

— Просто так.

— И... пойдешь со мной?

Она кивнула два раза, как ребенок. Я обнял ее так бережно, как только мог, словно она была стеклянной.

— Не бойся,— прошептал я.— Посмотри...

У меня тоже дрожали руки. Почему они не дрожали, когда я постепенно седел, ожидая Ардера? До каких тайников, до каких закоулков души я наконец добрался, чтобы узнать себя?

— Садись,— предложил я,— ведь ты все еще дрожишь? Или нет, подожди.

Я положил ее на свою постель. Укрыл до подбородка.

— Так лучше?

Она кивнула. Я не знал, только со мной она такая молчаливая или у них так принято.

Я опустился на колени перед кроватью.

— Расскажи мне что-нибудь,— прошептал я.

— Что?

— О себе. Кто ты. Что делаешь. Чего хочешь. Нет — чего ты хотела раньше, пока я не свалился тебе на голову.

Она слегка пожала плечами, будто говоря — «мне нечего сказать».

— Не хочешь? Почему, разве...

— Не важно...— ответила она. Эти слова будто ударили меня. Я попятился.

— Почему... Эри... Почему,— бормотал я. Но я уже понял. Хорошо понял.

Я вскочил и стал ходить по комнате.

— Не хочу так. Не могу. Не могу. Так нельзя, я...

Я остолбенел. Снова. Ведь она улыбалась. Легкой, едва заметной улыбкой.

— Эри, что...

— Он прав,— проговорила она.

— Кто?

— Тот... ваш приятель.

— В чем?

Ей трудно было ответить. Она отвела взгляд.

— В том, что вы... неумны.

— Откуда тебе известно, что он так сказал?
— Я слышала.
— Наш разговор? После обеда?
Она кивнула. Покраснела. Даже уши у нее порозовели.
— Я не могла не услышать. Вы говорили слишком громко. Я хотела выйти, но...
Я понял. Дверь ее комнаты выходила в холл. Какой кретин, подумал я — о себе, конечно. Я был ошеломлен.
— Ты слышала все?..
Она кивнула.
— И знала, что я говорю о тебе?
— Угу.
— Почему? Ведь я не произнес твоего имени...
— Я поняла еще раньше.
— Каким образом?
Она покачала головой.
— Не знаю. Поняла. Точнее, сначала я подумала, что мне только кажется.
— А потом?
— Не знаю. Так, в течение дня. Чувствовала это.
— Ты очень боялась? — мрачно спросил я.
— Нет.
— Нет? Почему?
Она еле заметно улыбнулась.
— Вы совершенно, совершенно, как...
— Как что?!— Как в сказке. Я не знала, что можно... таким... быть... и если бы не то, что... вы знаете... я думала бы, что мне это снится...
— Уверяю тебя, не снится.
— Ох, не знаю. Так только сказала. Вы знаете, о чем речь?
— Нет. Видно, я тупой, Эри. Да, Олаф прав. Я болван. Настоящий болван. Поэтому скажи мне яснее, хорошо?
— Хорошо. Вы думаете, что вы страшный, а вы совсем не такой. Вы только...
Она замолчала, словно не могла найти слова. Я слушал ее, раскрыв рот.
— Эри, детка, я... я совсем не думал, что я страшный. Глупость. Клянусь тебе. Только, когда я прилетел, и наслушался, и узнал разные разности... хватит. Я уже много наговорил. Слишком много. Никогда в жизни я не был таким болтливым. Говори, Эри. Говори.— Я сел на кровать.

— Мне нечего больше сказать, правда. Только... я не знаю...

— Чего не знаешь?

— Что будет?..

Я наклонился над ней. Она смотрела мне в глаза. Ее веки не дрогнули. Наше дыхание слилось.

— Почему ты разрешила мне тебя целовать?

— Не знаю.

Я прикоснулся губами к ее щеке. К шее. Я лежал, положив голову ей на плечо, изо всех сил стискивая зубы. Такого со мной никогда не было. Не знал, что такое может случиться. Мне хотелось плакать.

— Эри,— беззвучно, одними губами, шепнул я.— Эри. Спаси меня.

Она лежала неподвижно. Я слышал, словно издалека, учащенные удары ее сердца. Я сел.

— Разве...— начал я, но не отважился закончить. Встал, поднял лампу, поставил письменный стол, нагнулся на что-то — это был туристский нож. Он лежал на полу. Я засунул его в сумку. Повернулся к ней.

— Я выключу свет,— сказал я,— хорошо?

Она не ответила. Я нажал на выключатель. Мрак был кромешный, даже в открытом окне не было видно никаких, даже самых далеких огоньков. Ничего. Черно. Черно, как там.

Я закрыл глаза. Тишина звенела.

— Эри...— прошептал я. Она не отозвалась. Я чувствовал ее страх. На ощупь я направился к постели. Старался услышать ее дыхание, но только тишина звенела, охватывая все пространство, словно материализовалась в темноте и стала ею. Я должен уйти, подумал я. Но я наклонился и в каком-то ясновидении нашел ее лицо. Она задержала дыхание.

— Нет,— выдохнул я.— Ничего. Совсем ничего.

Я дотронулся до ее волос. Кончиками пальцев гładил их, изучал, еще чужие, неожиданные. Мне очень хотелось понять все. А может, нечего было и понимать? Какая тишина. Спит ли Олаф? Вероятно, нет. Он сидит, прислушивается. Ждет. Не пойти ли к нему. Я не мог. Это было слишком неправдоподобно. Я не мог. Не мог. Положил голову на ее плечо: одно движение — и я был возле нее. Почувствовал, как все ее тело одеревенело. Она отодвинулась. Я шепнул:

— Не бойся.

— Не боюсь.

— Дрожишь.

— Это просто так.

Я обнял ее. Я ощущал тяжесть ее головы на сгибе руки. Так мы лежали рядом в томительной тишине.

— Уже поздно,— прошептал я.— Очень поздно. Спи. Пожалуйста. Спи...

Я убаюкивал ее медленно-медленно, одним напряжением мышц руки. Она лежала тихо, я чувствовал тепло ее тела и дыхания. И сердце билось тревожно. Постепенно-постепенно оно начало успокаиваться. Она очень устала. Я прислушивался сначала с открытыми глазами, потом закрыв их, мне казалось, что так я лучше слышу. Заснула ли она? Почему она так дорога мне? Я лежал в темноте, меня обдувал ветер. Он шевелил занавески, они издавали слабый шелест. Я был потрясен. Эннессон. Томас. Вентури. Ардер. Значит, все ради этого? Ради горсточки пепла? Там, где никогда не веет ветер. Где нет ни туч, ни солнца, ни дождя, где ничего нет, абсолютно ничего нет, и даже нельзя представить, что все это вообще может существовать. И я был там? Действительно был? Зачем? Я уже ничего не различал, все сливалось с бесформенной темнотой. Я замер. Она вздрогнула. Медленно повернулась на бок. Но ее голова осталась на моем плече. Она тихонько пробормотала что-то. И продолжала спать. Я пытался представить себе хромосферу Арктура. Зияющее пространство, над которым я летел и летел, словно вращался на ужасной невидимой огненной карусели; глаза слезились, опухли, а я безжизненно повторял: «Зонд ноль семь... Зонд ноль семь. Зонд. Ноль семь»,— тысячу, тысячу раз (потом при одном воспоминании об этих словах во мне все вздрагивало, словно они выжгли что-то во мне, словно они стали моей раной), а в ответ я слышал лишь шум в наушниках и хихикающее пение, в которое аппаратура превращала лучи протуберанцев; лучистый газ — вот что осталось от Ардера, его лица, тела и ракеты. А Томас? Пропавший Томас, о котором никто не знал, что... А Эннессон? У нас с ним были плохие отношения, я его не выносил. Но в шлюзовой камере я боролся с Олафом, который не хотел меня выпускать, так как было уже слишком поздно; каким я был благородным, о небо! Черное и голубое... Но это было не благородство, а вопрос жизни и смерти. Да. Ведь каждый из нас был бесценным, человеческая жизнь стоила больше там, где она вообще не цени-

лась, где тончайшая, почти невидимая нить отделяла ее от конца. Проволочка или контакт в радиоаппаратуре Ардера. Шов в реакторе Вентури, который Восс недоглядел, а может, неожиданно шов разошелся, такое ведь случается, усталость металла — и Вентури за какие-то пять секунд не стало. А возвращение Турбера? А чудесное спасение Олафа, который потерялся, когда главную антенну перебило — когда? Каким образом? Никто не знал. Олаф вернулся — чудо. Счастливый случай — один на миллион. А как мне везло. Какое неожиданное, невероятное счастье выпало мне... Плечо онемело, мне было невыразимо хорошо. Эри, мысленно произнес я, Эри. Как голос птицы. Такое у нее имя. Голос птицы... Как мы просили Эннессона имитировать птиц. У него это получалось. Хорошо получалось, а когда он погиб, вместе с ним погибли все птицы...

Все смешалось, я погружался, плыл сквозь темноту. В последнее мгновение перед сном мне показалось, что я нахожусь там, на своем месте, на койке, глубоко, около железного дна, а рядом со мной лежит коротышка Арне — я на миг очнулся. Нет. Арне умер, я на Земле. Девушка тихо дышит.

Будь благословенна, Эри, мысленно произнес я, вдыхая запах ее волос, и заснул.

Я открыл глаза, не понимая, ни где я, ни кто я. Удивился, увидев темные волосы, рассыпавшиеся на моем плече, я не чувствовал его, будто оно было чужим. Это продолжалось долю секунды. Потом я все понял. Солнце еще не взошло, от молочно-белого света, лишенного розового оттенка, веяло стальным холодом. Я разглядывал в раннем утреннем свете ее лицо, словно видел его впервые. Она крепко спала, ровно дышала, вероятно, ей не очень удобно было лежать на моем плече и она положила себе под голову ладонь и иногда чуть приподнимала брови, будто ее снова что-то удивляло. Я внимательно всматривался в ее лицо, словно на нем была написана моя судьба.

Я подумал об Олафе. Стал с величайшей осторожностью высвобождать плечо. Моя осторожность была излишней. Она спала крепко, ей что-то снилось — я замер, стараясь отгадать, не снится ли ей плохое. У нее было почти детское лицо. Сон спокойный. Я отодвинулся, встал. В купальном халате, в котором спал, босиком вышел в коридор, тихо, медленно закрыл за собой дверь и осторожно заглянул в комнату Олафа. Кровать была застелена. Он сидел у стола, положив голову на руки, и спал.

Как я и предполагал, не раздеваясь. Не знаю, что его разбудило. Может быть, мой взгляд? Он очнулся неожиданно, окинул меня ясными глазами, выпрямился, потянулся, разминая кости.

— Олаф,— обратился я,— даже через сто лет...

— Замолкни,— вежливо проговорил он.— Гэл, мне известны твои дурные наклонности...

— Снова начинаешь? Я хотел тебе только сказать...

— Знаю, что ты хотел сказать. Всегда знаю, что желаешь сказать, за неделю вперед знаю. Если бы на «Прометее» нужен был судовой капеллан, ты бы смог им стать. Черт побери, как это раньше не пришло мне в голову. Я научил бы тебя уму-разуму. Гэл! Никаких проповедей. Никакой торжественности, никаких проклятий, клятв и тому подобного. Да? Хорошо. Итак?

— Не знаю. Как будто... Не ведаю... Если ты думаешь о... ну... то между нами ничего не было.

— Ты не должен унижаться,— проговорил он.— С высоко поднятой головой обязан говорить. Болван ты этакий, разве я тебя об этом спрашиваю? Я говорю о перспективах и тому подобном.

— Не представляю. Я тебе скажу, думаю, что она тоже не знает. Я, как камень, свалился ей на голову.

— Да. Это неприятно,— заметил Олаф. Он раздевался. Искал плавки.— Сколько ты вешишь? Сто десять?

— Что-то около того. Не ищи, на мне твои плавки.

— При всей своей святости ты всегда любил стащить что-нибудь чужое,— ворчал он, а когда я стал снимать плавки, он буркнул: — Ты что, спятил, перестань. У меня в чемодане есть вторые...

— Как разводятся? Случайно не знаешь? — спросил я.

Олаф перестал рыться в чемодане и посмотрел на меня. Заморгал.

— Нет, понятия не имею. Интересно, откуда мне знать об этом? Я слышал, что сейчас развестись — как чихнуть. И даже не надо говорить: «Будь здоров». А здесь нет нормальной ванны, с водой?

— Не знаю. Пожалуй, нет. Только такая...

— Да. Освежающий ветер с запахом зубного эликсира. Ужасно. Идем в бассейн. Без воды я не ощущаю себя чистым. Она спит?

— Спит.

— Тогда бежим.

Вода была холодной и прекрасной. Я сделал сальто с

поворотом назад, у меня получилось. А раньше не получалось. Я вынырнул, фыркая и откашливаясь, так как втянул носом воду.

— Осторожно,— прокричал с берега Олаф,— ты теперь должен быть внимательным. Помнишь Маркля?

— Да, а что?

— Он побывал на четырех зааммиаченных спутниках Юпитера, а когда вернулся и приземлился на учебном ракетодроме, вышел из ракеты, обвешанный трофеями, как новогодняя елка, споткнулся и сломал ногу. Будь осторожен. Предупреждаю тебя.

— Постараюсь. Чертовски холодная вода. Я выхожу.

— Прекрасно. Можешь заработать насморк. У меня его не было десять лет, а как только прилетел на Луну, стал кашлять.

— Ведь там было очень сухо, знаешь,— с серьезной миной произнес я. Олаф рассмеялся и брызнул мне в лицо водой, отскочив в сторону на метр.

— Фактически сухо,— заметил он, вынырнув.— Очень хорошее определение, не правда ли? Сухо, но неудобно.

— Ол, я выхожу.

— Хорошо. Встретимся за завтраком? Или ты не желаешь?

— Конечно, встретимся.

Я побежал вверх, вытираясь по дороге. Перед дверью я затаил дыхание. Осторожно заглянул. Она спала. Я воспользовался этим и быстро переоделся. Успел даже побриться в ванной комнате.

Я выглянул в комнату — мне показалось, что Эри позвала меня. Когда я на цыпочках приблизился к кровати, она открыла глаза.

— Я спала... здесь?

— Да. Да, Эри...

— Мне казалось, что кто-то...

— Эри... это был... я.

Она смотрела на меня, словно медленно все вспоминала. Сначала ее глаза немного расширились — от удивления? — потом она закрыла глаза, вновь быстро, украдкой открыла их, но я успел это заметить, она заглянула под одеяло — и показалось ее покрасневшее лицо.

Я откашлялся.

— Ты, наверное, хочешь пойти к себе, а? Может, мне лучше выйти или...

— Не надо,— проговорила она,— ведь я в халате.

Садясь, она запахла полы халата.

— Это... уже... на самом деле так?.. — тихо произнесла она таким тоном, словно с чем-то расставалась.

Я не ответил.

Эри встала, прошлась по комнате, подошла ко мне. Она вглядывалась в мое лицо — в ее глазах застыл вопрос, неуверенность и что-то еще, чего я не понял.

— Брегг...

— Меня зовут Гэл.

— Бр... Гэл, я...

— Слушаю.

— Я действительно не знаю. Мне хотелось бы... Сеон...

— Что?

— Ну... он...

Не могла или не хотела произнести «мой муж»?

— Он вернется послезавтра.

— Да?

— Что будет?

Я поперхнулся.

— Мне следует с ним поговорить? — спросил я.

— Зачем? — Теперь я в свою очередь посмотрел на нее, удивленно, ничего не понимая. — Вы... ведь говорили вчера...

Я ждал.

— Что заберете меня.

— Да.

— А он?

— Тогда мне не нужно с ним говорить? — глупо спросил я.

— Что значит — говорить? Вы хотите сами?

— А кто?

— Это должен быть... конец?

У меня сжало горло, я откашлялся.

— Ведь... нет другого выхода.

— Я думала, что это... мекс.

— Что?

— Вы не знаете?

— Ничего не понимаю. Ничего. Не ведаю. Что это такое? — спросил я, чувствуя, как мурашки пробежали по спине. Снова я попал в один из неожиданных люков, в вязкое непонимание.

— Это... такие... такая... если кто-то встречается... если хочет на какое-то время... вы правда ничего не знаете об этом?

— Подожди, Эри, не представляю, но мне кажется, я начинаю... может, это нечто временное, такая отсрочка, такое легкое приключение?

— Ты не понял,— ответила она с широко открытыми от удивления глазами.— Вы не знаете... что это... Не могу вам объяснить, что это такое,— призналась она.— Я только слышала об этом. Я думала, что вы поэтому...

— Эри. Ничего не знаю. И черт побери, если я хоть что-нибудь понимаю. Разве это... во всяком случае, как-то это связано с замужеством, а?

— Ну, конечно. Идут в учреждение и там, точно не знаю что, в любом случае потом это уже считается, это уже существует.

— Но что?

— Независимость. Тогда ничего нельзя сказать... Никто. Значит, и он...

— Ведь это тогда... своего рода легализация — ну, черт возьми! — легализация супружеской измены? Да?

— Нет. Это значит, что это уже не измена, впрочем, так у нас не говорят. Я знаю, что это значит, учила. Измены не существует потому, ну, потому, что я с Сеоном ведь только на год.

— Что-о?..— удивился я, мне показалось, что я плохо расслышал.— Что это значит? На год? Супружество на год? На один год? Почему?

— Это попытка...

— О небо! Черное и голубое! Попытка. А что такое меск? Может, это авизо на следующий год?

— Не знаю, что такое авизо. Это... это значит, если через год супруги не расходятся, тогда то становится действительным. Как бракосочетание.

— Меск?

— Да.

— А если ничего не получится, тогда что?

— Ничего. Не имеет никакого значения.

— Ага. Ну, теперь понимаю. Нет. Никакого меска. На веки веков. Знаешь, что под этим подразумевается?

— Знаю! Я стану госпожой Брегг?

— Да.

— В этом году я пишу диссертацию по археологии...

— Ясно. Ты даешь мне понять, что, считая тебя идиоткой, я сам выгляжу идиотом?

Она улыбнулась.

— Вы очень точно это определили.

— Да. Извините. Итак, Эри, я могу с ним поговорить?

— О чем?

У меня челюсть отвалилась. Снова, подумал я.

— Ах, черт...— Я прикусил язык.— О нас.

— Ведь так не делают.

— Не делают? Ага. Ну, прости. А как?

— Проводят раздел. Но, Брегг, на самом деле... ведь я... не могу так...

— А как можешь?

Она беспомощно пожала плечами.

— Итак, нам придется начать все снова? — спросил я.— Не сердись, Эри, на мои слова, мне надо давать двойную фору в этих соревнованиях. Я ведь не знаю всех правил, обычаев, того, что следует и что не следует делать, даже если это касается ежедневных проблем, а что уж говорить о таких...

— Понимаю тебя. Понимаю. Но я с ним... я... Сеон...

— Ясно,— сказал я.— Давай сядем.

— Стоя я лучше думаю.

— Пожалуйста, Эри, послушай. Я знаю, что должен сделать. Должен забрать тебя, как я говорил, и уехать куда-нибудь — не знаю почему, я в этом уверен. Может, из-за своей безумной глупости. Но мне кажется, что тебе со мной в конце концов будет хорошо. Ну... Пока я, понимаешь, еще... ну, короче, не хочу этого делать. Чтобы не заставлять тебя. Тем самым ответственность за мое решение — назови это так — ложится на тебя... Иначе я поступлю по-свински, не с тобой, с ним. Да. Понимаю это отлично. Отлично. Ты скажи только, что ты предпочитаешь?

— Со мной...

— Что?

— По-свински со мной...

Я засмеялся. Может, немного истерично.

— О боже! Да. Хорошо. Я могу с ним поговорить? Потом. Приеду, значит, сюда один...

— Нет.

— Так не поступают? Возможно. Но я чувствую, что должен, Эри.

— Не должен. Я... очень вас прошу. На самом деле. Нельзя. Нельзя!

Неожиданно у нее полились слезы. Я обнял ее.

— Эри! Не надо, ну, не надо. Сделаю как хочешь, только не плачь. Умоляю тебя. Потому... не плачь. Перестань, слышишь? А впрочем... плачь... я... сам не знаю...

— Я... не представляла, что это... может... так... — про-рыдала она.

Я носил ее по комнате.

— Не плачь, Эри... Или знаешь что? Уедем на... месяц. Хочешь так? Если пожелаешь потом, вернешься...

— Пожалуйста... — проговорила она, — пожалуйста...

Я поставил ее на пол.

— Нельзя так? Ведь я ничего не знаю. Я думал...

— Ах, ну что вы! Можно, нельзя. Я не хочу! Не хочу!

— Я все больше чувствую себя свиньей, — произнес я неожиданно сухо. — Ну, хорошо, Эри. Больше и не стану с тобой советоваться. Одевайся. Позавтракаем и уедем.

Она смотрела на меня со слезами на глазах. Была странно сосредоточенна. Нахмурила брови. Казалось, она хочет сказать мне что-то лестное. Но она только вздохнула и молча вышла. Я сел за стол. Мое решение — как в каком-то романе о пиратах — было неожиданным для меня самого. В действительности моя решительность напоминала розу ветров. Я чувствовал себя чурбаном. «Как я могу? Как я могу?» — спрашивал я себя. Ох, запутался!

В приоткрытых дверях стоял Олаф.

— Дружище, — начал он, — мне неприятно. Я сверхбес-тактен, но я все слышал. Не мог не слышать. Следует закрывать дверь, а еще у тебя слишком громкий голос. Гэл, ты превосходишь самого себя. Что ты хочешь от девушки? Чтобы она бросилась тебе на шею за то, что ты однажды забрался в ды...

— Олаф! — рявкнул я.

— Нас спасти может только спокойствие. Ну, археолог нашел прекрасное ископаемое. Сто шестьдесят лет — это уже антик, не так ли?

— Твой юмор...

— Тебе не нравится. Ясно. Мне он тоже не по душе. Но что стал бы я делать, если бы не разбирался в подоплеке твоего поведения? Надоевшие похороны, вот и все. Гэл, Гэл...

— Я всю жизнь Гэл.

— В чем дело? Сбор, капеллан. Завтракаем и отплываем.

— Куда же?

— Мне случайно известно. Возле моря сдаются маленькие домики. Возьмете машину...

— Что значит «возьмете»?

— А как? Святым духом? Капеллан...

— Если ты не прекратишь, Олаф...

— Хорошо. Знаю. Ты хотел бы осчастливить всех: меня, ее, Сеола или Сеона — нет, не получится. Гэл, вместе отправимся. В крайнем случае подбросишь меня до Хоула. Я возьму там ульдер.

— Ну-ну,— остановил я его,— неплохой я тебе организовал отдых!

— Не жалуюсь, и ты не жалуйся. Может, что-нибудь и получится. А теперь хватит. Иди.

Завтрак проходил в странной атмосфере. Олаф говорил больше, чем обычно, но скорее в пустоту. Эри и я почти не отвечали. Потом белый робот подал глайдер, и Олаф поехал на нем в Клавестру за автомашиной. Так он решил в последний момент. Через час машина была уже в саду, я погрузил свои пожитки, Эри тоже взяла свои вещи — мне показалось, что не все, но я ее ни о чем не спрашивал, мы вообще не обмолвились ни словом. И солнечным днем, который обещал быть жарким, мы поехали сначала в Хоул — это немного в сторону,— и Олаф там вышел; он только в машине сказал мне, что снял для нас домик.

Мы не прощались.

— Послушай,— проговорил я,— если напишу тебе... ты приедешь?

— Вероятно. Сообщу тебе свой адрес.

— Напиши до востребования, в Хоул,— попросил я. Он подал мне свою сильную руку. Сколько еще таких осталось на Земле?

Я пожал ее так крепко, что кости захрустели, и, не поворачиваясь, сел за руль. Мы ехали почти час. Олаф сказал мне, где я должен искать этот домик. Маленький дом — всего четыре комнаты без бассейна — стоял на самом берегу. Минуя ряды цветных домиков, разбросанных на холмах, мы после очередного подъема увидели океан. А его приглушенный шум слышали еще издалека.

Порой я поглядывал на Эри. Она сидела выпрямившись, молчала и только изредка смотрела в окно на пейзаж. Домик, наш домик должен быть голубым с оранжевой крышей. Я почувствовал на языке вкус соли. Шоссе повернуло и дальше шло прямо до песчаного берега. Шум океана, волны которого издали казались неподвижными, сливался с резким гулом мотора.

Домик был одним из последних. В маленьком саду, с кустами, серыми от морской соли, были заметны следы недавнего шторма. Волны, видимо, доставали до низкой

ограды — везде валялись пустые раковины. Козырек наклонной крыши напоминал отогнутые поля шляпы и давал большую тень. Из-за высокой дюны, слегка покрытой растительностью, выглядывал соседний домик. До него было шагов шестьсот. Ниже, на серпообразном пляже, виднелись силуэты людей.

Я открыл дверцу.

— Эри...

Она вышла молча. Если бы я мог знать, какие мысли прячутся за ее слегка наморщенным лбом. Она шла к дому рядом со мной.

— Подожди, — сказал я. — Тебе нельзя переступить порог, понимаешь?

— Почему?

— Открой... — попросил я. Она прикоснулась пальцами к плите, дверь открылась.

Я перенес ее через порог и поставил на пол.

— Такой обычай. На... счастье...

Она пошла посмотреть комнаты. Кухня в конце дома, автоматическая, один робот, собственно, не робот, а некое глупое электрическое создание для уборки. Робот мог и подавать на стол. Исполнял приказы, но произносил всего несколько слов.

— Эри, — спросил я, — хочешь пойти на пляж?

Она покачала головой. Мы стояли посредине самой большой, белой с золотом комнаты.

— А чего ты хочешь, может...

Я не успел закончить фразы, а она снова покачала головой.

Я уже представлял, как будут развиваться события. Но я уже бросил кости, игра должна продолжаться.

— Принесу вещи, — сказал я. Я ждал какого-нибудь ответа, но она села на зеленый, как трава, стул, и я понял, что она не произнесет ни слова.

Первый день был ужасен. Эри не делала ничего демонстративно, не избегала меня специально, а после обеда пыталась даже заниматься — я попросил разрешить мне остаться в ее комнате и смотреть на нее. Я обещал молчать и не мешать ей. Но уже через пятнадцать минут (какова проницательность!) я догадался, что мое присутствие тяготит ее, как невидимый камень, понял по линии ее плеч, по мелким, осторожным движениям, по скрытому напряжению. Обливаясь потом, я убежал от нее, стал ходить взад-вперед по своей комнате. Я еще не знал ее. Но понимал

уже, что она неглупа, может, даже умна. В сложившейся ситуации это было одновременно хорошо и плохо. Хорошо, так как если она не понимала, то догадывалась, что я на самом деле не варвар, не дикарь. Плохо, потому что если это так, то совет, данный мне в последний момент Олафом, бессмыслен. Он сказал мне афоризм, который я знал из книги Хона: «Женщина должна быть, как пламень, а мужчина — как лед». Он считал, что только ночью я смогу добиться своего. Я не хотел этого, ужасно страдал, ясно отдавая себе отчет в том, что за столь короткое время я не в силах убедить ее словами, они не дойдут до нее, не изменят ничего, хотя она сорвалась только раз, когда закричала: «Не хочу, не хочу!» Я воспринимал как плохой знак и то, что тогда она быстро справилась с собой.

Вечером ее обуял страх. Я старался быть тише воды, ниже травы, как Вув, невысокий пилот, самый большой молчун, какого я знал, который умел, не произнося ни слова, выразить и сделать все, что хотел. После ужина — она не ела ничего, и это привело меня в ужас — я ощутил, что начинаю злиться на нее за свои страдания, порой я даже ее ненавидел, и безграничная несправедливость этого чувства только усиливала его.

Наша первая настоящая ночь. Эри, все еще разгоряченная, уснула на моих руках, ее дыхание становилось все ровнее — она погружалась в глубокий сон. Тогда я был почти уверен, что победил. Она все время боролась, не со мной, а с собственным телом, которое я познавал, целуя тонкие ногти, маленькие пальцы, ладони, ступни ног, каждую ее частицу открывал и пробуждал к жизни поцелуем, проникая в нее — против ее воли — невероятно терпеливо и медленно, это проникновение было почти незаметно, а когда я чувствовал нарастающее сопротивление, воспринимаемое мною, как смерть, тогда отступал, то начинал нашептывать ей сумасшедшие, наивно-детские слова, то снова замолкал и только ласкал, нежно прикасался к ней, так продолжалось долго, я ощущал, как она раскрывается и как ее холодность сменяется дрожью последнего сопротивления, а потом она задрожала иначе, уже покоренная, но я продолжал ждать, теперь уже молча, ведь это было выше слов, различал в темноте ее загорелые плечи и груди, левую грудь, под ней билось сердце все быстрее и быстрее, дышала Эри все чаще, все отчаяннее, и случилось; это было даже не блаженство, а милость уничтожения и слияния, штурм до границы тел, и они резко на одно

мгновение соединились в одно, наше тяжелое дыхание, наш жар перешли в беспмятство; она вскрикнула раз, слабо, высоким детским голосом и обняла меня. А потом опустила руки, потихоньку, словно от стыда и печали, будто вдруг поняла, как ужасно я провел ее и обманул. А я снова стал целовать сгибы ее пальцев, молча умолять, опять начал свое чувственное и ужасное наступление. И все повторилось, как в бредовом черном сне, и вдруг я почувствовал, как ее рука, погруженная в мои волосы, прижимает мое лицо к обнаженному плечу с такой силой, какой я не ожидал от Эри. А потом, смертельно уставшая, быстро дыша, как бы желая выдохнуть из себя накопившийся жар и неожиданный страх, она уснула. А я лежал, как мертвый, не шевелясь, напряженный до предела, стараясь понять, означает ли случившееся все или ничего. Когда я засыпал, мне показалось, что мы спасены, и только тогда успокоился, как на Керенее, — я лежал на горячих плитах потрескавшейся лавы рядом с Ардером, он был без сознания, но я видел его губы, быстро шевелящиеся за стеклом скафандра, и знал, что мои усилия не пропали даром, но у меня не было сил открыть ему кран резервного баллона; я лежал, словно парализованный, с сознанием, что самое большое дело жизни уже позади и если я умру, то ничего уже не изменится и мое оцепенение — невыразимое молчание триумфа.

А утром все пошло по-старому. В первые часы она по-прежнему стыдилась, а может, не знаю, презирала меня или себя за то, что произошло; перед обедом мне удалось уговорить ее прогуляться. Мы ехали по шоссе вдоль огромных пляжей. Солнце освещало Тихий океан, шумящий колосс; на белых и золотых волнах до самого горизонта качались цветные полотнища парусников. Я остановил машину там, где пляж неожиданно заканчивался невысоким скалистым обрывом. Шоссе здесь круто поворачивало, и, стоя в метре от него, можно было с высоты наблюдать за сильным прибоем. Мы вернулись к обеду. Все протекало, как вчера. Во мне все замирало при мысли о предстоящей ночи. Я не хотел, не хотел такого повторения. Когда я не смотрел на Эри, я чувствовал на себе ее взгляд. Я пытался понять, почему она время от времени хмурится, внезапно останавливает взгляд. Перед ужином, когда мы сели за стол — не знаю, как и почему, — вдруг, словно кто-то одним ударом образумил меня, меня осенило. Хотелось бить себя кулаками по лбу — какой я эгоист, дурак, обма-

нывающий себя прохвост. Ошеломленный, я сидел неподвижно, только внутри бушевала буря, пот выступил на лбу, я почувствовал огромную слабость.

— Что с тобой? — спросила Эри.

— Эри,— прохрипел я,— только... теперь. Клянусь тебе! Только сейчас я понял, только сейчас, что ты пошла со мной, боясь, что я... да?

От удивления глаза у нее расширились, она внимательно глядела на меня, будто подозревая какой-то обман, комедию.

Эри кивнула.

Я сорвался с места.

— Поехали.

— Куда?

— В Клавестру. Собирай вещи. Мы будем там, — я посмотрел на часы,— через три часа.

Она стояла не шевелясь.

— Ты серьезно?.. — спросила Эри.

— Серьезно. Эри! Я не понимал. Да, знаю. Это звучит неправдоподобно. Есть, однако, границы. Эри, я еще не до конца уразумел, как я мог поступить так, пожалуй, я обманывал себя. Ну, не знаю, все равно, теперь это не имеет никакого значения.

Она собрала вещи. Очень быстро. Все во мне рушилось и обрывалось, но внешне я выглядел абсолютно, почти абсолютно спокойным. Она села в машину и сказала:

— Гэл, извини.

— За что? А! Я понял. Ты думала, я знаю?

— Да.

— Хорошо. Не будем говорить об этом.

И снова я шел на скорости сто километров; мелькали домики — лиловые, белые, синие, дорога петляла, я увеличивал скорость, на шоссе было большое движение, потом уменьшилось, небо стало темно-голубым, поблекли краски домов, показались звезды, а мы все мчались в протяжном свисте ветра.

Все вокруг посерело, холмы теряли очертания, превращались в контуры, в ряды серых выпуклостей; в сумерках дорога проступала широкой фосфоресцирующей полосой. Я узнал первые дома Клавестры, характерный поворот, живые изгороди. Прямо у входа остановил машину, вынес вещи в сад, под веранду.

— Я не хочу... входить в дом. Понимаешь?

— Да.

Мне не хотелось с ней прощаться, я просто отвернулся. Эри прикоснулась к моей руке, я дрогнул, словно от ожога.

— Гэл, спасибо...

— Молчи. Умоляю, ничего не говори.

Я убежал. Вскочил в машину, дал газ, шум мотора на какое-то время успокоил меня. Я был смешон. Конечно, она боялась, что я убью его. Ведь она видела, что я пытался убить Олафа, невинного, как младенец, только за то, что он не позволил мне — а впрочем, пустяки. Я кричал там, в машине, я все мог позволить себе, — я был один, мотор заглушал мое безумие — и снова не ведаю, в какой миг уразумел, что надо делать. И опять, как тогда, я успокоился. Не совсем. Ведь я таким ужасным образом воспользовался ситуацией и вынудил ее пойти со мной, и вот так случилось, это было самое худшее, что можно себе представить, я не имел права даже вспоминать, помнить прошедшую ночь и все остальное. Сам, собственными руками уничтожил все. Из-за безграничного эгоизма, из-за ослепления я не разглядел лежащее на поверхности, самоочевидное — ведь она не врала, говоря, что не боится меня. За себя не боялась, конечно. За него.

За окнами мелькали огоньки, переливались, мягко уходили назад, вокруг было невыразимо прекрасно, а я, растерзанный, пронзенный насквозь, летел, визжа на виражах шинами, к Тихому океану, к скалам, туда; в один момент, когда машину занесло сильнее, чем я ожидал, и она выскочила правыми колесами за край дороги, я испугался; испуг длился долю секунды, потом я расхохотался, как сумасшедший, — я боялся погибнуть на этом месте, потому что решил покончить с собой где-то в другом; и мой смех неожиданно перешел в рыдание. Нужно сделать это немедленно, думал я, ведь я уже стал другим. То, что со мной происходит, не просто страшно, а отвратительно. И что-то еще я говорил себе — мне должно быть стыдно. Но слова не имели никакого смысла. Было уже совсем темно, на шоссе почти никого, ведь ночью редко кто ездил. И вдруг невдалеке я заметил черный глайдер. Он шел легко, без усилий там, где мне приходилось вытворять дикие трюки тормозами и газом. Ведь глайдер держится на дороге магнитным или гравитационным притяжением, черт его знает. В любом случае он мог обогнать меня без всяких усилий, но он держался позади, метрах в восьмидесяти, то приближаясь, то отдаляясь. На крутых виражах, когда машину заносило и меня отбрасывало влево, глайдер

отставал — не думаю, что он не мог выдержать скорости. Может, водитель боялся. Впрочем, там нет никакого водителя. Какое мне дело до глайдера? И все-таки он меня волновал, так как я чувствовал, что это он не случайно не обгоняет меня. И вдруг я подумал, что это Олаф, Олаф, который ни на грош не доверял мне (и он прав), спрятался где-то поблизости и ожидал, как будут развиваться события. При мысли, что там находится мой спаситель, мой дорогой старый Олаф, и он опять не допустит, чтобы я сотворил задуманное, и станет для меня старшим братом, утешителем, во мне что-то перевернулось, от злости у меня потемнело в глазах, и я в какой-то момент даже не видел дороги. Почему он не оставляет меня в покое, подумал я и стал выжимать из машины последние силы, все ее возможности, словно не ведал, что глайдер может спокойно развить скорость в два раза большую. Так мы мчались в ночи среди холмов, усыпанных огоньками, а сквозь пронзительный свист рассекаемого воздуха уже слышался шум Тихого океана, еще невидимого, распростертого передо мной; этот все заглушающий шум словно выплывал из бездонной пропасти океана.

Ты гони, думал я. Гони. Ты не знаешь того, что известно мне. Следишь за мной, преследуешь меня, не оставляешь меня в покое, превосходно; но я от тебя улизну, уж я тебя обскачу, ты и глазом не успеешь моргнуть, хоть из кожи вон лезь — ничто тебе не поможет, ведь глайдер не сойдет с шоссе. Поэтому даже в последнюю секунду моя совесть останется чиста. Очень хорошо.

Проехав мимо домика, в котором мы жили — его три освещенных окна промелькнули передо мной, будто убеждая меня в том, что есть большие страдания, чем я пережил, — я вышел на последний отрезок шоссе, параллельный океану. Тогда глайдер, к моему удивлению, неожиданно увеличил скорость и стал меня обгонять. Я грубо перекрыл ему дорогу, свернув влево. Он притормозил, и так мы маневрировали, пожалуй, раз пять: как только он пытался меня обогнать, я преграждал ему путь, поворачивая машину влево. Неожиданно, несмотря на то, что я закрывал ему дорогу, глайдер стал меня обходить, кузов машины чуть не ударился о черную блестящую поверхность снаряда без окон, казавшегося пустым; в тот момент я уже был совершенно уверен, что это Олаф, ведь только он, никто другой не отважился бы на подобный поступок, но я же не мог убить Олафа. Не мог. Поэтому я пропустил

глайдер. Он пошел впереди меня, и я думал, что теперь он в свою очередь постарается закрыть мне дорогу, но глайдер держался метрах в пятнадцати от моего капота — ну, я решил, что это мне не мешает. И я притормозил, слабо надеясь, что глайдер, может, оторвется от меня, но он тоже сбавил скорость. Оставалось около мили до последнего поворота у скал, когда глайдер еще притормозил; он шел посередине дороги, и я не мог его обогнать. Я подумал, что, может, мне удастся сейчас, но рядом не было никаких скал, лишь песчаный пляж, и машина метров через сто увязла бы колесами в песке, не дотянув до океана. Такую мелочь я не учел. Не было другого выхода, как продолжать путь. Глайдер еще больше снизил скорость, и я видел, что он сейчас остановится: от тормозных огней его черный корпус заблестел, словно залитый горячей кровью. Я попытался его обогнать, резко повернул, но глайдер закрыл мне дорогу. Он обладал большей скоростью и маневренностью, чем моя машина, ведь глайдером управлял робот. В конце концов у робота всегда реакция лучше. Я нажал на тормоз: слишком поздно. Раздался ужасный скрежет, черная масса поднялась прямо перед стеклом, меня бросило вперед, и я потерял сознание.

Я открыл глаза, словно после сна, после безумного сна — мне снилось, что я плаваю. Что-то холодное, мокрое стекало по моему лицу, я почувствовал чьи-то руки, они трясли меня, расслышал чей-то голос.

— Олаф,— пробурчал я,— зачем, Олаф. Зачем...

— Гэл!!

Я приподнялся, оперся на локти и увидел ее лицо, склоненное надо мной, и, когда я сел, обалдевший, не способный ничего соображать, Эри медленно опустилась на мои колени, плечи у нее судорожно вздрагивали,— а я все еще не верил. Голова у меня была тяжелая, словно набитая опилками.

— Эри,— произнес я онемевшими губами, которые казались странно большими, тяжелыми и как бы не моими.— Эри — это ты... или мне только...

И вдруг силы вернулись ко мне, я обнял ее за плечи, вскочил, поднял ее, закружился вместе с ней — мы оба упали на еще теплый мягкий песок. Я целовал ее соленое мокрое лицо и плакал, первый раз в жизни, и она плакала. Мы долго молчали. Постепенно мы словно начали бояться — не знаю чего — она смотрела на меня, как лунатик.

— Эри,— повторял я,— Эри... Эри...

Ничего больше сказать я не мог. Неожиданно я почувствовал слабость и лег на песок, а Эри, перепуганная, попыталась меня поднять, но ей не хватило сил.

— Не волнуйся, Эри,— шептал я,— со мной все в порядке, это только так...

— Гэл! Говори! Говори!

— Что я могу сказать... Эри...

Мой голос успокоил ее немного. Она куда-то побежала и вернулась с плоским сосудом, снова стала поливать мое лицо водой, горькой водой из Тихого океана. Я хотел выпить ее больше, бессмысленно промелькнуло у меня в голове; я заморгал, приходя в себя. Сел и ощупал голову.

Никаких повреждений, волосы смягчили удар, набил только шишку величиной с апельсин, содрал немного кожу, еще здорово шумело в ушах, но я уже почти пришел в себя. По крайней мере мог сидеть. Я попробовал встать, но ноги не очень-то слушались.

Эри стояла на коленях, внимательно рассматривала меня, опустив руки.

— Это ты? Да? — спросил я. Только сейчас я понял. Я отвернулся — от движения у меня закружилась голова — и в свете молодого месяца увидел неподалеку, на краю шоссе, два черных силуэта, сцепленных между собой. Когда я перевел взгляд на Эри, у меня перехватило дыхание.

— Гэл...

— Я.

— Попытайся встать... я помогу тебе...

Я еще плохо соображал. Я не совсем разобрался в происшедшем. Значит, Эри была в глайдере? Невероятно.

— Где Олаф? — спросил я.

— Олаф? Не знаю.

— Как не знаешь... Его здесь не было?

— Нет.

— Ты одна?

Эри кивнула.

И вдруг я ужасно, до смерти испугался.

— Как ты могла! Как ты могла!

Она дрожала, губы у нее тряслись, она не в силах была произнести ни слова.

— Я до... должна...

Эри опять заплакала. Постепенно начала успокаиваться. Прикоснулась к моему лицу. Лбу. Нежными прикосновениями ощупывала мою голову, а я тихо повторял:

— Эри... это ты?

Бред какой-то. Потом я медленно встал, она помогала мне, как могла; мы добрались до шоссе. Только там я рассмотрел, в каком виде машина: капот, перед — все сплюснуто в гармошку. Глайдер почти не пострадал — лишь теперь я оценил его достоинства — все цело, только небольшая вмятина в боку, куда пришелся удар. Эри помогла мне сесть в глайдер, развернула его так, что корпус автомобиля с протяжным скрежетом свалился набок. Мы поехали. Я молчал, огни проплывали мимо. Моя голова, по-прежнему большая и тяжелая, кружилась. Перед домом вышли. Окна все еще светились, словно мы были там. Эри помогла мне войти. Я лег на кровать. Она подошла к столу, обошла его и направилась к двери. Я вскочил:

— Уходишь?

Эри подбежала ко мне, встала перед кроватью на колени и покачала головой.

— Не уходишь?

— Нет.

— И никогда не уйдешь?

— Никогда.

Я обнял ее. Она прижалась щекой к моему лицу, и я забыл все: догорающий шлак упрямства, ярости и безумства последних часов, страх, отчаяние. Я лежал совершенно опустошенный — и только все сильнее прижимал ее к себе, силы будто снова возвращались ко мне, и было тихо, свет блестел на золотой обивке комнаты, а где-то далеко, в другом мире, за открытыми окнами, шумел Тихий океан.

Невероятно, но мы не говорили ни в тот вечер, ни в ту ночь. Ни одного слова. Ни одного. Лишь на следующий день, вечером, она все рассказала: когда я уехал, она догадалась, что я задумал, испугалась, не зная, как поступить, — сначала хотела позвать белого робота — она его тоже так называла, — но поняла, что и он не поможет. Олаф? Олаф, безусловно, помог бы, но она не знала, где его искать, а времени не оставалось. И она взяла домашний глайдер и поехала за мной. Она скоро догнала меня и держалась позади до тех пор, пока еще оставался шанс, что я возвращаюсь в домик.

— Ты бы вышла? — спросил я.

Она колебалась.

— Не знаю. Думаю, вышла бы. Теперь так думаю, но точно сказать не могу.

Потом, когда она заметила, что я еду дальше, испугалась еще сильнее. Остальное известно.

— Ничего не понимаю,— проговорил я.— Именно теперь ничего не понимаю. Как ты могла так поступить?

— Я сказала себе, что... все кончится хорошо.

— Ты догадывалась, что я хочу сделать и где?

— Да.

— Почему ты так решила?

Она долго не отвечала.

— Трудно сказать. Может быть, потому, что я тебя уже немного знаю...

Я молчал. Мне о многом хотелось ее спросить, но я не решался. Мы стояли у окна. С закрытыми глазами чувствуя простор океана, я проговорил:

— Ну, хорошо, Эри... а что теперь? Что... будет?

— Я тебе уже сказала.

— Но я не хочу так...— прошептал я.

— Иначе не получится,— ответила она после долгого молчания.— Впрочем...

— Что?

— Не хочу.

В этот день, под вечер, снова стало, пожалуй, хуже. Все возвращалось, и наступало, и возвращалось — почему? Не знаю. Она, вероятно, тоже. Словно только перед лицом опасности мы становились ближе и лишь тогда начинали по-настоящему понимать друг друга. Потом наступила ночь. Прошел еще один день.

На четвертый день я услышал, как она разговаривает по телефону, и страшно испугался. После разговора она плакала. Во время обеда она уже улыбалась.

Таким был конец и начало. А на следующей неделе мы поехали в Мае, центр округа, и там, в учреждении, перед одетым в белое мужчиной произнесли необходимые слова, которые сделали нас мужем и женой. В этот же день я телеграфировал Олафу. На следующий день я пошел на почту, но ничего от него не получил. Я подумал, что он мог перебраться куда-нибудь и поэтому не ответил. Но, честно говоря, уже тогда, на почте, я почувствовал небольшое беспокойство, ведь такое молчание — не в характере Олафа, но после всех последних событий я думал о нем недолго и даже ничего не сказал Эри. Словно забыл.

Как чета, соединенная благодаря моему бурному неистовству, мы неожиданно подошли друг другу. Наша жизнь была своеобразно разделена. Если наши взгляды не совпадали, то Эри умело защищала свои, которые, как правило, касались общих вопросов; она была, например, убежденной сторонницей бетризации и выдвигала аргументы, почерпнутые не из книг. То, что она так открыто выражала свою точку зрения, я считал хорошим знаком; но эти наши дискуссии протекали днем. Говорить объективно, спокойно обо мне в свете дня она не смела или, скорее, не хотела, поскольку не была уверена, что из ее слов прозвучит, как упрек моим причудам, смешным проявлениям «личности из консервной банки», по определению Олафа, а что будет воспринято, как атака на основные ценности моей эпохи. Но ночью — словно темнота немного уменьшала мое присутствие, растворяла его — она говорила мне обо мне, то есть о нас, меня радовали эти тихие беседы в темноте, милостиво скрывавшей мое изумление.

Эри рассказывала и о себе, о своем детстве, и таким образом вторично, вернее, впервые — ведь эти сведения были заполнены реальным человеческим содержанием — я узнал, как мастерски построено это общество непрерывной, чутко поддерживаемой гармонии. Считалось естественным, что иметь детей, воспитывать их в первые годы жизни могут только высококвалифицированные, всесторонне подготовленные люди, короче, прошедшие специальную учебу; чтобы получить разрешение родить ребенка, супруги должны сдать что-то вроде экзаменов; сначала мне это показалось чем-то невероятным, но, подумав, я признал парадоксальность старых обычаев, а не новых, ведь в нашем обществе без специального образования нельзя было строить мост, дом, лечить больных, просто работать в каком-нибудь учреждении, и только самое главное — рождение ребенка, формирование его психики было отдано на волю слепого случая и минутной страсти, а общество вмешивалось только тогда, когда уже были допущены ошибки и исправить их не представлялось возможным.

Таким образом, получить право завести ребенка было почетно, оно давалось не каждому; к тому же родители не могли изолировать детей от ровесников — создавались специальные группы, в которые включались различные по

темпераменту мальчики и девочки; так называемые «трудные дети» проходили дополнительные гипногигиенические процедуры, а учить всех начинали очень рано. Но не читать и писать, этой наукой они овладевали гораздо позднее; во время специальных игр самых маленьких знакомили с окружающим миром, Землей, богатством и разнообразием общественной жизни; уже четырех-пятилетних приучали быть терпимыми, уживаться друг с другом, с уважением относиться к мнению и убеждениям других, не придавать значения отличительным, внешним физическим чертам детей (вообще людей) различных рас. Все это казалось мне прекрасным, с одним, но весьма существенным исключением, поскольку незыблемым фундаментом этого мира, его всеохватывающим правилом была бетризация. Воспитание было направлено именно на то, чтобы воспринимать ее как реальность, равную рождению и смерти. Когда я слышал от Эри, как сейчас изучают древнюю историю, меня охватывала злость, которую я с трудом подавлял. В их понимании это было время зверств и варварства, несдерживаемой рождаемости, неожиданных военных и экономических катастроф, а неоспоримые достижения цивилизации рассматривались как проявление тех сил и стремлений, которые позволяли людям побеждать невежество и жестокость эпохи. Таким образом, эти успехи были достигнуты как бы вопреки господствующей повсюду тенденции жизни за счет других. То, что раньше пробивалось с огромными усилиями, на что способны были немногие, так как к этой цели вела дорога, полная опасностей, отречений, компромиссов, моральных поражений, окупающих материальные успехи, теперь стало всеобщим, легким и надежным.

Еще полбеда, пока речь шла о различных общих отрицательных явлениях прошлого, хотя бы таких, как война, это я готов был признать; считал достижением отсутствие — полное! — политики, столкновений, напряжения, международных конфликтов, хотя вначале удивлялся, подозревая, что они все же должны существовать, только о них умалчивают; но я не мог смириться с переоценкой дел, касающихся меня лично. Ведь не только Старк в своей книге (написанной давно, за полвека до моего возвращения) отрекся от космических путешествий. Тут Эри, аспирантка-археолог, могла объяснить мне многое. Уже первое поколение бетризированных коренным образом изменило свое отношение к астронавтике. Но и после смены положи-

тельной оценки на отрицательную астронавтика по-прежнему интересовала многих. Однако считалось, что самая трагическая ошибка была допущена именно в те годы, когда планировалась наша экспедиция, так как в этот период подобных экспедиций отправлялось бесчисленное множество; ошибка заключалась не только в том, что результат их оказался ничтожным, что разведка околозвездных пространств не привела к контакту ни с одной высокоразвитой цивилизацией. Только на немногих планетах удалось обнаружить примитивные и вообще чуждые нам формы жизни. Самым худшим считалось даже не то, что станут планировать все более дальние экспедиции, и во время ужасающе продолжительного путешествия команда корабля, эти представители Земли, начнет превращаться в группу несчастных, смертельно измученных существ, которые после высадки будут нуждаться в заботливой опеке и восстановлении здоровья. Хотя решение посылать энтузиастов рассматривалось как бессмысленное и жестокое, главный аргумент был иной: Космос собиралась покорить Земля, которая еще не сделала всего необходимого для себя самой. Героические полеты не могли победить безграничные человеческие страдания, несправедливость, страх и голод, царящие на планете Земля.

Но так думало первое бетризованное поколение, а потом, с естественным ходом событий, пришло забвение и равнодушие; узнавая о романтическом периоде астронавтики, дети удивлялись, а может, даже немного побаивались своих непонятных предков, таких же чужих и загадочных, как и их прапрапредки, совершавшие грабительские войны и путешествия за золотом. Именно это равнодушие больше всего меня поразило, ведь оно было хуже полного отрицания — дело нашей жизни было покрыто мраком молчания, похоронено и предано забвению.

Эри не пыталась разжечь во мне восторженного отношения к новому миру — просто рассказывала о нем, а говоря о себе, тем самым раскрывала блеск нового мира.

Это была цивилизация, лишенная страха. Все существующее служило людям, их удобствам, направлялось на удовлетворение и простых, и наиболее изысканных потребностей. Везде, во всех сферах, где человек с его эмоциями, замедленной реакцией создавал хотя бы малейший риск, людей заменили механизмы и автоматы.

Это был мир, защищенный от опасностей. В нем не было места ни угрозе, ни борьбе, ни насилию; мир кро-

тости, мягких форм и обычаев, постепенных переходов, не трагических ситуаций, мир, столь же удивительный, сколь и наша (я имею в виду и Олафа) реакция на него.

Ведь мы за десять лет хлебнули ужасов, всего того, что противно сущности человека, что его ранит и ломает, мы возвращались, сытые этим по горло; каждый из нас, услышав, что возвращение откладывается, что снова месяцами придется болтаться в пустоте, схватил бы говорящего за грудки. И это мы, кто уже был не в силах выдержать постоянного риска, случайного удара метеорита, вечного, напряженного, мучительного ожидания, когда кто-нибудь — Ардер или Эннессон — не возвращался из разведывательного полета, мы начали теперь воспринимать то время ужаса как нечто единственно истинное, настоящее, придающее достоинство и смысл нашей жизни. А ведь я и сейчас еще вздрагивал при воспоминании, как мы, сидя, лежа, зависнув в невероятных позах над круглой радиокabinой, ждали и ждали в тишине, прерываемой только равномерным дребезжанием позывного сигнала, передаваемого автоматической установкой на корабле; в мертвенно-голубом свете мы видели, как капельки пота стекают по лбу радиста, тоже застывшего в ожидании, а в это время сигнальные часы бесшумно отсчитывали секунды, и в тот момент, когда стрелка останавливалась на красной полосе диска, приходило облегчение. Облегчение... ведь теперь можно было броситься на поиски и самому погибнуть, а это действительно легче, чем ожидание. Мы, пилоты, а не ученые, были тертыми парнями, так как отсчет нашего времени начался за три года до полета. В течение трех лет нас постепенно приучали ко все возрастающим психическим перегрузкам. Было три главных этапа, три станции, которые мы коротко называли Дворцом Духов, Гладильным Катком и Коронацией.

Дворец Духов — это небольшой, полностью изолированный от мира контейнер. Внутри него не пробивался ни один звук, ни один лучик света. Похожий на маленькую ракету, он был начинен фантоматической аппаратурой. Здесь находились запасы воды, еды и кислорода. И надо было там жить в полном бездействии целый месяц, который казался вечностью. Все выходили оттуда изменившимися. Я, один из наиболее крепких подопечных доктора Янсена, лишь на третью неделю стал видеть удивительные вещи, которые являлись другим на четвертый, пятый день:

чудовища без лица, бесформенные толпы, что просачивались из холодно светящихся циферблатов и вступали со мной в бессвязный разговор, зависали над моим потным телом; оно теряло границы, изменялось, становилось огромным, наконец — это было, пожалуй, самым странным — начинало обособляться; сначала вздрагивали отдельные волокна мышц, затем нервная дрожь и онемение сменялись судорогами, а затем беспорядочными движениями; ошеломленный, я наблюдал за ними, ничего не понимая. Если бы не было предварительной тренировки, теоретической подготовки, я бы считал, что моими руками, головой, шеей овладели демоны. Замурованная внутренность контейнера видела сцены, не поддающиеся ни описанию, ни наименованию; Янссен и его команда благодаря специальной аппаратуре были свидетелями того, что происходило внутри, но тогда никто из нас об этом не знал. Чувство изоляции должно было быть подлинным и полным. Мы не понимали, почему некоторые ассистенты доктора исчезают. Лишь во время экспедиции Джимма сказал мне, что они просто сломались. Один, некто Гоббек, кажется, пытался силой открыть бункер, так как не мог смотреть на муки заключенного в нем человека.

Это был пока лишь Дворец Духов. Потом шел Гладильный Каток, его тренажеры и центрифуги, дьявольская машина ускорителя, способная дать четыреста «же», — ускорение, которое, конечно, никогда не использовалось, от человека осталось бы мокрое место, но и ста «же» было достаточно, чтобы в долю секунды спина испытуемого становилась липкой от выдавленной через кожу крови.

Последнее испытание — Коронацию — я прошел достаточно легко. Это — последнее сито, последняя станция отсева. Аль Мартин — парень, выглядевший тогда на Земле, как я сегодня, — колосс, состоящий из одних железных мускулов, казалось, само воплощение спокойствия, вернулся с Коронации на Землю в таком состоянии, что его тут же отправили из Центра.

Коронация проходила так. Одевали человека в скафандр, выводили на околоземную орбиту, на высоте примерно ста тысяч километров, откуда Земля светилась, как пятикратно увеличенная Луна, выбрасывали из ракеты прямо в пустоту, а потом улетали. И надо было, вися в пустоте, работая руками и ногами, ждать их возвращения, спасения; скафандр был надежен, удобен, имелась кислородная и климатическая аппаратура, он согревал, даже

кормил через каждые два часа питательной пастой, выжимаемой из специального мундштука. Так что ничего не могло случиться, ну, если, конечно, не испортится радиоаппаратик, прикрепленный к скафандру снаружи, посылающий автоматические сигналы, по которым можно определить, где находится его хозяин. В скафандре не было только одной необходимой вещи — радиосвязи; специально, само собой разумеется, поэтому в скафандре можно было услышать только собственный голос. Среди звезд, в этой нематериальной черноте, в состоянии невесомости надо было просто ждать. Довольно долго, правда, но не бесконечно. Вот и все. Да, но люди сходили от этого с ума; на ракету-базу их втаскивали извивающихся, как в эпилептических конвульсиях. Это было самое противоречивое для человеческой натуры — полное разрушение, гибель, смерть с ясным сознанием. Это было познание Вечности, она проникала в человека, и он ощущал ее чудовищный вкус. Знания о бесконечности бездны внеземного существования, всегда считавшиеся невероятными и недоступными, мы постигали на собственной шкуре; бесконечное падение, звезды под бесполезными ногами, ненужность рук, губ, жестов, тщетность любого движения и неподвижности; в скафандрах нарастал крик, несчастные выли... Хватит об этом!

Довольно вспоминать, ведь это было только проверкой, вступлением, которые готовили разумно, заботливо, учитывая все способы безопасности; все «коронованные» остались живы, всех нашла ракета Базы. Правда, нам об этом не говорили, стремясь придать ситуации как можно больше подлинности.

Коронация у меня прошла нормально, так как я использовал свою систему. Она совершенно проста, но не очень честная: нельзя было так делать. Когда меня выбросили из люка, я закрыл глаза. Потом стал размышлять о разном. Единственно, что требовалось — огромная воля. Надо было твердить себе, что я не открою свои несчастные глаза и не увижу ничего. Янссен, думаю, знал о моей хитрости. Но все обошлось. Может, он полагал, что я поступил правильно?

Но все это происходило на Земле или недалеко от нее. Потом мы попали в уже не придуманную и не созданную в лаборатории пустоту, которая убивала на самом деле, не понарошку, и которая иногда щадила — Олафа, Джимму, Турбера, меня, тех семерых с «Улисса» — и даже позво-

лила вернуться. После этого мы, жаждущие только покоя, увидев нашу мечту осуществленной идеальным образом, тут же прониклись к ней отвращением. Платон, кажется, говорил: «Несчастный, ты будешь иметь то, что хотел».

VII

Однажды ночью, очень поздно, мы лежали, уставшие от любви, голова Эри покоилась на сгибе моей руки, я, подняв глаза, мог видеть через открытое окно прямо перед собой звезды в просветах туч. Ветра не было, длинная занавеска казалась белым привидением, по открытому океану шла мертвая зыбь, до меня доносился предвещающий ее протяжный гул, а потом неровный шум, с которым она разбивалась о пляж, после чего, через несколько ударов сердца, наступала тишина, и снова невидимые волны штурмовали в темноте отлогий берег. Но я почти не слышал этого равномерно повторяющегося напоминания о Земле, я уставился широко открытыми глазами на Южный Крест, Бета которого была нашим проводником. Каждый день я начинал с ее измерения, в конце концов, погруженный в другие мысли, делал это автоматически; никогда не гаснувший маяк пустоты вел нас безошибочно. Я почти ощущал руками давление металлической рукоятки, которую я передвигал, чтобы светлую точку, острие темноты, поставить в центр поля зрения; мягкий резиновый ободок окуляра прижимался к моим бровям и щекам. Эта звезда, одна из самых далеких, почти не изменилась и у самой цели, светя по-прежнему с тем же равнодушием, в то время как весь Южный Крест давно распался и перестал для нас существовать, так как мы вторглись в глубь его пространства, и тогда эта белая точка, звездный великан перестал быть тем, чем казался вначале, — вызовом; постоянство звезды раскрывало нам свое истинное значение, свидетельствовало о ничтожестве наших начинаний, равнодушии пустоты, Вселенной, к которой никто никогда не сумеет привыкнуть.

Но сейчас, пытаюсь услышать между двумя ударами Тихого океана дыхание Эри, я почти не верил, что был там. Я мог повторять про себя: «Действительно, действительно был там», но слова не ослабляли моего бесконечного удивления. Эри вздрогнула. Я хотел подвинуться,

чтобы освободить ей побольше места, но тут почувствовал ее взгляд.

— Ты не спишь? — прошептал я. Наклонился поцеловать ее, но она остановила меня, приложив пальцы к моим губам. Поддержала их недолго, потом скользнула рукой вдоль шеи к груди, провела по твердому углублению между ребрами и прижала к нему ладонь.

— Что это? — прошептала она.

— Шрам.

— Откуда?

— Так, случайно.

Она замолчала. Я чувствовал на себе ее взгляд. Она подняла голову. Темное пятно глаз без блеска; я различал лишь белые контуры ее плеча, приподнимавшегося в такт дыханию.

— Почему ты мне ничего не рассказываешь? — шепотом спросила она.

— Эри?..

— Почему не хочешь?

— О звездах? — вдруг понял я. Она не ответила. Я не знал что сказать.

— Ты думаешь, что я не пойму?

Она была рядом со мной, я вглядывался в нее во мраке, шум океана то заполнял, то покидал нашу комнату, и я не представлял, как ей все объяснить.

— Эри...

Я хотел ее обнять, но она остановила меня и села на кровати.

— Если не хочешь, можешь не рассказывать. Но скажи, почему.

— Ты не знаешь? Правда не знаешь?

— Теперь уже понимаю. Ты хотел меня пожалеть?

— Не в этом дело. Просто я боюсь.

— Чего?

— Понятия не имею. Не хочется в этом копаться. Я ничего не перечеркиваю. Впрочем, это невозможно. Но говорить — значит, как мне кажется, заклинить на этом. Уйти от всего, от всего, что происходит... сейчас.

— Понимаю, — тихо произнесла она. Бледное пятно — ее лицо исчезло; Эри опустила голову. — Думаешь, я считаю это ничтожным...

— Нет, я так не думаю, — перебил я ее.

— Подожди, теперь я скажу. Мои размышления об астронавтике, мое нежелание покидать Землю — это одно.

Но оно никак не связано ни с тобой, ни со мной. Не то говорю, связано, ведь мы вместе. Иначе мы не были бы вместе, никогда. Астронавтика для меня — это ты. Поэтому мне так хотелось бы... но ты не должен... Если все так, как ты говоришь, если ты так чувствуешь.

— Расскажу.

— Но не сегодня.

— Сегодня.

— Ложись.

Я лег на подушку. Она, белея в темноте, подошла на цыпочках к окну и задвинула занавеску. Звезды исчезли, остался только протяжный, с непреодолимым упорством повторяющийся шум Тихого океана. Стало совершенно темно. По движению воздуха я почувствовал ее приближение, постель прогнулась.

— Ты когда-нибудь видела корабль класса «Прометей»?

— Никогда.

— Он очень большой. На Земле весил бы свыше трехсот тысяч тонн.

— А вас было всего несколько человек.

— Двенадцать. Том Ардер, Олаф, Арне, Томас — пилоты. Ну и я. И семеро ученых. Но, поверь мне, нам было тесно. Девять десятых массы корабля было занято под горючее. Фотоагрегаты. Склады, запасы, резервные системы; жилое помещение небольшое. У каждого по кабине, не считая общих. В центральной части корпуса — пункт управления, и маленькие ракеты для посадки, и зонды-ракеты — еще меньше — для сбора проб короны...

— Над Арктуром ты был в такой?

— Да. С Ардером.

— Почему вы не полетели вместе?

— В одной ракете? Тогда было бы меньше шансов.

— Почему?

— Зонд предназначен для охлаждения, понимаешь? Такой летающий холодильник. Там можно только сидеть. Сидишь себе в холодной скорлупе. Лед тает на обшивке и скапливается в трубах. Компрессоры могут испортиться. Минута — и все, ведь снаружи восемь, десять или двенадцать тысяч градусов. Если компрессоры откажут в двухместной кабине, погибнут двое. А так — только один. Понимаешь?

— Да.

Она держала руки на омертвевшей части моей груди.

— Это... случилось там?

— Нет. Эри, может, я расскажу что-нибудь другое.

— Хорошо.

— Ты только не думай... этого никто не знает.

— Этого?

Шрам выделялся, словно оживал под ее теплыми пальцами.

— Да.

— Как же так? А Олаф?

— Олаф тоже не знает. Никто. Я обманул их. Эри. Тебе я должен сказать, я далеко зашел. Эри... это случилось на шестой год. Мы уже возвращались, но внутри тучи нельзя было быстро лететь. Прекрасный вид — чем с большей скоростью летит корабль, тем сильнее люминесцирует облако — за нами тянулся хвост, не как хвост кометы, скорее, как полярное сияние, развеванное по сторонам, в глубь неба, к альфе Эридана, на тысячи и тысячи миль... Ардера и Эннессона уже не было в живых. Вентури тоже. Я всегда просыпался в шесть утра, голубой свет переходил тогда в белый. Я слышал Олафа, он говорил из рубки управления. Он увидел что-то интересное. Я спустился вниз. Радар показывал пятнышко немного в стороне от курса. Пришел Томас, и мы стали размышлять, что это. Для метеора — великовато, впрочем, метеоры никогда не летают одни. На всякий случай мы еще сбавили скорость. Это разбудило остальных. Когда все собрались, Томас, помню, шутил, что это корабль. Не раз мы так говорили. В пространстве должны быть корабли других цивилизаций, но легче встретиться двум комарам, выпущенным с двух сторон земного шара. Мы уже выходили из холодной небулярной тучи, пыль настолько рассеялась, что я мог невооруженным глазом видеть звезды шестой величины. Это пятно оказалось планетоидом. Что-то типа Весты. Четверть миллиарда тонн, может, больше. Исключительно правильной, почти круглой формы. Такое случается редко. Он находился по курсу, на расстоянии двух миллипарсеков. Шел с космической скоростью, а мы за ним. Турбер спросил у меня, не можем ли подойти поближе. Я ответил, что можем, на четверть микропарсека.

Мы сблизились. В телескопе он выглядел как дикобраз, — шар с торчащими иголками. Диковинка. Хоть в музей. Турбер заспорил с Билом, тектонического происхождения планетоид или нет. Томас вставил, что это

можно проверить. Энергию мы не потеряли, так как еще не успели набрать большой скорости. Полети, возьми пробы и вернись. Джимма колебался. Время в резерве у нас было. В конце концов он согласился. Наверное, потому, что я был рядом. Я молчал. Может, это его и подтолкнуло. Ведь у нас сложились с ним такие отношения, — но о них как-нибудь в другой раз. Мы остановились; такой маневр требует времени; планетка отдалилась, мы видели ее на радарх. Я волновался, ведь с тех пор, как мы начали возвращаться, постоянно сыпались несчастья. Аварии, глупые, как бы без всяких причин, но трудно устранимые. Я не суеверный, но верю в закон рядов. Однако аргументов у меня не было. Выглядело это все, как детская забава, — я тем не менее сам проверил двигатель Томаса и сказал ему, чтобы был внимателен. Следил за пылью.

— За чем?

— За пылью. В пределах холодной тучи планетоид действует, как пылесос, понимаешь? Всасывает ее из пространства, в котором вращается, для этого времени у него много. Пыль оседает пластами, она даже может увеличить его вдвое. Но достаточно дунуть выхлопными газами или резко ступить, как тут же поднимается пыльная буря и зависает над ним. Казалось бы, ерунда, но вокруг ничего не видно. Поэтому я ему сказал. Впрочем, он сам об этом знал не хуже меня. Олаф выстрелил его ракету с боковой катапульты, я поднялся наверх в пеленгаторскую и повел Томаса. Я видел, как он приближался, как маневрировал, как повернул ракету и точно, как по ниточке, опустился на поверхность планетоида. Тогда, конечно, я потерял его из виду. Однако это было, по земному подсчету, милях в трех...

— Ты видел его на радаре?

— Нет, в телескоп. Инфракрасный. Но разговаривал с ним все время. По радио. В тот момент, когда я подумал, что давно не видел, чтобы Томас так аккуратно садился — с начала нашего возвращения мы все стали более осторожными, — я заметил короткую вспышку, и темное пятно стало расползаться по диску планетоида. Стоявший рядом со мной Джимма вскрикнул. Он подумал, что Томас в последнюю секунду, желая затормозить падение, ударил огнем. Это так говорится, знаешь. Дается один резкий удар, конечно, не в таких условиях. Я знал, что Томас так никогда не сделал бы. Это молния.

— Молния? Там?

— Да. Понимаешь, каждое тело, двигаясь в туче с большой скоростью, заряжается от трения статическим электричеством. Между «Прометеем» и этой планеткой образовалась разница потенциалов. Может, миллиарды вольт. Даже больше. Когда Томас садился, проскочила искра. Произошла вспышка, от огненного удара поднялась пыль, и через минуту весь диск был закрыт тучей. Мы его не слышали, его радио только трещало. Я был в ярости, злился больше всего на себя за то, что не оценил ситуацию. Ракета оснащена специальными кольцевыми громоотводами, и заряд должен был тихо уйти в огни Эльма. Но не ушел. Впрочем, разряды случаются, но не такой силы. Этот был исключительной силы. Джимма спросил у меня, как я думаю, когда туча опустится? Турбер ничего не спрашивал, ясно, что через несколько дней. Суток.

— Суток?

— Конечно. Ведь сила тяжести там чрезвычайно мала. Брошенный камень падает порой несколько часов. Что тут говорить о пыли, выброшенной на сотни метров... Я посоветовал Джимме заняться собственными делами. Надо было ждать.

— И ничего нельзя было сделать?

— Ничего. Я мог бы, конечно, рискнуть, если бы был уверен, что Томас находится в ракете. Развернул бы «Прометей», подошел бы и дунул с небольшого расстояния со всей силой двигателей, чтобы эта мерзость разлетелась по всей Галактике, но у меня не было такой уверенности. А искать его?.. Планетка была размером с Корсику. Кроме того, в пыльной туче я мог пройти мимо него на расстоянии вытянутой руки и не заметил бы. Выход один. Он был у Томаса в руках. Он мог стартовать и вернуться.

— И не сделал этого?

— Нет.

— Ты не знаешь, почему?

— Догадываюсь. Он должен был стартовать вслепую. Я видел, что эта туча поднимается над поверхностью на полмили, а Томас этого не видел. Он боялся удариться о какой-нибудь уступ, скалу. Он мог сесть на дно глубокой расселины. Вот мы и висели один день, второй — у него был запас кислорода и еды на шесть дней. Железная логика. Безусловно, никто не мог работать. Мы ходили и придумывали, как вытянуть Томаса из этого кошмара. Излучатели. Волны различной длины. Мы даже бросали осветительные бомбы. Ни проблеска, эта черная туча, как

могила. Третий день — третья ночь. Замеры показали, что туча опускается, но я не был уверен, что она осядет полностью за оставшиеся у Томаса семьдесят часов. Без пищи он мог в конце концов просидеть и больше, но без воздуха — нет. Вдруг мне в голову пришла мысль. Я рассуждал так. Ракета Томаса состоит в основном из стали. Если на проклятом планетоиде нет железной руды, то, может, удастся найти ракету с помощью ферроискателя. Это такой специальный аппарат для поиска железных предметов. У нас был очень чувствительный. Он реагировал на гвоздь на расстоянии трех четвертей километра. Ракету он обнаружил бы за много миль. Мы с Олафом еще кое-что проверили в аппарате. Потом я сообщил Джимме что и как — и полетел.

— Один.

— Да.

— Почему?

— Ведь без Томаса нас, пилотов, оставалось только двое, а на «Прометее» должен быть пилот.

— И они согласились?

Я улыбнулся в темноте.

— Я был первым пилотом. Джимма не мог мне приказывать, только советовал, а я оценивал ситуацию и соглашался с ним или нет. Короче, в аварийных ситуациях решение принимал я.

— А Олаф?

— Ну, ты знаешь уже немного Олафа. Понятно, что полетел я не сразу. Но в конце концов это именно я послал Томаса. Ну, я полетел. Конечно, не в ракете.

— Не в ракете?..

— В скафандре с газовым пистолетом. На это потребовалось какое-то время, но не так много, как показалось. Мне доставил немало хлопот ферроискатель, это был прямо сундук, ужасно неудобный. Там он, конечно, ничего не весил, но, входя в тучу, я должен был внимательно следить за тем, чтобы им случайно не задеть чего-нибудь. Войдя в тучу, я перестал ее видеть, только звезды стали исчезать, сначала по краям, потом чернота заполнила полнеба. Я огляделся, «Прометей» светился издали, у него было особое приспособление для люминесценции обшивки. «Прометей» казался белым длинным карандашом с грибком на конце — это был фотонный прожектор. Неожиданно все исчезло. Переход был резким. Может, одна секунда черной мглы, потом — ничего. Радио я выключил,

вместо него в наушниках напевал ферроискатель. До края тучи я летел всего-то несколько минут, но спускался на поверхность больше двух часов — приходилось быть осторожным. Электрический фонарь мне не мог помочь, впрочем, я так и думал. Стал искать. Знаешь, как выглядят высокие сталактиты в пещерах...

— Знаю.

— Что-то в этом роде, только более зловещее. Но это я рассмотрел позднее, когда туча уже осела, а во время поисков я не мог ничего разглядеть, словно кто-то смолой залил стекла скафандра. Сундучок висел на лямках. Я направлял антенну, прислушивался, шел, вытянув руки, — никогда в жизни я столько раз не падал, сколько там. Благодаря слабому притяжению, падать было безопасно и, конечно, если бы не мрак, можно было бы легко сохранить равновесие. Но описать это тому, кто не видел, трудно. Планета представляла нагромождение остроконечных вершин и балансирующих скал — я ставил ногу и начинал куда-то валиться, конечно, с пьяной медлительностью; резко оттолкнуться я не мог, ведь тогда я бы минут пятнадцать поднимался вверх. Я должен был просто ждать, я пытался идти дальше, у меня под ногами осыпалось все — щебень, столбы, обломки камней, их соединяло необыкновенно малое притяжение, но это не значит, что огромный камень, упав на человека, не мог его убить — не силой тяжести, а своей массой; правда, время отскочить было, если, конечно, видишь, что на тебя рушится, или по крайней мере слышишь. Но там не было даже воздуха, и только по дрожанию скалы под ногами я понимал, что снова вывел из равновесия огромную скальную массу и должен ждать, не вынырнет ли из этой смолы обломок, который может меня придавить... Короче, я блуждал так долгие часы и давно перестал считать свою идею с ферроискателем гениальной... Каждый шаг приходилось делать с осторожностью, ведь я по неосмотрительности уже несколько раз оказывался в воздухе, то есть повисал, как в дурацком сне. В конце концов я поймал сигнал. Я терял его раз восемь, точно не помню сколько, только когда я разыскал ракету Томаса, на «Прометее» была уже ночь.

Ракета стояла боком, наполовину погрузившись в эту чертову пыль. Там пыль — самое мягкое, самое нежное, что только можно себе представить, понимаешь? Субстанция почти неощущаемая... самая легкая пушинка на Земле

весит больше. Так невероятно малы частицы. Я заглянул в ракету, Томаса там не было. Я уже сказал, что ракета стояла боком, но в этом я не совсем уверен; без специального аппарата определить вертикаль там невозможно, да и потребовалось бы на это несколько часов, ведь обыкновенный отвес там почти ничего не весит, он летал бы на конце веревки, как муха, не натягивая ее... Я не удивился, что он не пытался стартовать. Я забрался в ракету. Сразу же заметил, что он пробовал смастерить точный отвес из подручных средств, но у него ничего не получилось. Еды осталось порядочно, а вот кислорода не было. Он, видимо, все, что у него оставалось, перекачал в баллон скафандра и вышел.

— Зачем?

— Да, я тоже себя спрашивал: зачем? Он находился там три дня. В такой ракете есть только кресло, экран, рычаги и люк за спиной. Я немного посидел там. Понимал, что его уже не найду. В какой-то момент я подумал, что, может, он вышел как раз тогда, когда я прилетел, воспользовался газовым пистолетом, чтобы вернуться на «Прометей» и сидит уже там, а я барахтаюсь по этим пьяным скалам... Я выскочил из ракеты, меня подбросило вверх, и я полетел, не ощущая направления, ничего не ощущая. Знаешь, как бывает, когда в полнейшей темноте вдруг увидишь искорку? Как начинаешь фантазировать? Какие из нее выводишь лучи, какие рисуешь картины... вот с чувством равновесия происходит... тоже нечто подобное. Там, где нет силы притяжения, еще полбеды, к этому человек привыкает. Но когда появляется чрезвычайно слабое притяжение, как на той скорлупе... то внутреннее ухо раздражено, реагирует неверно, чтобы не сказать по-сумасшедшему. То тебе кажется, что ты свечой мчишься в гору, то, что ты летишь в пропасть, и так все время. А то ощущаешь, что руки, ноги, туловище вращаются, перемещаются, словно все поменялось местами, и голова уже растет в другом месте.

Вот так я летел, пока не треснулся о какую-то стену, оттолкнулся от нее, зацепился за что-то, меня перевернуло, но я успел зацепиться за выступающую глыбу... Кто-то лежал. Томас.

Эри молчала. В темноте шумел Тихий океан.

— Нет, не волнуйся. Он был жив. Сразу сел. Я включил радио. С такого короткого расстояния мы очень хорошо слышали друг друга.

— Это ты? — отозвался Томас.

— Да, я, — ответил я. Сцена, как из дурацкой комедии, глупая сцена. Но так было. Мы встали.

— Как ты себя чувствуешь?.. — спросил я.

— Прекрасно. А ты?

Такой вопрос меня немного удивил, но я проговорил:

— Спасибо тебе, очень хорошо. Дома тоже все здорово.

Идиотский разговор, но я думал, что он специально так говорит, чтобы показать, как он прекрасно держится, понимаешь?

— Понимаю.

Когда Томас подошел ко мне, я ощупал его скафандр. Он был цел.

— У тебя есть кислород? — спросил я. Это было самое главное.

— Э, глупость, — ответил он.

Я задумался, что делать. Взлететь на его ракете? Пожалуй, не стоит, слишком рискованно. Правду говоря, я не очень обрадовался. Боялся, а вернее, не был уверен... трудно объяснить. Ситуация была нереальной, я чувствовал в ней нечто необычное, хотя точно не знал, что творится, даже слабо ориентировался в обстановке. Честно скажу, меня не радовала эта чудесная находка. Я размышлял, как спасти ракету. В конце концов я решил, что это не самое важное. Сначала я должен понять, что с Томасом. Мы стояли в черной ночи без звезд.

— Что ты делал все это время? — спросил я. Мне было важно это знать. Если он пытался что-то делать, хотя бы отбивать минералы, это был бы хороший знак.

— Всякое, — ответил он. — А что ты делал, Том?

— Какой Том? — спросил я, и мне стало немного не по себе, ведь Ардер погиб год назад, и Томас хорошо знал об этом.

— Ведь ты Том. Нет? Я узнаю твой голос.

Я промолчал, а он дотронулся рукавицей до моего скафандра, тот звякнул, Томас проговорил:

— Чертов мир, правда? Ничего не видно, ничего нет. Я представлял себе все совсем иначе. А ты?

Я подумал, что Ардер ему просто померещился, в конце концов... такое случалось не с ним одним.

— Да. Неинтересно здесь, — заметил я. — Тронемся, а, Томас?

— Тронемся? — удивился он. — Как это... Том?

Я перестал обращать внимание на этого Тома.

— А что, ты хочешь здесь остаться? — спросил я.

— А ты не хочешь?

Он разыгрывает меня, подумал я, но с меня хватит этих дурацких шуток.

— Не хочу, — проговорил я. — Мы должны возвращаться. Где твой пистолет?

— Я потерял его, когда умер.

— Что?!

— Но я не огорчился, — продолжал он. — Мертвому пистолет не нужен.

— Ну-ну, — сказал я. — Давай я тебя пристегну, и мы полетим.

— Ты с ума сошел, Том? Куда?

— На «Прометей».

— Ведь его здесь нет...

— Он там, дальше. Ну, давай я тебя пристегну.

— Подожди.

Он оттолкнул меня.

— Ты как-то странно говоришь. Ты не Том!

— Конечно, нет. Я — Гэл.

— Ты тоже умер? Когда?

Я кое-что понял и стал ему подыгрывать.

— Ну... — сказал я, — несколько дней назад. Давай я тебя пристегну...

Но он не разрешал. И мы стали препираться, сначала как бы шутливо, потом более серьезно, я попытался его ухватить, но в скафандре не сумел. Что делать? Я не мог оставить его ни на минуту, ведь второй раз я бы его не нашел. Чудеса дважды не случаются. А Томас думал, что он умер, и хотел остаться там. И так слово за слово; когда мне показалось, что я его убедил и он вроде бы согласился, я дал ему подержать свой газовый пистолет. Он приблизил свое лицо к моему, я почти его разглядел, и Томас через двойные стекла крикнул: «Негодяй! Ты обманул меня! Ты живой!» — и выстрелил в меня.

Эри уткнулась в мое плечо. При последних словах она вздрогнула, словно по ней прошел ток, и закрыла рукой мой шрам. Мы немного помолчали.

— Скафандр был очень хороший, — сказал я. — Он остался цел, понимаешь? Он вжался в меня, сломал основание ребер, сдавил их, разорвал мышцы, но не лопнул. Я даже сознания не потерял, только какое-то время был не в состоянии двигать правой рукой и чувствовал, как по

телу течет теплая кровь. Вероятно, все же в какой-то момент я потерял сознание, потому что, когда очнулся, Томаса не было, и я не знал, когда и как он исчез. Я искал его на ощупь, на четвереньках, но вместо него нашел пистолет. Он, видно, бросил его сразу же после выстрела. Ну, и с помощью пистолета я выбрался. Они заметили меня, как только я появился над тучей. Олаф подвел корабль поближе, и меня втащили внутрь. Я сказал им, что не нашел его. Что наткнулся только на пустую ракету, а когда я споткнулся, пистолет выпал у меня из руки и выстрелил. Скафандр двойной. Кусочек железа отскочил. Он у меня здесь, под ребром.

Снова молчание, и гул волны, нарастающий, протяжный, словно она собиралась перескочить все пляжи, не сраженная неудачами своих предшественниц. Уменьшалась, разрушалась, разламывалась, слышался ее мягкий пульс, все ближе и тише — до полного безмолвия.

— Вы улетели?

— Нет. Ждали. Через два дня туча опустилась, и я полетел снова. Один. Понимаешь, почему?

— Понимаю.

— Я нашел его быстро, ведь скафандр светился в темноте. Он лежал под каменной иглой. Лица не было видно, так как стекла изнутри покрылись инеем, и, поднимая его, я подумал сначала, что держу в руках лишь пустую скорлупу... он почти ничего не весил. Но это был он. Я оставил Томаса и вернулся на его ракете. Потом я внимательно исследовал ее и понял, почему так все случилось. У Томаса остановились часы, обыкновенные часы — он потерял чувство времени. Они отсчитывали часы и дни. Я исправил их и перевел, чтобы никто не догадался.

Я обнял Эри. Я ощущал, как мое дыхание чуть шевелит ее волосы. Она ласково прикоснулась к рубцу.

— У него такая форма...

— Странная, правда? Его сшивали два раза, после первого швы разошлись... сшивал Турбер. Вентури, нашего врача, уже не было в живых.

— Это тот, кто дал тебе красную книгу?

— Да. Откуда тебе известно, Эри? Я говорил тебе? Вряд ли, это невозможно.

— Ты говорил Олафу, тогда, помнишь...

— Действительно. А ты запомнила! Такую мелочь! Я на самом деле свинья. Книга осталась на «Прометее» с другими вещами.

— У тебя там вещи? На Луне?

— Да. Но не стоит их забирать.

— Надо, Гэл.

— Любимая, мы устроили бы тут музей воспоминаний. Не выношу этого. Если притащу вещи сюда, то для того, чтобы сразу сжечь их, сохраняю лишь пару мелочей. Тот камешек...

— Какой камешек?

— У меня много всяких камней. Один с Керенеи, есть с планетоида Томаса — только ты не думай, что я занимался коллекционированием! Просто они остались в нарезках подошв, Олаф достал их и спрятал, сделав соответствующие надписи. Я не мог этого выбить у него из головы. Глупость, но... Я должен тебе об этом сказать. Да, даже обязан, чтобы ты не думала, что там все было страшно и что, кроме смерти, ничего не случилось. Представь себе... сосуществование миров. Сначала розовый, наилегчайший, сверхтонкий, бесконечность розового, в ней другая, пронизывающая ее, темнее, а дальше красное, почти синее, но это очень далеко, а вокруг самосвечение, невесомое, не похожее ни на облако, ни на туман. У меня не хватает слов. Мы вышли вдвоем из ракеты и смотрели. Эри, я этого не понимаю. Знаешь, у меня и сейчас перехватывает горло, так это было великолепно. Подумай, там нет жизни. Там нет ни растений, ни животных, ни птиц, ничего, никаких глаз, которые могли бы это увидеть. Я уверен — пожалуй, никто от сотворения мира на это не смотрел, мы с Ардером были первыми. И если бы у нас не испортился гравипеленгатор и мы не высадились, чтобы исправить его — лопнул кварц, и вылилась ртуть, — никто до конца света там не побывал бы и не увидел бы всего этого. Разве это не странно? Мы были готовы — ну, не знаю. Мы не могли оттуда уйти. Забыли, зачем сели, только стояли, стояли и смотрели.

— Что это было, Гэл?

— Не знаю. Когда мы вернулись и рассказали обо всем, Билл хотел обязательно полететь, но не удалось. У нас оставалось мало резервной мощности. Мы сделали массу снимков, но ничего не получилось — только розовое молоко с лиловым частokoлом, и Билл бредил о флуоресценции кремневодородных испарений, во что сам он, по моему, вряд ли верил, но от отчаяния, что не удастся исследовать, пытался все объяснить именно так. Это было как... как, собственно, ничто. Ничего подобного мы не

знаем. Оно не похоже ни на что. Представляешь — огромная поверхность, но не ландшафт. Я говорил тебе — просто оттенки, чем дальше, тем темнее, прямо в глазах рябило. Движение — в то же время никакого движения. Плыло и стояло. Изменялось, словно дышало, и оставалось таким же, кто знает, может, самое главное — безмерное пространство. Будто за этой ужасной, черной вечностью существовала другая бесконечность, сконцентрированная и сильная, такая светлая, что, закрывая глаза, человек переставал в нее верить. Когда мы посмотрели друг на друга... Надо было знать Ардера. Я покажу тебе его фотографию. Он был выше меня, выглядел так, словно мог пройти сквозь стену и даже не заметить ее. Говорил всегда медленно. Ты слышала о той... дыре на Керенее?

— Слышала.

— Он торчал там, в скале, а под ним кипело горячее болото, в любую секунду оно могло подняться вверх и заполнить дыру, в которой он застрял, а он говорил: «Гэл, подожди. Я еще осмотрюсь. Может, удастся снять баллон. Нет. Не могу снять, ремни перекрутились. Но ты еще подожди». И так далее. Можно было подумать, что он говорит по телефону из гостиничного номера. И это не поза, он был просто таким. Самый трезвый из нас, всегда все просчитывал. Поэтому он полетел со мной, а не с Олафом, своим другом, но об этом ты слышала...

— Да.

— Ведь... Ардер. Я на него посмотрел и увидел слезы у него на глазах. Том Ардер. Он не стыдился своих слез ни тогда, ни потом. Когда мы вспоминали об этом, и не раз, другие сердились. Они думали, мы делаем это нарочно, притворяемся или что-то в этом роде. Таким образом мы становились... небожителями. Смешно, не правда ли? Ну, к делу. Мы посмотрели тогда друг на друга, и нам пришло в голову одно и то же. Хотя мы не знали, исправим ли гравипеленг, без него мы не нашли бы «Прометей», мы подумали: все же хорошо, что сюда попали и увидели такое радостное великолепие.

— Вы стояли на горе?

— Не знаю. Эри, там совсем другая перспектива. Мы смотрели как бы с высоты, но там не было склона. Подожди. Ты видела большой каньон в Колорадо?

— Видела.

— Представь себе каньон, но в тысячу раз больше. Или в миллион. И он состоит из красного или розового золота,

почти совершенно прозрачный, сквозь него видны все слои, дуги, седловины его геологических формаций, все это невесомо, и плывет, и как бы улыбается тебе. Нет, нет. Любимая, мы очень старались с Ардером описать это, но у нас ничего не получилось. Этот камешек — оттуда... Ардер взял его на счастье. Он носил его всегда. Хранил в коробочке из-под витаминов. Когда камешек стал рассыпаться, Ардер обернул его ватой. Потом — когда я вернулся один — я нашел камешек под койкой в его кабине. Наверное, он выпал. Олаф, мне кажется, думал, что все случилось из-за того, что Ардер забыл камешек, но не осмеливался мне это сказать, ведь это слишком глупо... Что может быть общего между каким-то камешком и тем проводком, из-за которого у Ардера отказало радио?..

VIII

Олаф по-прежнему не давал знать о себе. Мое беспокойство перешло в угрызения совести. Я волновался, не решился ли он на какой-нибудь безумный поступок. Ведь он был одинок, еще больше, чем я до сих пор. Мне не хотелось втягивать Эри в непредвиденные неприятности, связанные с моими поисками, поэтому я решил сначала поехать к Турберу. Я еще не знал, попрошу ли я у него совета, — мне хотелось просто его увидеть. Адрес мне дал Олаф; Турбер находился в университетском центре Малголан. Я уведомил его о своем прибытии и впервые расстался с Эри. В последние дни она стала молчаливой и беспокойной, вероятно, она тоже волновалась из-за Олафа. Я обещал ей вернуться поскорее, дня через два, а после разговора с Турбером не предпринимать никаких шагов, не посоветовавшись с ней.

Эри проводила меня до Хоулу, где я пересел на прямой ульдер. Пляжи Тихого океана уже опустели, приближались осенние штормы, и из окрестных городков исчезли разноцветные толпы молодежи. Я не удивился тому, что оказался чуть ли не единственным пассажиром серебряного снаряда. Полет в тучах, закрывающих все вокруг, продолжался меньше часа и закончился в сумерках. Город выплыл из наступающей темноты разноцветными огнями — высочайшие строения, «фужеры», светились во мгле, как тонкие, неподвижные языки пламени, их силуэты горели среди белых опор, как гигантские бабочки, связанные воз-

душными дугами самого высокого уровня коммуникаций; нижние этажи улиц образовывали извилистые цветные реки. Возможно, такое впечатление создавал туман, а может, это был эффект от стеклянных строительных материалов — достаточно сказать, что с высоты центр выглядел, как сгусток драгоценного стекла с различными прослойками, как хрустальный остров, осыпанный драгоценностями и возвышающийся в океане, зеркальная поверхность которого отражала светящиеся ярусы, вплоть до последних, уже еле видимых, словно из подземелий города пробивался его рубиновый раскаленный скелет. Трудно было поверить, что эта феерия переливающихся огней и красок — просто жилище нескольких миллионов людей.

Университетский комплекс располагался за городом. Там, внутри огромного парка, на бетонное покрытие опустился мой ульдер. О близости города можно было догадаться только по светло-серебристому зареву, покрывающему небо над черной стеной старых деревьев. Длинная аллея привела меня к зданию, темному, словно вымершему.

Я лишь приоткрыл огромные стеклянные двери, как тут же в середине загорелся свет. Я очутился в куполообразном холле, выложенном светло-голубой интарсией. Система переходов со звуконепроницаемой изоляцией привела меня в другой коридор, прямой и строгий. Я открывал одну дверь за другой, но все помещения были пусты, и казалось, будто они давно покинуты. Я поднялся наверх по обыкновенной лестнице, то есть с неподвижными ступенями. Вероятно, где-то был лифт, но мне не хотелось его искать. Наверху в обе стороны тянулся такой же коридор и такие же пустые комнаты; на двери одной из них я заметил небольшую карточку с четкой надписью: «Здесь, Брегг». Я постучал и тут же услышал голос Турбера.

Я вошел. Он сидел, согнувшись на фоне темного, во всю стену, окна. На письменном столе, за которым он работал, горела лампа. Стол был завален бумагами и книгами — настоящими книгами, а на втором столе, поменьше, стоявшем рядом, лежали большие горсти кристаллического зерна и различные аппараты. Перед ним возвышалась стопка бумаги, и ручкой — простой ручкой, которая пишет чернилами! — он делал пометки на полях.

— Садись! — предложил он, не поднимая головы. — Я уже заканчиваю.

Я сел в низкое кресло возле письменного стола, но тут же отодвинул кресло немного в сторону, так как яркий свет мешал мне рассмотреть лицо Турбера.

Он работал, как обычно, медленно, наклонив голову, шурясь от яркого света лампы. Он находился в самой скромной комнате, какую я до сих пор видел, — матовые стены, серые двери, никаких украшений, следов наскучившего золота, по обе стороны дверей — квадратные, темные сейчас экраны, стену возле окна занимали металлические шкафчики, возле одного стоял высокий рулон карт или технических чертежей. Вот, собственно, и все. Я посмотрел на Турбера. Лысый, крупный, грузный, он писал, время от времени смахивая слезу с глаз. Они всегда у него слезились, а Джимма (он любил выдавать чужие секреты, особенно те, которые люди тщательно скрывали) как-то сказал мне, что Турбер боится за свое зрение. Тогда я понял, почему Турбер всегда ложится первым, когда мы меняем ускорение, и почему — в последующие годы — разрешал другим выполнять работу, которую раньше делал сам.

Турбер собрал листы бумаги, постучал ими о стол, выравнивая края, спрятал их в папку, закрыл ее и только тогда, опуская большие руки с толстыми, плохо гнущимися пальцами, проговорил:

— Приветствую тебя, Гэл. Как идут дела?

— Не жалуюсь. Разве... ты один?

— Ты хочешь узнать, здесь ли Джимма? Его нет, он уехал вчера. В Европу.

— Ты работаешь?

— Да.

Наступило короткое молчание. Я не представлял себе, как он отнесется к моим словам, поэтому хотел сначала узнать, что он думает о мире, который мы застали, вернувшись сюда. Правда, зная его, я не рассчитывал на откровенность. Он скрывал обычно свои мысли.

— Ты давно уже здесь?

— Брегг, — сказал он, по-прежнему сохраняя спокойствие. — Я сомневаюсь, что тебя это интересует. Не хитри.

— Возможно, ты прав, — проговорил я. — Ну, что мне говорить?

Меня раздирало внутреннее противоречие — что-то среднее между раздражением и робостью, какое всегда охватывало меня в его присутствии. То же испытывали и другие. Я никогда не знал, шутит он, насмехается или го-

ворит серьезно; при всем спокойствии, при всем внимании к собеседнику он оставался совершенно неуловимым.

— Не надо,— проронил он.— Может, позднее. Откуда ты прибыл?

— Из Хоулу.

— Прямо оттуда?

— Да... а почему ты спрашиваешь?

— Это хорошо,— сказал он, словно не слышал моих последних слов. Секунд пять он смотрел на меня неподвижно, будто желал убедиться в моем присутствии; его взгляд не выражал ничего, но я уже догадался — что-то случилось. Я не был только уверен, скажет ли он мне. Предугадать его поведение я не мог. Я размышлял, с чего мне начать, а он тем временем разглядывал меня все внимательнее, словно я предстал перед ним в новом образе.

— Что делает Вабах? — спросил я, когда это молчаливое наблюдение, по моему мнению, затянулось сверх меры.

— Он поехал с Джиммой.

Я спрашивал его не об этом, и он знал, что я имел в виду, ведь в конце концов я приехал сюда не из-за Вабаха. Снова наступило молчание. Я уже стал раскаиваться в своем решении.

— Я слышал, что ты женился,— вдруг сказал он, как бы нехотя.

— Да,— ответил я, может быть, слишком сухо.

— Ты доволен?

Я пытался любой ценой найти другую тему. В голову приходил только Олаф, но о нем пока не хотелось спрашивать. Я боялся усмешки Турбера — я помнил, как она приводила в отчаяние Джимму, да и не только его. Турбер чуть приподнял брови и спросил:

— Какие у тебя планы?

— Никаких,— ответил я искренне.

— А ты хотел бы что-нибудь делать?

— Да. Но смотря что.

— Ты ничего до сих пор не делал?

Сейчас я, наверное, покраснел. Я разозлился.

— Почти ничего... Турбер... я пришел... не по своему делу.

— Знаю,— проворчал он спокойно.— Стааве, да?

— Да.

— Был в этом определенный риск,— сказал он и слегка оттолкнулся от письменного стола. Кресло послушно повернулось в мою сторону.

— Освамм ожидал самого худшего, особенно после того, как Стааве выбросил свой гипногог... ты его тоже выбросил, а?

— Освамм? — удивился я. — Какой Освамм... подожди, тот из Адапта?

— Да. Он больше всего беспокоился за Стааве. Я разубедил его.

— Как это — разубедил?

— Ну, Джимма поручился за вас обоих... — проговорил Турбер, словно все это время не слышал меня.

— Что?! — вскричал я, вскакивая с места. — Джимма?!

— Конечно, он сам ничего не знал, — продолжал Турбер. — И сказал мне об этом.

— Какого черта он ручался! — взорвался я, ошеломленный его словами.

— Он считал, что должен, — лаконично объяснил Турбер. — Ведь начальник экспедиции должен знать своих людей...

— Глупости...

— Я повторяю только то, что он сказал Освамму.

— Да? — возмутился я. — А чего Освамм в конце концов боялся? Что мы взбунтуемся или что?

— А у тебя не было желания? — спокойно спросил Турбер.

Я задумался.

— Нет, — наконец ответил я. — Seriously никогда.

— И ты будешь бетризировать своих детей?

— А ты? — медленно спросил я.

Он первый раз улыбнулся, кончики бескровных губ дрогнули. Промолчал.

— Послушай, Турбер... ты помнишь тот вечер, после последнего разведывательного полета над Бетой... когда я тебе сказал...

Он равнодушно кивнул. Неожиданно мое терпение лопнуло.

— Тогда я тебе не сказал всего, знаешь. Мы были там вместе, но не на равных правах. Я слушался вас, тебя, Джимму, так как сам этого хотел. Все хотели — Вентури, Томас, Эннессон и Ардер, которому Джимма не дал запасной детали — прятал ее на всякий случай. Хорошо. Только какое ты имеешь право так говорить со мной, словно все время сидел на этом стуле? Ведь на Керенее ты послал Ардера вниз, во имя науки послал, ты, Турбер, а я вытянул его во имя его чертовых потрохов, а после того, как мы

вернулись, оказывается, что осталось только право потрохов. Только они теперь принимаются во внимание, а все остальное — нет. А может, это я должен сейчас расспрашивать тебя о твоём здоровье и ручаться за тебя, а не наоборот? Как думаешь? Я знаю, что ты думаешь. Ты привез горы материалов, и у тебя есть во что спрятаться до конца жизни, и знаешь, что никто из этих любезнейших не скажет тебе: сколько жизней ты заплатил за этот спектральный анализ? одну? две? Не считаете ли вы, профессор Турбер, что это немного дороговато? Никто тебе такого не скажет, потому что у них нет к нам претензий. Но у Вентури есть. И у Ардера, и у Эннессона. И у Томаса. Чем ты станешь теперь расплачиваться, Турбер? Выводить из заблуждения Освамма — плата за меня? А Джимма — ручаться за нас с Олафом? Когда я тебя впервые увидел, ты делал то же, что и сейчас. Так было и в Аппрену. Ты вечно сидел над бумагами и все делал во имя науки...

Я встал.

— Поблагодари Джимму, что он поручился за нас...

Турбер тоже встал. Может, секунду мы пристально изучали друг друга. Он был ниже меня, но это не ощущалось. Его рост не имел значения. У него был непередаваемо спокойный взгляд.

— Ты предоставишь мне слово, или я уже осужден? — спросил он.

Я пробурчал что-то невразумительное.

— Тогда садись, — сказал он и, не дожидаясь, сам тяжело опустился в кресло.

Я сел.

— Кое-что ты, однако, сделал, — проговорил он таким тоном, словно мы до сих пор разговаривали о погоде. — Ты прочитал Старка, поверил ему, считаешь, что тебя обманули, и теперь ищешь виноватых. Если бы тебя это действительно волновало, то я мог бы взять вину на себя. Но речь не об этом. Старк убедил тебя после таких десяти лет? Брегг, я знал, что ты взбалмошный, но не предполагал, что ты — глупый.

Он замолчал, а я, странное дело, почувствовал сразу облегчение и освобождение. У меня не было времени разобраться в своих чувствах, он продолжал:

— Контакт галактических цивилизаций? Кто тебе о нем говорил? Никто из нас, никто из классиков — ни Меркью, ни Сисмониади, ни Радж Нгамели — никто, ни одна экспедиция не рассчитывала на контакт, и поэтому

вся эта болтовня о путешествующих в пустоте археологических находках, об этой вечно опаздывающей галактической почте — просто опровержение положений, которых никто не выдвигал. Какая польза от звезд? А какая польза от экспедиции Амундсена? Андре? Никакой. Единственная временная польза была в том, что доказали — возможность. Доказали — это можно сделать. А точнее говоря, — с этим самым трудным для данного времени делом можно справиться. Не знаю, Брегг, удалось ли это нам. Правда не знаю. Но мы были там.

Я молчал. Турбер больше не смотрел на меня. Он оперся кулаками о стол.

— В чем тебя убедил Старк — в бесполезности космодромии? Будто мы сами этого не знали! А полюса? Что было на полюсах? Те, кто их покорял, знали, что там ничего нет. А Луна? Что искала группа Росса в кратере Эратосфена? Бриллианты? А зачем Бант и Егорин прошли через центр диска Меркурия? Чтобы загореть? А Келлен и Оффшаг — единственно, что они знали точно, когда летели к холодной туманности Цербера, — это то, что там можно погибнуть. Ты отдаешь себе отчет в том, что на самом деле говорит Старк? Человек должен есть, пить и одеваться; все остальное — безумие. У каждого есть свой Старк, Брегг. У каждой эпохи он был. Зачем Джимма послал тебя и Ардера? Чтобы вы взяли пробы Короны с Новой? Кто послал Джимму? Наука. Как это все по-деловому, а? Изучение звезд. Брегг, как ты думаешь, полетели бы мы, если бы их не было? Я думаю, что полетели. Мы захотели бы познать эту пустоту, чтобы как-то оправдать полет, Геонид или кто-нибудь другой сказал бы нам, какие ценные измерения и исследования можно будет провести по пути. Пойми меня правильно. Я не говорю, что звезды — только предлог. Ведь и полюс им не был. Нансену и Андре он был нужен... Эверест для Меллори и Ирвинга значил больше, чем воздух. Ты говоришь, что я командовал вами во имя науки? И сам знаешь, что это неправда. Ты испытывал мою память. Может быть, я испытываю твою? Ты помнишь планетоид Томаса?

Я вздрогнул.

— Ты тогда нас обманул. Полетел второй раз, зная, что он уже мертв. Не так ли?

Я молчал.

— Я понял уже тогда. Я не говорил об этом с Джиммой, но предполагаю, что он тоже догадывался. Зачем ты

туда полетел, Брегг? Это уже не были ни Арктур, ни Керенея — и некого было спасать. Зачем ты туда полез, человек?

Я молчал. Турбер слегка усмехался.

— Знаешь, в чем наша незадача, Брегг? В том, что нам повезло и мы сидим здесь. Человек всегда возвращается с пустыми руками...

Он замолчал. Его усмешка перешла в гримасу, почти бессмысленную. С минуту он тяжело дышал, сжимая обеими руками край стола. Я смотрел на него, словно видел его впервые, — подумал, он же уже старый. Это открытие потрясло меня. Такое мне никогда не приходило в голову, будто он вообще был без возраста.

— Турбер, — тихо проговорил я, — послушай... но ведь это... это прощальное слово над могилой тех — беспокоящих. Таких уже нет. И больше не будет. Ведь... однако... побеждает Старк.

Он приоткрыл рот, показались кончики плоских желтых зубов.

— Брегг, дай слово, что никому не скажешь то, что сейчас от меня услышишь.

Я колебался.

— Никому, — подчеркнул он.

— Хорошо.

Турбер встал, взял в углу рулон бумаги и вернулся с ним к письменному столу.

Он развернул рулон. Я увидел красную, словно начертанную кровью, распластанную рыбу.

— Турбер!

— Да, — спокойно ответил он, скатывая рулон.

— Новая экспедиция?

— Да, — повторил он, ставя рулон в угол, как оружие.

— Когда? Куда?

— Не скоро. До Центра.

— Туманность Стрельца... — прошептал я.

— Да. Приготовления затянутся. Но благодаря анабиозу...

Он продолжал говорить, но до меня доходили только отдельные слова: «полет в петле», «безгравитационная акселерация», а возбуждение, которое охватило меня, когда я увидел начертанный конструкторами силуэт огромной ракеты, сменилось неожиданной апатией, и я вяло, будто сквозь сгущающийся туман, рассматривал свои руки, лежащие на коленях. Турбер замолчал, погля-

дел на меня исподлобья, подошел к письменному столу и стал складывать папки с бумагами, словно желая дать мне время осознать невероятное известие. Я должен был забросать его вопросами — кто из нас, старых, полетит, сколько будет продолжаться экспедиция, какие у нас цели, но не спросил ни о чем. Даже о том, почему это держится в секрете. Я посмотрел на его погрубевшие огромные руки, на которых прошедшие годы оставили больше следов, чем на лице, и ощутил что-то вроде тупого злорадства — он тоже, наверное, не полетит. Я не доживу до их возвращения, даже если побью рекорд Мафусаила, подумал я. Все равно это не имеет уже никакого значения. Я встал. Турбер шелестел бумагами.

— Брегг,— проговорил он, не поднимая глаз,— я еще должен немного поработать; если хочешь, мы можем вместе поужинать. Переночевать ты можешь в дортуаре, он сейчас пуст.

Я буркнул «хорошо» и направился к двери. Турбер работал, словно я уже ушел. Я постоял немного у порога и вышел. Какое-то время я даже не понимал, где нахожусь, потом до меня дошел звучный равномерный стук — отзвук собственных шагов. Я приостановился. Я находился посередине длинного коридора между двумя рядами одинаковых дверей. Эхо шагов раздавалось по-прежнему. Кажется? Кто-то идет за мной? Я обернулся и заметил исчезающую в дальних дверях высокую фигуру. Это длилось какое-то мгновение, я не разглядел человека, а увидел только само движение и закрывающуюся дверь. Я не знал, что мне делать. Дальше идти не имело смысла — коридор заканчивался тупиком. Я повернул, прошел мимо огромного окна; над черным массивом парка серебрилось зарево города; я снова остановился у дверей с карточкой «Здесь, Брегг», за которыми работал Турбер. Мне уже не хотелось его видеть. Мне нечего было сказать — ему тоже. Вообще, зачем я сюда приехал? Вдруг я вспомнил зачем и удивился. Следовало войти и спросить про Олафа, но не сейчас. Не в эту минуту. У меня были силы, я чувствовал себя хорошо, но со мной происходило что-то, чего я не понимал. Я направился к лестнице. Напротив нее находилась последняя в ряду дверь, за которой только что исчез неизвестный. Я вспомнил, что заглядывал в эту комнату в самом начале, когда вошел в здание и искал Турбера; узнал кривую полосу ободранной краски. Комната была пуста. Что искал там вошедший человек?

Уверенный, что он ничего не искал, а только хотел от меня спрятаться, я долго стоял в нерешительности напротив лестницы, залитой белым неподвижным светом. Медленно-медленно я повернулся. Меня охватило непонятное беспокойство, даже не беспокойство — я ничего не боялся, а чувствовал себя как после анестезирующего укола; сосредоточенно, спокойно я сделал два шага, напряг слух, закрыл глаза, и тогда мне показалось, что я слышу за дверью дыхание. Невероятно. Теперь пойду, решил я, но не мог — слишком много внимания я уделил этой дурацкой двери, чтобы просто так уйти. Я открыл дверь и заглянул в комнату. Под небольшой лампой посередине пустой комнаты стоял Олаф. Он был в своем старом свитере с подвернутыми рукавами, словно только что бросил инструменты.

Мы смотрели друг на друга. Я упорно молчал, Олаф понимал, что я не произнесу ни слова, и начал первый: — Как дела, Гэл...

Его голос звучал неуверенно.

Я не хотел притворяться, меня потрясли обстоятельства неожиданной встречи, а может, я еще находился под впечатлением оглушающих слов Турбера, во всяком случае, я ничего не ответил. Подошел к окну, из которого был тот же вид — черный парк и зарево над городом, повернулся и сел на подоконник. Олаф не пошевелился. Он продолжал стоять посередине комнаты; из книги, которую он держал в руках, выскользнул листок бумаги и упал на пол. Мы наклонились одновременно; я поднял листок и увидел схему корабля, того самого, что недавно показывал мне Турбер. Внизу виднелись пометки, сделанные рукой Олафа. «Значит, вот в чем дело», — подумал я. Он не писал, так как сам летит и не хочет огорчать меня таким известием. Я должен ему сказать, что он ошибается, ведь я не собираюсь ни в какую экспедицию. Хватит с меня звезд; кроме того, я знаю все от Турбера, поэтому он может говорить со мной с чистой совестью.

Я внимательно рассматривал чертеж, словно испытывал полетные возможности ракеты, потом молча отдал ему листок, он взял его, немного помедлил, сложил вдвое и спрятал в книгу. Все происходило молча, я уверен, что неумышленно, но эта сцена, может, именно потому, что она разыгрывалась в тишине, приобрела символическое значение, словно я принимал к сведению его предполагаемое участие в экспедиции и, возвращая ему чертеж, одобрял его шаг без энтузиазма, но и без сожаления.

Когда я хотел заглянуть ему в глаза, он опустил их, но тут же бросил на меня взгляд исподлобья — не то неуверенный, не то смущенный. Даже сейчас, когда я уже обо всем знаю? Тишина маленькой комнаты становилась невыносимой. Я слышал немного учащенное дыхание Олафа. У него было усталое лицо и глаза не такие живые, как при последней нашей встрече, словно он много работал и мало спал, но в его глазах появилось какое-то совершенно новое, неизвестное мне выражение.

— У меня все хорошо... — медленно проговорил я, — а у тебя?

Мои слова явно запоздали, надо было задать этот вопрос сразу, как только вошел, а теперь он звучал немного обиженно или даже издевательски.

— Ты был у Турбера? — спросил он.

— Да, был.

— Студенты уехали... сейчас никого нет, нам дали весь дом, — произнес он с видимым усилием.

— Чтобы вы смогли разработать план экспедиции? — добавил я, а он поспешно ответил:

— Да, Гэл. Ну, ты же знаешь, что это за работа. Сейчас нас пока горстка людей, но у нас прекрасные машины, эти автоматы...

— Это хорошо.

Снова наступило молчание. Странно — чем дольше длилось молчание, тем сильнее проявлялось беспокойство Олафа, его неестественная неподвижность — он по-прежнему оцепенело торчал под лампой, посередине комнаты, словно ожидал самого худшего. Я решил это прекратить.

— Послушай, ну... — тихо проговорил я, — как ты, собственно, все это представлял? Политика страуса никогда не оправдывается, знаешь ли... Ты же не думал, что без тебя я никогда не узнаю?

Он молчал, наклонив набок голову. Я явно переборщил, ведь он ни в чем не был виноват, на его месте я, пожалуй, вел бы себя так же. Я сердился на него не за то, что он месяц молчал, а за то, что он, увидев меня, когда я выходил от Турбера, хотел спрятаться в пустой комнате. Но я не мог сказать ему об этом, прозвучало бы глупо и смешно. Я повысил голос, обозвал его дураком, но он даже не попытался защищаться.

— Итак, ты считаешь, что нам не о чем говорить? — разозлился я.

— Это зависит от тебя...

— От меня?

— Да, от тебя,— настойчиво повторил он.— Самым главным было — от кого ты узнаешь.

— Ты действительно так считаешь?

— Так мне казалось...

— Мне все равно,— пробурчал я.

— Что... ты собираешься сделать? — тихо спросил он.

— Ничего.

Олаф недоверчиво посмотрел на меня.

— Гэл, ведь я...

Он не договорил. Я чувствовал, что его тяготит само мое присутствие, но я не мог простить его неожиданного бегства, а уйти не решался. Я не знал, что надо говорить,— все, что соединяло нас, было под запретом. Мы одновременно посмотрели друг на друга,— видно, каждый из нас рассчитывал на помощь другого.

Я встал с подоконника.

— Олаф... поздно уже... Я пойду... не думай, что... я обиделся на тебя, ничего подобного. Мы еще встретимся, может, ты приедешь к нам,— с трудом выдавил я из себя, каждое слово звучало неестественно, и он это чувствовал.

— А ты... останешься хотя бы на ночь?

— Не могу, знаешь, я обещал...

Я не произнес ее имени; Олаф буркнул:

— Как хочешь. Я провожу тебя.

Мы вместе вышли из комнаты, потом по лестнице спустились вниз; на улице было совершенно темно. Олаф молча шел рядом, вдруг остановился, я тоже.

— Останься,— прошептал он робко.

Я слабо различал его лицо.

— Хорошо,— неожиданно согласился я и повернул обратно. Олаф не ожидал такого. Он немного постоял, потом обнял меня за плечи и повел к другому зданию — пониже; в пустом зале, освещенном несколькими лампами, мы поужинали за стойкой бара. За все время мы перекинулись всего десятком слов. Потом поднялись на второй этаж.

Комната, в которую он меня привел, была почти квадратная, выдержанная в матово-белых тонах, с широким окном, выходящим в парк с другой стороны: я не видел городского зарева над деревьями; в комнате стояли свежестеленная кровать, три кресла, одно — возле окна. Через узкие приоткрытые двери блестел кафель ванной комнаты. Олаф, опустив руки, стоял у порога, будто ожидая моих

слов, но я молчал, ходил по комнате и машинально прикасался к предметам. Олаф тихо спросил:

— Могу ли... я быть чем-нибудь полезен?

— Да,— ответил я,— оставь меня одного.

Олаф не двинулся с места. Его лицо ожег румянец, потом оно побледнело, вдруг на нем родилась улыбка — Олаф хотел укрыться от оскорбления, ведь мои слова действительно прозвучали оскорбительно. От этой беспомощной жалобной улыбки во мне что-то оборвалось и, поспешно пытаясь сбросить с себя маску равнодушия, которую я надел, так как на большее не был способен, я подбежал к Олафу, когда он поворачивался, собираясь выйти, схватил его за руку и сильно сжал ее, как бы прося этим стремительным пожатием прощения, а он, не глядя на меня, ответил таким же крепким рукопожатием и вышел. Рука у меня еще горела от его пожатия, а он уже закрывал за собой дверь, так осторожно и тихо, словно покидал комнату больного. Я остался один, как хотел.

В здании стояла тишина. Даже шагов удаляющегося Олафа я не слышал; в оконном стекле слабо отражался мой собственный силуэт, из невидимого источника плыл теплый воздух, а сквозь контуры своего отражения я видел линии деревьев, утонувших в полной темноте. Я еще раз окинул взглядом комнату и сел в большое кресло у окна.

Осенняя ночь только наступила. Спать совсем не хотелось. Я стоял возле окна. Расстилающийся за ним мрак, наверное, заполнен холодом и шумом голых ветвей — мне вдруг захотелось оказаться там, побродить в темноте, в ее хаосе. Не раздумывая, я вышел. В коридоре — никого. Спустился по лестнице на цыпочках. Олаф, пожалуй, уже отдыхает, а Турбер, если еще и работает, то на другом этаже в дальнем крыле здания. Я сбежал вниз, уже не скрываясь, выбрался на улицу и быстро зашагал вперед. Направления я не выбирал, шел прямо, стараясь, чтобы городское зарево оставалось в стороне. Аллея парка скоро вывела меня на дорогу, я шел по ней, потом неожиданно остановился. Дорога привела бы меня в город, к людям, а мне хотелось побыть одному. Я вспомнил, что говорил мне Олаф еще в Клавестре о Маллеолане, новом городе, возникшем среди гор уже после нашего отлета; шоссе, по которому я прошел несколько километров, постоянно петляло, круто поворачивало, вероятно обходя возвышенности, но в темноте я не мог их рассмотреть. Дорога, как и везде, не была освещена, слегка флуоресцировала только

сама поверхность, но свет был настолько слабым, что не освещал даже растущие в нескольких шагах от обочины заросли. Я сошел с дороги и, идя на ощупь, очутился в небольшой рощице, которая вывела меня на крутую, широкую, лишенную растительности возвышенность — я это определил по ветру, который свободно гулял здесь; несколько раз далеко внизу промелькнул бледной змейкой отрезок покинутого мной шоссе, потом это последнее светлое пятно исчезло. Я снова остановился и всем телом, лицом, подставленным ветру, — не только ничего не видящими глазами, попытался сориентироваться в этом месте, незнакомом, как чужая планета; я намеревался самым коротким путем забраться на одну из возвышенностей, окружающих долину, в которой расположился город, но как определить нужное направление? Неожиданно, когда затея показалась мне безнадежной, я услышал идущий с высоты, справа, продолжительный далекий звук, напоминающий шум волны, но все же отличающийся от него — гул, с которым ветер пронесся по лесу, расположенному значительно выше того места, где я стоял. Не раздумывая, я направился в ту сторону. Склон, заросший сухой старой травой, привел меня к опушке леса. Я обходил деревья, вытянув руки, чтобы не поцарапаться о колючие ветки. Вскоре склон стал более пологим, деревья расступились, опять я вынужден был выбирать направление; вслушиваясь в темноту, я терпеливо ждал очередного сильного порыва ветра. В какое-то мгновение пространство отозвалось — с отдаленных вершин поплыло протяжное, свистящее пение — так ветер в эту ночь был моим союзником; я двинулся напрямик, не обращая внимания на то, что сейчас теряю высоту, резко спускаясь в глубь черной балки, которая круто уходила вниз; я начал размеренно подниматься вверх, дорогу мне указывал журчащий где-то ручеек. Я ни разу не увидел его, впрочем, он протекал, вероятно, под валунами; звук журчащей воды становился все тише по мере того, как я поднимался выше, потом совсем затих, и меня опять окружил высокоствольный лес, вероятно, сосновый, совершенно без подлеска. Земля была покрыта мягким слоем старой хвои, кое-где — скользким мхом. Это блуждание в темноте продолжалось часа три; корни, о которые я спотыкался, все чаще соседствовали с выступающими из-под мягкой земли валунами, я немного боялся, что вершина будет покрыта лесом и в его лабиринте закончится, едва начавшись, мое странствие по горам, но мне

повезло — по голому перевалу я добрался до расселины, поднимавшейся все круче. Стоило мне на мгновение остановиться — камни тут же с грохотом полетели из-под ног; прыжками, падая и вставая, я добрался до боковой гряды сужающегося ущелья и пошел быстрее; иногда останавливался, пытаюсь осмотреть местность, но мрак был такой, что не было видно ни города, ни его зарева; от святащейся дороги, с которой я сошел, не осталось и следа; ущелье привело меня на полянку, заросшую сухими травами; я находился уже высоко — я определил это по все расширяющемуся надо мной звездному небу — вероятно, заслоняющие его вершины начинали выравниваться с той, по которой я поднимался. Пройдя несколько сотен шагов, я очутился среди зарослей горной сосны.

Если бы меня в этой темноте кто-нибудь неожиданно остановил и спросил, зачем и куда я иду, я не смог бы ответить; к счастью, никого не было и мое одинокое ночное путешествие я бессознательно ощущал, как облегчение по крайней мере временное. Склон становился все круче, идти было все труднее, но я шел вперед и вперед, заботясь только о том, чтобы не свернуть с пути, будто у меня была какая-то цель. Сердце сильно стучало, я тяжело дышал, но в забытии ломился вперед, инстинктивно чувствуя, что должен преодолеть именно такие трудности. Я раздвигал ветви горных сосен, порой застревал в их гуще, с силой вырывался и шел дальше. Иглы били меня по лицу, по груди, цеплялись за одежду, пальцы уже склеивались от смолы; на открытом пространстве налетел ветер, напал на меня из темноты, неудержимо бушевал, свистя где-то в вышине, и я догадался, что достиг перевала. Затем я снова оказался в зарослях горных сосен, здесь был теплый неподвижный воздух, насыщенный запахом хвои. На пути вырастали неожиданные препятствия — разбросанные камни, небольшой осыпающийся участок. Я шел уже несколько часов, но еще чувствовал в себе запас сил, достаточный, чтобы не впасть в отчаяние; ущелье, ведущее к неизвестному перевалу, а возможно, к вершине, сузилось так, что на фоне неба я увидел уже два его навершия, закрывающие звезды.

Давно осталась внизу полоса тумана, но холодная ночь была безлунной, а звезды давали мало света. Поэтому я очень удивился, увидев вокруг себя и над собой нечто белое, продолговатое, лежавшее во мраке, не рассеивая

его, словно за день вобрало в себя свет; только когда под ногами раздался хруст, я понял, что это снег.

Он покрывал не очень толстым слоем почти весь крутой склон. Я промерз бы, наверное, до костей, ведь одет я был очень легко, но неожиданно ветер утих, и все отчетливее хрустела снежная корка, которую я пробивал, проваливаясь по щиколотку.

На самом перевале снега почти не было. На осыпи черными силуэтами торчали большие голые валуны. Я остановился с бьющимся сердцем и посмотрел в сторону города. Его закрывал склон, и только темнота, рыжеватая от неясного света его огней, выдавала место, где он лежал в долине. Надо мной дрожали яркие звезды. Я сделал еще несколько шагов и сел на плоский валун. Возле него скопилось немного снега. Теперь я не видел даже зарева города. Передо мной в темноте проступали горы, призрачные, с вершинами, побеленными снегом. Внимательно вглядевшись в восточный край горизонта, я заметил первую серую полосу, от которой поблекли звезды, — зарождался новый день. На ее фоне вырисовывалась вершина, разламывающая пополам эту полосу. И неожиданно в моем застывшем сознании начало что-то происходить, бесформенная темнота — снаружи или внутри меня? — перемещалась, опускалась, меняя пропорции, я так был сосредоточен на этом, что какое-то время ничего не замечал вокруг, а когда ко мне снова вернулась способность видеть, все уже выглядело иначе. На востоке над черной долиной небо слегка посерело, усиливая тем самым черноту скального отрога, но я смог бы указать каждый его излом, найти на ощупь любую выбоину; я знал, какая картина предстанет передо мной днем, ведь она была начертана во мне, навсегда и не напрасно. Вот оно — то неизменное, о чем мечтал, что осталось нетронутым, когда в полуторавековой пасти времени весь мой мир распался и погиб. В этой долине я провел свои детские годы — в старом деревянном летнем домике на противоположном, травянистом склоне Ловца Туч. От фундамента развалюхи, наверное, не осталось ни камешка, все балки давно превратились в труху, а горный хребет стоял, не изменившись, словно ждал этой встречи, — может, неясное, подсознательное воспоминание привело меня ночью сюда?

После такого неожиданного открытия я почувствовал огромную слабость, которую раньше успешно заглушал мнимым спокойствием, потом обдуманым, иступленным

подъемом в горы. Я наклонился и, не стыдясь, дрожащими пальцами клал в рот кусочки снега, который только обжигал холодом язык, но не утолял жажды. Я постепенно приходил в себя, сидел и ел снег, всё еще не совсем доверяя своему открытию, ожидая только первых лучей солнца, чтобы увериться в своих догадках. Задолго до восхода солнца с высоты, с потухающих звезд прилетела птица, сложила крылья и стала приближаться ко мне. Я замер, боясь ее спугнуть. Она пошла вокруг меня, я подумал, что птица меня не заметила, но она вернулась с другой стороны, обойдя валун, на котором я сидел. Мы смотрели какое-то время друг на друга, потом я негромко спросил: — Откуда ты взялась?

Видя, что птица не боится меня, я снова стал есть снег. Птица наклонила голову и приглядывалась ко мне черными бусинками глаз. Неожиданно, словно насмотрелась досыта, расправила крылья и улетела. Опершись о шершавый валун, скорчившись, с замерзшими от снега руками, я ожидал рассвета, прошедшая ночь быстро прокручивалась в коротких сценах — Турбер, его слова, молчание — мое с Олафом, вид города, красный туман и просветы в нем, образованные воронками света, горячие потоки воздуха, вдох и выдох миллионного распада, висящие площади и аллеи, высокие башни с огненными крыльями, краски, доминирующие на разных уровнях, перевал, не совсем сознательный разговор с птицей, я ем снег — все эти картинки вспыхивали вместе и отдельно, как бывает во сне; это было воспоминанием и забвением того, над чем я не решался задумываться, ведь все время я пытался найти в себе согласие с тем, с чем не мог согласиться. Но это было раньше именно как во сне. Теперь я, разумный и чуткий, ожидал наступления дня; воздух был серебрист от серого рассвета, я внимательно смотрел, как медленно вытяраются из ночи суровые стены гор, ущелья, осыпи, словно молчаливо подтверждая реальность моего возвращения; впервые я чувствовал себя не чужим на Земле, подданным ее и ее законов, и мог — без бунта и печали — думать о тех, кто полетит за золотым руном звезд...

Снежная вершина зажглась золотом и белизной, она, мощная и вечная, возвышалась над долиной, залитой лиловым светом, а я с глазами, полными слез, преломляющих цвета вершины, медленно встал и начал спуск по осыпи на юг, туда, где был мой дом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Роман «СОЛЯРИС» был в основном написан летом 1959 года; закончен после годичного перерыва, в июне 1960. Книга вышла в свет в 1961 г. — *Lem S. Solaris. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961.*

Первая публикация в СССР — в рижском журнале «Наука и техника», 1962, №№ 4—8, сильно сокращенный вариант (переводчик М. Афремович). В этой публикации роман назывался «Соларис».

В том же 1962 г. в ленинградском журнале «Звезда», №№ 8—10, появился перевод Дм. Брускина. Именно по этому тексту читающая Россия знакомилась с романом (4 книжных издания с 1963 по 1978 г.). С него же, по-видимому, делалась большая часть переводов на языки других народов СССР. Между тем этот перевод был не полным. Редакторские, а в сущности, цензурные ножницы вырезали все философские рассуждения героев романа; особенно пострадала последняя глава «Старый мимойд». Название планеты Солярис склонялось, т. е. было мужского рода (у Лема название — женского рода).

Полный текст романа в переводе Г. Гудимовой и В. Перельман появился лишь в 1976 г. (С. Лем. Избранное. М., 1976). Этот перевод, напечатанный также в «Библиотеке современной фантастики», т. 19, 1987, публикуется в настоящем издании.

В 80-е годы Дм. Брускин восстановил полный текст своего перевода. Издания: С. Лем. Избранное. Л., 1981; С. Лем. Солярис; Непобедимый; Звездные дневники Ийона Тихого. М., 1988. Однако и после этого продолжали выходить перепечатки первого неполного варианта (С. Лем. Солярис. Н. Новгород, 1991; С. Лем. Солярис. — В кн.: Фантастика: Кн. 3. М., 1991).

Роман переведен на 26 языков.

Роман «ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД» был опубликован в 1961 г. — *Lem S. Powrót z gwiazd. Warszawa: Czytelnik, 1961.* Русский перевод Е. Вайсброта и Р. Нудельмана вышел с сокращениями в №№ 3—5 журнала «Молодая гвардия» за 1965 г. и полностью в т. 4 «Библиотеки современной фантастики». М., 1965. Перевод Г. Гудимовой и В. Перельман впервые опубликован в издании: С. Лем. Возвращение со звезд. М., Глаголь, 1992 г.

Роман переведен на 19 языков.

К. Д.

СОДЕРЖАНИЕ

СОЛЯРИС. Роман	
<i>Перевод Г. А. Гудимовой и В. М. Перельман</i>	5
ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД. Роман	
<i>Перевод Г. А. Гудимовой и В. М. Перельман</i>	183
Библиографическая справка. К. Д.	398

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 10 ТОМАХ
Т. 2

Редактор *В. И. Рабинович*
Художественный редактор *В. Б. Прищепа*
Технический редактор *Л. Е. Синенко*
Корректоры *Т. В. Калинина, Н. М. Пущина*

Л44 Лем С. Солярис. Возвращение со звезд: Романы. Собр. соч. в 10 тт.
Т. 2— М.: «Текст», 1992.—399 с.

Л 4703010100-033 подп.
92

ISBN 5-87106-055-2

Сдано в набор 30.06.92. Подписано в печать 03.12.92. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 22,26. Уч.-изд. л. 23,24. Тираж 200 000 экз.
Заказ № 8507. С 2.

Издательство «Текст»
125190, Москва, А-190, а/я 89.

Редакционно-издательская фирма «РИФ»
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, 12-а.

Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга»
Мининформпечати РФ. 127018, Москва, Сушевский вал, 49.

S T A N I S Ł A W

L E M

